

**Товарищество писателей в Петербурге
Секция критики и литературоведения
Союз писателей России**

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики,
прозы и поэзии

«... из пламя и света рожденное слово!»

М. Ю. Лермонтов

№ 15

31 декабря 19

Санкт-Петербург
2019

ББК XX.YY

Редакционный Совет

Главный редактор
В. И. Чернышев

ISSN xxxx-xxxx

©Чернышев В. И., 2019
©Редакционный Совет, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ НРЖ №15

I. ПОЭЗИЯ как МЕТАФИЗИКА ЖИЗНИ

В. И. Чернышев. СТИХИ Конца года	5
Маргарита Токажевская. Стихи 19 года	8
Мария Амфилохиева. Осенние стихи	13
Владимир Меньшиков. Цикл стихов «Мистика полей»	26

II. ПОРИЦАНИЯ И ВОСХВАЛЕНИЯ (ПОЭЗИЯ, КРИТИКА, ФИЛОСОФИЯ)

Владимир Меньшиков. Турнир первых лир	38
Районный классик	45
Геннадий Муриков. Андрушкин. Сборник статей	53
Возможно ли покушение на колибри?	55

III. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ.

А. В. Осипов. Римский орел и русский порядок	57
А.В.Рачинский, А.Е.Фёдоров. Древнерусская архитектура на вышивках	75
Олег Киреев, Михаил Иванов. Что здесь изображено?.	93
Н. И. Калягин. Чтения о русской поэзии. Чтение 15	110
В. И. Чернышев. Несколько слов от редактора	133
Александр Неучев. Русская азбука	134

IV. ЖИЗНЬ КАК ТЕАТР

В. Г. Исаченко. Богатырь живописи (к 175-летию со дня рождения И.Е.Репина)	138
Б. Хадеев. Деревянная лошадка	142
Г. Н. Ионин. Страшная Сказка	182

V. КРИТИКА КАК ИСКУССТВО (рассказы, статьи, рецензии и письма)

В. И. Чернышев. Гуннка (рассказ)	213
Критика как искусство	217
Вячеслав Овсянников. Дом Грудинина (рассказ)	236
Едет царевич задумчиво прочь	238
Как перевести хайку	240
Александр Медведев. О влюбленной голове	244
В. Чернышев, А. Медведев. Переписка критика и художника	246

VI. МЕМОРИИ, КУЛЬТУРА, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ

Бубнова Л.Л. О выставке живописи Н.А. Ионина в Музее современного искусства	251
Виктор Голявкин о себе, о друзьях, о живописи	260
Виктор Голявкин. Юбилейная речь	264
Бубнова Л.Л. Тени прошлого блуждают по страницам (обзор)	265
В. Чернышев. По поводу слякоти в декабре в Петербурге	269
С. М. Ларьков. А. Солженицын – продолжатель традиций русской литературы	273
Чтение книги как реализация когнитивных способностей человека	285
Владимир Лапенков. Читаем Платона	293

VII. ЖИЗНЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЕАТРА, КИНО и МУЗЫКИ

В. И. Чернышев. Англичанка	314
Новогодние записки	339
Самиздат	349

VIII. ПОКА БЬЮТ КУРАНТЫ

Н. Ефремова. В гостях у журнала. Стихи о любви	364
---	-----

I. ПОЭЗИЯ как МЕТАФИЗИКА ЖИЗНИ

В. И. Чернышев

**СТИХИ
конца года**



СТИХИ КОНЦА ГОДА

* * *

Осенняя зима тоскливее, чем осень,
Как вечность, как болезнь, ночной в тюрьму этап.
Где желтый лист, шафран, янтарь и медь? Где прósинь,
Где дух созревших куч и тусклый свет от ламп?

* * *

Продолжая Исповедь Пасынка века,
Начинаю новую жизнь
Сегодня, с утра!
Не буду больше ныть,
Возьму длинную нить
И буду искать «Вчера».
...Как поучительно путешествие в прошлое...

* * *

Жажду милосердия глаз
И подаяния снов,
Взламываю твердь основ,
Ищущий сущий Азъ.

Читанное благоговейно úз
Смешиваю с тем, что вне,
Пройдя чрез положение риз,
Когда и верное не...

И пока время есть...
Хотя его мало, но
Хватит, чтоб перечестъ
Читанное давно.

Нежность пожатъя рук!
Радость разминок, встреч
Прикосновенье плеч
Сердца привычный стук.

7 ноября, 12-00. Отчет о революционной демонстрации в деревне.

Прошел по центральной улице деревни (другой не было) с флагом и портретом отца. За мной увязалась соседская собака и бесхозная девушка, еще трезвая.

– А куда мы идем? – спросила девушка. – Ведь магазин в другой стороне?!

13-30. Меня посчитали за одиночный пикет, и местный полицейский отправил меня в баню.

Следующее донесение пошло, когда восстановится связь. Погода налаживается. Жена приказывает прекратить митинг, спрятать топор, найти лопату и копать огород.

Ваш редактор.

Стихотворение в прозе

Меня упрекают в многословии, в стремлении всех поучать, в чрезмерности моих особенностей Водолея, иногда кажется, что еще немного, и мне скажут раздраженно: *Да закрой ты, наконец, хайло!* (*хайло* – дыра в стене в "бане по-черному", эту дыру закрывают после того, как прогорят угли в печке).

Но недавно я получил знак свыше, что я правильно поступаю, не всегда закрывая хайло. А случилось вот что. Истопив баню, после того как вышел дым, я еще на каменку бросил ковш воды, пар окатил помещение парилки, вылетел, и мне показалось, что хотя угли горят, но уже голубых угарных огоньков нет, а я устал от ожидания, и подумал, что если буду сидеть на полке при открытом хайле, то возможные струи угарного газа из печки будут вылетать наружу. Но они, увы, вилсь, как оказывается, повсюду, хотя я их не замечал, и поэтому сильно угорел. А что было бы, если бы я *хайло закрыл*, как мне, может быть, хотят сказать!??

Так что, господа, мне дан знак свыше: *ВИ, не закрывай "хайло", рано его закрывать, борись с вражескими силами, а то и сам угоришь, и близкие погибнут*. И вы, друзья мои, не закрывайте хайло тоже, одного мало для того, чтобы проветрить протухший российский дом.

Маргарита Токажевская

СТИХИ
2019 года

Редакторы-учредители журнала
Маргарита Токажевская и Мария Амфилохиева



Мария Амфилохиева
ОСЕННИЕ СТИХИ

Маргарита Токажевская.
Стихи 2019

Леонардо

А бронза продана в Феррару,
На пушки - вот и нет коня!
Милан, прими такую кару,
Но знай, она не от меня.

Непреходящий поиск, бьющий
В меня, как в колокол времён,
Судьбе приказывает - гуще
Звучать со всех глухих сторон.

Неугомонный Леонардо,
Да, про меня болтают так,
Мне ничего уже не надо
Тебе доказывать, Простак.

Мой конь меня умчит отсюда
В края, где бронза не в цене.
Да не возьмёт тебя простуда,
Когда забудешь обо мне.

Листья льются густо
С веток сентября,
Скоро станет пусто,
Зимняя пора
Строго и надменно
Властвовать начнёт,
И придёт на смену
Листьям – новый год...

На фоне последних цветов
Ты выглядишь одиноким,
Пьеро, что с картины Ватто,
Чья тайна понятна немногим.

Былые восторги страшат,
Грядущее кажется крахом,
Но если на небе решат,
То жизнь не окончится страхом,

А тихо прейдешь за черту
И тихо пойдешь за чертою,
Неся нищету и тщету,
Тщету оправдав нищетою.

Искать себя в стихах начинающих поэтов –
Там и ты иногда настоящий, не стоящий
В очереди, на которую точно не хватит билетов,
Но всегда с избытком последних ящиков.

Верить, что поэзия может только улучшить
Мировую Душу, а таковая, несомненно, имеется,
С грустью глядящая, как личные одиночества лущат
Пещерные страхи на личной мельнице.

Дойти до острого желания - писать простые
Стихи – о берёзах, грёзах, огромности
Жизни, которую тебе простили,
Смерти в её изысканной скромности...

Малахит

Услышу слово «малахит»,
И словно проплывает кит,
Зелёный и голубоглазый
На фоне бесконечных Азий.

Вот первая: степной простор,
Неторопливый разговор
Длиннобородых стариков –
Обычай стариков таков –
Неторопливо говорить,
Как будто вечное творить.

Вторая Азия – саман,
Как будто мать-земля сама
Тебя хранит в твоём доме
И ты её хранишь, к тому.

Вот третья: Бухара, Хорезм,
Китай, как бархатный обрез,
Пленяет волшебством своим..

Четвёртая... Её руин
Не раскопать,
 не воссоздать
Торжественности зданий, дат
Не выдумать – всё будет ложь...
Но – малахит, но кит, но дождь
Над тем её солончаком,
Где есть и мой родимый дом.

Каприз сознания, искус,
Я словно требую на вкус
Цвет малахитового звука:
Дом, мама, Азия, разлука,
Мои зелёные глаза,
Гроза, трусиха-стрекоза
Забилась в уголок души
И просит: малахит, скажи,
Свяжи с китом и стрекозой,
И с Азией, с чужой слезой,
А о своей лишь вспомни вскользь,
Сквозь малахит, разлуку сквозь...

Мужские свитера

Связала охотничий свитер –
Придумала так говорить,
Чтоб было спокойнее нити
Мальчишкам озябшим дарить.
Охотничий, значит: охотник,
Рыбак или парашютист,
Механик ли, кровельщик, плотник,
А может быть даже артист,
Снимающий угол, продрогший,
Голодный – достанет его,
Уйдёт в журавлиную рошу,
Увидит закат огневой
И звёздное встретит мерцанье –
Со звёздами легче дружить,
Когда заплетает вязанье
Слова «согреваться» и «жить»
В чудесный спасительный пояс...
Вяжу, о тепле беспокоясь,
Ведь мёрзла я часто сама,
Когда обступала зима
Пространство души онемелой,
И вырваться я не умела
Из холода и безразличья,
Но это, простите, о личном.

Блокнот

Здесь много первых слов, в моём блокноте,
Но до вторых, как знать, дойдут ли дни...
К какой строке по-детски вы прильнёте,
Глаза моей неведомой родни.
Глухие ненаписанные звуки
Ещё хранятся в тишине Творца,
И даже мысль Его, не то, что руки
Мои не верят в то, что из ларца
Вселенской пустоты возможно вынуть
Не целый звук, а хоть бы половину
Для продолженья начатых стихов...
Мир только начат, вот и стих таков...

Семнадцать градусов дождя

Семнадцать градусов дождя –
Вот сочетание хмельное –
Прохлада лета надо мною,
И можно ничего не ждать.

Семнадцать градусов. Июнь.
Я, поэтического рода,
И неизбывная свобода
Не пожалеет тонких струн,

Все оборвёт...

Семнадцать лет,
Растрянно и безголосо
Блуждаю я в песках вопросов,
Ни одного ответа нет.

Одoleвает страх – куда
Иду, не знаю и не верю,
Что на земле бывают двери
Те, за которыми вода.

Но миражи меня ведут
Не за руку, за душу, слышу –
Мои следы живые дышат,
А, значит, я живая туг.

Так долго, долго длился путь
Отчаянья, и неизвестность
Безмерно расширяла местность,
Где не встречался кто-нибудь
Из человеческого рода...
Но мне уже навстречу шла
Моя сбежавшая свобода
И струны для меня несла.

Она в закалку отдавала
Их звон, их тишину, их крик.
Семнадцать градусов металла –
В краях моих грядущих книг
Ей снились зимними ночами
Сквозь одинокое молчанье...

Мария Амфилохиева

Осенние стихи

ВЫБОР

Какую бы ни выбрал участь,
Твой выбор – это выбор твой.
Умей нести свой крест не мучась,
Своей довольствуясь судьбой.
Когда же небо грозное
Пытает тьмой, маяк тая,
Пусть в этой доле нет покоя,
Он в знанье, что она – твоя.

ТОЧКА

Точка в плоскости белого листа
Подобна черной дыре
Револьверного дула,
Нацеленного вам в глаз.
Это черная скважина,
За которой клубятся
Чудовищные создания
Вашего ночного воображения.
Это крошечное зерно
Вечно ускользающего от вас
Смысла жизни,
Стремящегося свернуться в точку
Забытого вами момента рождения...
Но стоит ли сосредоточиваться
На маленькой черной соринке,
Когда вокруг –
Блаженное пространство
Белого листа,
Для заполнения которого
Не хватит
Самой длинной,
Самой насыщенной,
Самой счастливой жизни.

ПО ПРЯМОЙ

Ты спешишь, как всегда – по прямой,
Экономя пространство и время.
Стуком дробным гремит за спиной
Недоделок нелепое племя.

Недоесть, недопить, недоспать –
Небольшая, пустячная драма,
Но – добра искривляется стать,
Но – любви не допустит программа.

Кто в проклятую спешку вложил,
В колею ненавистную втиснул?
Сухожилий не хватит и жил,
И долги непрощенные виснут.

А когда-нибудь, больно упав
На озноб криво сложенных плиток,
Их подобием мертвенным став,
Угадаешь, что было убито

И пространство, и время – тобой,
И прощенья не будет – тебе же.
Не качай же седой головой
И прямой доверяйся пореже...

КОФЕ

Над бездной часто пьем кофе со сливками...
Селинджер

Мы снова пьем кофе,
Горячий, душистый,
Мы прячемся в кофре
От бездны лучистой.

Лучи – как лучины
Колючие – злятся.
Не буду – не стану –
Не смею бояться.

Из кофра – из гнета –
На краешек бездны.
Такие заботы,
Скажу вам, полезны.

Свободен – и снова
За чашечкой кофе
Сижусь, невесомый,
Над бездной на кофре.

МОНФОКОН

*Громадная каменная виселица,
построенная в XIII веке близ Парижа*

Цепей погребальный стон
Скрежещет в ночи не в лад:
Чудовище – Монфокон,
Смердящий проклятый ад.

Кого обуюл кошмар
Зловещий воздвигнуть дом,
Где черепа мёртвый шар,
Где окон слепой проём?

Где ветер, взбесясь, свистел
О людях – страшной зверей?
...Остатки качнулись тел
На страшном подобье рей...

Уходит в ночную тьму
Корабль, мертвецов влача.
Проклятья стократ ему
И каинова печать.

Но всех мертвецов страшней
Сиятельный граф Фокон,
Что выделил средь полей
Для этого зданья холм.

Он после качался сам,
Захлёстнутый злой петлёй,
Прошение небесам
Выплясывал над землёй.

Разрушен давным-давно
Чудовищный дом? Шалишь!
Вновь цепь загремит в окно
И вздрогнет в ночи Париж.

ПОБЕГ

Мы все рассказываем сказки
И сочиняем миражи,
Наивно смешивая краски,
Всё ищем истину во лжи.

А все на свете просто слишком:
Боясь осенних холодов,
Поэт в придуманные книжки
Сбежать от истины готов.

ДОРОГА

Из красных огней сложилась река,
Мчится откуда-то издалека,
То замедляет свободный бег,
То ускоряет... Задача рек
Извечная – волны катить вперёд,
За днями дни и за годом год
Качать и брёвна, и корабли,
Водой поить, исчезать вдали...
Но эта река – из красных огней –
Суша, хоть русло её длинней,
Чем русла многих известных рек,
А капли каждой недолог век.
От красных бликов взгляд отведи –
Смотри испуганно – впереди
Навстречу – белой реки накат...
Гудят машины. Струится КАД.

ЧАС ВЕРЕСКА

*На вересковом поле,
на поле боевом...
Р.Стивенсон*

Ключие вереска ветки,
Соцветий лиловый разлив...
Свиданья случаются редки,
Зов пращуров не уголив.

Я слышу топ конский и лязги
Не знающих мира мечей.
Забыты старинные дразги –
Кто враг, кто соратник, кто чей...

Но строго лиловая пустошь
Сквозь марево зноя над ней
Заставит вой вечности слушать –
И плача не сыщешь родней.

Года и столетия глушат
Всегдашний обыденный мед,
Но верят лиловые души:
Час вереска снова придет.

ЧИТАЯ «ДЖЕН ЭЙР»

В прохладе учительской кельи
Служения голос суров,
Нет места греху и безделью,
Но чужд этот праведный кров.

Взвалить непосильную ношу
На хрупкость девичьей спины...
Но голос, о будущем спрошен,
Воротит запретные сны.

Кручусь между домом и службой,
Роняя стихи на листы.
Кому-нибудь всё это нужно?
Уж лучше не спрашивай ты...

ЛАМПОЧКА

Лампочка бра над кроватью моей
Долгую ночь освещала и грела.
Но – не успела проститься я с ней –
Вспыхнула и сгорела.

Дело простое – прошел её срок,
Вовсе несчастья в том нет никакого...
Тих в темноте человек, одинок –
Чует непрочность кровя.

ОКНА

В городах не видно звёзд.
Небоскрёбы в полный рост
Поднимают этажи.
На окошки покажи,
Что стремятся в небеса
За полоской полоса
И хотят перечеркнуть
Нам не видный Млечный путь.
Только города огни
За гордыню не вини.
Им до неба не достать,
В небе звёздами не стать.
Но из тысячи одно
Есть заветное окно.
Озаряй дорогу ввысь,
Не предай, не изменись...

ПОРОГ

Неведомы дороги провиденья
(Не человек располагает – Бог),
От гибели до нового рожденья.
Не гибели! Ухода за порог,

Который представляется *последним*
Лишь слабым взглядам сумрачной Земли.
Шагнешь – вперед. А думалось наперед,
Что все дороги полностью прошли.

Но прозревай, и радуйся, и ведай
Конца с началом тайное родство.
Твой шаг за грань – начальный, не последний –
В миры, где вечных истин торжество.

ДОЖДЬ

Из темноты бездонной неба
Вдруг – дождь –
Нешадно, косо и нелепо
Похож
На мокрого ежа-лохматку –
Фырчит.
Раскину зонтика палатку
В ночи
Ты заньрни под пёстрый купол –
Вдвоём
Нам будет весело и глупо.
Пойдём
По разлинованным пунктирам –
Держись
К обетованным не-квартирам
Вверх, ввысь!

ПОЛЁТ ЛИСТА

Чертёж листа каштана
Античностью манит.
Окно кафешантана
Зеркалит аконит.

Смешались желть и зелень
И, распахнув ладонь,
Кружа, как крылья мелен,
Кося, как дикий конь,

Всё ближе лист летучий.
Отбросив лёгкий страх,
Ловлю счастливый случай,
Что на семи ветрах

Спустился с грёз случайно,
Как резвая кефаль,
Сверкает влажной тайной
И щупает асфальт.

Твой черенок изогнут,
Как лукоморья вид.
Летим! Куда угодно
Летим! Меня лови!

На тонком коромысле
Средь пёстрых лопастей
Моё сознание виснет.
Поймай, прими скорей...

Лечу листом опавшим.
Хоть осень – не весна,
И жить уже не страшно,
И гибель не страшна.

НЕ МИРАЖ

Накидки у берёз лимонно-сочны,
Оскомина от пьяной желтизны.
Роскошный клён хвост распустил, что кочет,
Ища с соседом ссоры и войны.

Оглянешься с холма – рыжеют балки,
Осиновый узор кровит в лесах.
Себя ли мне или деревьев жалко,
Но подползает кошкой пёстрой страх:

Желтушности цыплячьей не сберечься,
Разгулов багреца недолог век,
И я спешу своей сумбурной речью
Заполнить белый лист, что стелет снег.

Придёт зима – читай тысячелетье
Молчания, покой небытия.
Она вслепую ловит чёрной сетью
Всё то, что описать не в силах я.

Застыв у облетающей берёзы,
Шепну, встряхнув чужих словес багаж:
«Как хороши, как свежи были розы...» –
И вдруг пойму: бессмертье – не мираж.

В ПОЛУТЬМЕ

В полутьме роятся сны и строки,
Сквозь листву едва процедит медь
Солнце, пробиваясь на востоке,
Но ему за тучей только тлеть.

Кошка нагулялась летней ночью
И сопит, закутав лапой нос.
Что ж меня внутри как будто точит,
Донимает тягостный вопрос?

Ляжет день линованной бумагой –
Чист и прост – рисуй или пиши.
Где же дерзость? Где моя отвага?
Силы нет достать карандаши.

День прошёл. Не сделаны уроки.
Гладь листа пустынна и чиста.
В полутьме роятся сны и строки.
Лишь уснуть, уснуть сейчас оста...

НОЧЬ

1

Был Тютчев прав – не ночь покров, а день.
И повторяя «под покровом ночи»,
Наводим только тень мы на плетень,
И наш плетень становится короче
На день-делень и неделимость – ночь,
Когда сомкнём натруженные веки
И думаем, что эта ночь точь-в-точь
Забота об усталом человеке.

Ночь сомкнута с изнанкой бытия,
Где нити снов в переплетеньях тайны,
Когда-нибудь сомкнуться с ней и я
Вдруг чрезвычайно и необычайно
Возжажду. И увижу без прикрас:
Тончайшею прерывистою строчкой
Жизнь вшита в колоссальнейший матрас.
Раскинувшись на нём, почивает Ночка.

2.

Я знаю, ночь, с тобой не совладать.
Ты разольёшься чёрным молоком.
Наверное, ты мачеха – не мать,
Но только твой родным считаю дом.

Ты никогда не выскажешься всласть.
Моих же откровенностей тщету
Уносишь, позволяя ей упасть
Во мрак безлунный, в бездну, в пустоту.

Ты мне чужда, с тобой почти враги.
Но там, где все предстанем без одежд,
Ты отзвуки и тени сбереги
Моих слепых движений и надежд...

И, может быть, сквозь тёмное стекло
Чуть проблеснёт утраченный огонь...
Ты всё, что не сбылось и не пришло,
Своею волей в бездне узаконь.

Silentium*Молчи, скрывайся и таи...**Ф.И. Тютчев*

Брильянты слов раздать готов
Мудрец в большом волненье.
Но сто голов, как сто коров,
Мычат в недоуменье.

Мудрец не рад: опять мычат,
Но суть не ловят люди.
Умов палат неровный ряд
Его стократ осудит.

Потешный полк – зубами щёлк –
Грызёт гранит науки.
Не видя толк, матерый волк –
Мудрец завыл от скуки.

Скрывай, таи мечты свои,
Храни свой жемчуг росный.
В нём яд змеи, в нём соль земли,
Но нет на мудрость спроса...

Меньшиков Владимир Петрович

СТИХИ о РОССИИ

Цикл «МИСТИКА ПОЛЕЙ»
(Масонство. Окультизм. Танцы)



Владимир Меньшиков родился в Пинежском районе Архангельской области в сентябре 1953 года. После школы работал в лесостроительной экспедиции, служил в армии, потом закончил Ленинградский пединститут, факультет истории. Живет в Петербурге. Член СП России с 1993 года.

Автор поэтических книг «Окультизм. Оккупация», «Звероисповедание», «Гармонь снопа», «Стихотворения», «ГОЭЛРО горла», «В начале тысячелетия», «Русский простор», «Прорыв», «Приладожье», «Похвальная грамота», «Предыдущий оратор».

Лауреат литературных премий России (1997) и (2002).
Награжден юбилейной Есенинской медалью

МИСТИКА ПОЛЕЙ»

(Масонство. Оккультные танцы)

Колос

*«И покажут еще, что головушки
Срезал серп ритуальной луны»...
«Крестьянские поэты»*

Дома, крапива и овин
Да неповинные деревья,
Под шум которых брел один
По староладожской деревне.

Огнями лестницы метро
Да буржуазности на склоне
Цветы желтеют, но в нутро
Земли мистической - не ноне.

Ведь без свиного «пятака»
Прорвусь на этот Эскалатор.
Но не востребован пока
Как наидревнего новатор.

Необходим полям равнин
Поэт языческого толка,
А колосок всего один
Вдоль сельской тропки до поселка.

На урожай кривой ногой
Наковыряет область сметы.
Зачем считаем, дорогой,
Что Серп Оккультный обессмертит?

Подточат синие жуки
Под нищим гробом табуреты...
Прибьют свои же мужики,
Свои ж «царковные» поэты.

Дозволят мне и колоску
Дозреть враги - и сгнуть на поле,
Но я звериную тоску
Готов провить в цветочном доле.

Звездное зомбирование

(Тварь дрожащая)

Прозвенела звезда за окошком,
Резко звякнуло в раме стекло.
Ждать с подругой осталось немножко,
Чтобы дрожь охватила село.

Это наши уставшие души
Добывает мелодия грез!
А изба деревянные уши
Закрывает руками берез.

С двух сторон от избы посадили,
Чтобы легче, быстрее прикрывать.
Сладкозвучие звездных идиллий
От окошка отбросит в кровать.

Предлагает растрепанная перина
В полевою депрессию впасть...
Прорычу на созвездье зверино
Да еще на масонскую власть.

Мне наставить б вдоль комнаты чурок,
Коль не выстроил взводик людей.
Остается последний окурок
На десяток нервных идей.

Подыграй, молчаливая Лиза,
А не то я к другой соберусь:
Разрушители социализма
Параллельно разрушили Русь!

Россия масонская

« Бильярд - германская игра, в которой магическим образом разбиваются масонские образования: пирамиды, СССР. СНГ и...Россия. 15 шаров-15 республик».

Здесь цветы, как божья милость.
Здесь просторы широки,
Чтоб масштабнейше резвились
Мировые игроки.

Нас (а каждый здесь - невольник!),
Как бильярдные шары
В деревянный треугольник
Собирали для игры.

Кий в пространствах полусонных
Ударял, и на сукне
Мы катались, как в кальсонах,
С убеждением «сук нет!».

Поле стерлось, потускнело,
Хоть в раздолиях июнь.
Папироску отупело
Закурил с пусканьем слюнь.

Стол - чиркан, а кий, как спичка.
Клуб сгорел, а с ним в огне -
Книги сталинского списка,
Архинужные стране,

Так же сборник «Знание - сила»
Со статьей, что за Дубной
Установка расщепила
Ядра мощью пробивной.

Стынут ноченькой прекрасной
Девы, ивы - и в кошмар
На меня летит ужасный
Биллиардный лунный шар!

Русь - извечный треугольник,
Где парадность и масс сон,
Где разбивщик и раскольник -
Разыгравшийся масон.

На коленях

Ничем не заслониться
От западных столиц.
Как будто заслан Ниццей
Циничный возглас «Ниц!».

Спускаешься, невольник,
Среди цветочных трав,
Масонский треугольник
Коленками создав.

Сидишь на пирамиде
Подогнутых ножищ.
В Правительстве и в МИДе
Не выдадут на жизнь.

Подыскивай эпитет,
Чтоб выразить боль лет,
Покажешь им Египет,
Они тебе - балет,

Где просит балерина
Протянутой ногой.
Станцована доктрина
Заниженности, гой!

Под задом: пирамида -
Гробница или кол.
Трагического вида
Красивый летний дол.

Магическая призма
Ногами создана,
Сидишь на ней как призрак
Жреца и дрисуна.

Хотя бы как у сфинкса,
Чей зад не для знамен,
Раздались уши фикса-
ции нововремен.

Коленопреклоненный
Под задницей небес
Подался бы в зеленый
Змее-медвежий лес.

Как боевик берлоги
Избрал бы ярый путь
Без хныканья, что ноги
Мог в битве протянуть.

Уйти и не вернуться

В лопуховой глубокой канаве
И на самом высоком холме
Сумасшедшие мысли о славе
Очень редко являются мне.

Чаше в это унылое время
Размышляю про наше село,
Не хочу, чтобы русское племя
Навсегда, безвозвратно ушло.

Если что, пусть походит в пустыне,
Да пустыня от нас далеко,
А во льдах Ледовитого, в стыни,
40 лет «дрейфовать» нелегко.

Там (особый) Полярный Египет
С пирамидой иных образцов,
Сфинксы, танки, надсмотрщики и пед-
институт подготовки жрецов...

Не хочу, чтоб спустились в канавы
Иль, взойдя в тишине на холмы,
Взяв на память цветочки и травы,
Поднялись в царство божие мы.

Не зови меня больше, канава!
Не зови, холм, лазоревым днем!
Не уйдет окаянная слава,
Если мы никуда не уйдем.

Полный улёт
(Соборы - носители)

Стар я и потаскан
(Рожею об наст).
Не был я Фантастом,
А теперь фантаст.

Нас достали небом,
Богом, ангелком...
Возвращаюсь с хлебом,
С полным котелком.

Я - в полку, где танки
Сталинских побед,
Мной для маркитантки
Тоже взят обед.

Вышибут майоры
Ложки у ребят
Ором, что соборы
Улететь хотят.

Унесут на небо
Полюшко моё.
Слышу голос Глеба:
«Батальон, в ружьё!».

Свечки фитилечек
Змейкой зашипел,
Виртуальный летчик
«Низкое» запел.

Спустим всех овчарок,
Саданем огнем,
Смело храм очаро-
вания вернем.

Не дадим собору
Унести район
К лунному Фавору,
В КАББАЛУ, в полон.

Сатанинский Сатурн

Хоть июль, на небе солнца нет.
В атмосфере влажности излишки.
Некуда идти, и я-поэт
Стал аристократничать
в домишке.

Не уехал в черноморский тур.
Шляпу взяв, а на неё - вторую,
Запросто космический Сатурн*
С кольцами -
близ шкафа формирую.

Вспоминаю Сириус-звезду,
Миф об Эхнатоне, пирамиды,
Сатанизм и линию веду
В наши дни, не позабыв обиды.

Малость пожонглирую сейчас
Шляпами и в темный шкаф закину.
Вышло б солнце, осветило нас,
Луг и речку да и всю равнину.

*Сатурн – прародина масонства и сатанизма

Возня с чемоданом (Радист -1)

Не покрыл еще мой чемоданчик
Серой пыли внушительный слой,
Будто там у меня передатчик
Тайной связи с Большою землей.

Тихой лирикой прежние связи
Не наладить с пропащим селом...
Буду шлендять по травах и грязи,
Буду шлепать по волнам веслом.

Агитаторски выйду на люди,
Но, мужик представляющий Русь,
Все же выследит, насмерть зарубит,
Если над чемоданом склонюсь.

Для него передатчик с антенной,
Писк морзянки в избе - шпионаж
В интересах державы страшенной,
Разрушающей русский типаж.

Он прикончит меня ритуально,
С лоборубом * зайдя за плетень.
Я работаю так же провально,
Как Есенин, как Троцкий, как Мень...

Получу транс-космический Орден,
А мужик огребет п...лей.
Я работал всегда на аккорде
Васильково-звучащих полей.

*ледоруб, лоборуб, лоббирование

Третье Отделение

Не ходи меня послушать,
А не то опять у хат
Распохаблюсь так, что уши
Будут быстро набухать.

Станут, словно у примата...
Словно ванны, чтобы в них
Отмывалось слово мата
Хорошо от слов других.

Ко второму отделению
Подтянуться не спеши,
Вдруг срамное откровенье
Изрыгнется из души.

Мой словарь из хулиганских...
Из всего сколочен я:
Ребра - ножки стульев барских,
Учрежденческих, кабацких,
Что разбиты об меня.

Слыша, как орет невежда,
На лицо натянешь плат.
Не ходи, моя надежда,
Услыхать отборный мат.

Обнаружишься в берете,
Ткань которого ала...
Будет отделение Третье
С жандармерией села,

С деревенским Бенкендорфом,
Даже с Пушкиным А. С.,
Что растапливал бы торфом
Современную АЭС.

По-конторски образцово
Африканец и масон
Стал бы править наше слово
Демократам в унисон?..

Меньшиков Владимир Петрович

СТИХИ и СТАТЬИ
на всякий случай

1. ТУРНИР ПЕРВЫХ ЛИР имени РЕВОЛЮЦИИ (стр 38)

2. РАЙОННЫЙ КЛАССИК (стр 45)
(По книге Леонида Полушина «Федорин камень»)



ЛЕОНИД ПОЛУШИН

**ФЕДОРИН
КАМЕНЬ**

Книга пронизана романскими токами. Это тот редкий случай, когда короткие рассказы, новеллы, зарисовки каким-то чудесным образом начинают сливаться в эпическое полотно, в ещё одно художественное свидетельство жизни северорусской деревни второй половины XX века.

*Александр Лысков,
член Союза писателей России*

Автор ничего не выстраивает, ничего не «придумывает». Но трагизм обыденной суетной жизни ранит болью, явной, знобящей или подслудной, временем приглушённой: нет героям Полушина покоя, нет и не будет никогда. Память возвращает их к прожитому-пережитому, и горькому, и счастливому. Это постоянное возвращение – характерная черта полушинской прозы.

*Николай Редкин,
член Союза писателей России*

1. ТУРНИР ПЕРВЫХ ЛИР имени РЕВОЛЮЦИИ

(Вячеслав Овсянников, Александр Медведев, Василий Чернышев)

Вячеслав Овсянников

Нынешнее вхождение в революцию или влет в нее начался тоскливым позднеоктябрьским днем, когда мой сосед, великолепный прозаик Вячеслав Овсянников, заслал в форточку моей квартиры, а позднее и в форточку компьютера Черного ворона – не того, который «вьется и дожидается добычи», а того, виртуального, который, вообще-то, не летает, а буквально окаменев и даже омертвев, классически восседает на незыблемой ветке метафорического древа японской немногословной поэзии.

Присланное Вячеславом знаменитое хайку Басе имеет несколько переводов, но мы возьмем вариант К.Бальмонта:

На мертвой ветке
Чернеет ворон.
Осенний вечер.

Я в тот день даже предположить не мог, что на ту «мертвую ветку» рядом с Черным вороном усядется Красный ворон революции. Это зрелище не для слабонервных: увидеть в предельной близости друг от друга Черный и Красный символы, а в результате объединенный и жутковатый символ Траура. По логике философских построений, не отвлекаясь на череду Хай и «хайль», я, заикнувшись на любимом для каждого русского человека выражении «Япона мать», через хайку о вороне воздушным образом вырубил на еще один популярный символ страны восходящего солнца – на «драконов». Вскоре черный ворон у меня превратился в дракона, а через минуту уже стадо или целая крылатая стая драконов кружилась над парком «Александрино», недалеко от которого, правда, с разной погрешностью в точности измерений, живем мы и наш популярный критик Александр Медведев. На одном из запущенных, но управляемых чудовищ командир летной части драконопитомника В. Овсянников с помощью начальника художественно-силового блока А. Медведева к предстоящему 7 Ноября начертал красными буквами такое замечательное хайку:

Еще колышут
Красными знаменами
Призраки шестивий.

Если мои поэтические дроны, направленные с проспекта Стачек в различные уголки Петербурга, вызывают не больше, чем легкие сотрясение воздуха, то драконы, направленные из «Александрино» в центр города, можно сказать, прямо на Дворцовую и на Зимний, образовали там настоящую политически-климатическую бурю, от которой возникло мощное наводнение или ре-вод-нение, то есть революция вод, революция Невы. Вот как описал этот процесс поэт Овсянников в стихе «Ночная буря» (не слабее Пушкина будет):

В октябрьских фонарях, как сон,
блестит мундир зеленой меди
и в гордых лаврах голова;
он – конный страж своих гранитов
в ночь ветра и Невы, как нефти;
и сжат копытом тусклый змей.

И у колосса под скалой
искрится, прячась, сигаретка;
метнулся плащ, взлетели пальцы
за уносимым козырьком;
на страже спящих зданий я,
в дрожащий сумрак я смотрю.

А грозди фонарей звенят,
гремит, подпрыгивая, урна;
вот студенистая волна
утробой морей дохнула;
растут, растут мне барабаны:
солдат, стреляй! идет вода!

Горою вздыбился гранит.
Но над конем квадратнозубым
глядит неколебимый он;
и коннику я в очи вкован,
в орлиный мертвый взор владыки.
И тускло, тускло смотрит Петр.

Бьет дробь бредовый барабан.
В зените птица-пистолет
блеснула клювом вороненым
над морщью нефтяной Невы.
И вскрикнул выстрел мой звездюю,
ракетой, лопнувшей огнем...

И над утесами во сне
летит мой выстрел на свободе...
А там, над городом своим
мундирный исполин с перстом;
под ним стоит солдатик тусклый,
и пистолет свой стиснул он.

Отлично по-моему и уж никак не жидковато! Очень уместное даже в политическом отношении стихотворение, ведь крупнейшее наводнение, которое описал Пушкин в «Медном всаднике», произошло именно 7 ноября, правда, 1824 года. Картина революционной бури, если к стихотворению еще присоединить хайку с узнаваемыми «призраками шествий», достаточно полная: знамена, урны, вздыбленный гранит, пистолеты – как будто

революционный общегородской погром произошел вчера, свидетелем которого явился полицейский в осенних форменных плаще и фуражке. А перевернутая урна, напоминающая валяющийся на асфальте мусорской мегафон – вообще деталь невероятной выразительности.

«Заводы – рабочим!», а крестьянам – вода и поля? Наводнение – водолюция – водная революция. А полевая революция – это что поллюция – половая революция – ночное семянедержание у юнцов школьного пубертатного возраста. Конечно, ни про меня, ни про Овсянникова не скажешь, что у нас половозрелые года со всевозможными революционными извержениями и выхлопами, но иногда действительность заставляет не то чтобы поиграть в Переворот, а хотя бы написать о нем как о некой надежде на кардинальное изменение жизни, которое мы очевидно что заслужили многолетним служением русской литературе.

«Надежды юношей питают» и пытаются их же пустыми полуночными семенными залпами. Но разве революция 1917 года была холостым выстрелом, выбросом перегревшейся русской спермы в мировой океан, в космос? Спустя 72 года перестройка упразднила соцстрой, но возродила неравенство... о чем кратко, метафорически и математически выверенно сказано в хайку Вячеслава Овсянникова:

Ноябрь напомнит
торжественным «четыре»
попранное «семь».

Александр Медведев

Ветро-ноябрь. Ретро-революционные праздники, которые уже на носу нановремени, в котором оно же глупо и якобы насмешливо ковыряется красным знаменем...

У меня в этот раз всё вроде бы срослось: запустил серию дронов под общим названием «Слава красному Октябрю!», создал в соседнем лесопарке «Александрино» вместе с проживающими здесь же писателями Медведевым и Овсянниковым питомник по выращиванию драконов и бешенных псов патриотизма, купил отменно изданный мед-медиа-метеословарь, чтобы «отметелить» им метафорически всех, кто дает неверные политические и поэтические характеристики.

Тут как нельзя кстати вспомнилось талантливое стихотворение нашего известного критика Александра Медведева, опубликованное в поэтическом сборнике «Поэты и революция», изданном в 2017 году к 100-летию Великой Октябрьской революции.

Завтра, знать, ударит мороз,
Так мне говорит закат, –
Красно-коричневый закат
Придет надолго и всерьез.

Но еще не стал лёд.
Урядник не устал стрелять,
Он по реке не устанет стрелять,
А по ней Чапаев плывет.

Сеют свинец в степях,
Зерна летят по-над водой.
Красно-коричневой водой,
Воин напои меня.

Красно-коричневой водой,
Ворон, оживи меня.

Не скажу, что понравился весь стих, но концовку как новую переработку русской народной сказки считаю великолепной. Сразу же после прочтения я, простая, открытая душа, позвонил Александру, радуясь творческому успеху соратника-литератора. Нет, я не захлебывался от восторга и от «красно-коричневой воды», одновременно «живой» и «мертвой», хотя многие россияне, особенно те, кого проверили на крепость по схеме «ударил – беги» ею, то есть символической жидкостью конкретного политического течения, нахлебались так, что до сих пор во ртах солоно, ведь кровь, даже плакатная, по вкусу явно не сладкая.

Красные Комитеты – это вам не конфеты.

Солдатские каски – это вам не карнавальные маски, если даже они сдвинуты на лица, а вместо отверстий для обзора в них зияют пулевые отверстия. Ни в 1 Мировую, ни в революцию, ни в гражданскую войну русские солдаты в германских касках не воевали, хотя в их матерчатых нашлаемниках, которые стали называться «буденовками», вышагивало полстраны. Масок никто не носил, однако военные подразделения как только не назывались: «красные», «белые», «зеленые»... И конечно не в маске и не в жировой смазке, чтобы не замерзнуть, Чапаев плыл через реку, а всяческие «исторические картонные маски» – которые постоянно сдирают, как в плагиате, друг с друга критики всех мастей – брошенные в народную «красно-коричневую реку» и качавшиеся по ней, как скорлупки от семечек, мешали преодолевать ее раненному революционному герою. Разве пулемет, стрелявший с обрыва по изможденному пловцу, прекращал трещать и принимался верещать: «Маска, стой. Я тебя знаю!». Короче, вся эта детская игра в маски, в какие-то десятиразовые перевоплощения, переодевания, переобувания в кеды и в «землееды» надоела, как любой повтор и обряддла предельно. Так и революцию в конце концов заиграли.

Время летит стремительно, ситуации меняются быстро. Несмотря на очевидный всплеск в революционном стихотворчестве и явный рев-перегрев всего искусства в 2017 году, дальнейшем творческий градус резко снизился многим на «радусь». Поэтический шар с названием «Мировая революция» быстро сдулся и упал в Питере, как презренный презерватив, около подъезда желтого дома, в котором располагался очередной заширканый салон интим-услуг.

Красная Река, через которую плыл Чапаев, не то чтобы обмелела, но обесцветилась, посерела. Опять, как в советские анекдотические времена, стали прикалываться над Василием Ивановичем, и даже я осмелился прямо-таки на лодочно-моторочном ходу продернуть великого Всадника революции в тишке «Ноябрьский гро-текст»:

Катер с ящика водки был громким и пьяным,
Тарахтел и бухтел, как последняя рвань,
Хоть ОСВОД вызывай с командиром Толяном,
Но ОСВОД с той же водки лоялен, как лань.

– Ань, ну где же твой Петька – слепой пулеметчик?
Отыщи и его, и ему же пенсне
Подбери у врача... В. Чапаев как летчик
Пролетает по небу в Троянском коне.

Не ищите его, не ищите в «Урале» –
В мотоцикле и в люльке, куда мог нырнуть.
– Катер, что у тебя за кормой в мини-трале:
Крали или бутылки какие-нибудь?

– В нем чекушку держал, чтобы стала холодной,
Ну а крали, так там они – на разогрев...
На реке этой красной, от белых свободной,
Скоро снегу лежать, занемев, забелев.

Ну, вот видите, всё сов-падает, правда, пришлось заменить во второй строфе вторую строчку, в которой первоначально вместо «подбери у врача» читалось «только пе... не тронь», но прислушался не то чтобы к окрикам, а к советам опытных экспертов, что подобные ню-ансы могут оттолкнуть от меня читателей, и почему-то в первую очередь женщин. Спасибо за подсказку и за ободряющий эпитет «хороший поэт», которым буквально вчера в частном письме осчастливил меня скромный на похвалы Александр Медведев и одновременно мне как бы на ухо наступил, но подсказку я не то чтобы не услышал, а ей не последовал, пожелав остаться «плохим дядькой».

Но все равно все сов-падает, срастается, склеивается, сходится. Совпадает так, что на реке никаких «буль-буль», пуль, а в результате не нуль, а два стиха о Чапаеве! Третьим будешь? Бог трицу любит. Конечно, в революционном стихотворении Овсянникова события разворачиваются на берегу реки, и при желании можно было бы увидеть плывущего и через широкую Неву напротив Меншиковского дворца раненного комдива Чапаева, но без двух стаканов водки, спаренных как бинокль, пожалуй, будет не разглядеть. Так что придется все же отыскать того, кто написал еще один, уже третий по счету стих о Герое. Так что снова обращаюсь к поэтам: кто третьим будет? Праздники ведь, а в праздники можно. Плохо, правда, что водка бьет не по врагам, а по нашим же мозгам.

Василий Чернышев

Вскоре и третий появился! И – браво! – им оказался тоже Василий Иванович, только Чернышев, прозаик, поэт, редактор революционного журнала «Топор». Как человек скромный, он пока не написал стихов ни о себе как народном герое, ни о своем тезке по имени и отчеству – Чапаеве. Но материалов про Переворот у него по шею, по рот – и позитива, и негатива – целый Монблан (мобилизационный план). Может он про бурные события и поумничать, и пофилософствовать, но не равнодушно:

Я преподавал Философию человека,
Не пора ли и мир очеловечить тоже?
Выдрать нас всех из прогнившего века
Вместе с душою из яркой кожи?..

Писатель и мыслитель Чернышев – человек, хотя и имеющий активную жизненную позицию, скорее всего в силу возраста, преимущественно спокойно общается и действует, да и раньше за ним каких либо диссидентских демаршей особо не наблюдалось. Во всяком случае на внешней стороне его десницы не замечается чернильной татуировки с лагерным утверждением «нет в жизни счастья», но да и вообще руки этого поэта-философа, порой проживающего в сельской местности, словно в ссылке за политические прегрешения перед царским правительством, чаще заняты домашним трудом, например, растапливанием печурки в своей деревенской избушке:

Нет счастья в жизни, всё не так,
Дрова сырые сохнут плохо,
Нас злая мучает эпоха,
Горит печурка кое-как,
Любой болван нас одолеет?
Хороший вряд ли порадеет,
Пока с горы не свистнет рак.
Но все же в комнате тепло,
Даль расширяется с рассветом,
В окошке высохло стекло.
Надеюсь: доживу до лета.
Направлюсь утром в огород,
Где вскрикнут розы и тюльпаны:
Ты разуверился, ну вот,
А мы с утра от солнца пьяны.
Еще немного потерпи,
Пока дождем дороги вспенит.
Бабенку снежную слепи:
Она до лета не изменит.
Пока что разжигай дрова,
И, глядя, как огонь неистов,
Послушай Гайдна, Брамса, Листа,
Забудь про деньги и права!

А там, глядишь, мир поумнеет,
 Добро неправду одолеет,
 И даже высохнут дрова!

Вот она спасительная философия обычного деревенского жителя «А там, глядишь, мир поумнеет». И она в данном случае стопроцентно соответствует возрасту и пошатнувшемуся здоровью ленинградско-петербургского писателя-смутьяна Василия Ивановича Чернышева. Какие уж ему теперь митинги, уличные дебаты, выступления? Хватило бы сил растопить печь, забраться на нее, укрыться тулупом и тупо думать, как «народнику» 21 века, о России и об улучшении жизни простого народа. Впрочем, можно и на печи перегреться, особенно если в голове загуляло от лишнего черпачка сельской браги «для отваги». В мозгу начинается брожение сродни революционному, и хорошо если оно хотя бы чуть-чуть контролируется здравым смыслом:

Вернулась осень, вопреки
 казалось, усыпленью тлена.
 Веков протянутой руки
 мы не заметили. Подмена
 объяла нас как страшный сон
 "в разворочённом буреи быте».
«Разбитое окно в Главлите»
хлестнуло выстрелом в висок
 и я очнулся. Есть ли Бог? –
 Он поводьрь для Исаака?
 Бегущий ли единорог
 в полях, воскресших в кущах мака?
 От Аристотеля до нас
 куда, народные витии,
 вы поведете скользкий сказ?
 К победе ль, к гибели России?
 О, *энтелехия зари,*
телеология рассвета!
 Я не велю богам: умри! –
 Но нов я в вихре Первоцвета,
 И старый мир и зла прорыв
 я обнимаю мыслью внове,
 Россию воссоединив
 на грани увяданья в слове.

Мы, книжники, мы свет зари,
 От Аввакума до Толстова,
 Светило властное – гори! –
 сквозь ткань небесного покровя!

Революционные праздники быстро пройдут. Куда медленнее, но все же исчезает и восстанческое похмелье. Читайте, что вам повезло, если вскоре наступает некоторое просветление, переходящее в просвещенческое озарение и Новый оптимизм.

2. РАЙОННЫЙ КЛАССИК

(По книге Леонида Полушина «Федорин камень»)

Эта книга, как свежепобеленная русская печка, на поверхности которой тонко и красочно запечатлен эпизод из книги «Федорин камень», фотопортрет автора, а так же напечатаны отзывы известных писателей. Печка греет и ещё как! Рукописи – содержание этой книги-печки тем не менее не горят. И очень хорошо, что они сохранились, не сгорели, не истлели. Настоящая нетленка.

Во многом благодаря замечательному подвижнику, большому русскому писателю Николаю Редькину рукописи находились под надежным присмотром, потом были любовно перечитаны, ответственно отредактированы и изданы в издательстве «Сказочная дорога» отдельной книгой внушительного объема. Всё в ней сконструировано ладно и логично распределено по тематическим разделам, писатель широко представлен во всех жанровых ипостасях (проза, исторический очерк, краеведение, фольклорное собирательство, эпистолярное общение). Интересны вспомогательные циклы с отзывами известных литераторов, библиографический справочник-указатель, содержательная подборка фотоматериалов. Лично я сравнил, пусть не всю книгу, но добрую ее половину со своеобразным нотным альбомом, в котором музыкальными знаками, словно композитором, прозаиком Полушиным размечено великолепное звуковое полотно, которое читатель прослушивает синхронно с постижением текстов. Милая каждому патриоту деревенская, русская музыка звучит на протяжении всего повествовательного ряда.

В начальное произведение книги, которое называется «Петина жена» и которое я определил как повесть-песня, в само его содержании заложены и последовательно воспроизводятся или даже выплескиваются ритмы, идентичные боевым и лирическим мелодиям военных лет. В канун предстоящего 75-летия Победы эти аккорды звучат особенно мощно и трепетно. Повесть обладает определенной специфичностью, своеобразием, поскольку она не только об «окопной», а еще и о любовной правде Великой Отечественной войны. Показан госпиталь, в котором, как известно, есть место и время для сердечных радостей, там одна из молодых медсестер безоглядно влюбляется в офицера-красавца, беременеет, остается одна, ей предлагает свое участие раненный боец, который позднее отправляет ее, отяжелевшую и демобилизованную, на свою родину, в Архангельскую область, на Виледь, где, Марину, несмотря на суровую годину, сердечно принимают свекровь и другие деревенские жительницы. Обнаруживается определенная переключка с романом другого архангельского писателя Федора Абрамова «Братья и сестры». Читатель-слушатель одновременно становится зрителем характерного для прозаика Полушина показа войны с «женским лицом», который выделяется во всей глобальной «фронтовой прозе» еще и тем, что автор ведет повествование от имени главной героини произведения. Это же надо так осмелиться, что не испугался предстать перед массовым читателем, которого, к сожалению, в годы его жизни не было, в образе

представительницы слабого пола. И это не какой-то ряженный, не какой-то средневековый актер-травести, работающий в женском амплуа, вообще не лицедей, а писатель правдиво изложивший историю боевой медсестры, историю вообще-то обычной героической советской гражданки.

Дальше – больше. В этой же повести «Петина жена» автор показывает еще и «женское лицо» Вилегодского района (вернее, только начинает показывать с продолжением почти что во всех из последующих рассказов) Женщины, трудовые женщины, и еще раз трудовые женщины присутствуют буквально в каждом произведении. Старые, средних лет, молодые. Мы как-то привыкли, что марка, знак качества, символ края – «вилегодские мужики», а Полушин уже тогда выделил и любовно выписал портретную галерею «вилегодских женщин». Как-то язык не поворачивается сказать «вилегодские бабы». И за такое внимательное и бережное отношение к ним вилежанки должны любить Леонида Арсеньевича нескончаемо. Часто в рассказах решения, главные ходы предпринимают именно они, им доверяют руководящие должности (лично я помню, что в поселке Сорово начальником лесопункта одно время являлась коммунистка М.), да и в чувственных отношениях женщина частенько «танцевала» мужчину, то есть брала опеку над ним, правильно управляла его часто хаотичными, склонными то к безразличию, а порой и к безрассудству действиями.

В некотором, даже эстетическом любовании вилежанками автор не дописывает до конца правдивую замету о том, как тяжело быть женщиной вообще, а тем более в крае с лирическим названием Русский север, где и в нынешние времена муж может являться жестоким главою семьи, диктатором, даже тираном, способным по пьянке выгнать зимой всю семью на уличный лютый холод. Да и вообще в своих описаниях Полушин редко доходит до кровавых крайностей, как бы забывая показать, что тогда Виледь помимо деревень была еще и краем красных леспромхозов со специфическим контингентом трудящихся, где иногда по чистому архангельскому воздуху летали грязные окровавленные топоры. Поэтому у писателя, и без того затертого, ужатого рамками декларированного из Кремля творчества имелся свой круг тем, сюжетов, идей, свои пределы и берега допустимого, границы позволительного. И пусть у Леонида Полушина в рассказах не пронесется заточенные топоры тупых мужичьих разборок, но зато певуче витают всякие забористые вилегодские слова и крылатые выражения, типа «чтоб тебя кошки залягали», «сказывай, разбойник», «лишние волосы отереблю». А вот и помягче «ой, ты пришитая голова», «жизнь свое дело знает», «упрется – не свернешь», «антимонии разводить»...

Хотя я распелся о живости слов и о песенности рассказов Леонида Полушина, народу вообще-то было не до песен, поскольку работать или «робить» вилежанам приходилось чрезмерно много. Людей вдохновляли и направляли на трудовые подвиги централизованно, а если в селе или в поселке возле магазина на какой-нибудь верхотуре был приделан тарелочный репродуктор, то маршами и ударными песнями со столба. Москва через лозунговые уличные трансляции наполняла населенные пункты советскими

песнями и победными реляциями и одновременно заглушала русскую деревню, голос деревни, глас народа, через который он хотел высказаться про свои проблемы и чаяния. Возможно, в каком-то из рассказов включалось или как звуковой фон звучало домашне-избяное радио, но народ его не особенно слушал и к тому же так уставал, так «упетьывался» за рабочий день, за шестидневку, что порой не было сил включить динамики, через которые их как хотела, так и «динамила» Партия. И пусть в прозе Полушина многое из-за цензуры не досказано, но кое-что вычитывается, правдиво «включается» между строк.

Да у интернационалистической КПСС имелаь такая цель, как заглушить голос глубинки, чтобы не звучало исконное русское слово, истинно народная речь. Но Вилегодское Слово сохранилось в рассказах Леонида Арсеньевича. Как выносили из боя красное знамя, так берёт и Полушин вековую словесность края. Да если честно, он писатель-герой. Заслуживает всяческих похвал и Николай Редькин, принявший знамя и передавший его уже в виде изданных книг новым поколениям. Многие чего пришлось испытать прозаiku Полушину на своем труднейшем литературном пути. Его ведь обвиняли в славянофильстве, и в местничестве и в так называемом «вилегодском сепаратизме». По нашим либерально-извращенческим временам, его, участника Сталинградской битвы, могут запросто обозвать и «фашистом». Все ведь с ног на голову поставили эти демократы-русофобы. До сих пор удивляюсь тому, каким образом громко и так широко на весь СССР прозвучало вопиюще во-о-о-льное выражение «вилегодские мужики»

Теперь еще про одну особенность творчества Леонида Полушина, который в годы войны являлся артиллеристом. Надо сказать, что это самая тяжелая в буквальном смысле военная профессия, ведь частенько приходилось прямо руками перекатывать, а то и переносить орудия по грязи на новые огневые позиции. Артиллерист по роду своей боевой деятельности должен смотреть далеко и обзорно. А встретилось ли читателю в каком-нибудь из полушинских рассказов длительное и подробное описание холмистых мест – а на угористой Виледи есть на что посмотреть – до восторга и слез, перехватывающих горло. Нет этих длинных лирических отступлений, хотя имеются короткие и великолепные отрывки, а ведь к тому же Леонид Арсеньевич – педагог-географ, как никто в районе изучивший живописный ландшафт местности. Жизнь была такая: партия призывала смотреть в коммунистическую даль, молодежь туда и смотрела, а те, кто старше, глядели гораздо ближе – на руки, занятые определенным, чаще всего физическим трудом. Сам Полушин – трудяга, хоть и был в войну офицером, но, вероятно, приучился тягать орудия и управлять конягами-орудиевозами, поэтому сам в мирной жизни вставал за плуг, чтоб распахать огороды или пришкольный учебно-опытный участок. Может, он по каким-то причинам и не очень любил скользить взглядом по великолепными «холмам отчизны», но по своей натуре, понятно что являлся бойцом не дальнего, а ближнего боя. Он как писатель сразу идет на сближение с человеком, персонажем, можно сказать, тут же вступает в рукопашный бой-разговор, в рукопашную любовь – до

читателя помимо разговорных слов доходит и горячее дыхание собеседников. По ходу рассказов происходит бесконечная череда общений, выяснений – на работах, на дорогах, за столами. И везде Полушин мастерски использует, выкатывает, как яблочки золотые слова или их преподносит их, как на блюдецке. Ах, какие определения и сравнения следуют: «гармонь заверещала», «угли заприщуривались», «смерть обокрала начисто». А порой слышатся выражения ругательского толка – «не заплывал бы в постели», «не у шубы рукава» или окрик на курицу, забредшую в огород «Кыш, кыш, лешачиха. Всю картошку разбаракала!».

Да что мы выдержками да словечками, а не пора ли представить Полушина целым отрывком:

«Другой раз на сенокосе было. Вижу: прижимает. Разбросал копну, уложил. Пока из кустов сено выгребал – родила. «Архипушка, посмотри, поди, неладно». Гляжу: а их два! Неловко чего-то по первоначальному сделалось. Смотрю этак в сторону, а она: «Чего там, Архипушка?». Говорю: «Смотрю, всех ли собрали». Не обиделась, только сказала: «Не впервой нам». Уехали на работу вдвоем, приехали – вчетвером. Матери жаловался: «Вот говорю, двух принесла». Та на меня с ухватом: «Ишь ты, на бабу-то напустился. А кто вине начало? Баба что мешок: чего положено, то и снесет. Чего стоишь? Иди баню топить». Пошел, слышу:

«Ты, Настя на него не гляди. Два гостенка. Этого, по дедушке, Пантелейкой назовем, а этого – Гришенькой, как его брата-покойничка звали».

Небо загремело. Капли забарабанили по кабине машины. Витька прибавил газу. Он хотел обогнать дождь и проскочить Большой угор, пока не ослизла дорога. Но лавина дождя, обрушившегося внезапно, враз dokonала дорогу»...

И поехали герои рассказа дальше – на работу, на дела легкие, а чаще тяжелые. Достала деревня своей «горбаткой». Если честно, то страшно появляться в ней порой из-за уймы всякого домашнего труда. Стыдно перед местным населением бывает. Пашут там так, что вечером глаза, как пельменины, слипаются. Или от трудовых перенагрузок «сон не идет, хоть глаза зашивай!». Глаза и взгляд у писателя Полушина особые. И творит он по принципу «Большое видится вблизи». Попробуй из северной деревушки увидеть «столицу – дорогую мою Москву», попробуй из-за забора разглядеть всё вилегодское приволье, за ёлками – лес, а за словами – человека. В этом и заключается масштабность наоборот, то есть полушинская эпичность, она и вилегодская, которую не сразу и отметишь, а то и вовсе не обнаружишь. Кстати, такое видение русского миропорядка возникло еще из-за особенностей его зрения. Во время войны крепко контузило, глаза поранились, поэтому о большом, сверхсоветском, аршинно-марш-инном писал мелкими буквами, о чем поведал его земляк и литературный ученик писатель Николай Редькин, рассказавший в воспоминаниях, что несколько месяцев переписывал повесть «Пегина жена» из красной общей тетради, терпеливо разбираясь в перипетиях полушинского почерка.

Некоторые тайности и особенности, присущие небольшому числу прозаиков, обнаруживаются при чтении полушинских произведений: большинство литераторов расписывают российские необъятные шири, а этот сужает масштаб изображаемого до размеров захолустной деревеньки или ряда деревенок, зато деревеньки, стоящие на вилегодских угорах-холмах например, Демидова гора, в которой жил мой дед, Чижкова гора, Соловьиная гора и другие – далекая-о-о-о видны издали! Однако взгляд художника не равен взглядам его как человека, поэтому резонно предполагаю, что политические взгляды Полушина – это прочитывается – распространялись до Москвы и гораздо дальше, – на зарубежье. В тех рассказах, с которыми внимательно изучил, герои мало говорят о политике, особенно не философствуют, например, на тему, что первично вилегодская природа или вилегодский человек. Их философия – это работа. В большинстве случаев их понимание – «шея есть, хомут найдется». А выраженьем «ухватиться за огород» сказано всё!

Они, конечно, не дураки посчитать сколько трудодней им начислил колхозный бригадир, но похоже огненный призыв КПСС продолжить индустриализацию страны их зажег не очень. О промышленной поступи страны Советов больше иронизировали, например, приветствуя приехавшего из города родственника: «Привет, промышленник!». И в тоже время, что железно соответствует даже уличной цензуре тех лет, ни один из героев не произносит что-либо нарочито антисоветское, антипартийное. Вообще-то, никогда в истории России не существовало таких периодов, когда народ всецело любил власть, хотя теперь в начале 21 века все более и более ностальгируем о так называемой «проклятой совдепии», о советском «кровавом режиме», о теплоте якобы холодного в отношении к людям соцстроя. Лично я тоже стою на социалистических позициях.

Какой-то сконцентрированной чернушности, затаенной злобы на советский строй в рассказах Полушина не обнаруживается. И правильно пишет критик, что в наше громогласное время не видится в них ничего крамольного. Подтверждаю так же наличие безусловной любви Полушина к Родине, а как же, он защищал ее, проливал за нее кровь. И описывая нашу Победу над гитлеровской Германией, Леонид Арсеньевич использует преимущественно не скорбные краски, а светлые, даже в избытке. Дело в том, что военная проза 60-70-х годов пребывала на том эмоциональном уровне, который был все же выше уровня бруствера или «глубины окопа». Тогда на войну смотрели иначе, как-то веселее, оптимистичнее, в книгах, фильмах, картинах преобладали победные настроения, приподнятые тона, хотя о жутких жертвах недавнего прошлого никто не забывал. Тогда русский и весь советский народ на всех площадях и площадках позиционировался как безоговорочный народ-победитель. А в нынешнем 2019 году, в канун 75-летия великой Победы, в стране имеются и в довольно ощутимом количестве противоположные, чуть не официальные, настроения. Конечно, писатель Полушин мог только предполагать, как отзовется его слово этак через полвека, но никто и не собирается выставлять ему по поводу ошибочного прогнозирования какие-либо претензии.

Послевоенный Полушин – это такой символический землепашец и сеятель не только светлого и разумного, то есть школьных знаний, но и непосредственно сермяжных зерен (смотрите фото в конце книги, где он идет за конем и управляет плугом). Откуда Леонид Арсеньевич мог знать, что в будущем русскую землю вдалеке от Виледи идеологически и реалистически перепашут и покидают в нее семена злости, ростки которых, преодолевая подземные пространства в самом конце 20 коммунистического века взойдут и на Виледи как урожай нищеты и обездоленности. Таким же образом под Вилегодским районом слепошарые государственники произвели ядерный испытательный взрыв. Поэтому Николай Редькин назвал Полушина, который постоянно и яростно митинговал против проведения этого Подрыва, вилегодским Сахаровым. Подобным сравнительным методом выявляются ассоциативные связи между Болотной улицей, на которой в селе Ильинское жил писатель, и московской Болотной площадью. А когда слышу где-либо название Болотная площадь, вспоминаю Болотную улицу. Не нет, нет, теперь она уже улица Полушина, названная так для увековечения памяти выдающегося вилежанина-писателя. Памятью, горячей или холодной, живет и выживает род человеческий. В том и непреходящая заслуга Леонида Арсеньевича, что он подробно и безусловно талантливо отобразил на бумаге живые картины прошлого, живые разговоры. Кстати, надо упомянуть и еще об одном, прямо-таки жутковатом варианте сохранения памяти – это причитания вилегодских женщин об умерших или погибших. Сам в детстве неоднократно видел на кладбище в Вилегодске, как женщины, в истерике и слезах обнимавшие, распластавшись на земле, могилы. Причитали, вспоминая своих родных.

Вот один (рассказ «На ухабах») из видов или случаев причитаний, правда, уже не на погосте: «Архип Петрович осоловевшими глазами смотрел на дрожащую на ветру осину. В памяти воскресали картины далекого и недавнего прошлого. Сгорбленная и исхудавшая стоит его Настасья перед карточками убитых на войне сыновей, тихо, еле слышно разговаривает с ними, будто они живые: «Зачем вы меня покинули на старости лет, голубчики вы мои ненаглядные. Не знаете, не ведаете, как ваша кормилица век свой доживает. Хоть на часок бы явились, хоть на минуточку бы, хоть во сне бы привиделись. Во сне-то и то не показываетесь. Забыли, как за хворыми ухаживала. Забыли, как снежок из рукавичек вытряхивала, как ваши рученьки в студеную воду совала, чтоб боль утихла. Не я ли вам шмелиный медок с покосу приносила. Тогда радовались, прыгали, ягняточки мои. Теперь и во сне не показываетесь. Умерли бы дома, сложила бы ваши рученьки, закрыла бы ваши глазоньки. Ныне-то чужая вода ваши косточки моет. Ой, деточки мои, сыночки мои! Не знаете, не ведаете, как ваши сиротки растут, как им без отцов-то тошнехонько... Мне в гроб давно пора, а вам красоваться...»...

Много чего еще такого, трогательного, написанного на горестном или радостном надрыве, есть в произведениях человеколюбивого прозаика.

Что еще надо сказать о рассказах Леонида Арсеньевича? О правдивости и напевности его повествований написал предостаточно, разговорное вилегодское слово тоже оценил по высшему разряду.

Прямо-таки роскошь – россыпь слов, использованных в рассказах. Реченька Виледь как речь. Вилегодская. Русская. Очень богатый словарь, у Полушина, невероятно широк спектр живых человеческих чувств, сочен и точен народный юмор. Через разговорную речь, а так же через беззвучные исповедальные монологи прозаик искусно показал характеры и души местных жителей, их чаяния и надежды. В этом плане показательны рассказы «Несьть» и «Улька», где подробно описаны характеры только двух персонажей (великана Максима Горохова и миниатюрной, но несгибаемой Ульяны) из длинного портретного ряда разнообразных героев полушинских повестей, рассказов, баек, различных фольклорных миниатюр.

Конечно, имеются «жиденькие места», присутствуют некоторые недописанности, встречаются и «сдувшиеся» рассказы, но не они делают погоду. Совершенно другие произведения создают нормальный и здоровый климат, а не «клинику» в книге. Нет заведомо нудных «вещей», которые не трогают душу. Повествования в основном яркие, зажигательные, запоминающиеся. Писатель Полушин – очень хороший рассказчик – заслушаешься, улыбнешься или запечалишься. Определения людей и животных чаще ласкательные (мальчик-голопятик, сыночек-ангелочек, бык Рогатик, кот Кустик). Даже слово, характеризующее ершистого, поперечного человека звучит незлобиво – Суковатик.

Последние рассказы датированы восьмидесятыми годами прошлого века. Много уже воды живой и мертвой, да и крови русской, в том числе, вилегодской, утекло со дня смерти значимого, запоздало замеченного, несомненно талантливого прозаика. И вот эта отлично изданная книга «Федорин камень» пусть будет красочной глянцевой, в некотором роде монументальной плитой, литературным вековым камнем в память замечательного русского писателя Леонида Арсеньевича Полушина!



Геннадий Муриков

Критика о критике

(А. Андрияшкин «Статьи о литературе истории». СПб, «Светоч», 2019 г.)

Возможно ли покушение на Колибри?

(А. Андрюшкин «Статьи о литературе истории». СПб, «Светоч», 2019 г.)

Читатели, особенно интересующиеся литературой востока, знают А. Андрюшкина как переводчика с персидского и арабского языков. Он перевёл около 10 романов писателей, пишущих на этих языках. Но вот парадокс, не мешает ли объём его переводческой деятельности выражению самостоятельной позиции его как автора? Ведь, в конце концов, не все читатели увлечены историей Ирана и арабских стран. У нас есть свои проблемы и задачи.

В этом сборнике А. Андрюшкин, как бы утомившись чтением восточных авторов, решает вернуться к родным пенатам, т.е. на российскую почву. Самое интересное то, что автор обращается к творчеству практически забытых или полузабытых писателей советского времени, таких как Л. Соболев, поздний К. Федин, В. Кочетов, П. Павленко, А. Первенцев и др.

Когда я учился на филологическом факультете ЛГУ в конце 1970-х годов, то в программной литературе был указан роман Павленко «Счастье». До сих пор помню, как в конце этого романа главный герой говорит примерно так: хорошо, что у вас на столе томики Сталина, это залог будущего. И вот теперь мы переходим к странной мысли автора, будто бы все упомянутые писатели (в том числе и В. Кочетов) якобы «держали фигу в кармане», так или иначе с помощью тонких намёков выступая против советской власти. Вспомним, например, роман К. Фекина «Города и годы» (1924 г.), который, действительно, можно считать антисоветским, но о нём А. Андрюшкин почему-то не упоминает.

Тонкая аналитика А. Фадеева в романе «Разгром»: организатор революции еврей Левинсон, бессмысленная масса партизан и спасающийся от революции русский интеллигент Мечик, – всего этого А. Андрюшкин даже не заметил. Нет, в числе упомянутых им литераторов врагов советской власти не найдёшь, наоборот все они – искренние ленинисты-сталинисты: не каждому придёт в голову пустить себе пулю в лоб в связи с изменением курса партии, как это сделали Маяковский, Фадеев и Кочетов.

Ещё большее сомнение вызывают странные мысли автора о роли православия в наше время: якобы «церковь к началу XXI века уже полностью восстановила свою лидирующую роль в России (А была ли вообще когда-нибудь такая роль? – Г.М.), и, соответственно, духовным лидером России (“по должности”) является Святейший патриарх» (стр. 54). Извините меня, Александр Павлович, но такого рода признаний я не слышал и даже не думал услышать ни от Путина, ни от правительства, ни от руководства РПЦ, ни вообще когда-либо в русской истории... Мне кажется, что это похоже на лилоблюдство.

Пойдём дальше. Среди перечня советских писателей, якобы в душе антисоветских, творчество которых автор изучил досконально, почему-то отсутствует известный в своё, да отчасти и в наше, время В. П. Суров. Его деятельность вызвала эпиграмму: «Суровый Суров не любил евреев / Где только мог, их всюду обижал, / За что его не уважал Фадеев, / Который тоже их не обожал». Хотелось бы узнать у автора, неужели были антисоветчиками в душе С. Бабаевский, М. Бубеннов и даже И. Шевцов, автор прогремевшего в

своё время романа «Гля»? Думаю, что советская культура сама по себе внутренне [*по коммунистически?*] религиозна, и многие из писателей искренне в коммунизм веровали.

Но это ещё не всё. Автор почему-то убеждён, что «социализм» будто бы неизбежная стадия развития России. А. Андрюшкин – тонкий исследователь иранской культуры. Но вот вопрос, откуда известно, что исламизация Персии–Ирана – это якобы необходимая стадия развития персидской культуры? Мы хорошо помним даже из школьных учебников, что задолго до нашей эры древние персы (поклонники Заратустры) воевали с древними греками. Тогда ни о каких исламистах даже слуху не было. Но вот пришёл «исламист» Ленин и просто сказал: «Россия завоёвана большевиками». То же самое сказал исламский «большевик» Аятолла Хомейни в 1979 году.

Проблемы веры и религии автору явно не удаются. По-видимому, он сам не очень во что-то верит, а только делает вид, что он истинно православный [*и навешивает ярлыки неправославным*]. Например, верование большей части теперешних немцев – лютеранство – объявлено им «чудовищной подлостью» (стр. 303), Гёте провозглашён идеологом гомосексуализма, а распад Советского Союза объясняется влиянием некоего рыхлого «немецкого цемента» (стр. 320).

Подведём итоги: автор не любит немцев и всё германское. Одна из статей сборника так и названа «Дегерманизация». В ней автор приводит результаты своих размышлений: главное – это будто бы борьба за православную церковь, которая якобы ведёт к спасению России: «Разрушая диктатуру КПСС, русские люди на самом деле не “бежали на Запад”, наоборот: мы на Западе искали спасения от чрезмерного западничества советской идеологии!» (стр. 340). Хорошо. Неужели диссиденты, преимущественно евреи, рвались на Запад из Советского Союза, [чтобы найти там Восток?] ([Да кстати], Израиль – это запад или восток? – Г.М.)?

Предоставим читателю [впрочем, самому] ознакомиться с книгой и сделать свои [собственные] выводы.

[Примечание редактора. В квадратных скобках редактором поставлены для облегчения чтения пропущенные автором слова-связки, которые никак не изменяют смысл его высказываний. *Педантичный читатель* может их зачеркнуть, автоматически удалить из компьютерного текста, сделать невидимыми или замазать белыми. Что же до автора, надеюсь, он согласится с небольшой безвредной редакторской правкой, учитывая, что в массе наши авторы чрезмерно обидчивы и не позволяют редактору даже запятые переставлять с места на место – тогда для чего нужен редактор? Впрочем, я надеюсь на то, что уважаемый Геннадий Геннадиевич либо не заметит моих вольностей (так как он своих статей в напечатанном виде не читает, да не всегда читает и в рукописном), либо согласится, что это приемлемая и не вредная стилистическая правка, каковую позволял себе и Твардовский в журнале «Новый мир» в отношении не менее знаменитых авторов (кстати вспомнить, что в моем первом напечатанном рассказе помимо того, что он был редактором сокращен, и потому стал «круче», еще и название было изменено из «Женитьбы легкомысленного племянника» на «Попойку серьезного дядюшки», почему меня даже за него исключили из школы.]

Возможно ли покушение на Колибри?

Новый роман Александра Проханова «Убить колибри» (М., 2017) заслуживает чрезвычайного внимания, поскольку он посвящён возможным покушениям на В. Путина со стороны разного рода псевдообщественных и политических структур. Само слово «колибри» – в определённых кругах символ президента. Убить колибри – это значит убить президента. В своё время В. В. Маяковский, тоже не большой любитель птиц, советовал тогдашним властям: «Скорее головы канарейкам сверните, – чтоб коммунизм не был канарейками побит». Отождествить теперешний строй с коммунизмом времён Маяковского – можно ли? Оказывается – можно.

Но почему В. Путин в романе назван колибри? Вот что говорит один из ближайших членов его окружения: «Наш-то Колибри совсем сошёл с ума. Ударился в похождения с молоденькими балеринами. Ему в резиденцию привозят балерин из Большого театра. (...) – стыдоба! Развёлся с бабой, унизил её перед всей страной! Ходит бобылём и плодит детей на стороне. (...) Вы думаете, что Колибри диктатор? Второе воплощение Сталина? Страшный деспот и империалист? Строитель ГУЛАГА? Всё вздор! Он законченный либерал. Гедонист. Не любит работать. Любит бассейны, путешествия, прекрасных женщин. (...) Обожает встречи с мировой элитой» (с. 31-32).

Вот примерно такой образ Президента создан А. Прохановым в этом романе. Но это не сатирический роман. Оказывается, по сюжету романа предполагаемых заговорщиков много, и даже против Колибри в кремлёвских влиятельных кругах создаётся заговор. В тексте приводится много разных шуток. Например, некий певец Штырь, за которым угадывается, видимо, Шнур, поёт на банкете в Кремле:

«– Спасите, Бога ради, // В кремле засели...! Ты, главный наш начальник, // Не развай... ! У нас одни вопросы, // Во власти...! На церкви позолота // А в ней одна...!»

Эти последние слова Штырь выдохнул, словно из его разъятой пасти полыхнул синий огонь» (с. 36-37).

Сюжет романа состоит в том, что заговорщики якобы окружают Президента со всех сторон. В их числе некоторые представители мистических структур. Один из них говорит: «Я вижу, как крошится замковый камень российской государственности. Президент есть замковый камень, на котором держится свод государства. Вокруг замкового камня возникают трещины. Свод начинает ходить ходуном, и если камень упадёт из гнезда, рухнет весь свод. Таков закон» (с. 158).

Но в чём же суть этого заговора, о котором пишет А. Проханов? На этот вопрос отвечает один из героев романа: «Президент является центром заговора. Замковый камень сам себя крошит и выталкивает из свода. (...) Наш Президент предал дух. Этот грех неотмолим» (с. 159).

По ходу романа его главным герой – генерал КГБ-ФСБ Игорь Петрович Макарец встречается с разными персонажами в поисках организатора заговора против Колибри. В итоге он натывается на руководителя

Центрального телевидения – в романе Евгений Генрихович Франк, – который и оказывается главным организатором заговора против Президента. Франк малодушно сдаёт всех участников, и заговор рушится.

Неужели прообраз Франка – это руководитель первой программы Эрнст? Но это только наша гипотеза. А вот в одном из персонажей романа – Максe Миловидове легко угадывается популярный телеведущий советского времени, а позже коллега А. Проханова по работе на радиостанции «Эхо Москвы», Александр Невзоров. «Как он защищал Советский Союз, как он защищал Россию! Вот кому надо присваивать звание героя России!» (с. 118). И вот в кого он превратился теперь: «Когда-то Макс Миловидов вёл искромётную программу на телевидении. Молодой, отважный, словно сказочный герой, он сражался с либеральными полчищами, добивавшими несчастную страну. (...) Вся поверженная страна приникала к телевизору, когда на экране появлялся насмешливый и бесстрашный красавец Макс Миловидов, его камуфляж, его телекамера, с которой он работал то в Приднестровье, то в Абхазии, то в Чечне.

Потом он внезапно исчез. Годы о нём ничего не знали. Говорили, что он умер, погубленный чёрными колдунами. О нём почти забыли. И вдруг он вновь появился, словно встал из могилы. Разительна была его перемена. С жестокостью мясника он кромсал и рубил всё, чему поклонялся» (с. 122).

Я как-то писал в «Литературной России» о новой деятельности А. Невзорова, но мой голос вряд ли был услышан мастером коннозаводческого бизнеса, впрочем, полагаю, так же, как и голос А. Проханова, сделавшего его главным героем романа-памфлета «Русский камень» (М., 2017). В романе «Убить колибри» Макс Миловидов прямо заявляет: «Русского народа не существует. То, что зовётся русским народом, есть заблудшие племена, которые в своих скитаниях попали в великую пустоту и там заснули. Русская история – это дурной сон, в котором бродят лунные тени безымянных кочевников, синеглазые мертвецы и окровавленные эмбрионы» (с. 124).

Автор не обращает внимания на тот факт, к кому Макс Миловидов (А. Невзоров) относит сам себя – ведь он русский человек – именно к «синеглазым мертвецам» или «окровавленным эмбрионам»? А нам, поскольку его трудно принять за негра, еврея, или китайца, кажется, стоит на это обратить внимание: Удачи тебе, недоразвитый эмбрион!

Рецензируемый роман Проханова читается на одном дыхании, поскольку, как всегда у автора, особенно после романов «Теплоход “Иосиф Бродский”», «Господин Гексоген», «Виртуоз», «Алюминиевое лицо» и др., – это острая политическая сатира, в которой часто персонажи с вымышленными именами перемежаются с подлинными фамилиями современных политических и общественных деятелей. Эрудиция А. Проханова – колоссальна, и всё, о чём он пишет, даже эзоповским языком, является фактическим отражением современной действительности

А. В. Осипов

***РИМСКИЙ ОРЕЛ
И
РУССКИЙ ПОРЯДОК***

В начале XV века черный двуглавый орел появляется и на гербе «Священной Римской империи германской нации», в 1806 году его унаследовала Австрийская (с 1867 – Австро-Венгерская) империя.



Порядок – это форма, которую принимает жизнь, но никак не причина жизни. Соразмерность стихов – свидетельство их завершенности. Но не с соразмерности начинаются стихи, она приходит, если ты как следует помучился. Однако любители порядка говорят ученикам: «Взгляните, это – великое произведение, и как идеально оно упорядочено. Заботьтесь прежде всего об упорядоченности, она – залог величия». Послушавшись их, вы создадите мертвый скелет или мумию для музея.

Я возвращаю любовь к царству, и благодаря ей все упорядочивается, на своем месте оказываются земляпищец, пастух, жнец – и над ними зиждитель, оплодотворяющий их любовью. Так укладываются в ряд камни, когда ты понуждаешь их служить славе Господа. Их порядок рожден любовью зодчего. Ты споткнулся о слова. Служи жизни, и все упорядочится. Служить порядку – значит сеять смерть. Порядок ради порядка – это уродование жизни.

Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель

Традиционно считается, что Римскому орлу противопоставлен Двуглавый орел Российской Империи. При всем уважении к значению этого знака российской государственности, мы предлагаем другое противопоставление, которое, как нам кажется, является менее ярким, но более значимым. Сакральная сила символов государственности проявляла себя наиболее отчетливо в критические минуты, особенно во время войн и социальных потрясений. (Например, во время Отечественной войны 1812 года.) Об этом и пойдет речь в статье.

Глава 1. Римский орел

В отличие от многих иных, туманных мифов естественного происхождения у других народов, римский миф был внятно выстроен. Это во многом было связано с таким заметным свойством римской культуры, как откровенная страсть к порядку (ordo), к господству четко простроенной формы, ясной и привлекательной, но настолько самодовлеющей, что можно подумать, именно в этом формальном порядке и заключается весь смысл существования Рима.

А. Малер. Константин Великий

Формальный порядок мы обычно воспринимаем как нечто необходимое, хотя иногда и скучное. Альтернативой к нему является хаос, беспорядок, анархия. Тем более, когда идет война и управление войсками должно иметь свою логику и, следовательно, порядок.

– Да, я чту порядок, – говорил отец, – порядок жизни. Упорядочено дерево, хотя живут в нем разом и корни, и ствол, и ветви, и плоды, и листья; упорядочен человек, хотя живет он и умом, и сердцем, и никак не заставишь его только пахать землю или только совершенствоваться, нет, он копает землю и молится, любит и выстает перед соблазном любви, работает, и бездельничает, и вслушивается в мелодию вечера.

Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель

Первоначально Римский орел был обычным обозначением легиона, одним из многочисленных обозначений, которые использовались во избежание путаницы в сражениях с большим количеством войск. Считается (об этом можно почитать у А. Малера, Аппиана или в книге «Badian Ernst. Roman Imperialism in the Late Republic, 1968»), что изображение римского орла с расправленными крыльями начал использовать Гай Марий – римский военачальник высокого ранга, консул. Гай Марий считается реформатором римской армии, он ввел разделение на легионы, когорты и центурии, ввел призыв, службу в течение 25 лет, оформление трофеев как собственности победителя и т.д.



Рис. 1. Юпитер.

Мрамор I в. Бронза XIX в. Эрмитаж

Аппиан в своей книге «Римская история» указывает, что ко времени Мария орел, наряду с конями, быками и т.п., был лишь одним из значков, отмечавших воинское подразделение. Как, например, прозвища команд по регби: Bulls, Los Pumas, Eagles и т.п.

На картине Тьеполо мы видим штандарт Гая Мария, украшенный таким орлом.



Рис. 2. Джованни Тьеполо «Битва при Верцеллах».
(победа Гая Мария над кимврами в 101 до Р.Х.)

Сципион же продолжал утверждать, что, начиная какое-либо дело, надо быть благоразумным, когда же опасности подвергаются столько воинов и значков, надо прибегнуть к отчаянной дерзости.

Аппиан. Римская история

Марий умер в 86 году до нашей эры, а в 53 году произошла история, описанная Валерием Максимом:

Печальные и безмолвные воины собрались на главной площади лагеря, а между тем, по древнему обычаю, они должны были выступить на битву с ликующими возгласами. С трудом примирил сумел поднять одно знамя с орлом, а другое знамя, когда его с огромными усилиями извлекли, вдруг обратилось ликом орла в другую сторону. Это были страшные знамена, но грядущие бедствия оказались еще более страшными. Было уничтожено столько лучших легионов, столько знамен было захвачено врагами, такой цвет римской армии был растоптан конницей варваров, глаза отца застила кровь его высокоодаренного сына, а тело главнокомандующего, лежащее на груди трупов, было оставлено на растерзание птицам и диким зверям. Я бы хотел писать более спокойно, но такова правда. Так сбываются предсказания богов, которыми люди пренебрегли, так наказываются людские решения, если люди считают себя выше богов.

Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения

Правда, Валерий Максим хоть и ближе нас к описанным событиям, но все же вторичен. И, тем не менее, с уверенностью можно утверждать, что ко времени смерти Мария простой значок орла уже набрал определенный сакральный потенциал, то есть превратился в символ. С чем связано это превращение, если не рассматривать только эффектный внешний вид этого значка? Чуть позже постараемся осознать это, а пока проследим, каким становится этот значок в наше время.

Глава 2. *Novus ordo seclorum*

Начнем с самого яркого орла, точнее орлана, созданного в 1776 году и изображенного на Большой печати США. На реверсе этой печати масонские знаки с надписью на ленте, интерпретируемой зачастую как «новый мировой порядок». На самом деле это строчка из IV эклоги «Буколик» Вергилия:

*Сызнава ныне времен зачинается строй величавый,
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.*

Эта эклога Вергилия дает надежду на наступление лучших времен:

*Если в правленьи твое преступленья не вовсе исчезнут,
То обесселят и мир от всечасного страха избавят.*



Рис. 3. Большая печать США.



Рис. 4. Большая печать США. Обратная сторона.

По-видимому, чтобы избавить мир от «всечасного страха» и используется метод «кнута и пряника»: в одной лапе стрелы, в другой лавровый венок.

Сформировавшаяся еще во времена Мария легенда о том, что тот, кто будет хозяином этой птицы, воспевающей порядок и иерархию, тот станет хозяином всего мира, не могла оставить равнодушным Наполеона. Когда

появилась идея наполеоновского значка и сам значок, сказать трудно. По-видимому, еще в те времена, когда Наполеон был первым консулом.



Рис. 5. Орел Наполеона (1804-1815).

Этот орел должен был служить наверху для знамен полков, о чем был выпущен соответствующий указ сразу же после коронации Наполеона как императора Франции. Заметим, что и в гербе Первой империи, и на значке он смотрит влево.

Этот орел прожил недолго. Формально до Ватерлоо, но фактически много раньше, в ноябре 1812 года он потерял свою сакральную силу. Через день после того, как армия Чичагова взяла Борисов, и за два дня до страшной Березины произошло символическое событие, которое так и вошло в историю под названием «сожжение орлов».



Рис. 6. Сожжение орлов.

Картина петербургской художницы Ольги Васильевой. 2018 г.

Следующий раз бедная птица появилась у Муссолини вместе с фасциями. Но теперь она уже смотрела направо.



Рис. 7. Орел Муссолини.

Но мои генералы в рабстве у картинок из военных журналов, и порядок для них – единообразие. Если я дам им волю и позволю упорядочить святыне книги, где явлен порядок Господней мудрости, они начнут с букв, ведь и ребенку ясно, что буквы перемешались... В одно место они соберут все «А», потом все «Б», потом все «В», и книга, наконец, будет упорядочена. Специальная книга для генералов.

Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель

Наконец, примеру Муссолини последовал Гитлер, и его значок – государственный символ Третьего рейха – продержался около 11-12 лет.



Рис. 8. Reichsadler der Deutsches Reich (1933-1945).

Но отдельные мои сограждане прознали, что могучие и победоносные державы славились порядком. А простодушные логики, историки и толкователи убедили их, что порядок и есть отец славы. Но я говорю вам: и порядок, и слава – плод совместного усердия. Чтобы все упорядочилось, нужна картина, которую любил бы все. А для этих порядков самоценен, они обсуждают его, совершенствуют и в конце концов приходят к упрощению и скудости. Людей просто-напросто лишают всего, что не поддается выражению в словах. Но сущностное всегда невыразимо, и ни один профессор не мог мне объяснить, почему я так люблю ветер, дующий в пустыне при свете звезд. Они сосредоточились на обыденном, потому что его легко уместить в слове. Кто обзовет тебя обманщиком, если ты скажешь, что три мешка овса лучше, чем один? Но мне кажется, я дам людям что-то лучшие овса, если приведу к источнику, который расширит душу, если отправлю в путь по пустыне при свете звезд.

Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель

Глава 3. Почему мы так хотим порядка?

Я не придаю значения большинству голосов; большинство людей не видит корабль, он слишком далек от них. Окажись в большинстве кузнецы, они взяли бы верх над плотниками, и кораблю не появиться на свет. Мне не нужен порядок, царящий в муравейнике. Я могу навести порядок с помощью палачей и тюрем, но человек, возвращенный в муравейнике, будет муравьем. Я не вижу смысла оберегать особь, если она не копит опыт и не передает наследство. Конечно, сосуд необходим, но драгоценен в нем душистый бальзам.

Не хочу я и всеобщего примирения. Примирить – значит удовольствоваться теплой бурдой, где ледяной оранжад смешался с кипящим кофе. Я хочу сберечь особый аромат каждого. Ибо желания каждого достойны, истины истинны. Я должен создать такую картину мира, где каждому отыщется место. Ибо общая мера истины и для кузнеца, и для плотника – корабль.

Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель

Мы уважаем порядок и отдаем ему должное. И он постепенно накапливается, пока не обрушивается на нас в виде бюрократической чумы. Пунктики, таблички. Слова стонут, они не помещаются в эти таблички, но разбойник Прокруст должен втиснуть их, потому что такой порядок. Пунктики как муравьи, они здесь не нужны, но таков порядок. Иначе не переизберешься, не получишь гранта. Во времена Гоголя в Петербургском университете был один ректор, и всё. Во времена Лобачевского в Казанском университете был ректор и еще директор. Всё! Теперь сотни человек! А можно я не... – Нет, нельзя. Такой порядок.

Мы говорили о порядке, а перешли на бюрократию. Но быть может, это и не случайно? Ведь когда мы вспоминаем о знаменитом немецком порядке, то невольно приходит на ум и знаменитая немецкая бюрократия! Есть между ними таинственная связь.

Современный ему русский порядок представлялся Сперанскому совершенной политической бессмыслицей, которую не стоило поправлять, а нужно было просто устранить, заменив новым порядком, построенным на правилах логики. «Il faut trancher dans le vif, tailler en plein drap» («Нужно резать по живому, без всякого стеснения»),— любил говорить смелый реформатор в пылу своих преобразовательных работ, начавшихся после эрфуртского путешествия.

Н.К. Шильдер. Император Александр I

И как-то верится, что правила логики помогут нам выпутаться из бюрократического кошмара, нанизанного на вертикальную составляющую. И постепенно беспорядок исчезнет, ты почувствуешь себя бодрее и понятнее, как залежавшийся на бивуаке у костра солдат, который услышал, наконец, желанные звуки горна, призывающие к маршу. Раз-два, раз-два. Дизъюнкция, конъюнкция.

Эту бодрость духа, надежду на построение человеческого порядка в беспорядочном мире подарил нам Аристотель. Жаль, что не всем нравится маршировать в таком бодром порядке.

Люди любят или те частные науки и теории, авторами и изобретателями которых они считают себя, или те, в которые они вложили больше всего труда и к которым они больше всего привыкли. Если люди такого рода посвящают себя философии и общим теориям, то под воздействием своих предшествующих замыслов они искажают и портят их. Это больше всего заметно у Аристотеля, который свою натуральную философию совершенно предал своей логике и тем сделал ее сутяжной и почти бесполезной.

Френсис Бэкон. Новый Органон наук

Порядок, порядок... Много лет и поколений мы хотим порядка и настойчиво идем в нужном направлении. И вот уже вместо разбросанных в беспорядке русских деревень мы видим стройные ряды новостроек в Москве и Петербурге. Ровненько, ровнее даже, чем в муравейнике.

Много лет и поколений мы снисходительно сетуем, что Александру I не хватило ума и воли, чтобы навести порядок в системе государственной власти. Зато мы построили. Сколько порядка стало в судопроизводстве, в образовании. А с зарплатами!

Пронзительный взгляд наполеоновского орла направлен влево и демонстрирует мощь и гнев, не оставляющие врагам никаких надежд. Это символ «строга величавого», нового порядка, который в нашем уме ассоциируется с масонскими знаками и двумя тяжелыми войнами, называемыми отечественными.

Но оставим на время маленькую, но гордую птицу и поговорим о ее предках.

Глава 4. Египетский ангел



Рис. 9. Богиня Маат.

Заметим, что отдаленная прапрародственница этого орла хотя и выглядит величаво, но не имеет хищного клюва и злобного взгляда. Это настоящая богиня, которой не нужно держать в когтях стрелы и лавровую ветвь. Ее инструмент – перышко, которое мы видим в ее волосах. Настоящая богиня порядка – богиня Маат, от имени которой и произошло слово математика.

Она простирает свои крылья над земным миром, защищая и покровительствуя ему. Ее порядок – тот божественный порядок, который мы предпочли бы любому другому, если бы верили в богов. Но божественному порядку мы предпочитаем человеческий.

Отметим, что крылья есть и у других богов. Есть и у Исиды. И функция, роль их та же самая. Есть в египетском пантеоне и соколы. Сокол – одна из ипостасей бога Гора, покровительствующего фараонам и царствующим домам.



**Рис. 10. Фараон Хефрен
(2520-2494 до Р.Х.)**

Зеленый диорит. Высота 168 см. Храм у пирамиды Хефрена. Каирский музей

Другая интерпретация – сокол не сам Гор, а его посланник (или посланник бога Ра), своего рода египетский ангел.



Рис. 11. Фараон Рамзес II (1279-1212 до Р.Х.)
Серый гранит и известняк. Высота 231 см. Танис. Каирский музей

Как православные во время отпевания кладут в гроб на грудь покойника иконку, так и древние египтяне клали на грудь мумифицированного тела фараона изображение бога Гора. Эти изображения могли снабжаться дополнительными символами или картушами, возвещающими о славе фараона.



Рис. 12. Нагрудное украшение из камеры драгоценностей гробницы фараона Тутанхамона (1333-1323 до Р.Х.)

Золото, лазурит, сердолик, бирюза, окрашенное стекло. Ширина 12,6 см.

Обратите внимание на то, что держит в когтях сокол. Насколько это отличается от стрел и фасций!



Рис. 13. Подвеска, найденная на груди мумии фараона Аменемопета (правившего в 997-985 до Р.Х.)

Золото, окрашенное стекло. Ширина 37,5 см. Танис. Каирский музей

Представьте себе, что голова сокола «раздвоилась», и вы получите в точности герб хеттской державы. Только вместо ларцов, обозначенных картушами, в которых содержится сила и душа фараона, охраняемые богом, вы обнаружите что-то странное, вроде двух зайцев. Или просто пустые лапы с когтями как в гербе Священной Римской империи. Что еще более странно! Посланник Бога, который держит в руках пустоту? И ее охраняет и бережет? С чего вдруг Россия стала считать себя наследницей Священной Римской империи? И на каких же знаменах красовался такой герб? На знаменах турков-сельджуков – да, это было. Над дверями православной Константинопольской церкви – да это есть. Но что-то присутствие этого знака ни здесь, ни в других местах не приносит успокоения.

На следующем изображении (рис. 14) мы видим священного быка и Гора в виде сокола, тоже держащего в руке перышко, символизирующее порядок.



Рис. 14. Часть стелы, посвященной фараону Птолемею V Епифани, правившему в 205-180 до Р.Х.

Обработанный известняк. Ширина пригл. 30 см. Каирский музей

Глава 5. Ангел империи

Надеюсь, что читателю стало понятно, к чему клонит автор. Римскому орлу как символу противопоставлен не двуглавый орел, а ангел на шпигеле Петропавловского собора, установленный там в 1722 году, через полгода после того, как Россия стала империей! Поэтому и противопоставлен наполеоновской Вандомской колонне Александрийский столп, а самому Наполеону – ангел с крылами, который, как и египетский Гор, охраняет царствующий дом.



Рис. 15. Этот ангел не просто покровитель Петербурга. Это покровитель царства!

Очень много ангелов украшают и охраняют Петербург с высоты Исаакиевского собора. Заложенный Петром, имперский собор окружен ангелами и охранительными надписями.

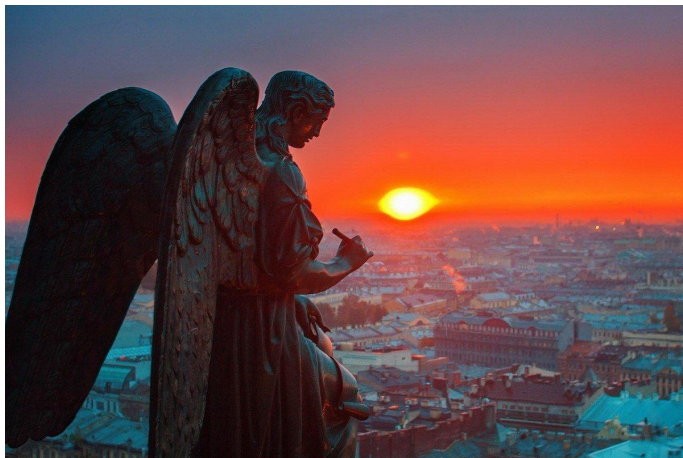


Рис. 16. «Господи, силою Твоею возвеселится царь»



Рис. 17. «Не нам, не нам, но имени Твоему!»

Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить: «где же Бог их»? Бог наш на небесах; творит все, что хочет. А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. (Пс.113:9-12)

Глава 6. О переходных эпохах

В 1849 году в Поречье, подмосковном имении графа С.С. Уварова, Тимофей Николаевич Грановский прочитал лекцию (во всяком случае подготовил ее) на тему, им самим избранную – «О переходных эпохах в истории человечества». Время было для этой темы самое горячее: Французская революция, за ней венгерские события, колониальные войны и многое другое наталкивало на мысль о том, что меняется картина мира, иерархии, сами синергетические структуры. Некоторые вещи стали проявляться сразу, другие постепенно. Появление развитого капитализма, развитие банковской среды, от которой уже начинает зависеть среда аристократическая, резкая дифференциация населения: одни получают крупные дивиденды во время войн, другие проигрывают. Да и сами войны ведутся уже по-другому.

Меняются литература, поэзия, живопись: другая тематика, другой стиль. В словарях Пушкина и Лермонтова нет слова «культура», оно для них иностранное, даже не славянское. Но проходит полвека, и это слово вторгается в обиход как полный хозяин положения. Поэты, публицисты, писатели и журналисты объясняют себе и народу смысл слова «культура». В основном народу, поскольку сами-то они понимают, конечно, что это такое.

Незаметно, но очень существенно меняется религиозная жизнь: В 1876 году Синодом принят полный перевод на русский язык всей Библии. Практически одновременно с этим начинается расцвет эзотерических учений и, в частности, активная деятельность Блаватской, с ее девизом, запечатленным на эмблеме международного теософического общества «Нет религии выше истины». Этот тезис использовал Лев Толстой в одной из своих филиппик в формулировке Сэмюэла Кольриджа: *«Кто начинает с того, что любит христианство больше, чем истину, кончит тем, что полюбит собственную секту или церковь больше, чем христианство, и наконец, – самого себя больше, чем все остальное.»*

Меняются приоритеты в философии. Впрочем, и само понимание философии. Люди, которые раньше считались просто мудрыми, теперь уже не признаются таковыми, если не могут поговорить о диалектике или о философии тождества Шеллинга. Гегель становится домашним учителем всех дворян. Но вскоре он переходит на службу революционерам, а лидером мудрейших становится Николай Бердяев, прячущий в толпе полупустых слов заранее заготовленные формулы. Целую толстую книгу написал Бердяев о Хомякове. Тут и самобытность, и преодоление гегельянства, мессианизм и Великая миссия России. И вся эта игра слов для того, чтобы умело сделать нужные акценты, производящие впечатление доказанных истин:

Коренной недостаток русской философии истории Хомякова и всего славянофильства – невозможность с этой точки зрения объяснить русский империализм, агрессивный, наступательно-насильственный характер русской исторической власти.

Некоторые изменения произошли и в геральдике. Обновляются знаки русской государственности:

В Петропавловском и Исаакиевском соборах нет двуглавых орлов. Над куполом церкви Святой Екатерины (1811-1823), что у Тучкова моста, стоит ангел с крестом. Но нет двуглавых орлов. На стенах храма «Христа Спасителя» (1832-1883) более 300 ангелов-хранителей, но также нет двуглавых орлов.

А на церкви «Спас на крови» (1907) ангелов нет, но уже есть «трехглавые орлы». Нет ангелов и на соборе «Петра и Павла в Петергофе» (1905). Вокруг Федоровского собора (1914) в Пушкине много двуглавых орлов, но нет ангела.

На прежних местах дома, овцы, козы, горы, но они уже не царство. Не оцущая себя частичкой царства, люди, сами того не замечая, понемногу ссыхаются и пустеют, потому что все вокруг обесмыслилось. На взгляд все осталось прежним, но бриллиант, если он никому не нужен, становится дешевой стекляшкой. Твой ребенок, он больше не подарок царству, не драгоценность. Но ты пока не знаешь об этом, ты держишь его на руках, а он тебе улыбается. Никто не заметил, что обеднел, потому что в обиходе у нас все те же вещи. Но каков обиход бриллианта? Для чего он, если нет праздничного торжества? Для чего дети, если не существует царства и мы не мечтаем, что они станут воителями, князьями, зодчими? Если судьба их быть слабым комочком плоти?

Люди не знают, что царство вскармливает их, как мать младенца, что оно питает душу, словно спящая где-то вдали и словно бы несуществующая возлюбленная. Но ты ее любишь, и благодаря твоей любви обретает смысл все, что с тобой происходит. Ты не слышишь ее тихого дыхания, но благодаря ему мир сделался чудом. Князь шагает по росистой траве на рассвете, и, пока не проснулись его землепашцы, царство бодрствует в его сердце. И вот что еще загадочно в человеке: он в отчаянии, если его разлюбят, но когда разочаруется в царстве или разлюбит сам, не замечает, что стал беднее. Он думает: «Мне казалось, что она куда красивее... или милее...» – и уходит, довольный собой, доверившись ветру случайности. Мир для него уже не чудо. Не радуется рассвет, он не возвращает ему объятий любимой. Ночь больше не святая святых любви и не плащ пастуха, какой была когда-то благодаря милому сонному дыханию. Все потускнело. Одеревенело. Но человек не догадывается о несчастье, не оплакивает утраченную полноту, он радуется свободе – свободе небытия.

Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель

*А.В.Рачинский**, *А.Е.Фёдоров***

**Институт Восточных языков и цивилизаций, Сорбонна, Париж*

*** МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, fedorov_a_e@mail.ru*

Опубликовано: «Система Планета Земля», -М...:ЛЕНАНД, 2020.
ДРЕВНЕРУССКАЯ АРХИТЕКТУРА НА ВЫШИВКАХ

О внешнем виде древних русских храмов¹ можно судить не только на основании старинных миниатюр и гравюр, но и на основании русских народных вышивок (**рис. 1 – 12**). Как отмечает В.А.Городцов, «... в женских вышивках ... каждая строка, каждый крестик имеет строго канонизированный характер и передаётся от учительницы к ученице в возможно большей точности и совершенстве. Эта точность и совершенство поддерживается ещё и тем, что лучшие из творений ... выполнялись для свадебных обрядовых подарков, именно, они вышивались невестами для женихов и их родни, чтобы те судили, умеют ли невесты “шить”, или, твёрдо ли они знают религиозные символы, которые население, как священный завет, несёт и хранит с глубокой дохристианской древности» [2, с. 8].

Рассмотрение изображений на северо-русских вышивках **рис. 1 – 12** показывает, что это дохристианские храмы (хотя их архитектура близка православным). Об этом говорят, прежде всего, образы внутри храмов. Это, по-видимому, «боги» (на **рис. 1 А** фигуры имеют на голове крест – древний символ Бога) и существа, связанные с духовным миром (**рис. 1, рис. 2, рис. 6 Г, рис. 11 А, рис. 12**). Часто изображены фигуры в женской одежде (Л.П.Грот считает их изображениями *Великой богини* [4], но, как известно, в женскую одежду облачаются жрецы). На **рис. 1 «В»** внутри храма – древо жизни. Навершия храмов имеют мало общего с христианскими навершиями. Здесь – священные животные русов и ариев кони (**рис. 8Б**) и лебеди (**рис. 1В, рис. 4**), древа жизни, птицы, двузубцы (лунницы, рога), трезубцы и др.

Изображённые на вышивках храмы очень близки русским и арийским (см. рисунки). Русы и арии – потомки *древних ариев*, пришедших на Русскую равнину из Карпатского региона около 5000 лет назад [10; 19]. Около 4000 лет назад часть из них ушла на юг (арии) [10; 19] и «взяла с собой» архитектурные типы храмов. Оставшиеся русы продолжали строить храмы в древних традициях. Поскольку типы храмов на вышивках совпадают с известными русскими и арийскими, можно сделать вывод, что на вышивках изображены храмы, существовавшие у *древних ариев* до разделения их на русов и ариев.

Выделяются следующие типы храмов: (1) храмы, представляющие собой четверик с огромной главой (**рис. 1 – 4**). (2) Храмы одноглавые, трёхглавые, пятиглавые, и, возможно, имеющие большее количество глав (**рис. 1 – 12**).

¹ Мы употребляем слово «храмы», но возможно, на вышивках изображены не только храмы, но и другие священные сооружения, в том числе и дворцы. – В традиционном обществе верховная власть священна, соответственно, в индийской и иранской архитектуре, дворцовая архитектура имеет много общего с храмовой (см. [Рачинский, Фёдоров, 2016а]).

(3) Храмы, состоящие из трёх объёмов вытянутых в один ряд (рис. 5, 8 – 11). (4) Храмы, имеющие 4 башни по сторонам (рис. 3). (5) Храмы, представляющие собой четверик с высокой кровлей (двускатной, четырёхскатной, восьмискатной (рис. 6, 7). (6) Шатровые храмы (рис. 6, 7). (7) Храмы, имеющие главки в виде зонтиков-шапочек (рис. 9, 10) и в виде конуса на перевернутом конусе (рис. 9), или шаров (рис. 9). (8) Храмы с кокошниками (рис. 12).

Все эти типы храмов есть в русской и арийской архитектуре [16; 15] (рис. 1 – 12).

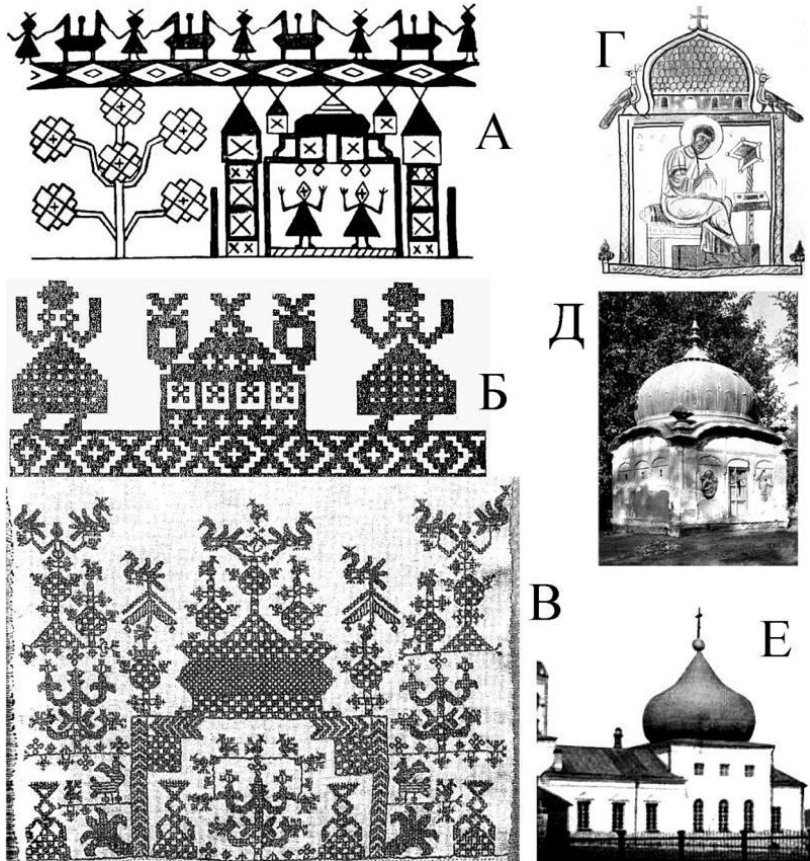


Рис. 1. Храм с огромной главкой-куполом. **А**) Северо-русская вышивка (XIX в., ГИМ, Москва) [2, рис. 14]. Над храмом вышний мир с двуглавыми конями и всадниками, держащими этих коней. **Б**) Вышневолоцкая вышивка (по Стасову) (XIX в.) [5, рис. 26]. **В**) Полотенце (XIX в., Тверская губ.) [1, рис. 2.6.12]. На храме лебеди с коронами. Боковые главки имеют «шапочки» ср. с рис. 10. **Г**) Миниатюра из Добролюва Евангелия (1164 г., галицко-волинская школа) [7, т.1]. На храме птицы, ср. рис. В. **Д**) Индуистский храм (Лахор, Пакистан) [16]. **Е**) Ц. Благовещения в Коле (1800 – 1809 гг., построена по подобию ранее стоявшей церкви 1533 г.) [16].



Рис. 2. Храм с огромной главой – луковкой на русских вышивках. Слева вышивка на полотенце, Олонечкая губ. (РИМ) [21, с.95]. Справа 5-главный храм (подзор, XVIII в., Новгородская губ., собр. А. Алексеев и П. Новикова; ГРМ. Фото НИИХП) [21, с. 141]. Обращает на себя внимание 3-рогий головной убор фигур в храме.

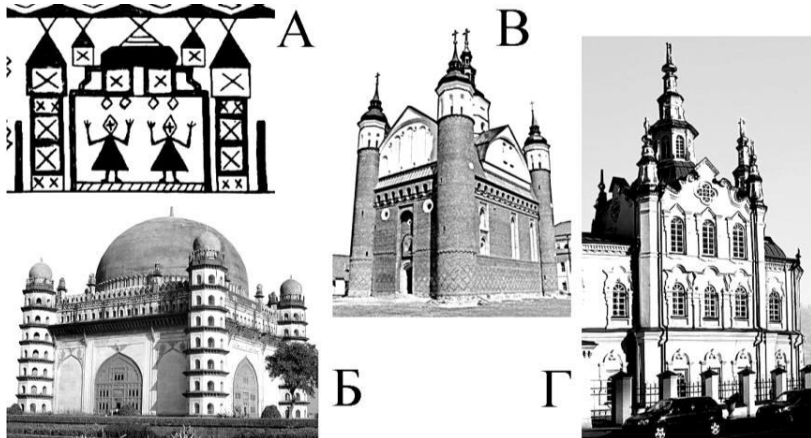


Рис. 3. 5-главный Храм с башнями по бокам. А) Северо-русская вышивка (XIX в., ГИМ, Москва) [2, рис. 14] (фрагмент рис. 1 А). Храм 5-главный, центральная глава окружена 4 главами, причём передние главы стоят на столбах. На главах – двузубцы. Б) Гол Гумбаз (1656 г.) – 5-главный мавзолей султана Мухаммеда в Биджапуре (штат Карнатака, Индия) [16]. В) Церковь Благовещенья (1503 – 1511 гг., Супральский монастырь, Подляшье, Белая Русь) [16]. Г) Церковь Спаса Нерукотворного (XVIII в., Тюмень).

Интересны навершия храмов: кони (рис. 8 Б), знамена (рис. 9), кресты с птицами, древо (Древо Жизни) (рис. 1, 4, 6В, 8), трезубцы (тришулы) (рис. 2, 5 В, 11 А), двузубцы («рога») (рис. 1А, 3 А, 5 А, 8 А, 6 В, 9 А), четырёхзубцы (рис. 5 В, 6 Б). Подобные знаки встречаются на русских и арийских храмах [16; 15] (рис. 13, 15) (подробнее см. [15; 16]). 395

На вышивках можно видеть так называемые архитектурные «барочные» формы – купол, на котором стоит маленькая главка (рис. 8 А). Однако, это не «барочные», а древние арийские формы. Точно такие же формы можно видеть в иранской и индийской архитектуре (рис. 14), причём встречаются они на зданиях, построенных задолго до появления стиля барокко (см. подробнее [16]). В русской и арийской архитектуре широко распространены так же такие «барочные» формы, как стоящие друг на друге купола (рис. 8 А, 14 А) (см. [16]). Такое изображение мы видим на миниатюре XIII в. (рис. 14 А).

Обращает на себя внимание устойчивость типов храмов на вышивках – разные мастерицы, в разных районах изображают один и тот же тип храма (ср. рис. 5 А и рис. 5 В, а так же рис. 2(правый) и рис. 3 А).

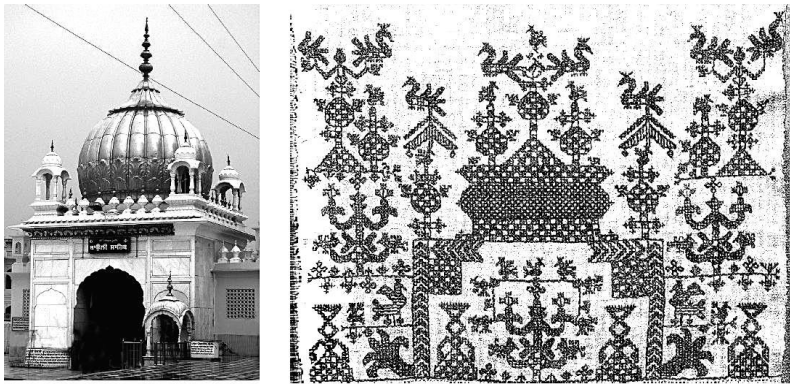


Рис. 4. 5-главый храм, имеющий огромную центральную главу. А) Гурдвара в Пенджабе [16]. Б) Полотенце (XIX в., Тверская губ.) [1, рис. 2.6.12]. На вышивке 5-главый храм – судя по сохранившейся в миниатюрах традиции изображать 5-главые храмы так, что видны все главы. Всего на вышивке изображено 9 глав.



Рис. 5. Храм, представляющий собой куб с конусом наверху, имеющий 3 главы. А) Вышневолоцкая вышивка (по Стасову) (XIX в.) [5, рис. 26] (фрагмент рис. 1 Б). На главах двузубцы. Б) Церковь в Сколе (XVII в., Карпатский регион) [6, рис. 166]. В) Вышивка Псковской и Новгородской губ. (фрагмент рис. 8 А) [1]. На центральной главе – четырёхзубец, на боковых – трезубцы. Сравнение рис. А и рис. В показывает, что тип храма один и тот же – разные вышивальщицы воспроизводит один и тот же архетип.

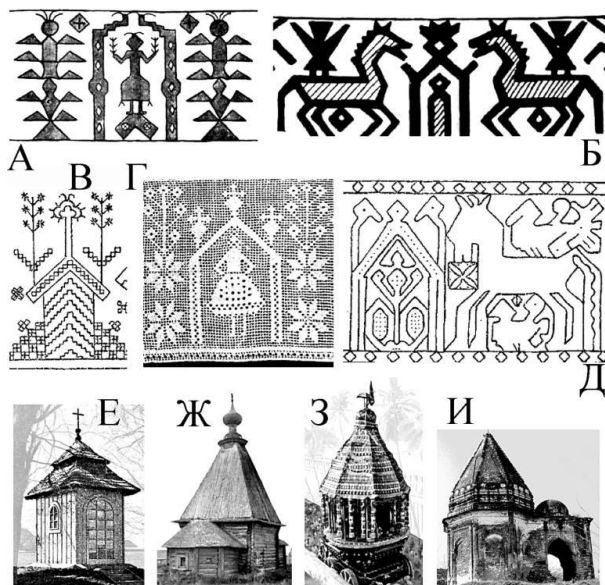


Рис. 6. Однообъемное священное сооружение с 2-скатной, 4-скатной, или 8-скатной крышей. **А)** Северо-русская вышивка из собрания ГИМ [2, рис. 11]. **Б)** Северо-русская вышивка из собрания ГИМ [2, рис. 13]. **В)** Фрагмент северорусской вышивки (по Vahter'у, Хельсинки) [5, рис. 19]. Над крестом – двузубец («рога»). **Г)** Полотенце. Русский север [1, рис. 2.6.13]. Священное сооружение с 3 главами. **Д)** Калужская вышивка (XIX в. Гос. Русск. Музей, С.-Пб.) [1, рис. 2.6.13]. **Е)** Часовня в Балычах Подорожных (Жидачев) (Карпатский регион) [6, рис. 20]. **Ж)** Никольская церковь (1717 г., с. Новинки, Унженский уезд, Вологодская губ.) [16]. **З)** Повозка в которой на праздники перевозится статуя бога (Индия). **И)** Индуистский храм (Атток, провинция Пенджаб, Пакистан) [16].

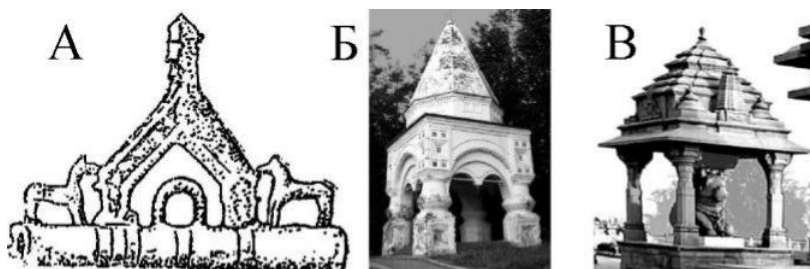


Рис. 7. Шатровые храмы. **А)** Русский игольник из костромского кургана (XII в.) [5, рис. 15]. **Б)** Феодоровская часовня в Переславле-Залесском (1557 г.). **В)** Мандапа-чхатри около храма Шри Рамешвар (штат Уттар-Прадеш, Индия) [16]. 397

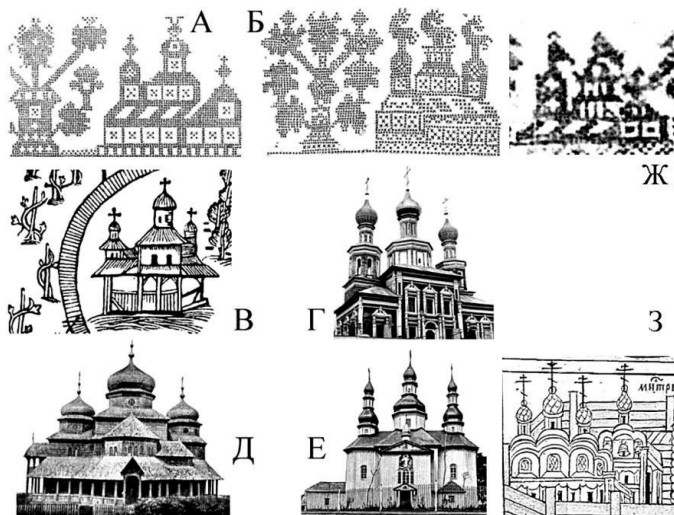


Рис. 8. Трёхглавые храмы, состоящие из 3-х объёмов. **А)** Владимирская вышивка (по Стасову) (XIX в.) [5, рис. 23] На центральной главе – двузубец («рога»). **Б)** Новгородская вышивка (XIX в., Гос. Русск. Музей, С.-Пб.) [5, рис. 24]. На главах – кони. **В)** Ц. Рождества Богородицы на плане Киева (1638 г., Малая Русь, рисунок Кальнофойского) [14, рис. 18]. **Г)** Надвратная Покровская церковь Новодевичьего монастыря (1683 – 1688 гг., Москва). **Д)** Церковь в Звыжени (Броды) (1888 г., Карпатский регион) [6, рис. 250]. **Е)** Воскресенская церковь в Брусилове Радомысльского уезда (1711 г., Малая Русь) [14, рис. 8]. **Ж)** Фрагмент Вышивки Псковской и Новгородской губ. из собрания К.Далматова [1, рис. 2.11.7]. **З)** Фрагмент миниатюры из Жития Корнилия Комельского (XVII в., «Жития Святых», Русский Север, ГИМ, Москва).

Обсуждение и выводы.

Могли ли дохристианские храмы стать храмами христианскими? Примеры использования дохристианских храмов для Христианских богослужений в разных странах хорошо известны: это и египетские храмы Изиды и Озириса и афинский Парфенон, и римский Пантеон, и зороастрийские храмы Грузии и Армении.

Существует нелепое представление о том, что храмовая архитектура появилась на Руси только после официального крещения в 988 году, и принесли нам её вместе с Христианством греки. Сразу отметим, что **в Греции и Византии не было и нет храмов, подобных изображённым на вышивках (рис. 1 – 12). Зато такие храмы широко распространены в русской и арийской архитектуре** [16]. Как свидетельствуют исторические источники, Христианство существовало на Руси задолго до официального крещения Руси в 988 году. До этого времени Византия не имела влияния на Русское Христианство [11].

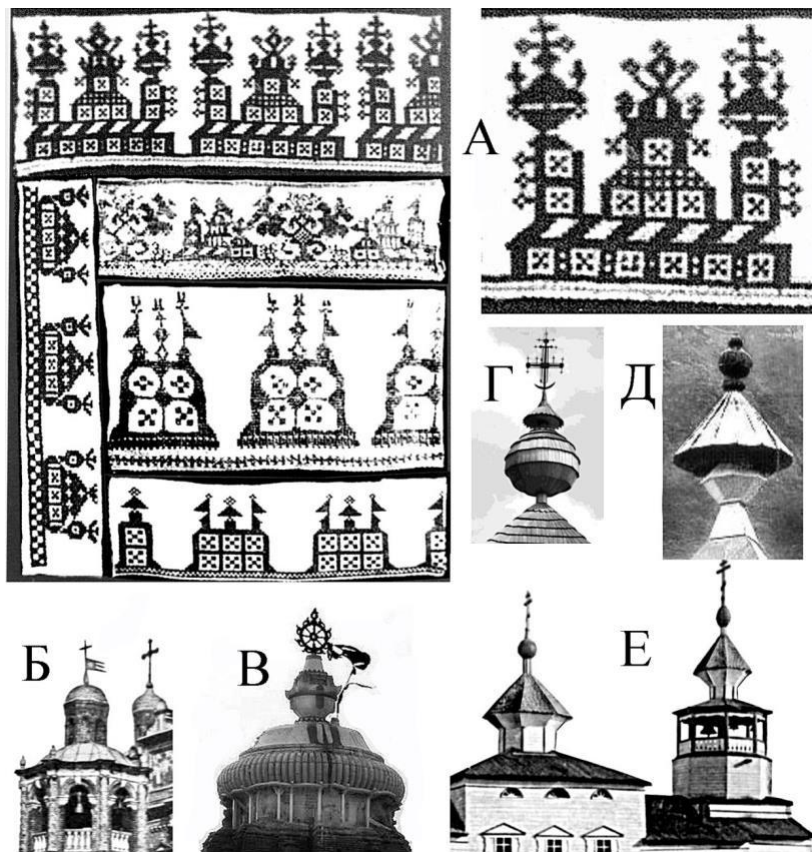


Рис. 9. Вышивка Псковской и Новгородской губ. из собрания К.Далматова (А) и её фрагмент [1, рис. 2.11.7]. **Б, В) Флаги** на русском и арийском храмах: **Б)** Ц. Смоленской Божией. Матери (1694 – 1697 гг, Городевка, Нижегородская губ.) [3]. **В)** Храм Джаяннатхи в Пури (Индия) [16]. **Г – Е)** Шар и композиция «Конус на перевёрнутом конусе» на славянских и арийских храмах: **Г)** Одна из глав церкви в Бодружале (1658 г., Словакия, Червоная Русь) [16]. **Д)** Верх индуистского храма Хатешвари (Хаткоти, Химачал-Прадеш, Гималаи) [16]. **Е)** Верх Богоявленской церкви (1854 – 1855 г., д. Усть-Вашка (Лешуконская), Архангельская губ.) [16].

Св.Кирилл обнаружил в 860 г. в Крыму Евангелие и Псалтырь на русском языке [с.46]. Как отмечает А.Г.Кузьмин, в IX – X вв. «только на территории Восточной Европы “Русь” известна по крайней мере в четырёх местах: Среднее Поднепровье, Прикарпатье, Причерноморье, побережье Каспия» [11, с. 42]. Наличие Христианства предполагает наличие храмов. В Киеве в IX в. уже была Митрополия [11; 12; 8], соответственно были многочисленные храмы.

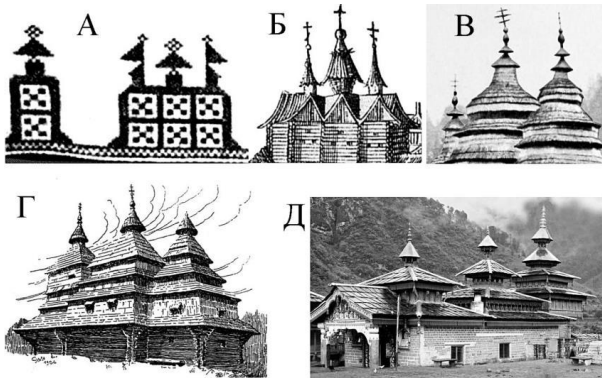


Рис. 10. Храмы с колпачками-зонтками. **А)** Фрагмент вышивки на рис. 9 А. На центральной главе ромб с косым крестом. **Б)** Русский храм. Фрагмент гравюры А. Олеария (XVII в.) [16]. **В)** Верх церкви Николая чудотворца в Крывке на Бойковщине в Галиции (1763 г.) [3]. **Г)** Церковь в Сухе (1769) на Бойковщине (Карпатский регион) [20]. **Д)** Храм Махасу Девата (Mahasu Devata) (IX в., Ханол, Уттарак-ханд, Гималаи) [16]. (Ср. с рис. 10 Г).

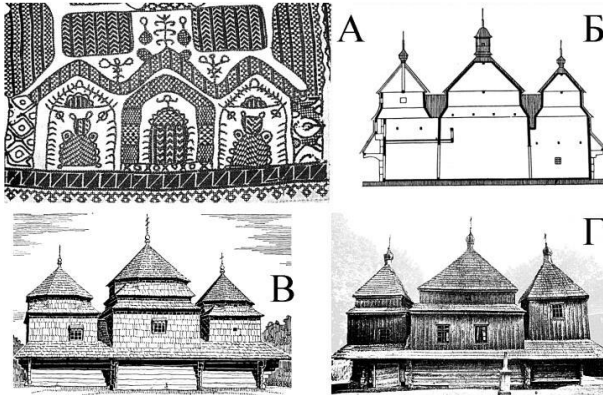


Рис. 11. Трёхобъёмные храмы, вытянутые вдоль одной линии (ср. с рис. 10 Г, Д). **А)** Пудожская вышивка, подзор (XIX в. Олонецкая губ.) [1, рис. 3.7.1.]. На центральном объёме – дерево с трезубцем. **Б)** Хревть (п. Лиско) план церкви 1708 г. [6, рис. 36]. **В)** Соколика (п. Турка) церковь 1791 г. [6, рис. 206]. **Г)** Вицив (п. Ст. Самбор) церковь XVIII в.) [6, рис. 260]. (Б – Г – Карпатский регион.) 400

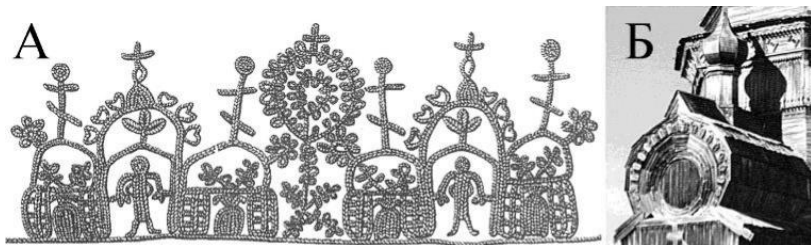


Рис. 12. Храмы с кокошниками. **А)** Конец полотенца (Тверская губ.) [1, рис. 3.7.2]. **Б)** Кокошник-бочка с изображением солнца на челе. Сретено-Михайловская церковь в Красной Ляге (1655 г., Архангельская область) [16]. Такие же бочки (куду) с изображением солнца есть в Индии [16; 18].

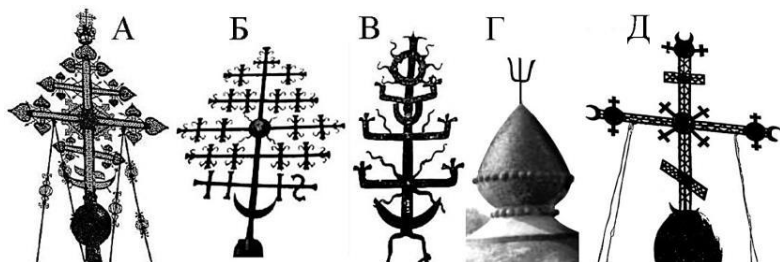


Рис. 13. Дохристианские навершия храмов (по [16]). **А – В)** Древо жизни, **Г – Д)** Трезубец и двузубец. **А)** Крест на Николо-Архангельской церкви (нач. XVIII в., с. Николо-Архангельское, Моск. обл.). **Б)** Крест в д. Йоваиская (Плунгский район, Литва). **В)** Крест в с. Паберже (Кедайнский район, Литва). **Г)** Тришула (трезубец) на храме в Ассаме (Индия). **Д)** Крест на ц. Спаса Нерукотворного Образа (XVII в., Псков). **На кресте – двузубцы.**

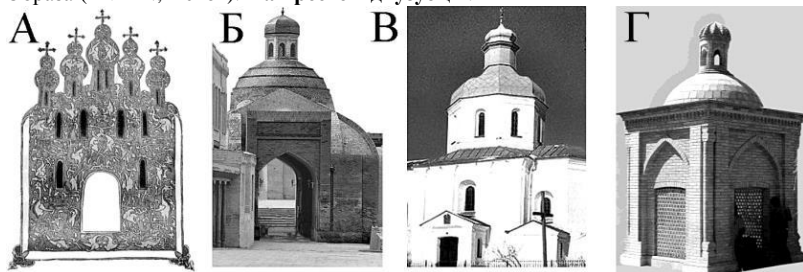


Рис. 14. «Барочные» формы в древней арийской архитектуре. **А)** Миниатюра из Новгородского Апостола (XIII в.) [14, рис. 21]. **Б)** Токи Саррофон (Купол менял), XVI в., Бухара [16]. **В)** Покровская церковь в с.Сулимовка (1622 – 1629 гг. Украина, Левобережье) [16]. **Г)** Священное сооружение на святом источнике около могилы пророка Даниила (район Самарканда) [16].

Первые русские храмы, отмеченные в летописях, были деревянные, т.е. построенные в исконных русских формах – греки не умели работать с деревом, а на Руси это был главный строительный материал. Г.Г.Павлуцкий

обращает внимание на то, что «сам св. Владимир, по принятии христианства, по словам летописца, “повеле **рубити** и поставляти 401 церкви по местам, идеже стояху кумиры”. Эти церкви, как показывает само слово “**рубити**”, были деревянные» [14, с.24]. Кроме того, первые русские храмы были многоглавыми, в отличие от византийских храмов, откуда якобы к нам пришла храмовая архитектура. Так, среди первых русских храмов упоминаются: **13-главый** Киевский Софийский собор (в 991 г. – деревянный; с серед. XI в. – каменный), **13-главый** деревянный Новгородский Софийский собор (989 г.; с середины XI в. 5-главый, имеющий 6-ую главу над лестничной башней), **25-главая** Киевская Десятинная церковь (996 г.), 7-главый Софийский собор в Полоцке (серед. XI в.), [13]. **В Греции никогда не было 13-главых и 25-главых храмов, зато такие храмы широко распространены в русской и арийской архитектуре! (рис. 16).** О 13-главой деревянной новгородской Софии известно следующее: «Под тем же **989 г.** НЗЛ [Новгородская третья летопись] и Воскресенская летопись сообщают о постройке в Новгороде деревянного (дубового) Софийского собора, который был “о 13-ти верхах”. По всей видимости, это и был первый храм Новгорода. [...] Дубовый Софийский собор простоял до 1045 г., когда он погиб в огне пожара» [9, с.608]. 13-главый собор был построен на следующий год после официального крещения Руси!!! При чём же тут греки?!

Можно сделать вывод о глубокой древности изображений на северо-русских вышивках – они имеют возраст более 4000 лет. (Арии ушли с Русской равнины около 4000 лет назад [10; 19] и «взяли с собой» все типы храмов, имеющиеся на вышивках.) Изображения на **рис. 1 – 12** показывают нам, как выглядели храмы *древних ариев* – наших предков. Типы этих храмов сохранились в русской и арийской архитектуре, что хорошо согласуется с тем, что Русская культура (и архитектура), имеет более чем 4000-летнюю историю (см. подробнее [15; 16; 17; 18; 19; 22]).

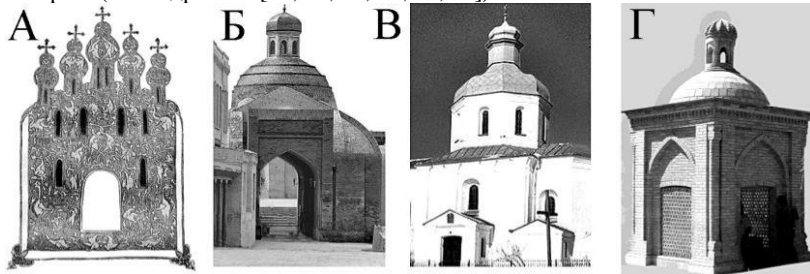


Рис. 15 (слева). Арийский крест с двузубцами, трезубцами, четырёхзубцами. Крест на армянской церкви Маштоц Айрапет (XII – XIII вв., село Гарни Котайкской области, Армения). На кресте видны: двузубцы, трезубцы, четырёхзубцы.

Рис. 16 (справа). 25-главые храмы (по [16]). **А)** ц. Преображения Господня в Кижях (1714 г.). Первоначально храм был 25-главым, сейчас – 21-главый. **Б)** храм Лалджи в Калне (Зап. Бенгалия, Индия).

Дополнение.

Ниже приведены рисунки священных сооружений (часовни, надгробные столбы и пр.), дворцов, жилых домов, которые можно видеть на вышивках.

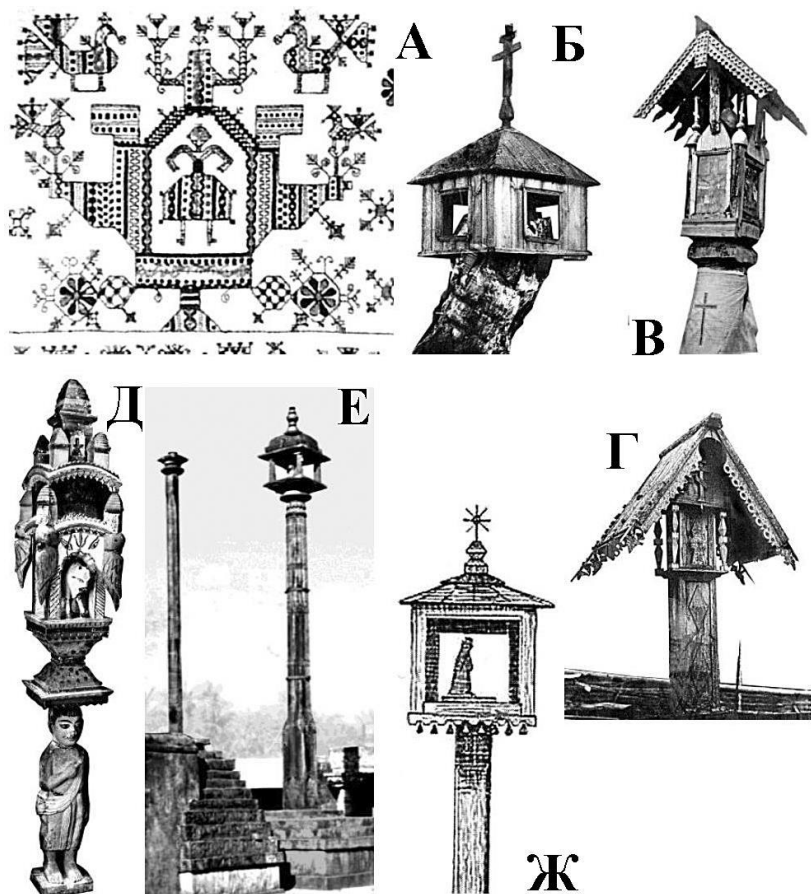


Рис. 17. Сакральное сооружение на столбе (на Мировой оси). А. – изображение на русской вышивке (кон. XIX в. Пудожский уезд, Олонецкая губ.) [23, № 1300]. Б. – Часовня на пне сгоревшего от молнии священного дерева (фото нач. XX в., Владимирская губ.) (РЭМ, с.-Пб.). В. – Часовня на столбе (XIX в., Холмогорский уезд, Архангельская губ.) [24, табл. 52, вып. IV]. Г. – Придорожный крест около с. Шуньга (нач. XIX в., Петрозаводский уезд, Олонецкая губ.) (РЭМ, С.-Пб.). Д. – Деревянный поминальный столб (Бенгалия, Индия) (Кунсткамера, С.-Пб.). Е. – Столб с чхатри перед храмом Мадхукешвара (IX в., Банаваси, штат Карнатака, Индия) [16]. Ж. – Литовская часовня на столбе [25]. 403



На **рис. 17** показаны изображения древнейших священных сооружений – четырёхугольной постройки на столбе. Такие постройки имеют глубокий космологический смысл и символизируют Мировой столб (в индоарийской традиции также Брахму) и Мироздание (четырёхугольник), в индийской традиции – «Небо» [16]. Характерно, что именно такие сооружения ставятся в качестве «поминальных столбов» (**рис. 17 Д** и **рис. 18**).

Рис.18. Староверческие надгробия [26].



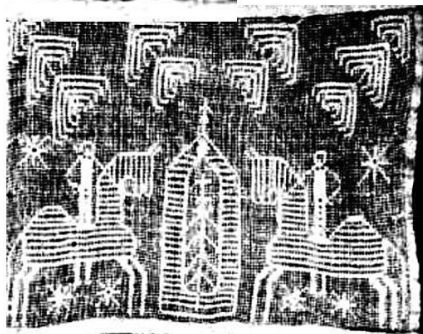
А



В



Г



Б

Рис. 18. Мировое Древо под сенью. **А, Б** – Вышивка из Костромской или Ярославской губ. [21, рис. 44]. **В.** – Священное «древо ста тысяч образов» в монастыре Кумбум в Тибете (рис. 1850 г.) [16]. **Г.** – Башнеобразная кладка костра на Иванов День. (XIX в., Петербург. губ.) [27].

О том, что четырёхугольный объём в русо-арийском мире, с проходящей через него осью, с древнейших времён связан с почитанием умерших см. прекрасную статью Л.А.Лелекова [30].

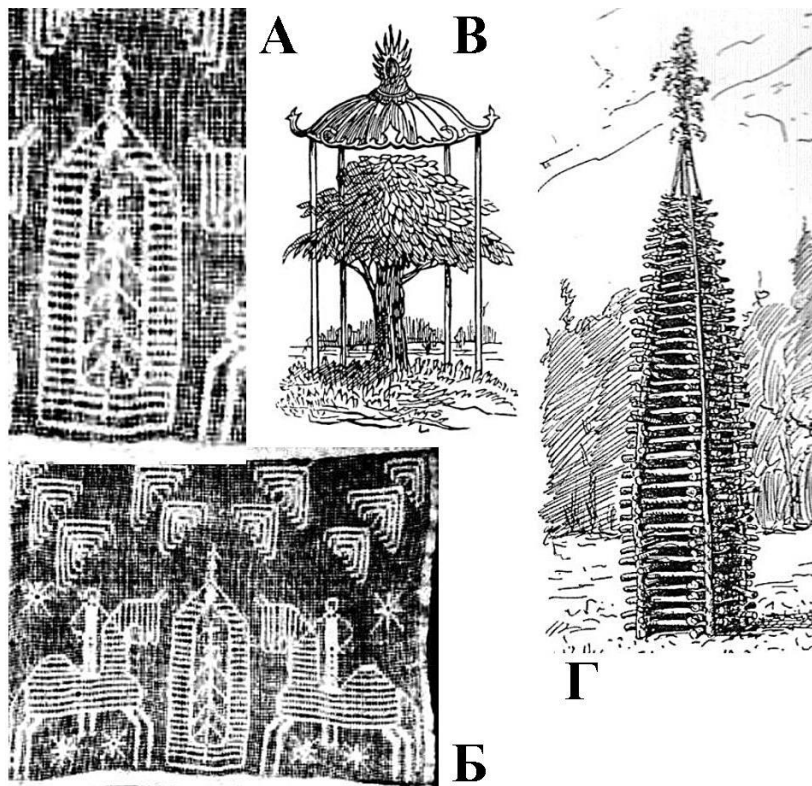


Рис. 19 . Дворцы, терема, жилые дома. **А** . – Подзор (нач. XIX в. Новгородская губ.) [28, № 141; 21, рис. 89]. **Б** . – Подзор Новгородской губ. (собрание К. Далматова) [1, с. 138]. **В** . – Подзор (XVIII в., Русский Север) [29]. **Видны рундуки**. **Г** . – «Солнечный терем» на подзоре (II пол. XIX в., Петербургская губ. [28, № 132, стр. 96]. **Д** . – Подзор (кон. XVIII в. – нач. XIX в. Вологодская губ.) [28, № 179, стр. 136 – 137]

На **рис. 18** показано Мировое Древо, как образ поклонения в русо-арийском мире. На **рис. 19 – 22** показаны дворцы, терема жилые дома. Эти сооружения, несмотря на отличия, имеют много общего с традиционными русскими и арийскими сооружениями, дошедшими до нас в виде рисунков, чертежей, фотографий. В частности, на **рис 19 В** и **рис. 21** видны высокие рундуки – крыльца. Такие же высокие рундуки распространены в индийском храмовом и дворцовом зодчестве (см. [16]). Более того, русское слово «рундук» находит полное соответствие в санскрите (см. ниже словник).



Рис. 20. Домики на вышивках. Слева: Двухъярусная постройка (XIX в., Русский Север) [28, № 38, стр. 136]. Справа :Рисунок на подзоре (XIX в. Вологодская губ.) [28, № 171, стр. 271]

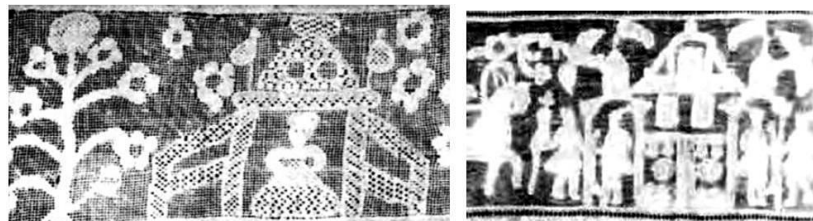


Рис. 21. Домики на вышивках. Слева: Подзор (XVIII в. Костромская губ) [21, рис. 7] **Видны рундуки..** Справа двухъярусный дом. Подзор (XIX в., Костромская губ). [21, рис. 7].



Рис. 22. Внутренняя часть двухъярусного дома на свадебном полотенце (XIX в., д.Фёдоровское, Перская вол., Устюженский уезд) [21, рис. 77] 406

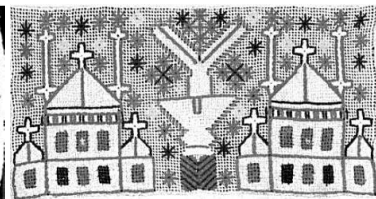


Рис. 23. «Солнечный терем» на концах ярославского и тульского полотенец. Слева (XIX в. – нач. XX в., Мологский уезд, Ярославская губ.) [28, № 201, стр. 98]. Справа (XIX в. – нач. XX в., с. Стояново, Одоевский уезд, Тульская губ.) [28, № 251, стр. 99]

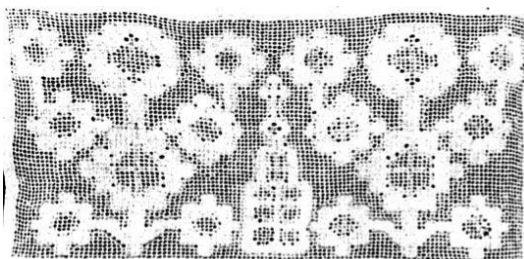


Рис 24. Храм. (XIX в., Ярославская губ (?)) [28, № 202]

На рис. 23 – 24 изображены, очевидно, священные сооружения.

Глядя на вышеприведённые вышивки, мы видим мир *древних ариев*, предков *русов*, *ирано-ариев*, *индо-ариев*, населявших более 4000 лет назад Русскую равнину. Это утверждение многим покажется сказочным. Но стоит принять во внимание, что народная традиция (см. выше) требовала от вышивальщиц неукоснительно воспроизводить древние образцы. Вышивка, в народном понимании, имела глубокое священное значение, изменять рисунок было недопустимо. Соответственно, как отмечают исследователи, например, [1; 21], складывались характерные типы изображений, которые воспроизводились в разных, порою удалённых друг от друга районах.

Надо отметить, что здания, изображённые на вышивках, имеют соответствия в священной архитектуре: русской, индийской, иранской. Более того, имеется огромное сходство русских и арийских слов, связанных со строительством, что говорит о том, что в момент расставания русов и ариев, около 4000 лет назад, эти слова с тем же значением уже существовали, а значит, существовали и объекты, или обозначаемые.

Сравнение русской и арийской строительной лексики см в [16: 17].

В настоящей статье мы приводим сокращённый, но очень важный список совпадающих по звучанию и по значению русских и арийских слов, связанных со строительной деятельностью:

«**Амбар/анбар**». Перс. Anbār [анбар] – склад, хранилище. санскр. Sambhāra [самбхара] – склад.

«**Балехон**», «**Балхон**» (чердак; Пск., Костр., Яросл.). Тадж. «Болохона» – мансарда; надстройка над домом.

«**Весь**». Др. инд. Vic [вич] – селение; санскр. Vasa [васа], – жилище; авест. Vis [вис] – дом.

«**Вора, ворь**» (др.-русск. ограда, забор), «забор». Др.иран. «Вар» – крепость, укреплённое поселение, участок обнесённый стеной, страна с укреплёнными пунктами.

«**Гать**». Санскр. Gati [гати] – дорога; авест. Gātu [гату] – проход через болото.

«**Город**», «**Град**». Хетск. Gurta [гурта], перс. «Герд» – город.

«**Дом**». Санскр. Dam [дам] – дом.

«**Дверь**». Санскр. Dvāra, Dvār [двара, двар] – дверь, ворота.

«**Двор**», «**Дворище**» (др.-русск. *церковь*). Тадж. «Девор» – стена, ограда. Санскр. dvāra [двар] – ограждать, укрывать, прятать. Тадж. «довар» – судья; кн. правитель; пер. Бог.

«**Дым**» (дом, двор). Санскр. Dhūma [дхума] – дым; место для постройки дома. Санскр. «**калаша**» (kalasha) – кувшин на храме. Укр. «Кілаш» (горшок для каши), «Келаш» (вид глиняного сосуда).

«**Капище**» (сень, храм-балдахин). Основа «кап» в славянских языках имеет семантику *покрытие*. Тадж. «Каппа» – шалаш. Санскр. Karāla [капала] – крышка, оболочка. (Как заметил Л.А.Динцес, в Начальной летописи медные кивории (т.е. сени-балдахины), привезённые из Корсуня в Киев князем Владимиром, обозначены словом «капище» (см. [Динцес, 1948]).)

«**Кол**». Санскр. Kīla [кила] – колышек; Khīla [кхила] – столб, шест.

«**Комара**» (свод). Авест. «Камара» – свод, закомара; тадж. «Камар» – портал; арка.

«**Колун**» (топор). Санскр. Kulīśa [кулиша] – топор (ср. чешск. «колоть»: kolí — 1 л. ед. ч., kůleš — 2 л. ед. ч.).

«**Купол**». Санскр. Karāla [капала] – чаша, оболочка, скорлупа. В древних индийских трактатах по строительству «капалой» называются разные элементы здания, имеющие выпуклую, округлую, изогнутую форму.

«**Маковка**» (глава церкви; верхушка). Санскр. Makuta [макута] – верхняя часть, макушка.

«**Поголок**». Санскр. Patala [патала] – крыша, покров.

«**Рундук**» (мощёное возвышение, крыльцо, сени). Санскр. Rundika [рундика] – порог дома.

«**Сарай**». Санскр. Śarāna [шарана] – защита; дом; тадж. «Сарой» – дворец; дом.

«**Станица**», «**стан**». Санскр. Sthānaka [стханака] – город; Sthāna [стхана] – место.

«**Терем**», «**Теремец**». «Терем» – 1) высокий дом, дворец, 2) сень, балдахин, 3) купол. Др. русск. «теремец» – 1) уменьшит. от «дворец», 2) сень, 3) часовня, небольшой храм без алтаря; тадж. «Торум» – кн. свод, купол; палатка, шатёр; *поэт.* небо, небеса. Санскр. **Trāna** [траана] – защита, охрана, покровительство; **Trāman** [траман] – защита, охрана.

«Тесло». Тадж. «Теша», пенджаби Tesa [теса] – тесло.

«Топор». Белудж. Tapaṅ [тапар], тадж. «Табар» – топор.

«Усада, усадьба». Санскр. Vasatī [васати] – жилище, дом, местопребывания.

«Хоромы». Санскр. Harṃya [хармья] – дворец, крепость, большой дом. Словом «хармья» называли 7-этажные дома во дворцах.

«Храм». Санскр. Harṃika [хармика] – небесный алтарь; ирано-тадж. «Харам» запретное, священное место, святилище; хеттск. Karimmi [каримми] – храм.

«Чердак, чертог». Перс. Ārtāk [чартак] – высокая, выступающая часть дома.

«Шалаш». Санскр. Śāla [шала], Sālā [сала] – дом.

«Шатёр». Тадж. «Чатр» – шатёр, палатка; санскр. Chatrī [чхатри] – беседка; иранск. «шатар» – шатёр.

В заключение хочется обратить внимание читателей на то, что народная культура, очень консервативная сама по себе, хотя и донесла до нас огромное количество древних образов и знаков, не сохранила объяснения их смыслов. Их знали и понимали только священники (жрецы), народ же выступал лишь передатчиком знаков и образов. Это прекрасно показано в книге Аль-Бируни [31], изучавшего Индию в XI веке. Он уделяет большое внимание источникам сведений, и неоднократно указывает на то, что народ не знает и не понимает ни смысла обрядов, ни смысла знаков. Только – брахманы. Но и брахманы с течением времени утратили ясное понимание сути, и уже в средние века появилось множество толкований древних текстов.

Относительно русской народной культуры можно сказать то же самое. Например, один только знак «мироворот» имеет более 600 названий у русского народа, но то, как он именовался древними ариями остаётся загадкой. Название «ярга», предложенное П.И.Кутенковым, всего лишь местное название, и не более.

Литература

[1] **Бакирова О.И., Минина В.М.** Народная вышивка Пудожья. –М.: Изд. центр «Древнее и Современное», 2012, 399 с.

[2] **Городцов В.А.** Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве // Труды ГИМ. Вып. 1, 1926. – С. 7 – 36.

[3] **Грабарь И.Э.** История русского искусства. –М. 1909.

[4] **Грот Л.П.** «Кланяются написавшие жену в человеческий образ» - роль женских культов на Русском Севере в самоорганизации общества догосударственного периода // Становление и развитие российской государственности и системы управления на Русском Севере в XVI – начале XXI в. –Каргополь, 2018, с. 21 – 35.

[5] **Динцес Л.А.** Дохристианские храмы Руси в свете памятников народного искусства. // Советская этнография, 1947, № 2, с.67 – 94.

[6] **Драган М.** Українські деревляні церкви. Ч. 2. –Львів, 1937.

[7] **История русского искусства**, –М., АН СССР, т. 1. 1953, т. 3, 1955.

[8] **Зая И.** История ассирийцев с древних времён до падения Византии. –М., 2009. 409

[9] **Иоаннисян О.М.** Хроника новгородского строительства X - первой трети XIII в. (Приложение 13) // Архитектурное наследие Великого Новгорода и Новгородской области". –С.-Пб.: "Спас", "Лики России". 2014. С. 606 - 654.

[10] **Клёсов А.А.** История ариев и эрбинов. Европейский Запад против

- европейского Востока. – М.: Концептуал, 2017. –320 с. **Клёсов А.А.** [6] Карта и маршруты древних миграций гаплогруппы R1a. // сайт Переформат, 2019, режим доступа: <http://pereformat.ru/2019/10/r1a-map/>
- [11] **Кузьмин А.Г.** Крещение Руси: концепции и проблемы. // «Крещение Руси» в трудах русских и советских историков. –М., Мысль, 1988, с.
- [12] **Левченко М.В.** Крещение Руси при Владимире // Крещение Руси в трудах русских и советских историков. –М., 1988, с. 135.
- [13] **Мокеев Г.Я.** Три Софии. О начале распространения на Руси храмового многоглавия. 2012. (Электронная версия на сайте «РусАрх»: <http://rusarch.ru>).
- [14] **Павлуцкий Г.Г.** Древности Украины: Деревянные и каменные храмы. –М: ЛЕ-НАНД, 2016. 144 с. (Репринт киевского издания 1905 года.
- [15] **Рачинский А.В., Фёдоров А.Е.** Русская церковь – хранительница народной дохристианской культуры. –М., 2016. – 110 с.
- [16] **Рачинский А.В., Фёдоров А.Е.** Славяно-арийские истоки русской архитектуры. – М.: Вече, 2016. – 624 с.
- [17] **Рачинский А.В., Фёдоров А.Е.** Русская Православная Церковь и дохристианское наследие Руси // Система Планета Земля, -М.: ЛЕНАНД, 2019, с. 407 – 429.
- [18] **Рачинский А.В., Фёдоров А.Е.** Дохристианские корни русских церквей // Журнал Капиталь. – С.-Пб., 2019, № 1
- [19] **Фёдоров А.Е., Фёдорова А.А.** Мировороты – маркеры культуры, созданной носителями гаплогруппы R1a. // Система Планета Земля. –М.: ЛЕНАНД, 2020, с. 410 – 433
- [20] **Sicyunskij V.** Drevene stavby v Karpatske oblasti. Praha. 1940.
- [21] **Маслова Г.С.** Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. –М: Наука, 1978, 207 с.
- [22] **Фёдоров А.Е.** Строительная деятельность древних ариев по данным археологии. // Система Планета Земля. –М.: ЛЕНАНД, 2020, с. 434 – 467
- [23] **Традиционное народное искусство Карелии: каталог** Музея изобразительных искусств Карелии / авт.сост. С.П.Сергеев. – Петрозаводск: Verso, 2015, 263 с..
- [24] **Бобринский А.А.** Народные русские деревянные изделия. –М., 1911 – 1914.
- [25] **Jarosevicius A.** Lietuviu kryziai. –Vilnius, 1912.
- [26] **Велецкая Н.Н.** Языческая символика славянских архаических ритуалов. –М., 1978.
- [27] **Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы к.ХІХ-н.ХХ в.** Летне-осенние праздники. –М., 1978.
- [28] **Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства** [в Москве]. Альбом-каталог. / сост. Г.П.Дурасов, Г.А.Яковлева. –М.: Советская Россия, 1990, 318 с.
- [29] **Выдающиеся собиратели народного искусства.** Не «корысти ради». ГРМ. — СПб, 2011.
- [30] **Лелеков Л.А.** Отражение некоторых мифологических воззрений в архитектуре восточноиранских народов в первой половине I тысячелетия до н.э. // История и куль-тура народов Средней Азии (древность и средние века). – М.: Наука, 1986, с. 7 – 18.
- [31] **Бируни Абу Рейхан.** Индия. Пер. А. Б. Халидова, Ю. Н. Завадовского // Избранные произведения. Том II. – Ташкент: Фан, 1963. Репринт: М.: Ладомир, 1995..

Олег Киреев, Михаил Иванов

Что здесь нарисовано?
Диалог в письмах
о смысле и содержании искусства

Июль 2019



Питер де Хох (1629 – 1684), Нидерланды
автопортрет

:

Вместо предисловия

Михаил Иванов

Конфессиональные русла европейской живописи

(журнал Звезда 2014, 2)

Связь школ европейской живописи с конфессиональным исповеданием если и становится предметом внимания, то проговаривается мимоходом и видится в ряду внешних обстоятельств типа роли церкви как заказчика и цензора религиозной живописи в католических странах, а с утратой этой роли в странах Реформации – особых запросов протестантской бюргерской среды. Трудно вспомнить, когда бы установки вероисповедания рассматривались не как внешние ограничения и предписания, а как строй мироощущения, определяющий творчество художника в его интимной глубине. Конфессиональные особенности искусства Европы и еще менее продуманная в этом отношении русская школа живописи остаются мало прояснены и опознаются, как правило, лишь на уровне сюжета и конфессиональной атрибутики.

Более непосредственную связь художественного образа с религиозным опытом открывает анализ произведения на уровне его пластической реализации – уровне более глубоком и экзистенциально убедительном, нежели декларации вероисповедания. Содержательная интерпретация пластической структуры образа открывает нереализованную перспективу его восприятия и истолкования.

...Выберем далекие от религиозных сюжетов произведения протестантской Голландии, католической Италии и русской школы,... \чтобы\ в наибольшей степени отвлечься от конфессиональных нарративов сюжета, сосредоточив внимание на первичном эстетическом содержании образа. Достаточно произвольно, имея в виду лишь представительность отбора, предметом анализа выбраны «Хозяйка и служанка» Питера де Хоха (ок. 1657), «Фантастическая ведуга» Франческо Гварди (вторая половина XVIII века), а в качестве презентации православия столь близкий русскому сердцу «Московский дворик» Василия Polenova (1878).

Начнем с эрмитажной картины Питера де Хоха «Хозяйка и служанка». Перед нами один из излюбленных мотивов голландской живописи – будничная жизнь буржуазного дома: хозяйка на веранде с шитьем на коленях и склонившаяся к ней служанка с сияющим медным ведром; в проеме ограды – вид улицы с набережной канала. Пространство картины определяет авансцена с главным событием в центре и отчетливо заданное, шаг за шагом, движение взгляда в глубину. Горизонт отсутствует – движение вглубь замыкает фасад кирхи.

Уже на первичном уровне пластической организации мотива возникает суммарное впечатление замкнутого в себе мира, его упорядоченности и стабильности. Оно обеспечено рационально выстроенным развитием

пространства с отчетливым перечислением его замкнутых зон, рубежей и преград. Членения пространства заданы дверью дома, из которого выходит служанка, балюстрадой веранды, оградой дворика, улицей, пересеченной каналом. Каждая обособленная зона (за исключением канала) связана с другой проходом: дверь на веранду, приоткрытая калитка балюстрады, проем ограды. Отметим попутно идеальную ухоженность быта – ни следа беспорядка, ни соринки на земле и полу. Эти детали, по видимости непритязательные, в дальнейшем предстают значимыми акцентами образа.

Значимость бытового сюжета заявлена масштабом фигур, но также (что может выпасть из внимания) их отчужденной застылостью. Взаимодействие персонажей (служанка передает хозяйке содержимое ведра – рыбу) лишено психологического контакта. Связанные действием персонажи отчуждены друг от друга. Психологическую отчужденность нельзя приписать неумелости художника – де Хох высокого уровня и драматургии сюжета – предмет особого интереса голландской живописи. Качество, о котором идет речь, можно отметить и у *самых* великих имен голландской школы – Я. Вермеера, Рембрандта ван Рейна... в этом проявляется характерное для голландской живописи «вещное видение» – близкое сакральному *переживанию: поэтизация вещи как воплощение трудового послушания. В данном случае «вещное видение»* проецируется на человека.

Отсутствие психологического контакта вносит в сцену ритуальную застылость и отчужденность, а вместе с тем – ритуальную значительность. Эту значительность подтверждает композиционное решение. Обыденный сюжет выстраивается по формуле *сакрального предостояния* (с главным, восседающим и принимающим подношение, и склоненным второстепенным персонажем). Тем самым в социальную соподчиненность «служанка – хозяйка» вносится оттенок священнодействия.

На уровне пластического решения художник утверждает достоинство личного – помимо церковных институций и ритуалов – бытового благочестия. ... Благополучие земного существования воспринимается протестантом как «благословление свыше». Отсюда ригоризм протестантской проповеди, обличающей беспечную праздность. Отсюда же опасливое отношение к стихийным проявлениям любого рода ... Настороженное отношение к природе, как самобытийствующей стихии, исподволь, но достаточно внятно заявлено де Хохом: это и жиденькое растение в вазоне балюстрады, допущенное в качестве минимального «оживления» быта, и дерева, трижды отгороженные балюстрадой, стеной дома и оградой, отделяющей дворик от улицы. Можно говорить о своего рода сакрализованном урбанизме голландской живописи. Присутствие природы взято под контроль. ...

Искусство «малых голландцев» избилует тихой любовью к быту и назидательным притчам, обличающем соблазны плоти (не без ханжеского к ним интереса...), таковы кабацкие, откровенно эротические сцены, выступающие как греховная изнанка и социальное подполье бюргерского быта). В контексте протестантского морализма сюжеты мирных бюргерских

будней выступают как религиозный идеал трудовой аскезы и ниспосланного благополучия. Картина де Хоха из их числа.

Рациональная выверенность пространства голландского дворика, сама жесткость геометрической структуры образа, построенного на пересечении вертикалей и горизонталей, проявляет исходную и навсегда заданную аскетически-волевою доминанту протестантизма. Спустя столетие мы опознаем ее в геометрической упорядоченности К.Д.Фридриха или минимализме П.Мондриана (а от противного – в дисгармонии северного гротеска и экспрессионизма).

С пафосом геометрической упорядоченности расчерчен де Хохом излюбленный голландскими художниками черно-белый шашечный пол, столь же четко означены пространственные зоны образа: веранда, участок внутри ограды, канал в ее проеме.

... Минуя зоны и рубежи пространства, движение взгляда вглубь упирается в фасад кирпичи. Преграды на пути к ней – одна из содержательных перспектив образа.

Персонажи де Хоха представлены за работой – столь важным в аскетике протестантизма трудовым послушанием: хозяйка за рукоделием, служанка среди кухонных забот. Отлаженный быт буржуазного особняка лишен видимых напряжений. Эмоциональная тональность картины де Хоха – безмятежное довольство. Перед нами – своего рода протестантский рай. Поэтизация соотносится с заявленной Реформацией религиозной значительностью частной жизни. Само вещное изобилие голландской живописи, характерное в ней «сияние вещи», сакрализует повседневность.



Здравствуйте, Михаил!

Прочитал две Ваши статьи в "Звезде" 2014 года: "Нагое и укрытое..." и "Конфессиональные русла...". Дальше сложнее... начало, как и окончание всякого текста, всегда немного искусственная конструкция... Я начну со "Сретенья" И. Бродского:

... Их всех тишина обступила.

Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

Мне нравится эта строфа с ее длинным дыханьем... И длинная временная волна Ваших работ мне тоже понравилась. Вообще, временная размерность – очень мощный инструмент \понимания\. Конечно, искусственная конструкция должна быть шире, чем естественный мир, недостаточный для создания смысла. И надо придумать нечто, воспринимаемое, как удар, как неожиданность и провокация. Так придумывает \свои конструкции\ М.Эшер, так "держит" анекдот, так действуют путешествуя; и тогда через впечатление возникнет символ, и можно угадать, если достанет интуиции, его смысл и сократить время, нужное, чтобы собрать свою жизнь, как целое, через этот символ...

Клод Шеннон, один из отцов кибернетики, показал когда-то, что эффективный информационный канал должен быть узким (и это – правда). ...Чуть раньше об этом же сказано: «Входите тесными вратами...» Затрудненная лексика и слишком широкий охват в ваших работах меня немного смущают..

С приятною и дружелюбием Олег К. 25 сент

Олег,

Получил Ваш ответ, пока продолжал писать свой первый текст. Поэтому продолжу его, а с ответом на ваш ответ пока подожду. Общее впечатление, что спонтанность Вашего письма мешает Вас понимать. Пока – продолжение начатого.

Сон в руку: попытка выделить наши письма особым файлом раз за разом кончалась тем, что текст копировался *иероглифами* (не слабо!). Как-то выкрутился – теперь: как еще почта его прочтет с файла?... с компьютером у меня мистические нелады, пакостит как может.

Цитирую: *«длинная временная волна Ваших работ мне тоже понравилась. Вообще, временная размерность – очень мощный инструмент. Конечно, искусственные конструкции должны быть шире, чем естественный мир, недостаточный для создания смысла. И надо придумать нечто, воспринимаемое как удар, как неожиданность и провокация... Так придумывает М.Эшер, так "держит" анекдот, так действуют путешествуя.. и тогда через впечатление возникнет символ и можно*

угадать, если достанет интуиции, его смысл и сократить время, нужно, чтобы собрать свою жизнь, как целое. Один из отцов кибернетики, Клод Шеннон когда-то показал, что эффективный информационный канал должен быть узким (и это – правда)..

-«длинная временная волна», как понимаю, – мой охват темы «по всему спектру» истории искусства. Тогда почему *«слишком широкий охват в ваших работах меня немного смущает (ют)»?*

Отчасти понимаю – одна и та же тема проигрывается раз за разом. Было бы на пользу делу изложить большой материал, разделив на отдельные сюжеты, эмоционально насыщенные эссе. Каждое наблюдение воспринималось бы свежее. Стремлюсь к этому, но ведь основная задача – убедить в преемственности очень разных порой образов, показать их общую символическую основу. Эффектно было бы (скажем на уровне структуры) обозначить связь «палеолитических макарон» (волнообразные беспредметные начертания палеолита) со стилистикой барокко или Делакруа и т.п., но это останется одним из эйфористических произвольных сближений, действительно как *«нечто, воспринимаемое как удар, как неожиданность и провокация»* и демонстрации сквозной символической преемственности образного ряда не послужит. Не правда ли?

Однако как необходимость особой выразительности такого особого дискурса, я Вашу реакцию понимаю. Поскольку *...тогда через впечатление возникнет символ и можно угадать, если достанет интуиции, его смысл и сократить время, нужно, чтобы собрать свою жизнь, как целое.* (На мой вкус – чрезмерно метафорично выражается, приходится угадывать и додумывать смысл). Вообще, как всегда, когда речь идет о непосредственном восприятии, целостном эстетическом впечатлении его (эстетическая же) артикуляция становится существенно важна. *«Затрудненная лексика»*, как и излишняя метафоричность) в анализе искусства снижают убедительность проговариваемого наблюдения.

Почти выговорился... Всего доброго!

Михаил 5 сент

Олег, здравствуйте! Обрадовала Ваша оперативность. Ответу по ссылкам на Ваш текст:

Прочитал две Ваши статьи в "Звезде" 2014 года: "Нагое и укрытое..." и "Конфессиональные русла..." Дальше сложнее

– Почему сложнее? В "Черной точке" может быть чужды и, возможно, заведомо неубедительны для Вас отсылки к религиозному опыту и кой какая богословская терминология? Здесь могут оказаться препятствия слышанья друг друга, связанные с противостоянием "научного" самоопределения (думаю, родного Вам) и религиозной чуткости – по мне, так неустраимой как реальность жизнеощущения (а не деклараций "мировоззрений"), к которому прежде всего и на последней глубине обращено художественное творчество.

Как раз в "Точке" я пытаюсь применить структурный анализ к иконе, как

выражению религиозного опыта, не чуждого, но иначе интерпретируемого секулярным сознанием. Ибо "душа человеческая – христианка", сказано Тертуллианом. Понятно, что разъяснение позиций здесь требует долгого и терпеливого вслушивания друг в друга.

Что касается "Судьбы ритуального жеста", то в ней вполне знакомая каждому инстинктивная реакция (укрытие руками тела) связывается с ритуальным проявлением, пронизывающим мировую культуру и опознаваемым в бесчисленных художественных образах как их эстетическое содержание. Это содержание художественного образа непосредственно очевидное и внятное в нашем телефонном разговоре я коряво выговаривал как укорененность художественного образа в ритуале, а еще глубже – в инстинкте. Вот вам и связь "содержания образа" с "объективной реальностью" и путь к "доказательной" интерпретации образа (в конкретном контексте). (О чем говорил, насторожив Вас, у Саши Бихтера). Подобную "доказательную интерпретацию" я и развертываю в "Укрытом и обнаженном теле" на пространстве сквозной исторической традиции европейской живописи. Это, как я понял и обрадовался, Вы оценили в статье. Еще и с поэтической прамбулой из Бродского.

Однако, ближе к Вашему письму.

"начала, как и окончания, всегда немного искусственные конструкции..." – готов принять это замечание.

Начала мне мучительно трудны, кажется, из-за того, что не вижу, не чувствую читателя.

Другое с окончаниями. Нормальное требование к окончанию – подвести итог сказанному. Я же отделяюсь словесной виньеткой, чтобы не сорваться на пафос – типа: вот путь к истолкованию и интерпретации образа, который от Юнга и Флоренского начиная, заявлен культурологией 20 века, а в ближайшем поколении представлен в филологии Аверинцевым, но остается неведом нашему болтливому и закомплексованному наукообразию искусствоведенью...

Длинной текст у меня нередко кончается тем, что как рыба прорывает сеть и безвозвратно теряется в машине.

Прервусь,

"Мне надо и погулять и отдохнуть, продолжу после как-нибудь".

Договорить еще много надо.

Спасибо, разговорили! Всего доброго, Олег!

28 сент

Здравствуйте, Олег!

Конечно, чтобы убедительно "сблизить палеолит и Делакруа", заявить о такой возможности мало, да и зачем строить такие "конструкции", если это только игра ума и если *Такая широта может оказаться бессодержательной...?* Мне она кажется самой актуальной в сегодняшней ситуации разброда, потери критериев художественного образа как такового (о чем

кричат как о "смене парадигмы"). Я к этой "широте" пришел от конкретных, актуальных для меня проблем собственного творчества и, главное, опыта своих поисков и вживания в историю искусства. Как любопытная "точка зрения", мои взгляды бывали любопытны для людей, далеких от художественной практики и почти поголовно неинтересны для художников, как "скучная теория". Как правило, мало зная и не вдумываясь в историю искусства, каждый ищущий художник склонен из обрывков впечатлений и сведений и пережитых образов составить нужную для своего пути анфиладу любимых памятников истории искусства, выстраивая ее исключительно "от себя". Такое видение искусства естественно и продуктивно для профессионалов, блокируя опасный для необходимой спонтанности груз рефлексии о своем пути в искусстве. В этом смысле художнику взгляд на себя извне противопоказан как помеха и соблазн. Зато как дорожит автор узнаванием себя извне единомышленником! Я же в подтверждение своих взглядов замечал возможность с самыми разными художниками понимать и говорить об их пути и проблемах на "последней" интимной глубине так, что удавалось внятно для собеседника, перед его холстами и пальцем водя по ним, называть болевые точки и возможную перспективу. Меня это слышанье формы, как пути к образу, уверяет в своем подходе.

Это я по поводу "широты" моего интереса к символическому содержанию образа. Достаточно других живых и "узких тем" для бесед. Вы ее и предлагаете: *Мне кажется, доказательная интерпретация в рассуждении темы, – это интересно. Как Вы думаете, как эта штука устроена? У нее есть внутренняя структура? И существует ли вообще эта "золотая пуля"? Или это только выбор между преданностью и нелюбовью?*

Честно говоря, не понимаю, что Вы имеете в виду.

доказательная интерпретация в рассуждении темы – т.е. обоснование интерпретации образа? Вполне предмет для разговора. Расскажите (без поэзии), как это видите (непонятно только, что значит "тема") Я бы ответил. Или это разговор о сюжете и структуре? А *"выбор между преданностью и нелюбовью"* – это значит *"просто так захотелось"*?

Хотя, кажется, лучшие общие проблемы не трогать.

Михаил 08 окт

Олег!

В ответ и я задержался с ответом – делал выставку в Матисс-клубе, вчера выступал там на открытии, много говорил, как всегда ничего, кроме общих слов, не услышал о своих работах. Для «общения по поводу» недостает в зрителе самой первичной стилистической дефиниции своих впечатлений – понимания, откуда ноги растут. Но и это, кроме заинтересованности, требует чуткости и эрудиции и какой-то продуманной позиции. Безупречны только девушки – они как букеты, расставленные по периметру происходящего – сияют глазами в восхищении от многозначительности обстановки и, как оркестр на празднике, вносят в нее свой вклад – наряды.

Вопрос «почему Пушкин лучше, чем Кюхельбекер?» провоцирует скучные углубления в общие предпосылки эстетической реакции, лекцию о контексте, коннотациях, историческом фоне (выстраивающем иерархии), уточнения «в чем, собственно, лучше?» (у дилетантизма перед «гением» свои преимущества – психологические, например). Как и вы говорите: в конечном счете, разговор придет к той же «доказательной интерпретации» с вождением пальцем по холсту. В том числе, потрошением структуры образа.

Так что согласен – «"символическое содержание работы \картины, скульптуры, рисунка\" точнее» – добавил бы: предметней.

«Я посмотрел работы М.Л.Гаспарова и С.Аверинцева: слово "образ" практически отсутствует, во всяком случае особой нагрузки оно у них не несет.» – не думаю, "образ" – ключевое понятие не только применительно к сегодняшнему творчеству, но и всей христианской культурной традиции (поскольку она отделяет искусство от магизма). Вся драма иконоборчества – вокруг этого. Вплоть до модернизма, упершегося в абстракционизм, и постмодернизма с его симулякрами и прочей ересью.

Вы, наверное, уже в своей «длительной поездке», надеюсь приятной.

М. 12 окт

Михаил!

Да, я уже в приятной поездке: Кремниевая долина. Думаю: не усложнить ли жизнь, согласившись на вызов, – сплавиться по речке Колорадо в Большом каньоне? Киношные красоты и красные горы, но пороги – настоящие. Смущают термобелье и гидрокостюм в течение недели... наверное, вы не знаете, что это такое... Скорее всего, брошу монету...

Поздравляю с выставкой! Это – праздник.

Картина \или текст, или музыка\ – всегда некое высказывание, и оно входит в нас через впечатление. Конечно же. И хочется, чтобы высказывание \второй слой после впечатления\ было внятным и, может быть даже, если автору повезет, в работе странной скульптурой возникает третий слой \любезный вашему, Михаил, сердцу\ – образ.

Мне больше нравится термин "символ", но это – потом.

И ни краска, ни линия, ни холстина или картон сами в себе не содержат даже первого слоя работы – впечатления. Это должно быть выстроено \простите за пропись, Михаил – это я стараюсь обойтись без метафор\ . Ну, а дальше с необходимостью! возникают прецедентные ряды, и можно будет понять, чем, собственно, создано впечатление, "откуда ноги растут"...

К сожалению, я плохо знаю ваши работы...

Надо ли говорить о сложном? Мне кажется, да, надо. Но трудность таких разговоров в том, что там, в глубине этой сложности всегда алогичность, там заканчиваются причинно-следственные ряды... Собственно, любая "хорошая" работа являет собой этот путь.

Искренне О. 12 окт

Здравствуйте, Михаил!

Да, девушки всегда безупречны, о них все хорошо у вас сказано.

Я с интересом прослушал Вашу лекцию «О конфессиональных руслах ...», и 1-ю и, особенно, 2-ю часть. 2016 год.

И тут же, чуть помедлив, прочитал вашу статью о Валентине Левитине 2013 года. Я тоже очень люблю "Благовещенье", эту московскую икону 14 века... она много лет "живет" у меня в доме: репродукция в естественную величину, примерно 40 на 25см, напечатана еще в ГДР. Совсем рядом висит севастопольский пейзаж В. Яшке с морем и солнцем, и удивительно видеть, говорю я своим гостям, как легко по цвету "Благовещенье" выдерживает соседство с живописным Яшке...

"Хозяйка и служанка" – высказывание более сложное, чем севастопольский пейзаж В. Яшке... И, я думаю, оно скорее иронично к протестантизму: слишком густа, чрезмерна конструкция из клеток а-ля Лего, слишком похоже на лабиринт; дерево в горшке, подчиненное этому порядку, явно рахитично, а деревья на свободе темны, густы и свободно преодолевают выстроенные вокруг "рамы". И еще одна засада: служанка приносит рыбу)!... Здесь не удержусь – С.Аверинцев: "Что же нам делать, Раввунь? Что же делать? Семь тысяч взалкавших в пустыне, а у нас только пять хлебов, а у нас только две рыбы..."

Но Ты говоришь: "Довольно." И сияющий медный кувшин в центре композиции... (Это) блеск золотого тельца?

А храм где-то там, вдали... если это вообще храм?...

Следующая работа особой авторской благостности (в протестантизме) не подтверждает: небольшая черная фигурка в разлинованном пространстве слева – бесцельна, и будет поглощена свободой вольного пейзажа и молодой женщиной с ребенком в правой части работы. Пластический контраст этих двух частей очевиден, мне кажется... Статичность слева и движение в правой части...

А с общим посылом лекции я, конечно же, согласен.

Мне нравится Валентин Левитин. Но почему вы не говорите о провалах в его работах или говорите, как бы оправдывая их? Работа умирает в такой рецензии..

Искренне О. 19 окт

Олег, так вы сплавляетесь по порогам с ноутбуком в руках? Или уже вынырнули у стрелки Васильевского?))

Спасибо за конкретику последнего письма – она бодрит разговор, а то я скис было в предшествующих отвлеченностях.

По пунктам:

– о Валентине Левитине 2013 года. Я тоже очень люблю "Благовещенье"... у меня в доме...: рядом висит севастопольский пейзаж В. Яшке с морем и солнцем, и удивительно видеть, говорю я своим гостям, как легко по цвету "Благовещенье" выдерживает соседство с живописным Яшке...

Для меня возможность такого сравнения («знакового» символического, «надличного» цвета иконы и колористической экспрессии романтической традиции, еще и преломленной аналитическим пленеризмом – каков цвет у Яшке) – путь заведомо парадоксальных соотнесений. Здесь сталкиваются миры и столетия мирозерцания и культурных традиций. Было бы интересно послушать ваш разговор на эту тему с гостями. (В том числе прояснить значения «выдерживает соседство») Меня такое сопоставление увлекает в интимнейшие бездны истолкования цвета. Как в истории искусства, так и на уровне непосредственного переживания. Пока такие углубления преждевременны – мы еще плохо слышим друг друга...

– "Хозяйка и служанка" –...скорее иронично к протестантизму: слишком густа, чрезмерна конструкция из клеток а-ля Лего, слишком похоже на лабиринт:...

По поводу иронии – при всем при том я забочусь о ее толерантности .

Что до «слишком густа, чрезмерна конструкция из клеток а-ля Лего, слишком похоже на лабиринт»...– сам не прочь проговорить наугад нечто схваченное непосредственно, но необходимо это схваченное тут же прояснять. Иначе невнятно...

– дерево в горшке, подчиненное этому порядку, явно рахитично, а дерева на свободе темны, густы и свободно преодолевают выстроенные (рубжи?) вокруг "рамы".

Ну, уж и «свободно преодолевают!»)) По – вашему хаос природы в голландском пейзаже буйно идет на штурм урбанистических твердынь буржуазного уюта? Это только сверхнациональный Рембрандт ищет в пейзажах сопричастности человека и природы и то – с тысячью оговорок.. Для чего и сравнение с Лорреном. А вспомните Вермеера – как закупорен в интерьере его домашний уют и как (стесненный ракурсом рамы) из трансцендентного «извне» льется в этот уют дистиллированный, сублимированный витражами свет. Раздвигающий пространство комнаты-каюты в мир за бортом.

– И еще одна засада (?): служанка приносит рыбу)!... Здесь не удержусь – С.Аверинцев: "Что же нам делать, Раввуни.., Семь тысяч взалкавших... Но Ты говоришь: Довольно." И сияющий медный кувшин в центре композиции... Блеск золотого тельца? А храм где-то там, вдали... Если это вообще храм).–

Вот и я говорю о «сакрализованном переживании вещи» и потому (с иронией) – как о «глубинном сюжете» картинки – о встрече сияющего ведра с подушечкой для вышивания... Вас то же переживание образа подвигает к далеким отсылкам,– по мне, так слишком здесь торжественным, далеко заходящим.

Может быть, скучен со стороны, но кажется полезен такой обмен восприятием образа.

Дальше не уверен о какой картине речь. И что вы имеете в виду под "провалами Левитина"? И обязательна ли эта ложка дегтя?

М. 18 окт

Михаил!

Нет, я еще не сплавляюсь, возможный сплав – это удачный случай – нечаянно освободившееся место в команде, и на него вдруг обнаружился еще один претендент... ну, и снаряжение еще надо найти \не хочется покупать\.

Так что – некоторая неопределенность...

Да, "скисание" я почувствовал)...

"Хозяика и служанка"

Повторюсь: это тупик и духота. И никакой благодати. Прямоугольник = клетка и выхода нет: перспектива замыкается не на кирху \у вас деликатно: "скорее всего, замыкается изображением кирхи"\. И дальше: "заветная сакральная перспектива". Нет, сакральной перспективы нет, это не кирха, горизонт закрыт деревьями и избыточным для протестантской философии зданием с башней и трубой.

"Вся природа взята в рамки, она как бы обрамлена...". Нет, здесь природа обрамляет лабиринт с заблудившимся человеком: справа ветви свисают на стену и горизонт впереди закрыт деревьями, а там, где их не хватает, человек затыкает просвет бессмысленным домом.

Перечисляя планы изображения, вы говорите: "это ряд преград"... Намеренно сгущенный, продолжаю я.

И одна рыба на одну семью – что с ней делать? вот задача для рахитичной служанки... Когда-то для семи тысяч хватило двух рыб ... Это не далекая и торжественная отсылка – вы же говорите о воплощении христианства в культуре?

И здесь \в этой работе\ нет "сакрализованных вещей", разве что только, как насмешка, здесь – хищные вещи \так говорит эта работа\.

Мне кажется, что со стороны наш обмен записками совершенно не скучен. Вы видите в этой работе сакральную тишину, я – тупик, строптивую грусть и иронию.

Вторая работа, о которой я говорю – это тот же автор, Питер де Хох, и вы показываете ее в той же лекции, сразу после "Госпожи и служанки". И там небо – над молодой женщиной и ребенком, а перед "хозяйкой" – тупик \так нарисовано, Михаил\.

Нет, Михаил, я не думаю, что "хаос природы в голландском пейзаже буйно идет на штурм урбанистических твердынь буржуазного уюта". Я думаю, что человек выгораживает твердыню дома из хаоса и противостояние дома и хаоса совершенно отчетливо видно в пейзажах, которые вы использовали в своей лекции. Мне особенно нравится зимний пейзаж, где заснеженные хребты – элемент конструкции \композиции\ для воплощения этого противостояния.

Да, "мы еще плохо слышим друг друга", поэтому я не буду говорить о вашей статье про Валентина Левитина, но два замечания о ней: первое – даже не ложка, а бочка дегтя – я хочу видеть преодоление. Второе возьму примером из вашей последней записки: "дистиллированный свет... раздвигающий пространство комнаты-каюты в мир за бортом...". Сублимированный или дистиллированный свет – совершенно искусственная субстанция, как я понимаю, и вата в комнате не может вывести в мир, где снегопад...

Такие опасные обороты часто встречаются в статье. Девушки, конечно же, будут слушать вас с восторгом, но мы хотели говорить о доказательной интерпретации)?

Искренне О. 19 окт 17

Вы оперативны, Олег, этот темп надо еще выдержать. Вроде получается.

"Девушки, конечно же, будут слушать вас с восторгом, но мы хотели говорить о доказательной интерпретации)?"

Девушки и восторги на вашей совести, а вот почему свое перетолкование образа вы, очевидно, считаете доказательным, а мою интерпретацию нет? Я отмечаю содержательные интенции образа, указывая их параллель идеалам Реформации (что и предмет статьи), вы же заняты совсем другим – уничтожением этих идеалов с позиций собственной идеологии (может быть, православной?). Отчасти готов разделить ваш пафос (если бы, вместе с его чуждостью не видел цельности образа де Хоха как мироощущения и опыта для православных поучительного). Вы переводите разговор на полемику идеологий. Это уже область страстных исповеданий или публицистики, далекая от эстетической чуткости.

Состоявшийся художественный образ вырастает из таких глубин общечеловеческой памяти, в которых нельзя не найти хотя бы частичку универсального духовного опыта.

А вы с таким задором оспариваете даже не частное высказывание, а одну из парадигм христианского исповедания и европейской культуры.

Анализу вы противопоставляете эмоцию.

Понял, какую другую картину де Хоха имеете в виду – Дворик со служанкой и девочкой и хозяйкой, глядящей на улицу (не в "тупик"). В ряду конвенций голландского бытописания хозяйка приписана к быту. Как и в русском быту, девица у окна, у калитки – персонаж предосудительный или (в пику рассудку) романтический. Забыла о долге, ан глядишь – соблазн рядом ходит... Отсюда и неприбранный двор и четкая метка в углу – швабра с совком. Чем-то вроде метелки звали голландские кумушки заблудшую хозяйку. (Этот иконографический нарративчик уходит со временем в справочники, но для "доказательной интерпретации" порой полезен как подсказка).

Так вот – для сегодняшнего романтизирующего восприятия – женщина у окна, у порога дома – сквозной лирический мотив, право личного порыва, секуляризованного "чувства", утверждающегося в Европе в том числе на почве Реформации. Тысячи примеров этого ряда образов вы легко вспомните. Среди прочего и лирический ветерок из окна у Вермеера в его бессмертной "Девушке с письмом".

Слишком вы доверяете первому неотрефлексированному чувству.

То же о Левитине – будто не очевидно, что его живопись пронизана "иудейской тьмой". Но для него-то и его аудитории она – внятный религиозный опыт.

Всего доброго! М. 19 окт

Нет, нет, Михаил, никакой заданности в моих ответах нет... Только плавное течение... Два дня гуляю, жду ответа от команды, с которой хотел пройти реку, и могу посмотреть почту...

Ах, Михаил, я не говорил про идеалы Реформации и уж тем более не оспаривал ничьих парадигм. Я слушал! вашу лекцию о протестантизме и привожу цитаты из нее, где о горизонте и кирхе. И смотрел!, что нарисовано у де Хоха. На образ нельзя указать пальцем, а изображение позволяет это сделать, и я смотрю и говорю:

это не кирха,
горизонт закрыт,
растение в клетке чахнет,
черно-белые фигуры на шахматной доске пола...

И согласитесь, Михаил, параллель между интенциями и идеалами можно указать, если интенция \пластический\ воплощена в этой конкретной работе. Но ... не кирха, не горизонт и природа не в раме \а там, где обрамлена, т.е., в горшке – опыт неудачен\...

Хорошо, девушек и восторги с удовольствием оставляю себе, но почему "перетолкование"? Я бы сказал – другой образ, он просто не совпадает с вашим. Почему "уничтожение"? Мы же с вами не участвуем в \прошедших\ религиозных войнах Запада?

А "пафос"? Нет, нет, Михаил... Мне больше привычна насмешка... "Идеология", "задор", "страстное исповедание" – это ли не пафос)? А я говорил всего лишь об изображении, о том, на что можно указать пальцем. И элементы композиции, из которых автор строит работу, оправданы в моей версии образа этой картины. Вот, собственно, и все мое утверждение, о котором вы сказали так много замечательных слов.

"Доказательная интерпретация" – это ваш термин из первого письма \второго?; он мне понравился и я использую его. С ним что-то не то? – вы берете его в кавычки во втором абзаце...

Конечно, женщина у окна, ... да, но, для меня "открытый" образ второй работы де Хоха почти очевиден, и столкновение правой и левой частей работы совершенно не в пользу черной фигуры слева. "Подсказки" ничего, по моему, в этой оценке не меняют.

Но замена "дистиллированного ... света" на "лирический ветерок" делает, мне кажется, описание работы Вермеера более точным. \Мой старинный друг всегда хотел назначить меня Главным редактором Вселенной\

Религиозный опыт и "иудейская тьма" Валентина Левитина... нет, не очевидно; и в статье! вы не говорите об этом.

Наверное, вам не очень понравится сказанное, Михаил... Я очень старался, чтобы не было "пафоса" и прочего.

Искренне О. 20 окт

Олег! у меня копится ощущение растрепанности и потому бесплодности нашего диалога. Я задаю темы, пытаюсь выразить свое восприятие образа и аргументировать его, вы откликаетесь отрывочными ремарками, в основном негативными, свое восприятие заявляя и не аргументируя... Вашу встречную интерпретацию как нечто развернутое, я не слышу. Ваша инициатива сводится (для меня) к полемике "о словах" – род мужского разговора при дамах)).

При всем уважении и интересе к вам как человеку, я предложил бы отложить переписку до встречи – может быть, лицом к лицу мы нащупаем более продуктивную возможность общения. Переписка громоздка, в ней мы почему-то плохо слышим друг друга. Вообще эстетическая реакция коренится в самых глубинах сознания – несовпадения ее могут быть и поверхностными и непреодолимыми.

С дружеским чувством, надеюсь взаимным!

Михаил 23 окт.

Михаил,

я согласен – отложим переписку \при моем несомненном дружелюбии и приязни к вам\.

И, мне кажется, я понимаю "ваше восприятие образа" \хотя я бы сказал: восприятие картины и образа, который в ней воплощен\, но композиция и детали картины свободно допускают другое толкование или просто противоречат вашим лекционным утверждениям. Я говорил именно об этом: о другой интерпретации и несовпадении ваших слов с изображением. Какой же здесь спор о словах)?

Скажу несколько предложений о том, что мне нравится): – мне нравится переписка \она ограничивает монологи\, мне нравится, когда на "нечто развернутое" можно ответить: "Здесь не так", – и указать пальцем на деталь картины, мне нравится, когда собеседник слышит диалог.

Искренне О.

23 окт.

Я подумал – из нашей переписки можно сделать хороший короткий рассказ \мне нравится делать композиции из писем друзей и знакомых. Ведь все уже написано, правда? И \ или как сказано у вас в лекции..

Какой вы экстремал, Олег, радуйтесь, что проскочили пороги. Покривлю душой, приветствуя ваше намеренье из кротовой шкурки нашего взаимонепонимания выкроить шубу с сапогами. Да, меня предупреждали, что вы страстный спорщик. Так что помалкиваю.

Желаю дальнейших преодолений!

М. 23 окт.

Дорогой Олег!

Очередным построчным примечанием к вашему письму из осторожности не соблазность.

Вдогонку нашей переписке вопрос – поскольку разговор все вокруг де Хоха – почему вы ссылаетесь на лекцию, а не на статью в Звезде?. В ней все компактней и наверняка выверенней. Записи лекции я так и не собрался прослушать – не люблю себя в этой роли.

Из нашей переписки можно выкроить два рассказа: как А не слышит Б и как Б не понимает А. Или пьеску с ружьем на стене.))

Всего доброго!

М. 23 окт.

ОК Дорогой Михаил!

Песка мне бы понравилась больше, но я постараюсь ружьецо и в рассказе пристроить. Почему не смотрел статью? Лекция как-то очень легко открылась... (здесь такой навороченный комп – контроль над ним мне дается с трудом). Но я уже сказал себе: надо прочитать статью. По обозначенной вами причине. Да, надеюсь должен получиться диалог именно о де Хохе... Да, с разной лексикой... Интересно, что скажут мои адресаты.. Искренне

О. 6 окт

P.S.

«Случайно на ноже карманном

Найди пылинку дальних стран –

И мир опять предстанет странным,

Закутанным в цветной туман!»

Ал. Блок «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...»

1911 – 1916 гг.

Художник рисует «странность», не имеющую предмета, но которую можно назвать «образом», пониманием, смыслом. Знает ли он об этом? Разве что немного).

Всех благ читающим

2019, лето, СПб

Эрмитаж «Хозяйка
и служанка»,
около 1660 г. Х., м.



Питер де Хох (1629 – 1684) - сын каменщика и повитухи, принадлежал к низам голландского общества. С 1645 по 1647 годы проходил обучение у Николааса Берхема в Харлеме. В 1650 году де Хох сопровождал купца Юстуса де ла Гранжа в поездке в Лейден, Гаагу и Дельфт, где и поселился в 1652 году. В описи имущества де ла Гранжа упоминается 11 полотен де Хоха. В молодости, подобно другим художникам середины века, работал над грубоватыми жанровыми сценками, зачастую изображающими солдат в тавернах и на конюшнях. В это время находился под влиянием творчества Карела Фабрициуса и Николааса Маса.

В 1654 году женился на Яннетье ван дер Бюрх, родившей ему семерых детей. В 1655 году был принят в местную гильдию художников.

Около 1658 года открылся наиболее значительный период его творчества. По тонкости письма и геометрической точности композиционного расчёта его произведения имеют много общего с работами Вермеера, однако трудно сказать, кто из них подражал другому.

Олег К.: Василий Иванович, здравствуйте!

Высылаю Вам некую композицию из писем между мной и интересным художником – он же критик – Михаилом Ивановым. Тема переписки, я думаю, вневременная. Посмотрите, пожалуйста, и, если интересно, выскажите замечания: там могут быть смысловые шероховатости из-за отсутствия широкого контекста нашей переписки, но я готов их легко и быстро устранить.

Искренне Ваш, 04 сент 19

ОТ РЕДАКТОРА

Судьба распорядилась так, что именно мне и приходится ставить в этом диалоге многоточие. То, что я в нем понял, и прекрасно и верно («Безупречны только девушки – они как букеты, расставленные по периметру происходящего – сияют глазами в восхищении от многозначительности обстановки и, как оркестр на празднике, вносят свой вклад – наряды.»), не сомневаюсь, что и все остальное прекрасно и верно. Мой вклад в диалог: труд редактора и издателя – и он перед вами. Буду рад, если подвергнутся анализу и две другие картины, заявленные в начале. Вторая картина Де Хоха, о которой идет речь – кажется, я нашел не ее – но поскольку разговор о картинах закончился, то это не важно.

В качестве платы за свой труд редактора (немного переставляя слова) запоминаю *многозначительное*:

«Картина \или текст, или музыка\ – всегда некое **высказывание**, и оно входит в нас через **впечатление**. И хочется, чтобы высказывание было внятнм. Конечно, искусственная конструкция должна быть шире, чем естественный мир, недостаточный для создания смысла, и надо придумывать нечто, воспринимаемое, как удар, как неожиданность и провокация. ...так "держит" анекдот, так действуют путешествия; И лишь затем возникает, как третий слой, **символ** \или, любезный вашему, Михаил, сердцу – *образ*\, и можно угадать, если достанет интуиции, его смысл и сократить время, *нужное, чтобы собрать свою жизнь, как целое, через этот символ...*

Но Клод Шеннон, один из отцов кибернетики, показал когда-то, что эффективный информационный канал должен быть узким (и это – правда). ...Чуть раньше об этом же сказано: «*Входите тесными вратами...*»

Калягин Николай Иванович

ЧТЕНИЯ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ ЧТЕНИЕ 15



И. И. Коневской
Рис. Е. С. Кругликовой



* * *

Теперь поговорим о русском символизме.

На прошлом чтении мы начали осваивать дальние подступы к этой обширной и благодарной теме: наискосок рассмотрели поэтов, которых сами символисты называли своими предшественниками: обсудили (и где-то даже осудили) Вл. Соловьева, Надсона, Фофанова.

Но символисты называли своими предшественниками всех без исключения великих поэтов земли: Тютчева и Фета, «Шакеспеара» и Кальдерона, Бодлера и Александра Добролюбова...

От последнего имени мы и оттолкнемся. Александр Добролюбов – предшественник несомненный: один из четырех-пяти атлантов, удержавших на своих каменных плечах вход в главное здание русского символизма и где-то даже означенный вход в глухой стене народничества предварительно проковырявших. Познакомимся с этими интересными людьми.

Начнем не с Добролюбова, но, по порядку старшинства, с Минского.

Этот атлант, родившийся в 1855 году в селе Глубокое Виленской губернии, носил изначально фамилию Виленкин. Но креативный, как все бедные еврейские подростки, он пулей из родного захолустья вылетел и, пронзив насквозь Минскую гимназию, утвердился в здании двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета. Подросток оказался впридачу поэтом; здесь обрывается Виленкин (по губернии) и начинается Минский (по гимназии); многое множество стихов последнего появляется в периодической печати на рубеже 70-80-х годов XIX столетия.

Поэзия Минского отвечала главному требованию тогдашнего книжного рынка: она была антиправительственной. Фирменное ее отличие составляла гражданская рефлексия: тонкие колебания между «каждой борьбы» и «неуверенностью как в ее результатах, так и в своих силах». «Неуверенность в результатах» была по тем временам невероятной, почти новаторской смелостью.

Первый стихотворный сборник Минского подвергся цензурному запрещению, что привлекло общее сочувственное внимание к его поэзии. На Минского обрушилась слава. Достаточно сказать, что Репин написал известную картину «Отказ от исповеди», непосредственно вдохновившись поэмой Минского «Последняя исповедь», которая появилась в нелегальной газете «Народная воля» незадолго до царевубийства 1 марта 1881 года.

После царевубийства Минский сумел напечатать в официальной периодике стихотворение, носящее затейливое название «Казнь жирондиста (К картине К. Мюллера в Люксембургском музее)». В нем под шифром «жирондиста» сочувственно описывался жизненный путь русского нигилиста-царевубийцы:

Тронулась в путь колесница позорная...

Узник, как снег, побелел.

Сердце укутало облако черное,

Ум от тоски онемел.

В следующих строках рассказывается о том, каким образом герой стихотворения докатился до столь плачевной участи – участи человека, приговоренного к смертной казни:

*Первую книгу прочел он заветную.
Другом была ему книга дана.
Вечером сел он и ночь неприметную
С нею провел он без сна.
Помнит: он встал обновленным,
К другу скорей побежал.
Крепко в порыве смущенном
Руку ему он пожал –
И полилися вдруг слезы блаженные...
День этот вместе они провели.
Плача, давали обеты священные,
В жертву себя обрекли...
.....
Родина-мать! Сохрани же, любя,
Память того, кто погиб за тебя!*

Талант Минского как раз и заключался в умении продавливать подобные тексты в печать. Цензура не смогла придаться к «Казни жирондиста», поскольку было точно известно, что Минский за месяц до царевбийства прочел это творение на литературном вечере в Париже. Цензорам пришлось поверить, что оно не про Желябова, а точно про жирондиста (хотя жирондистов, как и народовольцев, казнили скопом). Посвященные же знали, что герой стихотворения – Каракозов.

Казалось бы, молодому поэту, попавшему в струю и, как стали выражаться у нас позже, «созвучному эпохе», оставалось только радоваться жизни и, сохраняя счастливо выбранный курс, пожинать лавры.

Но Минский острым чутьем своим ощутил, что в житейском море пробилась другая струя (или, по Вольнскому, «народилась новая мозговая линия»), попав в которую можно заплывать далеко!

Минский резко меняет курс: выступает в 1884 году со статьей «Старинный спор», в которой громит гражданственные тенденции в искусстве, славит вольное художество, призывает поэтов к уходу в мир фантазии, в мир «мистических переживаний». Эта статья – первый фактически манифест русского декадентства.

Когда младенческая группа русских символистов стала формироваться вокруг редакции журнала «Северный вестник» (в начале 90-х годов), то авторитет Минского в этом кругу никем не оспаривался.

Современная исследовательница Л. Юркина пишет не без иронии о метаморфозе Минского: «Поэт-гражданин становится эстетом, усваивает принципы парнасцев, воспекает владычество смерти, “холодные слова” и бесстрашие, поклоняется творчеству П. Верлена, Ш. Бодлера, часто неумело им подражая».

Все это верно. До 1884 года Минский «неумело подражал» доморощенным Некрасову и Надсону, потом выбрал новые ориентиры – международно признанные. Но неумелость никауда не делась.

Прославление революции:

*Пусть же гром ударит и в мое жилище,
Пусть я даже буду первой грома пицей!* –

получалось у Минского не лучше и не хуже, чем прославление смерти:

*Я цепи старые свергаю,
Молитвы новые пою.
Тебе, далекой, гимн слагаю
Тебя, свободную, люблю.*

Заметим, чуть забегая вперед, что Минский не стал революционным отступником, перескочив в декаденты. От прежних своих текстов он внутренне не отрекался. Просто он **вырос** – просто он понял однажды, что революция и смерть внутренне синонимичны, что в Бодлере революционности больше, чем в Каракозове.

Сильный дебютный ход («Старинный спор») позволил Минскому выиграть партию. Он стал одним из лидеров и идеологов символизма. Он был признан отцом-основателем русского декадентства.

«Малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами» (по отзыву Бунина), Минский перестал истязать себя сочинением стихов и перешел в русской культуре на руководящую работу.

Какой бы она ни была (Розанов приводит слова Минского, услышанные от него однажды: «Конечно, евреи способнее русских и желают сидеть в передних рядах кресел»), это уже другая история. К поэзии она отношения не имеет. Все необходимое о поэте Минском нами уже сказано.

Как вы заметили, Минский гонялся всю жизнь за интеллектуальной модой, менял старое (народничество) на новое (декадентство). Неудивительно, что он высоко оценил нововылупленную правду марксизма. Марксизм и погубил в конечном счете блистательную карьеру Минского.

Получив от правительства разрешение на издание газеты, Минский немедленно предоставил ее страницы и полосы большевикам. Шла как раз революция 1905 года. В газете Минского «Новая жизнь» были напечатаны за какой-то один революционный жаркий месяц и I программа РСДРП и различные подстрекательские статьи Ленина, Воровского, Луначарского, Максима Горького...

После поражения революции Минскому пришлось эмигрировать.

Философов писал в то время, оценивая ситуацию совершенно справедливо: «Спасаясь от преследования администрации, г. Минский бежал за границу, не сохранив на родине ни связей, ни симпатий. Человек, поставивший на карту все свое духовное состояние для того, чтобы приобрести аудиторию и войти в общественность, проиграл все и ввергся в полное и безнадежное одиночество».

Минский полагал, вступая в союз с большевиками, что высокие стороны, образовавшие союз, более или менее равноценны. Что «доктрина социал-демократии» только выиграет от присовокупления к ней «мистической истины».

Большевики же, с их известным отношением к мистической истине, просто и грубо Минского использовали.

Только в сентябре 1913 года Минский получил разрешение вернуться в Россию. Как отмечает современный литературовед С. Сапожков, «для литературного Петербурга приезд Минского в марте 1914 года прошел почти незамеченно». Слишком много новых литературных мод Минский за восемь лет пропустил, слишком много утратил за эти годы отсутствия литературных «связей и симпатий».

Минский успел еще прославить начало Первой мировой войны («Война – какой восторг! Нет жизни веселей...») и Февральскую революцию («радостное пробуждение от кошмара войны») – никого уже его здравницы и его филиппики не волновали. И окончательно оставил он Россию задолго до февраля 1917 года, примкнув к классическому (еще Достоевским описанному) типу «заграничного русского».

К большевикам заграничный Минский был лоялен абсолютно: он даже проработал несколько лет в советском полпредстве в Лондоне.

«В 1927 году через ходатайство А. В. Луначарского Минскому от Советского правительства назначается персональная пенсия в размере 15 фунтов стерлингов ежемесячно».

Революционный символист с радостью это известие воспринял и развернул во второй половине 20-х годов бешеную деятельность по изданию на родине сборника своих стихотворений. Даже и договор был подписан; книжка должна была выйти в январе 1929 года. Но, хорошенько поразмыслив, большевики решили Минского не издавать.

Знаете что? Буду я издатель, я бы тоже такие стихи издавать не стал.

* * *

Следующий атлант – коренной петербуржец Мережковский Дмитрий Сергеевич. Он был намного (на 11 лет) младше Минского и он не был никогда ловким человеком. Как все креативные русские подростки, он развивался медленно и неровно. Толчки, зигзаги. Вы понимаете, что я хочу сказать.

Еще в гимназии Мережковский начал писать кое-какие стихи, и властный отец (крупный чиновник, служивший непосредственно при Дворе), желая узнать, есть ли смысл в увлечениях сына, представил Дмитрия в 1880 году двум известнейшим на тот момент столичным литераторам: свозил 14-летнего подростка на поклон к Достоевскому и к Надсону поочередно.

Достоевский, как известно, отнесся к стихотворным опытам Мережковского неодобрительно и дал ему один полезный (хотя и трудноисполнимый) совет; Надсону же все понравилось, вследствие чего Мережковский Надсона, по позднему своему признанию, «полюбил как брата».

Неудивительно, что первый стихотворный сборник Мережковского, вышедший 8 лет спустя, это сплошной восьмидесятипятипроцентный Надсон. То есть стихи молодого Мережковского – такие же стихи, как у Надсона, но только еще хуже.

*«Христос воскрес», – поют во храме;
Но грустно мне... душа молчит:
Мир полон кровью и слезами,
И этот гимн пред алтарями
Так оскорбительно звучит.*

Параллельно со стихотворчеством, юноша Мережковский учится на историко-филологическом факультете Петербургского университета, где правит бал в те годы (в 80-е годы XIX века) позитивистская философия. Мережковский усердно штудирует сочинения Спенсера, Конта, Милля, но вся эта псевдофилософия не могла насытить пытливую русскую душу, и он, «с детства религиозный», по собственному признанию, «смутно чувствуя ее недостаточность, искал...»

Искания приводят Мережковского в круг сотрудников «Северного вестника», где наш герой (рассорившийся к тому времени с Надсоном) общается к новой правде – к открывшейся первопроходцу Минскому правде декадентства. Педантичный Мережковский, до самого дна с новой правдой разобравшись, выпускает в 1893 году трактат «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Трактат этот долгие годы оставался наиболее внятной манифестацией русского символизма.

Мережковский отмечает, что русская литература находится на грани кризиса, в который завели ее революционные демократы. Основу искусства, по Мережковскому, должна составлять не гражданская тенденциозность, но религиозное чувство: предвосхищение «божественного идеализма». Мережковский называет три элемента будущей русской литературы (в том, что будущая русская литература будет, простодушный Мережковский ни на минуту не сомневается), из которых первый – мистическое содержание, второй – символизация, третий же – «расширение художественной впечатлительности в духе изощренного импрессионизма».

В замечательной книге «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество», написанной 8 лет спустя, Мережковский уточняет тезисы доклада, делая упор на мистическом содержании искусства. Мережковский оставляет последнюю, вершинную ступень человеческого познания за художественным творчеством, которое сумеет когда-нибудь, рано или поздно, постичь высшие религиозно-мистические тайны бытия...

Новая религия была заветной целью Мережковского («религия Святого Духа», призванная дополнить и завершить затухающие религии Отца и Сына), в нее он истово верил, ей он служил. Поэзия русского символизма была для Мережковского простым орудием – одним из многих орудий, расчищающих для еретической религии Святого Духа дорогу в мир.

Ортодоксальный Бог отпустил Мережковскому 75 лет жизни; лучшие свои книги он написал между тридцатью (роман «Юлиан Отступник», 1896 г.)

и сорока тремя (пьеса «Павел I», 1908 г.) годами. Чуть раньше (в 1894 году) Мережковский первый и последний раз в жизни выступает в качестве крупного поэта: создает стихотворную пьесу «Дети ночи», в которой наиболее пронизательные современники Мережковского справедливо усмотрели «декларацию новой поэзии», «трубные призывы новой эры»:

*...Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.
Погребенных воскресенье
И, среди глубокой тьмы,
Петуха ночное пенье,
Холод утра – это мы.
Наши гимны – наши стоны;
Мы для новой красоты
Преступаем все законы,
Нарушаем все черты...*

Призванием Мережковского была все же общественная деятельность, культуртрегерство. В этой области он был незаменим. Иногда великолепен. Как художник он слишком уязвим для критики: какая-то грубая элементарность, какой-то грубый схематизм всегда присутствуют в глубине лучших его художественных созданий. Тем более, что книги Мережковского после 1908 года становятся слабее и слабее – они неукоснительно слабеют! – и многочисленные его трактаты, написанные и напечатанные в эмиграции, вплотную граничат уже с графоманией.

Вышеупомянутая элементарность делает его в глазах многих фигурой комической. Проще простого – разобравшись в незамысловатых в сущности схемах Мережковского, глумиться над ними, писать на Мережковского пародии!

Поглядите, например, с какой легкостью раскатывает Мережковского Адамович. В отрывке, который я собираюсь привести, Адамович рассуждает сначала о жизненном пути Валерия Брюсова, а затем уже переходит к нашему герою:

«В сущности, культуртрегером был и Мережковский. Он тоже “открывал Европу” – причем начал это раньше Брюсова. Это он, возвращаясь как-то из-за границы в Россию, ужаснулся нашей “уродливой полуварварской цивилизацией” и задумался о “причинах упадка русской литературы”. Мережковский только что услышал о диковинном новом мудреце Ницше, будто бы окончательно “переоценившем ценности”, только что заучил наизусть стихи Верлена, прекрасные, но без малейшего отзвука “гражданской скорби”, и после этого, раскрыв какой-то отечественный толстый журнал на очередной статье Скабичевского, пришел в отчаяние...»

Каждое слово в этом отзыве дьявольски точно и убийственно смешно. Смеяться над Мережковским, повторюсь, занятие нехитрое.

Но тот же Адамович на соседней странице своей статьи вспоминает с уважением, с некоторым даже благоговением дневниковую запись Блока, где поэт, ясно видевший «все недостатки Мережковского», повествует о том, как после очередного литературно-религиозно-философского собрания ему вдруг захотелось *поцеловать Мережковскому руку* – за то, что тот «царь над всеми Адриановыми».

Розанов, близко знавший Дмитрия Сергеевича много лет, бывший с ним до поры до времени в одной компании, жестоко впоследствии с кружком Мережковских разошедшийся, оскорбился однажды легковесными шуточками Михайловского по адресу фундаментальной работы Мережковского «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» и, всячески надавав Михайловскому по морде, закончил свою отповедь простыми, но для всякого времени справедливыми словами: «Будем уважать труд. Без уважения к труду нет культуры».

Мережковский действительно был труженик, каких мало. Этот человек – он был в бытовом плане идеалист; он парил над землей, он пылал внутренне. Он искренне в свои схемы верил. В нем не было лукавства.

Подобные люди редки. Уважать их необходимо.

Розанов такие еще слова проговорил однажды о Мережковском: «Если бы он меньше писал, – лучше было бы. <...> Писать очень много – беда. Слова забывают слова. Получается пена. Ничего не видно. Ничего разобрать нельзя. Вот есть и почти что “был” какой-то поэт Добролюбов. Что он написал – никто не знает; что он за человек – этого особенно хорошо никто не знает. Но “Александр Добролюбов” как-то запоминается, знается; все знают о странном поэте, писавшем несколько времени декадентские стихи, затем внезапно замолчавшем, переодевшемся “в мужика” и пошедшем куда-то странствовать за Урал. <...> Станным образом, от Мережковского теперь уже не ждут “еще больше”, а от Александра Добролюбова – “ждут”. “Вдруг покажется странник с Урала и нечто скажет”. Русь чудаковата, и на все обыкновенной литературой не угодить».

Вот мы и добрались до главного атланта в нашем списке – добрались до человека, который пришел на смену Мережковскому, создававшему, под соусом символизма, «обыкновенную литературу», (убийственный отзыв того же Розанова о Мережковском: «Суть литератор»), и какую-то новую краску русскому декадентству, несомненно, подарил. Сделался, по мнению многих исследователей, *иконой декадентства*.

Александр Добролюбов родился в 1876 году в Варшаве в семье крупного русского чиновника. В 1891 году семья переехала в Петербург. Будущего атланта поместили в Шестую городскую гимназию.

Искусствоведы полагают, что гимназическая дружба с Владимиром Гиппиусом (филологом и поэтом, троюродным братом Зинаиды Гиппиус, родным братом Василия Гиппиуса, также поэта и филолога, с которым они оба погибли в блокадном Ленинграде) оказала решающее влияние на формирование будущего поэта. Мол, именно Гиппиус привил Александру Добролюбову интерес к французскому символизму.

Думаю, что не меньшее влияние оказала на Добролюбова столица Польши Варшава, где он жил до 14-ти лет и где равнодушное отношение к культуре «варварской России» и повышенный интерес к новейшему искусству Франции носились в воздухе. То есть, влияние Вл. Гиппиуса легло на хорошо подготовленную почву.

В 1894 году Добролюбов знакомится с Брюсовым – и производит какое-то сокрушительное впечатление на Брюсова. Будущий вождь русского символизма, только начинающий прорубать декадентскую просеку в дремучем лесу народничества, только начинающий формировать боевую дружину русских декадентов, – видит перед собой русского юношу, «пропитанного самим духом декадентства».

Добролюбов действительно был человек непростой. Сложная кровь (отец – русский генерал, мать – полуполька, полудатчанка), ангельская внешность, солидная образованность, бросающаяся в глаза одаренность.

В 1895 году восемнадцатилетний Добролюбов поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и издал сборник стихов, посвятив его «Моим великим учителям Гюго, Рихарду Вагнеру, Росетти, Никонову».

Следующие год-два Добролюбов готовит новый сборник, но к этому времени его реально начинает нести по всем кочкам: он курит гашиш «в своей маленькой комнатке на Пантелеймоновской, оклеенной черными обоями» (по воспоминаниям Вл. Гиппиуса), оказавшись в обществе – говорит намеренную чепуху, садится посреди разговора на пол...

Весной 1898 года Добролюбов сбегает из Петербурга и начинает психодные странствования по Русскому Северу.

Причины ухода до конца не ясны. Вл. Гиппиус полагал, что такой причиной явилось самоубийство двух приятелей Добролюбова, к чему наш герой был причастен. (Добролюбов, которого несло по кочкам все сильнее, отслужил к тому времени несколько черных месс в своей оклеенной черными обоями комнате, рассказывал почитателям про вкус жареного человеческого мяса, который был ему якобы ведом, и выступал действительно с проповедью самоубийства «как последнего доказательства полного самоосвобождения личности».) Успех этой проповеди, по мысли Гиппиуса, и стал причиной резкого перелома его жизненного пути. Как бы он устранился...

Мне кажется, все происходило строго наоборот. Университет, где Добролюбов был всего лишь одним из первых студентов своего курса, начальный стихотворный сборник Добролюбова «*Natura naturans, natura naturata*. Тетрадь № 1», никому в мире, кроме двух-трех десятков нарождающихся декадентов, неинтересный, – одно дело. Другое дело – устная проповедь, следствием которой становится такая радикальная вещь как самоубийство. В сущности только такими вещами – вещами, которые лучше тебе удаются, и хочется заниматься.

По-видимому, Добролюбов еще колеблется какое-то время: поступает послушником в Соловецкий монастырь, но, убедившись через полгода в том, что на почве религиозной ортодоксии ему не дадут развернуться, навсегда

покидает монастырь, разрывает вообще связь с Церковью и перебирается в Поволжье, где вокруг него начинает складываться религиозная секта. К 1915 году это довольно уже многочисленная, заметная глазу (более тысячи adeptов) секта «добролюбовцев» или «братков».

Добролюбов прожил долгую жизнь: последний раз его видели в 1943 году в Азербайджане, с искусством же Добролюбов расстался окончательно и бесповоротно в 1900 году.

Впрочем, как я уже говорил где-то раньше: наше занятие – поэзия, а не сектоведение.

Тексты, которые Добролюбов успел написать за 7-8 лет творческой жизни, весьма необычны. Среди прямых и плоских подражаний французским символистам, встречаются тут тонкие натурфилософские звуки, предвосхищающие, по мысли современных исследователей, то Хлебникова, то Есенина, то Мандельштама.

«Для русского символизма важны были не конкретные идеи Добролюбова, а общее направление его духовной деятельности. Среди символистов он был канонизирован как своеобразный символистский святой, его сравнивали с Франциском Ассизским».

Вот пишет Добролюбов:

*Воды ль струятся? кипит ли вино?
Все ли различно? все ли одно?
Я ль в поле темном? я ль поле темнó?
Отрок ли я? или умер давно?
– Все пожелал? или все суждено? –*

и современный исследователь А. Кобринский объявляет, что из этого именно текста выросло впоследствии стихотворение Мандельштама «К немецкой речи» («Я буквой был, был виноградной строчкой, //Я книгой был, которая вам снится»).

Так же точно, полагает Кобринский, что не узнавши добролюбовского стихотворения «Жалобы березки под Троицын день»:

*Под самый под корень ее подрезал он,
За вершинку ухмыляясь брал,
С комля сок как слеза бежал,
К матери сырой земле бежал.
Глядеть на зеленую-то радостно,
На подкошенную больно жалобно.
Принесли меня в жертву богу неведомому... –*

нельзя постичь генезис творчества таких «русских францисканцев», каковыми, по мысли Кобринского, были Есенин, Хлебников и Заболоцкий (добавлю от себя еще художника-францисканца Филонова).

Именно Добролюбов научил их «францисканству»: научил видеть в сосках сирени, в траве и в животных, в щепках, валяющихся на земле, во встающих над землей столбиках из пыли – наших меньших братьев. «Все это – Божье творенье, как и человек, а все Божьи твари – братья и сестры».

Зависимость от Добролюбова перечисленных выше поэтов недоказуема. Ни Есенин, ни Заболоцкий, ни Мандельштам ни разу в известных нам письменных источниках о Добролюбове не упоминали. Неизвестно, читали ли они его вообще. Но что-то общее между ними есть. Возможно, они все слышали по-разному один и тот же существующий объективно шум времени.

*Прощайте, птички, прощайте, травки,
Вас не видеть уж долго мне.*

*Иду в глубокие темницы,
В молитвах буду и постах.*

*Иду в глубокие темницы,
В молитвах буду и постах.*

Я друг был всякой твари вольной

И всякую любовь желал,

Я поднял примиренья знамя,

Я объявил свободу вам.

Я поднял примиренья знамя,

Я братьями скотов считал.

Но вы живите и молитесь

Единому Творцу веков,

Благовестите мир друг другу

И не забудьте обо мне... –

эти стихи Добролюбова притягивают и отталкивают одновременно; в них точно присутствует тайна – тайна незаурядной человеческой личности, которая подразнила нас, выглянув на мгновение, показав язык, – и навсегда скользнула от нас.

Поэтическая формула Жуковского «жизнь и поэзия – одно» доведена была Добролюбовым до одной из возможных двух финальных точек: он смог пожертвовать "поэзией поэзии" в пользу "поэзии жизни".

На четвертом чтении мы подробно говорили о том, чем привлекает талант, до конца не реализовавший себя, спрятавшийся в тень. Гениальные Гете и Лев Толстой, написавшие по 90 томов высокохудожественных сочинений на брата, оставили за собой сжатое поле, по которому колко ходить босыми ногами, на котором ни одного колоска не осталось несобранного. Добролюбов, в меру талантливый, махнул два раза косой и отступил в сторону, оставив перед собой весьма привлекательную зеленую поляну с лютиками и колосками.

Неудивительно, что многие двинулись за ним.

* * *

Мы начали сегодняшний разговор с того, что атлантов, украшающих вход в главное здание русского символизма, было то ли четверо, то ли пятеро. По точному счету было их четыре с половиной. Фигурой полутланта Емельянова-Коханского мы и займемся ненадолго.

Выходец из захудалого дворянского рода (малороссийского, как видно по фамилии) Александр Николаевич Емельянов-Коханский родился в Москве в 1871 году.

Бунин пишет про него: «Это он первый поразил Москву: выпустил в один прекрасный день книгу своих стихов, посвященных самому себе и Клеопатре, – так на ней и было напечатано: «Посвящается Мне и египетской царице Клеопатре» – а затем самолично появился на Тверском бульваре: в подштанниках, в бурке и папахе, в черных очках и с длинными собачьими когтями, привязанными к пальцам правой руки. Конечно, его сейчас же убрали с бульвара, увели в полицию, но все равно дело было сделано, слава первого русского символиста прогремела по всей Москве. Все прочие пришли уже позднее – так сказать, на готовое».

Бунин продолжает: «Емельянов-Коханский вскоре добровольно сошел со сцены: женился на купеческой дочери и сказал: “Довольно дурака валять!” Это был рослый, плотный мальчик, рыжий, в веснушках, с очень неглупым и наглым лицом, Дурака валял он совсем не так уж плохо, как это может показаться сначала. Мне думается, что он имел на начинающего Брюсова значительное влияние».

Распространим эту, в целом справедливую (за исключением «влияния на Брюсова» – чего не было, того не было), характеристику.

Емельянов-Коханский – человек шаткий. Ни одного дня в жизни не был он занят настоящим делом: все «искал себя», а точнее сказать, искал для себя легкого заработка и бодрящей бытовой атмосферы. Побывал агентом в похоронном бюро, служил кассиром на бегах, сотрудничал в юмористических журналах.

В начале 1890-х годов Брюсов в Москве начинает сколачивать вокруг себя дружину поэтов нового направления; Емельянов-Коханский охотно к ней присоединяется. К этому времени и относятся описанные Буниным эпатажные выходки.

Главный стихотворный сборник Емельянова-Коханского «Обнаженные нервы» (посвященный действительно «Мне и египетской царице Клеопатре») вышел в 1895 году. В сборнике имелось все, что положено было иметь в своем сборнике правоверному символисту: «“бодлерианские образы”, эротика, напористая самореклама». Между тем, сам Емельянов-Коханский в правду символизма, включающую в себя «предвосхищение божественного идеализма», ни на минуту не верил. Он был расчетливый шарлатан, весьма неглупый атеист-позитивист, прикнувшийся к идеалистичному литературному движению, имеющему шансы на успех.

В принципе и Брюсов во все эти минско-мережковские открытия не верил. Его лишь то возмутило, что Емельянов-Коханский в своем сборнике не стал свое неверие маскировать. Принялся шарлатанствовать с открытым забралом. Стал декадентствовать на все стороны света, включая и сторону декадентства (сказалось, по-видимому, участие в юмористических журналах):

*Я декадент! Во мне струится сила,
И светит мне полуночная мгла...
Судьба сама не раз меня щадила –
Полиция ж в участок отвела...*

Брюсов, оценив шуточки Емельянова-Коханского как «попытку дискредитировать декадентство», немедленно разорвал отношения с автором «Обнаженных нервов» и печатно на сборник обрушился.

Утратив поддержку Брюсова, наш герой естественно и быстро из актуальной культурной жизни выпал.

Но все-таки 3 издания его сборник выдержал.

И память о поэте, никуда от этого не денешься, осталась в мире.

В современном Биографическом словаре русских писателей, в котором не удостоились упоминания Аскольдов и Дебольский, П. Бакунин и Л. Лопатин, в котором не упомянут ни разу даже С. Нилус (главный, вероятно, в мировой литературе первой половины XX века писатель по «индексу цитирования»), имеется пространная статья об Емельянове-Коханском, в которой наш герой назван горделиво «первым русским поэтом, открыто назвавшим себя декадентом».

Важнее отметить, что в самом начале XX века, то есть по завершении поэтической карьеры, Емельянов-Коханский перевел на русский язык такие нетривиальные книги, как «По ту сторону добра и зла» Ницше и «Извращенный падший мир» Леона Доде. Очевидно, опыт декадентства не прошел для Емельянова-Коханского даром. Как-то он расширил и углубил его кругозор.

При советской власти наш герой совсем из литературы выпал. Жил в Москве, перебивался случайными заработками. Умер в 1936 году.

«В последние годы жизни страдал очевидными нарушениями психики».

* * *

Иван Коневской – самая яркая личность в рассматриваемой нами сегодня плеяде русских предсимволистов.

Светлый юноша, живший в уединении, штудировавший Гегеля и Канта, постигавший хитросплетения новейшей литературы и новейшей философии Западной Европы, – с тем только, чтобы обернуть приобретенное знание на пользу родной стране, на пользу России!..

На двенадцатом чтении мы обсуждали благородного Эрна, который, при всех своих шведских корнях, – славянофильствовал. Также славянофильствовал и Коневской, носивший от рождения шведскую фамилию Ореус, но выбравший своим псевдонимом название безвестного иностранному слуху острова Коневец.

(Это давняя история: многое множество тусклых русских простолюдинов стремится душой на блистательный Запад, дает своим отпрыскам изысканные имена «Андрея», «Артур», «Эдуард», презирает родную землю, живет фактически во внутренней эмиграции и при первой возможности – эмигрирует реально. Лучшие люди Запада – люди, сохранившие в себе «душу живую» и кое-что слышавшие про Коневец, – с надеждой взирают на Россию, ясно понимая, кстати сказать, что эта именно надежда у мира – последняя.)

Коневской – потомок шведских аристократов, перебравшихся во время оно на русскую службу. Прадед его был губернатором в Выборге. Отец

Коневского – простой российский генерал-от-инфантерии (чуть-чуть только не дотянувший до маршала), архивист, военный историк, – заменил сыну рано умершую мать (аристократку русскую, урожденную Аничкову), став добрым товарищем одиннадцатилетнему подростку.

Важно отметить, что все Ореусы, перечисленные выше, были по вероисповеданию православными. Поэтому, может быть, будущий поэт обрел в России – в ее истории, в ее культуре, в ее почве – мощный стимул для творчества. Здесь было над чем потрудиться, здесь было с избытком, чем утолить интеллектуальный голод, врожденный юному Ивану Ивановичу Ореусу.

*Когда я отроком постиг закат,
Во мне – я верю – нечто возродилось,
Что где-то в тлен, как семя, обратилось:
Внутри себя открыл я древний клад.
Так ныне всякий с детства уж богат
Всем, что издревле в праотцах копилось:
Еще во мне младенца сердце билось,
А был зреей, чем дед, я во сто крат.

Сколь многое уж я провидел! Много
В отцов роняла зерен жизнь – тревога,
Что в них едва пробилась, в нас взошли –
Взошли, обвеяны дыханьем века.
И не один родился в свет калека,
И все мы с духом взрытым в мир пошли.*

Коневского сопоставляют обычно с Баратынским – из-за затрудненного синтаксиса, двум этим большим поэтам присущего.

Сопоставление неконструктивное. Баратынский умел писать *по-разному*, и поздний свой «затрудненный» стиль этот абсолютный мастер принял совершенно осознанно: «В произведениях поэзии, как в творениях природы, близ красоты должен быть недостаток, ее оживляющий».

Юноша же Коневской к мастерству начинал только подбираться, и его слова, сказанные однажды Брюсову: «Я люблю, чтобы стих был несколько корявым», – звучат стыдливой перифразой признания: «По-другому не получается. Не умею некоряво».

Неконструктивно, повторюсь, говорить про «худой синтаксис Баратынского-Коневского», но свободно можно толковать о том, что эти два поэта писали по-разному коряво, но одинаково отчужденно относились как к хлестаковской «легкости необыкновенной в мыслях», так и к легковесной «певучести» некоторых поэтов, им современных (см. характерные отзывы Коневского о Викторе Гюго: «Весь запас его художественных орудий – ослепительная мишура», – или о Бальмонте: «Поэт говорит во вступительном стихотворении к сборнику: я хочу кричащих бурь. В этом обозначении исчерпана сущность его новой поэзии. Бури г. Бальмонта не воют, не ропшут, не бушуют, а кричат, визжат, орут благим матом...»).

Окончив с блеском Первую гимназию в Петербурге и поступив на историко-филологический факультет университета, наш герой, от природы замкнутый, ощущает потребность поделиться с окружающими людьми накопленными за долгие годы уединения интеллектуальными наработками.

Придя смиренно на одно из модных в ту пору литературных собраний, Коневской сталкивается с Брюсовым, и этот всероссийский литературный староста, этот московский вождь, необыкновенным все-таки художественным чутьем обладавший, вливается в Коневского, как клещ. Всячески он пытается привлечь нелюдимого поэта к шумной декадентской деятельности (в частности, к работе книгоиздательства «Скорпион»). Коневской не то чтобы сопротивляется – он медлит, он сомневается... Он искренне пытается разобраться в том, что из накопленного им за долгие годы уединения соответствует правде декадентства, что – нет.

Единственный стихотворный сборник Коневского вышел в 1900 году под скорбным грифом «за счет автора». Ни одного доброго слова в тогдашней периодической печати не удостоившийся, сборник этот замечателен! Цельный и целомудренный дух Ивана Коневского, именно что русским плугом взрытый, проявляется в нем открыто:

*Покой и жизнь – на всем окрест.
Трава растет, и корни пьют.
Из дальних стран, из ближних мест
Незримые струи снуют.
То углубляюсь я в траву –
Слежу букашек и жуков;
То с неба воздух я зову,
Лечу за стаяй облаков...*

Видно, что Коневской, всеми признанный в качестве одного из отцов-основателей русского символизма, был сознательным архаистом в области поэтической формы, что он был классицистом. Он острее правоверных символистов сознавал магическую сущность слова, являющегося по сути дела единственным мостиком, который может соединить человека с трансцендентным миром (молитва, знаете ли, состоит из слов), – но он на дух не переносил общесимволистской музыкальности, дешевой певучести. Поэзия Бальмонта, как мы заметили недавно, представлялась ему совершенно неприемлемой!

Все последующие «преодолеватели символизма» – от Вяч. Иванова до акмеистов и футуристов – двигались более или менее по выбитым следам Ивана Коневского.

И такой человек бессмысленно погиб в 23 года: утонул, купаясь в жаркий день в речке.

До Коневского были в истории русской культуры ранние смерти людей необыкновенных, людей, способных противостоять «ветру от пустыни».

Смерть Веневитинова, смерть Валериана Майкова... Сложные случаи. Не претендую на объяснение причин, по которым Бог этих именно блестящих молодых людей убрал со сцены, этим именно людям оборвал дыхание. Ему виднее. Он властен над нашей жизнью и над нашей смертью.

Не думаю, что в Коневском вызревал будущий великий поэт. Скорее все-таки приготавлился из Коневского самобытный мыслитель и первоклассный литературный критик, которых так не хватало русской литературе «серебряного века», окормлявшейся более или менее Бурениным, Волынским, Коганом и Айхенвальдом.

* * *

Итак мы рассмотрели наискосок творчество четырех с половиной атлантов, удержавших на своих плечах парадный вход в здание российского символизма.

Разные очень люди.

Гидроцефал Минский, который, в еврейских мечтаниях своих, намного умнее и способнее был толпы туземцев, окружавших его великолепную низкорослую персону.

Простой и плоский поэт, предавший истину провинциального народничества, принесшую ему всероссийскую славу, и побежавший, задрав штаны, за средневропейской правдой декаданта.

Идеалистичный Мережковский – «ботаник» по современному словоупотреблению («энтомолог», «кузен Бенедикт», как это называлось раньше), смешной немного, как все кабинетные мечтатели, но – почтенный. Большой эрудит, искренне веривший в те картонные схемы, которые сооружал, которым служил.

Полупомешанный Александр Добролюбов. Образованный и талантливый юноша, променявший высокую поэзию на практический оккультизм. Эпатажник, прилюдно рассуждавший о вкусе жареного человеческого мяса, посвятивший свой первоначальный стихотворный сборник одновременно Рихарду Вагнеру и некоему Никонову, никому, кроме Добролюбова Александра, в России и в целом мире не известному.

Емельянов-Коханский – очевидный шарлатан, Умный, веснушчатый и рыжий. Эпигон символизма, заменивший глухого добролюбовского «Никонова» на всем понятную «царицу Клеопатру». На этом превышении полномочий и погоревший.

Иван Коневской, какому бы то ни было шарлатанству чуждый органически. Благородный Генрих фон Офтердингер, какового Новалис на рубеже XVIII и XIX столетий предъявил филистерской Германии в качестве человеческого идеала, чуть-чуть было не осуществился в России спустя сто лет в лице Коневского. Иван Коневской – имя высокое!

Мало, казалось бы, общего между этими людьми. Но оно было: в нем только и осуществился русский символизм. Наша первоочередная задача – отыскать это общее.

Обратимся к поэтической формуле Мережковского: «*Мы для новой красоты //Преступаем все законы, //Нарушаем все черты...*»

В формуле скрыто присутствует отвращение к старой красоте – точнее сказать, к тому убожеству, которое представлялось красотой (суконной красотой «не говорить красиво», открывшейся Базарову) рядовому российскому читателю 60-х, 70-х и 80-х годов XIX столетия.

В святом отвращении к «славному наследию 1860-х», к абсолютной безвкусице революционно-демократической и народнической эстетики – сильная сторона русского символизма, сумевшего нарушить скотские законы Писарева, сумевшего переступить черту, проведенную нечищеным ногтем Базарова.

Успехи русского символизма в области преодоления писаревско-базаровского наследия очевидны. О них писал Адамович; Анна Ахматова многократно говорила про них (загляните при случае в первый том «Записок...» Лидии Чуковской, сконцентрировав свое внимание на записи от 19 августа 1940 года), но мы сегодня ограничимся похвалой отца Павла Флоренского – потому, во-первых, что похвала эта произнесена с высокой обзорной площадки Соловецкого лагеря, и потому, во-вторых, что адресована она дочери-подростку (то есть, в отличие от большинства других публичных изречений о Павле, не заумным языком произнесена):

«Значение их (символистов. – Н. К.) в истории было очень большое, гораздо больше, чем обычно думают, и притом тройкое: в областях общественной, языковой и собственно поэтической. В общественной: символисты сбросили с пьедестала авторитеты, против которых никто не смел сказать слова, и тот, кто пытался идти своим путем, делали это с извинениями, причем все-таки изгонялся из рядов захватившей общественное мнение интеллигенции. Говоря образно, царил Михайловский и К° и к нему приспособлялись прочие, кто как мог. <...> Пришли символисты и вместо извинений и доказательств своего права на существование просто стали замечать высокого авторитета <...>. Гипноз внезапно рассеялся и для большинства вдруг стало ясно, что кумиры пусты, не священны. Стало дышаться свободнее и легче, открылась форточка».

Всё это верно. Но нужно понимать, что символисты, сбрасывая с пьедестала авторитеты Михайловского и Скабичевского, не замахивались особенно на авторитет Белинского, поздним изводом которого и явились собственно говоря Михайловский со Скабичевским.

Еще хуже обстояло у символистов дело с *новой красотой*, ибо она у них заключалась более или менее в прямолинейном подражании красоте французского и бельгийского (Верхарн) символизма.

И все-таки у русских символистов имелись свои оттенки в копировании высоких западноевропейских образцов. Как вы могли заметить сегодня, «красота Минского», «красота Коневского», «красота А. Добролюбова» – разные три вещи.

Человек не машина. Сколько его ни программируй – выскочит рано или поздно навстречу программе личность – станет индивидуальность, которая захочет (и сумеет) «по своей глупой человеческой воле пожить».

Здесь мы уже переходим от общественно-политической области к областям поэтической и языковой, каковым о. Павел посвятил в письме к дочери-подростку Ольге ряд пламенных строк:

«Символисты, преувеличенным жестом, указали на творческую стихию речи, на воссоздание слова в каждом единичном акте говорения, на законность словотворчества <...>. Они ознакомили читателя с русской и иностранной литературой. Они ввели культуру языка, образа и стиха. Они восстановили технику стихотворной речи, когда-то великолепную (в пушкинскую эпоху – Н. К.), но затем нацело утраченную» и т. д.

Тезисы Флоренского, в принципе верные, требуют обсуждения.

Любое явление живет настолько, насколько оно связано с источником жизни и красоты. И, безусловно, мы бы не помнили сегодня про русский символизм, когда бы не было в нем частички Бога, когда бы не было в нем своей правды – той правды, которая породила в конечном счете великого русского поэта Блока Александра Александровича.

Тупым заимствованием у Бодлера и Верлена явление ослепительного Блока не объяснишь. А в том, что он свято верил (до поры до времени) в правду символизма, сомневаться не приходится. Получается так, что вера в символизм его не обманула, сделала его великим...

«Истина найдена от века... – провозгласил Гете (в переводе Аполлона Григорьева), – старую истину усвой твоей душе».

Вечную истину символизма пропагандировал в древности Платон. Он учил, что мир явлений, открытый нашему пещерному зору, – лишь тень истинных событий, существующих извечно за стенами пещеры, в пространстве сверхбытия.

В первой трети XIX века тайна символизма была хорошо известна Катенину, произнесшему (и опубликовавшему в «Размышлениях и разборах...») следующее глубокое суждение о поэзии: «Звуки речей для нее только знаки высоких мыслей и чувств». Звуки и «знаки» (которые суть символы), – восхитительная внутренняя рифма!

В 1944 году Вяч. Иванов, последний из крупных символистов, доживших до этого времени, попытался высшую правду отшумевшего в человеческой истории учения сформулировать:

*Вы, чьи резец, палитра, лира,
Согласных муз одна семья,
Вы нас уводите из мира
В соседство инобытия.

И чем зеркальней отражает
Кристалл искусства лик земной,
Тем явственней нас поражает
В нем жизнь иная, свет иной.

И про себя даемся диву,
Что не заметили досель,
Как ветерок ласкает ниву
И зелена под снегом ель.*

Иннокентий Анненский, лет за 40 до Вяч. Иванова, пытается на свой лад старую истину объяснить:

«Поэзия не изображает, она намекает на то, что остается недоступным выражению. Мы славим поэта не за то, что он сказал, а за то, что он дал нам почувствовать несказанное».

«Мне кажется, что настоящая поэзия не в словах – слова разве дополняют, объясняют ее: они, как горный гид, ничего не прибавляют к красоте заката или глетчера, но без них вы не можете любоваться ни тем, ни другим».

«Поэзии приходится говорить словами, т. е. символами психических актов, а между теми и другими может быть установлено лишь весьма приблизительное и притом чисто условное отношение, – добавляет Иннокентий Анненский. – Сами по себе создания поэзии не только не соизмеримы с так называемым реальным миром, но даже с логическими, моральными и эстетическими отношениями в мире идеальном. По-моему, вся их сила, ценность и красота лежит вне их, она заключается в поэтическом гипнозе».

На тринадцатом чтении мы вспоминали ясную мысль Недоброво: «Для суждения о поэте исследователь имеет перед собою только испещренную типографскою краскою бумагу, которая, сама по себе, могла бы служить лишь предметом теории о бумаге и краске; всё же, что называется *поэтом*, возникает при условии воздействия этих знаков на мозг исследователя <...>. Единственным доступным при исследовании творчества материалом являются личные, безнадежно замкнутые психические переживания исследователя».

Когда я говорю про поэта Фета, настаивает Недоброво, «я говорю не об Афанасии Афанасьевиче Шеншине и не о нескольких книгах, а о какой-то особенной духовной величине, *во мне* (курсив мой. – Н. К.) существующей. <...> Никакого иного <...> Фета, кроме множества тех внутренних Фетов, о которых только что упоминалось, невозможно отыскать в действительности».

Создания поэзии несоизмеримы с реальным миром... Настоящая поэзия не в словах... Слова лишь символы психических актов... Сила, ценность и красота поэтических созданий лежит вне их. Поэзия Фета существует во мне и в других читателях Фета, но в так называемой действительности – ее не существует... Это же очевидные всё вещи. Это же такая *азбука* метафизики... Это же всё так и есть!

Повторю еще раз: заслуги символизма в истории русской культуры велики и бесспорны. Больше скажу: русский символизм – это и есть культура, культура по преимуществу; поколение русских символистов – самое образованное поколение в нашей истории (следствие гимназической реформы 1871 года, о которой мы говорили в конце седьмого чтения).

Мироощущение человека, принадлежащего Серебряному веку русской культуры, точно выражают слова того же Анненского, который был поэт и драматург, мало кем в этих двух качествах при жизни признанный, но несомненный; который был еще и педагог, достигший на педагогическом поприще высочайших профессиональных высот и генеральского звания, но

который так себя позиционировал при этом: «Питаю твердую надежду <...> довести до конца свой полный перевод и художественный анализ Еврипида – первый на русском языке, чтоб заработать себе одну строчку в истории русской литературы – в этом все мои мечты».

Приведу для сравнения два-три высказывания крупных советских художников – более своему веку известных, чем известен был своему веку Анненский. Вот всеми нами уважаемый Федор Абрамов произносит на VI съезде писателей РСФСР огненные слова: «Рушатся вековые устои, исчезает та многовековая почва, на которой всколосилась вся наша национальная культура, ее этика и эстетика, ее фольклор и литература, ее чудо – язык, ибо, перефразируя известное слово Достоевского, можно сказать: все мы вышли из деревни...» А вот замечательный композитор В. А. Гаврилин в одном из последних интервью, данных при жизни, произносит огненные тоже слова, посвященные памяти Георгия Свиридова, за два-три года перед тем скончавшегося:

«Он ушел, наш великий Друг и Наставник, и Учитель..., и Вразумитель наш!

Невольно вспоминаешь стих Некрасова:

*Кончен век богатырей
И смешались шапки,
И полезли из щелей
Мошки и букашки...»*

Мы видим, насколько сильно изменилась за недолгие в сущности говоря восемьдесят лет культурная ситуация в стране. Новые люди, свободно заработавшие в истории русской советской культуры десятки страниц (Анненский, в рамках своей досоветской культуры, мечтал об одной-единственной), не истязаются уже над Еврипидом, но пашут многовековую почву размашисто, сеют *разумное, доброе, вечное* сплеча. А если спутал человек Достоевского с Тургеневым, а Некрасова – с Денисом Давыдовым, если назвал четверостишие стихом, а из процитированных четырех стихов Давыдова переврал три, то это потому только, что человек – крупный. Ему не до мелочей. Он мощно пашет, он укрепляет вековые устои. У него – всколосилось...

В символистскую эпоху русский художник трудился не столько пахотно, сколько ювелирно: не увлекался пропагандой самородного и тотального добра, не укреплял устоев, но, превосходно разбираясь в истории мирового искусства, словечки для своих поделок подбирал исключительно точно.

Символизм – одно из последних идеалистических учений (наследовавшее выдохшемуся романтизму и опиравшееся в значительной степени на достижения классической немецкой философии) в мировой истории. Можно сказать даже, что символизм был последней ставкой в истории человеческого духа, последней великой попыткой спасти культурный мир от надвинувшихся на мир дикости и хамства (будь то элитарная постмодернистская пачкотня, будь то массовая демократическая стряпня в стиле Голливуда, М. Захарова, Пугачевой и ансамбля Beatles).

И нужно сразу сказать о том, что свою великую ставку русский символизм проиграл оглушительно быстро, проиграл оскорбительно легко, проиграл с треском...

Очевидно, была в нем своя неправда, своя «часть смертная», погубившая в конечном счете перспективное учение.

Неправдой символизма мы и займемся ненадолго (не забывая ни на минуту о том, что правду символизма я на предыдущих страницах своего скромного труда, конечно же, не исчерпал, – мы будем еще не раз возвращаться к ней).

Главной причиной исторической неудачи символизма явился «человеческий фактор» или, выражаясь по-человечески, первородный грех, о котором вожди русского символизма, относившиеся более или менее отрицательно к «казенному Православию», не задумывались ни на секунду.

Говоря коротко, идеальное учение требует для себя идеальных адептов. Если ты провозглашаешь какие-то абсолютные цели (там, мир преобразить художественным словом), то ты и сам должен быть на высоте. Ты сам должен быть – абсолютен (ясно, что в реальности таким человеком стать невозможно, но подвигаться в нужном направлении провозгласителю абсолютных задач необходимо). Символизм победил бы, когда бы смог стать орденом. Когда бы возглавили движение харизматические аскеты, подобные Коневскому.

Вожжами же русского символизма стали люди светские и плотские. Безусловно, они были многократно образованнее всех лауреатов Государственных и Ленинских премий СССР – всех этих советских художников-правдурбцев – Ф. Абрамова, Шукшина и им подобных. Безусловно, они понимали толк в *истинно духовных задачах*. Но несоответствие между внутренним миром художника и словесным его выражением («правило Адамовича», о котором мы много говорили на предыдущем чтении) приняло у наших старших символистов какой-то необратимый характер! Во внутреннем мире этих людей присутствовали в большом количестве обычные человеческие («слишком человеческие», по Ницше) качества: зависть и недоброжелательство, денежные вожделения и желудочные скорби – в стихах же этих людей царили сплошные благостные Озимандия с Ассаргадоном да Звезда Маир.

Г. К. Лихтенберг, кое-что в науке понимавший, высказал однажды такое нетривиальное суждение о науке: «Ученому в своей сфере следовало бы мыслить так же, как простому человеку; он мыслит, и не думает о том, что совершает нечто важное. <...> То дело, которое является их долгом, ученые превращают в ремесло и воображают, что если они размышляют над тем, что делают, то они уже тем самым заслужили награду на небесах, тогда как это не более похвально, чем спать со своей женой». Совершенно справедливо! Вспомним, как сталинский принцип мощного материального поощрения за научные достижения, возродивший русскую фундаментальную науку из тех руин, в которых она лежала к концу Гражданской войны, работавший до поры до времени (до времени, пока живы были настоящие ученые, воспитанные прежней эпохой и способные подсказать Сталину, кого из ученых следует

поощрять, кого – нет), привел к полной деградации науки в брежневскую эпоху, когда люди, жадные до материальных благ, заполнили буквально все научные кафедры в стране, оттеснив от кормушки настоящих ученых. Это и не могло быть по-другому, потому что настоящий ученый «заточен» под свою науку, о которой думает 24 часа в сутки, вовсе не помышляя о том, что совершает тем самым нечто важное, заслуживающее почасовой оплаты (а за ночные раздумья – оплаты двойной). Любитель же материальных благ заточен под свою кормушку и под свою почасовую оплату. Зная, что правительство платит настоящим ученым неплохие деньги, он способен 24 часа в сутки прикидываться настоящим ученым: по-ученому морщить лоб, изображать бешеную научную деятельность. У него нету просто других занятий! Он только в науке – ноль, в искусстве же мимикрии и в делах имитаторства он – величина! Понятно, что у настоящего ученого, по природе непрактичного, нет шансов при столкновении со своим прагматичным двойником.

Что-то похожее постигло и русских символистов, поскольку, с середины «нулевых» годов XIX века, наш символизм, трудами гениального администратора Валерия Брюсова, сделался чрезвычайно популярной сферой человеческой деятельности. Принадлежность к секте символистов начала означать с того времени и всероссийскую славу и большие очень деньги (несравненно большие, чем те большие деньги, которые платил своим академиком Сталин).

Это неправильно. Европейский символизм был, повторяюсь, учением идеалистичным, требовавшим от своих адептов *не читки, но полной гибели всерьез*. Он был учением, резко противостоящим буржуазным идеалам, воцарившимся в Западной Европе, и ниоткуда ни разу материально не поддержанным. Бодлер и Верлен были в своем отечестве нищими людьми, абсолютно непризнанными и больше того – проклятыми.

В пореформенной (имею в виду манифест 1905 года) России, двинувшейся по пути буржуазного преуспеяния, подражатели Бодлера и Верлена сумели и невинность соблудности (стать символистами), и капитал нажить.

Более или менее понятно, как это произошло. Каток западноевропейской цивилизации проехался по человеческим судьбам Бодлера и Верлена. Однако коллективный ум западноевропейского человечества, от природы сметливый, понял довольно быстро, что темная энергия того же Бодлера, если правильно ее использовать, не повредит, а скорее поможет накатистости западноевропейского катка. Творчество Бодлера и Верлена стало в 90-е годы XIX века модным в Западной Европе.

Брюсов и К° – поверхностные довольно люди, которые гнались за европейской модой, не имея той трагедии в душе, которая сделала модными (после их смерти) Бодлера и Верлена.

Широко известна дневниковая запись 19-летнего Брюсова, выбирающего себе жизненный путь: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное. <...> Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу их: это декадентство и спиритизм. Да!

Что ни говорить, ложны ли они, смешны ли, но они идут вперед, развиваются, и будущее будет принадлежать им, особенно если они найдут достойного вождя. А этим вождем буду я!»

Брюсов, надо сказать, всегда верил в свою исключительность. Эта вера базировалась в основном на том факте, что наш герой выучился читать в три года. В процитированной выше дневниковой записи от 3 марта 1893 года Брюсов только отыскивает для своей гениальности, доселе бесформенной и анонимной, Архимедову точку опоры. И находит ее!.. Происходит как бы озарение.

Брюсовское озарение выглядит со стороны достаточно убого. «Честность не дает успеха или дает медленный – выбираю нечестность». «Есть путеводная звезда в тумане – и я вижу их обе». «Мир должен развиваться и идти вперед»...

Адамович справедливо говорит: «Есть что-то глубоко провинциальное во всех писаниях Брюсова, какая-то помесь «французского с нижегородским», которую трудно вынести. И всегда была она в нем. <...> Замыслы его всегда напоминают дурную журналистику. <...> Пороком брюсовского творчества навсегда осталось несоответствие его *огромного* чисто *словесного дарования* его скудным замыслам, помесь блестящего стихотворца со средней руки журналистом».

Впрочем, Ахматова, уж никак не хуже Адамовича разбиравшаяся в стихах, успешно оспаривает его тезис об огромном словесном даровании Брюсова: «В стихах и Гелиоглобал, и Дионис – и притом никакого образа, ничего. Ни образа поэта, ни образа героя. Стихи о разном, а все похожи одно на другое. И какое высокое мнение о себе <...>. Административные способности действительно были большие».

Административные способности у Брюсова были *очень большие*. Брюсов был, в полном смысле понятия, которого нельзя встретить в Евангелии, – великий человек. В любом деле, которым ему захотелось бы заняться, он преуспел бы. Займись он промышленностью, он стал бы для России вторым Демидовым, вторым Путиловым. Но соизволил он заняться стихами. И в этом малоодоходном бизнесе всех своих конкурентов, естественно, съел. Сделал бизнес крупнодоходным. Замыслы Брюсова смахивали по временам на дурную журналистику, зато реализовывались они неукоснительно: точно в срок, день в день. Пожелал Брюсов стать вождем русского декадентства – и стал. Изменил ход русской литературы. Перемножил на ноль «славное наследие 60-х». Доказал российскому обывателю, что поэт больше гражданина. Сделал высокую поэзию надолго (чуть не на 70 лет) модной в России... Серебряный век русской литературы – дело его рук. Этот именно великий человек *мышцей крепкою, высокою* сокрушил врагов поэзии, которые успешно прикидывались у нас (с середины XIX века, а точнее сказать – с 1856 года) друзьями добра.

Но нечестность, принятая Брюсовым за основу будущей литературной деятельности, придала полету русской поэзии в XX столетии начальное искривление, имевшее плачевные последствия.

Несколько слов от редактора.

Когда-то давно я заметил, что иногда нахожусь среди единомышленников и так мне тяжело, словно я воз везу, а потом попадаю к противникам, и хочется всех обнять. В чем же тут дело?

Да дело в том, что человек – это сам по себе полнота мироздания, и он всегда больше самого себя, и его взгляды – лишь частичка его.

И так же писатель – он создает мир, и имея дело с писателем, имеешь дело с миром.

В нашем журнале самые проивоположные взгляды не то чтобы уживаются, но все же сосуществуют, но вовсе не потому, что я какой-нибудь терпимый человек и поощряю разнообразие взглядов – нет, я изо всех сил пытаюсь громить, что мне представляется неверным – но что именно мне представляется неверным?

И вот странность: вроде бы В. Овсянников совсем иначе относится к поэзии, чем я, так же и А. Медведев, и В. Меньшиков – но я этого не замечаю, мне часто кажется, что они поют ту же самую песню, которую и я пытаюсь петь.

Н. И. Калягин создает свою собственную «вселенную русской поэзии», ее хрустальный дворец, не все поэты в этот дворец допущены, не все матерьялы используются при его строительстве, в основном золото, мрамор, серебро и хрусталь, отчасти дерево... Некоторых, которые важны для меня, к этому дворцу он не подпускает совсем – но ведь даже выдающиеся здания в Петербурге часто исключают друг друга, несовместимы, а если бы были совместимы, то были бы однородны, повторяли друг друга, великий же поэт неповторим. «Чтения о русской поэзии» – это не учебник и не энциклопедия, это «Песнь о Нибелунгах», или о Гайавате... Намеренно оставляю другие сравнения, чтобы читатель хладнокровнее и точнее принял мои слова.

Писать о поэме надо тоже поэму, или нечто столь же исключительное, тогда это писание будет оправдано (ну, безусловно оправдано). Жаль, что Журнал наш (а он точно НЕ мой, я уже сказал, что в большинстве многие из его текстов мне совершенно не созвучны) не вызывает откликов – не только у посторонних читателей, но и у его авторов. Многие из авторов его даже не читают. А Журнал этот – явление выдающееся, многие статьи и стихи его – значительно возвышаются над уровнем средней современной литературы. Но ни откликов, ни даже ругательств. И то, что Музыкальная симфония Н. Калягина НЕ слышима – это подлинная трагедия русской современной литературы. Ведь симфония эта значительно шире критического исследования русской поэзии – это глубокий и поэтический очерк русской истории, дающий импульс для творчества, а не только для восприятия. Читатель, очнись! Отбрось свою лень. Ну обругай хотя бы меня, я уж сам нарываюсь на грубость, я не стесняюсь ругаться – но не спи непробудным сном, в который погрузилась Россия, русская литература, русская поэзия, история, сама жизнь. Не слышно даже, чтобы кого-то застрелили из-за ревности, из-за оскорбленной чести – нет, только из-за денег и только за деньги. У такого народа и такой страны не будет будущего и не ошибается ли Никойа Иванович, нечего миру уже ждать от России?.. В.Ч.

Александр Неучев
РУССКАЯ АЗБУКА

БУКВА А

Знание – сила. Знание обретается обучением, опытом, переживанием... Знание передают обычаи, чертёж и географическая карта. Передаче знаний служат буквы и иероглифика. Буквы несут знания не только как обозначения звуков речи. Буква обучает также своим имясловом и числовым значением, начертанием и даже местом в строю.

Возглавляет азбучный строй буква А. И обозначается ею число «Один». Имяслов буквы А – морфема Аз. В порядке речи духовной морфема Аз всегда была тождественна местоимению первого лица Я.

Когда человек выражает знание о самом себе, он говорит: «Я – это я». Ценностные свойства Я выясняются через группу слов с морфемой Аз и через смыслы этих слов. Назовём некоторые. Слово «Раз» – имя числительное, открывающее счёт в порядке следования. Разум – именование главного источника совершенствования жизни. В планах её совершенствования разум включается на счёт «раз». Направление движения к цели – азимут. Пыл увлечённости стремлением к достижению цели – азарт. Азан (призыв с минарета к молитве) и намаз – обязательное в почитании Всевышнего, верстающего планы на жизнь. Все слова передают представление о начале, о принципе основания, о настройке, необходимых для движения в верном направлении. Имяслов Аз имеет в виду сходство свойств Я с этими задающими смыслами.

Речение и писание о роде-племени буквы с имясловом Аз выражено в её форме. Начертание прописной буквы Аз старославянской сохранило сходство с профилем человеческой головы сфинксов Древнего Египта. Начертание прописной А шрифта гражданского сходно с головой сфинкса Гизы в фас. Буквы строчные напоминают профиль головы бараньей, тоже присущей египетским сфинксам.

Сфинкс – олицетворение представлений об установлении и о значении отношений соподчинённости. Их разновидность называется лад. Для людского сообщества в целом отношения соподчинённости устанавливает власть. «Головная» буква Аз подразумевает соподчинённость человека и вечности, лад конечного с бесконечным, транзит бессмертного в смертном Я – как смысл жизни этого Я. И в этом случае буква Аз служит обозначением того, что есть благо.

Прародительскую «теорию личности», выраженную буквой Аз, дополним одним случайным сближением. В языке цезов, народа внутригорного Дагестана, имяслову Аз созвучно существительное Эз. Его значение – сторожевая башня.

БУКВА Б

Хата буката, окон богато, а некуда вылезть. Загадка о неводе.

«Буки» – название второй буквы русской и славянской азбуки. Числового эквивалента букве не назначено. Народ учёный оповестил народ честной, что в старой грамматике имяслов «Буки» означает «буквы». Зарисовка о букве «Аз» (А) показала, что как в начертании буквы, так и через её имяслов, прародители постарались передать потомкам важные знания. Каковы они в устройении буквы «Буки»?

В словаре В.И. Даля говорится, что в речи «буки» оттеняет «нечто неверное, гадательно будущее. *Это ещё не буки. Когда ещё буки будут*»... В связи с вопросом об устройении и с ропотом сомнений посмотрим, что отображают слова, фонетически родственные имяслову «Буки».

Бука – детская страшилка и прозвище человека нелюдимого. Букалице – омут под мельничным колесом, пригодный для проживания буки. «Хата буката» в загадке о неводе значением «обширная» сродни объёму и образу омута.

Иное дело – слово «букатка». Это и ломоть, и кус от ломтя, и кусок мяса... Кусочку, части, «букатке» можно уподобить самоё букву, «ломтик» азбуки. От «съестной» обоймы значений производно прозвище «букатник» лоцмана бурлаков.

Лоцманские задачи проводки баржи по реке могут служить образом, аллегорией задач письменности при проводке ума по его «водам». Иные свойства письменности отображают и омут, и невод – брат критского лабиринта, из которого тоже не выбраться.

Перейдём к прообразу начертания знака «Буки». Он, как и образ «ломтик» для знака азбуки, взят из быта. Прообраз формы буквы Б – светец. В это изделие кузнечного ремесла вставлялась лучина. Пламя лучины освещало рабочее место пряжи, стряпухи, ткачихи... Лучина горела над лоточком для падавших искр и пламени. В построении буквы Б шрифта гражданского лоточек условно повёрнут.

Со светцом и горящей в нём лучиной связан образ из айата 35 суры 24 «Свет».

Аллах есть Свет земли и неба.

И свет Его подобен нише,

А в ней светильник...

...

Так для людей Аллах приводит притчи:

Ему известна всякой вещи суть.

Притчи, как следует из заключительных строчек айата, проливают свет на какую-то часть достоверного знания. Разработчики построений букв тоже имели в виду суть и порядок вещей.

Прозревалась авторами знака-исповедания неверное свойство

письменности, связанное и с образами невода и омуга, и с образом мрака, окружающего свет, и с нелюдимостью как точкой касания, обозначающей шкалу человеколюбия, и с отсутствием у буквы «Буки» числа, свойство которого – доставлять возможность точной меры. Письменность содержит в себе возможность искажения Речения и Писания Всевышнего, выраженных в картине мира, который человек не создавал. Это смоделировано сказкой о Машеньке в доме трёх медведей. Её можно назвать сказкой о методологии цивилизационного переворота.

Великий предел идеи «миропрочтения» – «нет в писании – нет в природе». «Мышца» миропрочтения поражает чуждые ей способы обработки информации и ступени понимания. С использованием этих свойств письменности создана химера единственности «прямого пути» чтения и логического мышления. Химера самодовольства, сродная химере «прямого пути», принимает нить за весь ковёр. Обе ведут в тупик, отключая и от прошлого, и от будущего.

Характер притчи как Речения Всевышнего о сути вещей, упомянутый в аяте 35 суры 24 «Свет», присущ стихотворению Ю.П. Кузнецова, связанному с предупреждением внимательных и добросовестных авторов знака «Буки».

Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.
Он пошёл в направленье полёта
По серебристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото,
За три моря от отчей избы.
«Пригодится на правое дело!» –
Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.
В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познания играла
На счастливом лице дурака.

А	— АЗ
Б	— БУКИ
В	— ВЕДИ
Г	— ГЛАГОЛЬ
Д	— ДОБРО
Е	— ЕСТЬ
Ж	— ЖИВЕТЕ
З	— ЗЕЛО
И	— ИЖЕ
К	— КАКО
Л	— ЛЮДИ
М	— МЫСЛЕТЕ
Н	— НАШ
О	— ОН
П	— ПОКОЙ
Р	— РЦЫ
С	— СЛОВО
Т	— ТВЕРДО
У	— УК
Ф	— ФЕРТ

Х	— ХЕР
Ω	— ОМЕГА
Ц	— ЦЫ
У	— ЧЕРВЬ
Ш	— ША
Щ	— ЩА
Ъ	— ЕР
Ы	— ЕРЫ
Ь	— ЕРЬ
Ъ	— ЯТЬ
Ю	— Ю
Я	— И Я
Ю	— И Е
А	— ЮС МАЛЫЙ
Ж	— ЮС БОЛЬШОИ
А	— ИОТОВ. ЮС МАЛЫЙ
Ж	— ИОТОВ. ЮС БОЛЬШОИ
З	— КСИ
Ψ	— ПСИ
Θ	— ФИТА
Υ	— ИЖИЦА

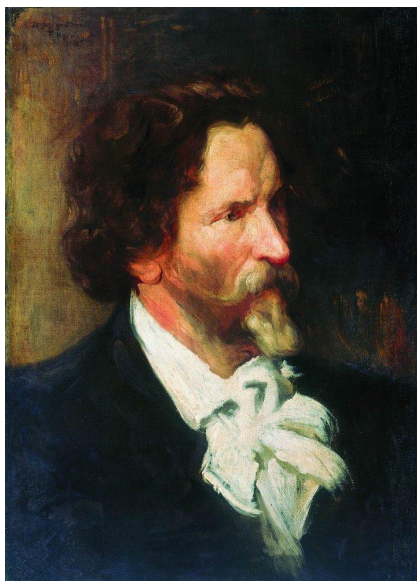
IV. ЖИЗНЬ КАК ТЕАТР

В. Г. Исаченко

художник, историк искусств.

Богатырь живописи

(К 175-летию И.Е. Репина)



Boris Kustodiev (Russia, 1878 – 1927) Portrait of Ilya Repin, 1902

Илья Ефимович Рѣпинъ,

24 июля [5 августа] 1844, Чугуев, Российская империя -
29 сентября 1930, Куоккала, Финляндия)

Богатырь живописи

Так назвал Репин одного из своих лучших учеников – Б.М. Кустодиева, и эти слова относятся и к самому Учителю.

Еще в 1944 году к столетию художника по инициативе руководства страны состоялась его выставка в Москве.

Последняя большая выставка Репина была в Русском музее в 1994 году к 150-летию мастера. Нынешняя – важнейшее событие в культурной жизни города на Неве, ставшего для юного Репина духовной родиной. Репин всегда вне моды, он, подобно Льву Толстому (его ведь так и называли – Толстой русской живописи), велик даже в своих не самых лучших произведениях и, как при жизни вызывал бурные восторги одних и неприятие других, так и в наши дни. Равнодушных не было и нет.

Репин, возможно и сам того не сознавая, совершил творческий и человеческий подвиг, создав грандиозный портрет многонационального русского народа в его сложнейшем историческом развитии. Кроме Репина в России подобную задачу отчасти решил только Суриков. А в Голландии в XVII веке это сделал гениальный Ф. Хальс. Именно он наиболее близок русскому гению.

В обширном наследии Репина самое драгоценное – портретная галерея. Каждый из нас имеет возможность по своему усмотрению выбирать и по-разному группировать эти портреты, большая часть которых создана в городе на Неве и в «Пенатах» (пос. Репино). История их создания очень неплохо изучена, а вот оценки весьма разнообразны и могут меняться вместе с нами: герои Репина настолько убедительны, что, даже не зная их биографий, мы воспринимаем их как современников.

Я выхожу из корпуса Бенуа на набережную канала Грибоедова и мысленно продолжаю беседовать с репинскими персонажами. Я запомнил каждого из них ещё со школьных лет, а один из них и теперь молча идет рядом, и это молчание не тягостно. Благодаря Репину он издавна близок и дорог мне – сосредоточенный, спокойный, уверенный в себе, еще не успевший располнеть, автор «Раймонды», музыка которой звучит во мне. А кроме него – Римский-Корсаков, Бородин, Кюи, написанный с особой симпатией, композитор П. И. Блара́мберг, устремленный в будущее Мусоргский. Рядом – вдохновенный Антон Рубинштейн, высоко оцененный Мусоргским Лядов, знаменитый житель Николаевской улицы, 50, организатор крупнейшего после «Могучей кучки» содружества музыкантов М.П. Беляев, певица А.Н. Мола́с, очень трогательная Л. И. Шеста́кова, сестра Глинки, квартира которой на Гагаринской стала родным домом для «Могучей кучки». Здесь один из лучших портретов В. В. Стасова, которого Репин писал и в городе, и в Парголово на его даче.

Репинские персонажи живут и меняются вместе с нами, они пластичны и объемны, даже если изображены строго анфас. Сознал ли он сам, что создал портретную галерею, по которой потомки будут изучать историю народа? Скорее всего – сознал.

Вот, например, писатели: Гаршин, Успенский, Тургенев, Полонский, Алексей Толстой, Писемский, К.Р., Фет, красавец-брюнет Леонид Андреев (из трех его портретов лучший – в красной рубашке – в Тверском музее), Лесков, Н. Б. Нордман, М. Горький, Маяковский, Гиляровский (его мы видим также в «Запорожцах»), Городецкий, Короленко, Писемский... Я напишу Ваш портрет – это лучше, что Репин мог сказать человеку. Особенно много он писал и рисовал Льва Толстого. (Однако лучший портрет писателя создал все-таки Крамской.)

Перед нами как живые встанут собратья Репина – художники, которых он, мало сказать, ценил и любил, а обожал: Крамской, Куинджи, одногодок Репина Поленов, Суриков, Похитонов (почти забытый пейзажист, «чародей-художник» по словам Репина), внук Радищева Боголюбов, Ге, Антокольский, Гинцбург, «верстовой столб» пейзажа Шишкин, М. О. Микешин, Сварог (с гитарой), Чистяков, его ученики Бродский и особенно Серов, графический портрет которого – более чем шедевр. И в этом ряду те, без которых судьба русской живописи могла бы оказаться не столь удачной: П. М. Третьяков, С. И. Мамонтов, И. Е. Цветков.

Репина всегда привлекали ученые, инженеры, общественные деятели. Он был влюблен в разносторонне одаренных и во всем состоявшихся людей. Великолепный портрет инженера путей сообщений, замечательного литератора, генерала Андрея Ивановича Дельвига, двоюродного брата лицейского друга Пушкина. Он далек от официальных парадных портретов. В генеральском мундире – Цезарь Антонович Кюи, инженер-фортификатор, ученый, талантливый композитор, музыковед, литератор. Репин писал его в своих «Пенатах», как и великого ученого психиатра В. М. Бехтерева. Т. И. Филиппов, крупный чиновник, организатор музыкальных вечеров в доме №2 на Николаевской улице (их душой был Мусоргский, друг Репина и большой знаток живописи). Темпераментно, сочно написанный акварелью Д. И. Менделеев, П. Ф. Лесгафт, нарисованный на его лекции в Соляном городке, историк И. Е. Забелин, физиолог И. М. Сеченов, хирург и литератор Н. И. Пирогов, профессор Н. Н. Обручев... множество имен, и о каждом можно сказать: человек – эпоха.

Репин недолюбливал (мягко говоря) внешний лоск, барство, спесь, светские беседы, деспотизм во всех его проявлениях. Он избегал писать «дамочек», но как превосходны его лучшие женские портреты: П.А. Стрепетова, С. В. Панина, М. Ф. Андреева, М. К. Тенишева, С.М. Драгомирова в украинском национальном костюме, изысканно красивый портрет Н. П. Головиной, а также немало карандашных и акварельных женских портретов. Превосходны портреты матери и детей художника.

Репин всегда живописец. Даже в бесчисленных рисунках, выполненных в разной технике, а это сотни, может быть и тысячи листов – Л. Толстой, актриса Элеонора Дузе, крестьяне, солдаты, дети, люди разных возрастов, сословий, профессий. Два уникальных портрета: «Мужичок из робких» и «Мужик с дурным глазом» – два типа крестьян пореформенной России. Они требуют долгого изучения и осмысления. Но были и такие, как «Белорус». Молодой крестьянин в домотканой рубахе, стоящий у изгороди в непринужденной позе, просто и доверчиво смотрит на меня, словно приглашая к разговору. Мне известна его непростая судьба. Знаменитый «Протодьякон» вызывает в памяти Варлаама из оперы Мусоргского. Но ученик Репина Кустодиев превзошел учителя в «Монахине», создав более сложный многогранный образ. При этом до конца жизни Кустодиев называл Репина своим Учителем.

У нас в России было много первоклассных портретистов, но только Репин писал так страстно и вдохновенно, так свежо и непосредственно, с таким личным отношением к человеку. Мне всегда кажется, что, когда я стою за мольбертом, рядом – Илья Ефимович водит моей рукой. В этом магическая сила искусства гения.

Главное творение Мастера – грандиозное полотно «Заседание Государственного Совета», с этюдами, каждый из которых – законченное произведение. По существу, это групповой портрет, знаменующий завершение XIX и начало нового столетия, и Репин, как и Суриков, – у истоков нового искусства. Их наследники и стали нашими учителями.

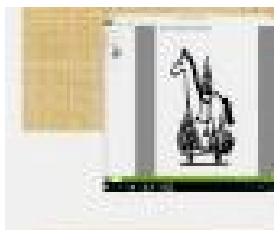
Конечно, Репин – Учитель, но не мэтр, не доктринер. Не случайно среди его учеников столь не похожие друг на друга Серов, Малявин, Сомов, Кустодиев, Остроумова-Лебедева, Бродский... Лишенный чувства зависти, Репин бурно радовался их успехам и остро переживал неудачи.

Ученики и наследники Репина – их очень много, и почти каждый имел свой творческий облик: крупнейший портретист рубежа веков В. А. Серов (портрет Турчанинова – «репинский», но и «серовский»), Ф. А. Малявин – автор не только роскошных «малявинских баб», но и тонких, изысканных портретов (К. А. Сомова и др.), великолепный рисовальщик, автор многочисленных графических портретов В. И. Ульянова, выполненных с натуры (именно Ульянова, а не Ленина). Вот где проявилась истинно репинская хватка. К. А. Сомов создал прекрасные портреты отца, Остроумовой-Лебедевой, Рахманинова, десятки карандашных портретов. Остроумова-Лебедева по состоянию здоровья обратилась к графике, но уроки Репина помнила всю жизнь.

И. И. Бродский, президент Академии художеств СССР, – один из любимых учеников Репина. Его портрет работы Лактионова – в лучших репинских традициях. Так репинское наследие естественно и органично вошло в наше время.

Б. ХАДЕЕВ

ДЕРЕВЯННАЯ ЛОШАДКА



Часть 1. ДЕРЕВЯННАЯ ЛОШАДКА



Иркутск до революции

Глава 1.

Модын унган. (Деревянная лошадка)

Вечернее солнце ярко освещало плоские холмы улуса Водыр. Оно заходило за горизонт, долина реки Худы уже лежала в теплой вечерней тени, над рекой с поросшим ивняком берегами поднимался сизо-голубой прохладный туман, а холмы за рекой все еще были щедро освещены золотыми теплыми лучами.

В улусе было несколько дворов с одноэтажными домами и одна большая усадьба с двумя двухэтажными домами с цветными стеклами на террасах второго этажа, которые в лучах заходящего солнца блестели особенно ярко.

В ней параллельно двухэтажным домам располагались двухэтажные амбары и протяженный рабочий дом, которые отгораживали чистый двор от обширного скотного двора с конюшней.

Усадьба принадлежала бурятскому предпринимателю Василию Ангархаеву.

Освещенные холмы находились в полукилometре от усадьбы, и на них к дойке появилось и цепью растянулось его стадо, и когда первая корова в сизой вечерней полумгле заходила на скотный двор, последняя еще неспешно поднималась из-за холма на его выпуклую освещенную сторону.

Сегодня в усадьбе старались побыстрее закончить дойку и скорее сесть за праздничный стол по случаю дня рождения трехлетнего Павлика – внука Василия, сына его сына Аполлона.

Стол был накрыт в главном доме, где проживал сам Василий со своей женой Мадой, а также его старший сын Аполлон со своей женой Матрешкой и сыном Павликом.

Во втором доме жил младший сын Василия Базыр со своими двумя сыновьями.

Дома были большие, просторные, построенные по проекту хорошего архитектора со скругленными сверху окон переплетами, с нарядными наличниками также со скругленными поверху ставнями и с точеными на станке деревянными украшениями по верху наличников. Веранды второго этажа внутри переливались светились разноцветным светом от венецианского стекла.

Дома были покрашены розовой и светло-зеленой краской пастельных тонов, краски разводились на олифе из натурального растительного масла и поражали сдержанной силой удачно подобранных цветов.

Пройдя широкий четырехметровый коридор с огромным трюмо, трехметровым зеркалом, поверху украшенным сочной скульптурной резьбой, гости попадали в зал, в углу которого стоял жёлтозолотистый буддийский иконостас, а в центре размещался огромный дубовый стол, накрытый большой толстой скатертью светло-песочного цвета с бахромой. На столе в красивых мисках и тарелках была сервирована бурятская еда, а сегодня по

случаю праздника вытащили редкие серебряные рюмки, ножи, вилки и ложки. Одна ложка размером с поварешку называлась Титской, и когда ее подавали, то шутили:

- Тит, иди молотить!
- Голова болит.
- Тит, иди кашу есть!
- А где моя большая ложка?

За стол не садились, ждали, когда придет со своей семьей младший сын Василия, Базыр.

Наконец, он появился с нарядной лентой на подарке, и все уселись за праздничный широкий стол.

Первым с гравированной серебряной рюмкой в руке поднялся Василий:

– Дорогой мой внук Павлик! Дорогие внуки! Дорогие родные!

Сегодня наконец-то можно отметить день рождения нашего Павлуши как положено, а потому я скажу длинную речь.

В прошлые годы мы не отмечали день рождения Павлика, потому что буряты не отмечают дни рождения новорожденных год, два или больше, чтобы злые духи не обратили на них внимания и не забрали к себе, потому новорождённых и называют у нас в первое время разными обидными именами – бахушка-какашка и другими. В прошлом году только одна твоя бабушка, Павлик, сделала тебе подарок по-тихому – подарила маленькие унты, а мы остальные не делали и хотим это сделать сегодня. Ер наша! (иди сюда!), – Василий обмакнул палец в рюмку с тарасуном и приложил его ко лбу внука. – Я хочу, чтобы ты рос здоровым, умным, послушным, но кроме этого хотел бы, чтобы ты и твои собравшиеся здесь старшие братья, когда вырастите, продолжили бы дело, которым занимаюсь я в последние годы, и к которому мы шли трудно и долго.

– Тимэ, тимэ (так, так), – закивали головами женщины.

– Вам, молодым, для пользы расскажу про это подробнее. Чем только я, Ваш дед, не занимался!

И на тракту на почте служил, потом начальником почты стал, почтовой гоньбой занимался, и своих лошадей туда включал, и пушниной торговал, и рыболовецкие артели на Байкале создавал, и рыбой и солью торговал, а все как-то ненадежно, раз на раз не приходилось, то пушнину для тебя кто-нибудь еще в Якутии перекупит, то рыбаки загуляют, а рыба в другие места уйдет, то лошади заболеют, то скот падёт.

А ведь девять поколений нашего рода жили неплохо.

– Тимэ, тимэ (так, так), – закивали головами женщины,

– Но сказать, что крепко – нельзя. Все зависело от погоды, удачный год, урожайный выдался, хорошо живут, да только климат-то у нас какой – неурожайные-то чаще бывают.

Или скот даст хороший приплод – хорошо живут, а заболит коровка и случится падеж – тогда приходится выживать.

Крутился, крутился я с этой торговлей, предпринимательством, – дело хлопотное – уставать стал.

И тут 10 лет назад встретился я с Нухайловым, таким же, как и я, предпринимателем из Бохтоя, разговорились мы и он мне говорит:

– Устал я тоже каждый день с самого утра по делам крутиться. Сейчас думаю – надо бы мне уже за какое-то крупное дело браться.

А сейчас есть такой момент – в России начались подвижки с винной монополией, и вот думаю – хорошо бы нам с тобой объединиться и вначале хотя бы небольшой заводик построить.

А я ему: – Так ведь разрешения не дадут, государственная монополия – ее ведь не только от губернии получить, а еще и от правительства в Санкт-Петербурге, и от Сената, и от Синода.

А он мне: – В монополии подвижки уже идут. У меня юрист хороший есть, бумаги толковые напишет.

Короче, договорились мы, а юрист в бумаге написал, что избытки зерна неэффективно уходят в посторонние руки, что для развития Сибири нужен быстрый капитал, а сельское хозяйство по своему характеру дать его не может, что доход от завода можно направить на развитие сельского хозяйства по новейшим достижениям, а получающуюся в производстве барду можно с пользой направить на корм скоту.

Хорошо написал.

– Тимэ, тимэ (так, так)! – закивали головами женщины.

– Однако ждать разрешения пришлось не один год, но в конце концов мы все-таки его получили и построили завод.

И только с этого момента жизнь наша стала спокойнее.

– Тимэ, тимэ (так, так)! – вновь закивали головами родичи.

– Ну, хватиг о деле. А сейчас я хочу тебе, Павлуша, как будущему мужчине, сделать подарок – специально лучшему дархану в Кадае заказывал: – это бурятский нож.

С этими словами Василий вытащил из под стола небольшой бурятский нож в коричневых ножнах на серебряной цепочке, с тонкими красиво переплетающимися серебряными узорами, и передал его Павлику.

Тот с улыбкой взял его и вытащил из ножен.

– Ялэбдо! Хыргылэбдо! (Ой, где это видано!) Юм Гэшэдэ? (Что делается?) – застонала тут бабушка Мада, – разве можно маленькому ребенку давать острый нож?

– Дай, дай, Павлуша, его сюда! Пусть он у бабушки пока полежит, как подрастешь, так я тебе его отдам, а пока...

Тут Мада забрала нож, спрятала его под столом и вытащила оттуда же сверток:

– А пока прими, Павлушенька, подарок от меня. В прошлом году я подарила тебе легкие унтыки, я сама расшивала их, и они тебе так понравились, что каждое утро, проснувшись, ты первым делом спрашивал:

– Хон, хон гэшэ ханымо? (Хон, хон ходить где?)

Тут сидящие за столом тетки дружно засмеялись, застонали и засюсюкали:

– Хон, хон гэшэ ханымо?

– Унтики-то те поизносились, а сейчас я тебе сшила новые из черного бархата и расшила их цветными шелковыми нитками, я сама тебе и выкройку и союзки так сделала, чтобы носик унтов был красиво загнут.

Мада подошла к Павлику и надела ему свои новые унтики.

Павлуша счастливо улыбался.

После Мады подарок сделал дядя Базыр и тетки.

В конце вечера свой подарок сделали Павлушины родители. Вчера они специально ездили в город и привезли крупный по габаритам подарок в ящике, обернутом в нарядную упаковочную ткань.

Апполон надрезал ленточку, открыл ящик и вытащил из него подарок.

Это была пегая лошадка сантиментов около 80 в высоту на подставке с деревянными колёсами. Судя по печатям на упаковочном ящике, она была сделана в Англии.

Подарку все ахнули, лошадка была не ярмарочная с короткими ногами на качалке в стиле народного примитивизма, а классическая, со стройными ногами в стиле классицизма, видимо, создавали ее профессиональные скульпторы-художники, окончившие Парижскую Эколь де Бозар.

– Модын унган! Модын Унган! (Деревянная лошадка! Деревянная лошадка!) – зацокали тут от восторга языками тетки Павлика.

У лошадки была шкура настоящего жеребенка, желто-коричневое седло из настоящей кожи с оловянными стременами и кожаная узда с блестящими заклепками.

Подарку все ахнули, таких лошадок они больше нигде не видели.

Глаза лошадки были многослойные стеклянные и, казалось, в глубине светились.

– Продавцы сказали – пояснила Павлушина мать Матрешка – что если долго смотреть в глаза этой лошадки, то можно увидеть в них свою судьбу.

Павлуша приник к ним глазами – в них в черном бездонном пространстве вспыхивали пожаром оранжевые зарева.

Он смотрел и молчал. Потом спросил отца:

– Тынды юмдэ? (Что там?)

Апполон надолго приник к глазам лошадки – в глубине их вспыхивали оранжевые всполохи.

– Неужели так будет выглядеть судьба моего сына?

Глава 2.

Катя и шаман.

Улус Шатар-Шадай располагался в долине речки Дамары, впадающей в реку Хурин. Вода в Дамаре была кристально чистая и холодная, и в ней почти неотличимые от дна молнией мелькали быстрые тени харисов.

Сегодня отец Кати Бертагай делал подношение молочной водкой духам, чтобы они благоприятствовали его опасной поездке за Байкал, где нужно было договориться о покупке скота и перегоне его зимой через Байкал и оставить там значительный задаток.

Бертагая своего улусного шамана не позвал, а пригласил другого с дальнего улуса, который был настоящий «удха», то есть наследственный шаман, предки которого тоже были шаманами.

Когда все собрались в просторной деревянной юрте, шаман начал брызгать, обращаясь к 44 западным и 55 восточным Тэнгриям, чтобы они явили благосклонность к Бертагаю в его дальней поездке. Брызгать умели многие, но не так, как этот «удха».

Тот положил лезвиями в костер несколько бурятских ножей, после чего гулко ударил колотушкой в бубен и начал камлание.

Сначала, резко ударяя в бубен, он как бы прислушивался, что тот в тишине скажет ему своим низким упругим звучанием, и медленно шел по кругу.

Затем, услышав что-то, он стал бить колотушкой чаще и сильнее, движения его становились стремительней и быстрее, и, наконец, он закружился, ударяя в бубен все сильнее, все яростней, так что юрта низко и плотно загудела.

Верхняя одежда шамана при кружении слетела, а он, мокрый и взмыленный, продолжал по кругу неистово стучать и бить в бубен, и вдруг одним прыжком подскочил к тяжелым мешкам пшеницы у стены, схватил мешок зубами и...

– Хэк! – тяжелый пятипудовый мешок легко перелетел через его мокрую спину

– Хэк! – и второй мешок также легко перелетел через его спину

Зубами легко перекинув через спину 5 тяжелых кулей, как будто там была не плотная пшеница, а легкая овечья шерсть, шаман подскочил к костру, выхватил оттуда положенные ранее ножи и стал лизать добела раскаленные лезвия языком.

Катя такого раньше никогда не видела и во все глаза, не отрываясь, глядела на шамана.

Часа через два шаман уехал, в юрте остались одни одноулусники, которые остались допивать тарасун.

Сидел там и старый Ниссан, у которого была молодая жена. Зашел парень и сказал Ниссану:

– Иди домой, там твою жену молодой в лес повел!

Но старый Ниссан никуда не пошел, а, сощурился и без того узкие глаза, лишь хитро рассмеялся:

– Чей бы бычок не скакал, а теленок будет наша!

А Катя в этот момент камлала.

Память у неё была хорошая и она, как шаман, начала произносить заклинания к 44 западным и 55 восточным тэнгриям.

Сильный шлепок по затылку вывел ее из состояния камлания.

– Сэртэм! (Грех!) – сказала мать, которая со своими дочерьми обращалась очень сурово:

– Девки – чужой товар! – любила повторять она, надеясь родить сына и угодить Бертагаю.

Дочерей на ежедневную работу мать поднимала жестко. Надо скот выгонять, надо по росе сено косить, а девчонки спят себе сладким сном.

Тогда Анна подходила к дочерям, крепкой рукой брала их за волосы на затылке и резко поднимала.

После такого подъема сна как не бывало.

Мать свою Катя побаивалась, зато с отцом у нее были замечательные отношения.

Это он научил ее ездить на лошади, сначала с уздой, а затем без узды.

Ей было лет пять, залезть на коня она не могла, тогда отец подводил лошадь к изгороди, с которой Катя легко запрыгивала на спину коня и, вцепившись детскими ручонками в гриву коня, ногами пускала его вскачь.

Арифметическому практическому счету ее тоже научил отец. Когда он пригонял во двор из-за Байкала несколько сот голов скота, то просил дочерей пересчитать это вечно двигающееся и перемещающееся стадо.

И Катя научилась считать:

Ныгын, хоир, гурбын, дурбын, табын зун. (1,2,3,4,5....пятьсот)

Кате нравилось так скакать на лошади, чтобы степной ветер свистел в шагах, а она, вцепившись в гриву, птицей летела над пыльной дорогой и степной травой.

Вскоре у нее появилась уверенность в обращении с лошадыю и однажды она потеряла самоуверенно совсем бдительность, смотрела на стремительно летящую под ногами лошади землю и не посмотрела вперед, ей казалось, ну чего туда смотреть и что там может быть – лошадь-то все видит.

Тяжелый удар по голове на всем скаку о перекладину низких ворот опрокинул ее наземь.

Открыв глаза, Катя увидела, что небо и деревья в хрустальных потоках воздуха кружатся, качаются, наплывают друг на друга и по кругу плывут дома, кусты и изгороди. Ее тошнило.

– Ой, ой, бабе! (Ой, ой, папа!)

– Уй, уй, бабе! (Уй, уй, папа!), – но отца рядом не было.

Целую неделю потом Катя лежала дома, поправляя голову.

Красный яркий румянец на её белоснежном лице заметно побледнел.

К отцу Бертагаю постоянно на охоту приезжали его друзья-охотники из города. Чаще всего приезжал владелец небольшого содоваренного цеха Максим Максимович Крестов, а также известный иркутский адвокат Марк Соломонович Яфрон.

Любитель красноречия Яфрон однажды, увидев Катю, засмеялся:

– Ох об эти бы щечки

Да зажигать бы спички!

Глава 3.

Катин театр.

Катин дед Ертахан с большой семьей жил бедно. Однажды за ним приехали люди бурятского богача Нурхая и отвезли его к себе.

Оказалось, жена богача потеряла «Сажа» – массивное женское украшение из серебра и драгоценных камней, уронила его с ходка по дороге домой. Кто-то видел, что позже по этой дороге проезжал Ертахан.

Нурхай привязал Ертахана во дворе и стал бить его бичом, заставляя отдать «Сажа», но что мог отдать Ертахан, если это украшение он не видел в глаза?!

На днях у Ертахана закончился керосин для ламп, а без него вечером и поужинать толком нельзя.

И он засобирился за ним в соседнее крупное русское село Карат.

– И мы, и мы с тобой, деда! – запрыгали, запросились его внучки Катенька да Мотенька.

Но в день выезда Мотенька заболела и Ертахан, дав ей единственную в доме книгу – букварь – со словами: «ученье свет, а неученье тьма» поехал в Карат с Катей. Та, наряженная в новое платье, впервые в жизни выезжала в большую деревню, можно сказать для нее – в большой свет.

И все-то ей в этой деревне казалось удивительным.

– Уй, бабэ! Бабэ! Ины юмдо? (Ой, деда! Деда! Это что? – закричала Катя, показывая на невиданного зверя, которого она в улусе никогда не видела.

Тот лежал на дороге в большой грязной луже и без особого интереса равнодушно смотрел на Катю из под длинных белесых ресниц.

Дед Ертахан вытащил изо рта блестящую, выделанную из березы, выпаренную в печи трубку и презрительно сплюнул:

– Свинга яб! (Свинья это!)

Катя с удивлением смотрела на дома с палисадниками, на ворота и калитки с криволинейными перекладинами, и все это ей было новым и интересным.

Купив керосину, Ертахан пообещал на оставшиеся деньги купить Катеньке и Мотеньке в подарок конфет и пряников.

Он сказал, что сейчас заедет на постоялый двор прикупить сена для проголодавшейся лошади, а Кате велел зайти в трактир напротив посмотреть, что там интересного продают.

Когда Катя зашла туда, на стене в ходиках с гирей открылась дверца, из нее высунулась кукушка и прокуковала два раза.

Под кукушкой за широким прилавком стоял мужчина в синей косоворотке и черном жилете и что-то наливал из темной бутылки в рюмки.

В обеденном зале сидела пара парня и девушка, одетые ярко и празднично. Один парень в красной косоворотке с белесыми усиками и напояженными маслом волосами, в начищенных до блеска хромовых сапогах держал в руках потертую гармонь, у другого черноволосого рубаха была тёмно-синего цвета

в мелкий горошек и хромовые сапоги тоже отменно блестели. Черные картузы с глянцевыми козырьками висели над ними.

Девушка была одета тоже нарядно, на ногах ее красовались модные ботинки с высокой шнуровкой до середины щиколоток, на красивое темно-синее платье с фонариками-рукавами была накинута крупная тёмно-зелёная блестящая ткань с переливающимся на свету зелено-фиолетовым рисунком.

Такой яркой нарядной одежды Катя раньше никогда не видела, она остановилась как вкопанная и зачарованно уставилась на эту тройцу.

Увидев ее отвисший от любопытства рот, светлосый что-то сказал, – Катя только разобрала слова «сыграть бражкой девчонке» – своим собеседникам, они посмотрели на Катю и засмеялись, после выпили, закусили, а затем парень в красной косоворотке растянул меха, а девушка вышла и встала перед Катей, её единственной зрительницей, притопнула высокими каблуками с подковками и, оттянув за кончики шаль как крылья, картинно изогнувшись, спела:

– По Карату, по Карату
Полотенца тянутся,
Не пошла бы я туда,
Да ребята глянутся!

И опять изогнувшись лебедиными крыльями-плечиками, прошлась по кругу перед Катей:

– А не пошла бы я туда,
Да ребята глянутся!

В глазах Кати было столько зачарованного любопытства, что девушка еще раз спела:

– Я по улице иду
Все равно по мосту,
А я миленка завлеку,
По своему росту!

Катя смотрела на девушку ненасытными от любопытства глазами. Тут парень в красной косоворотке позвал девушку к себе и она, как бы извиняясь перед Катей, спела на прощание:

– Пойду в поле,
Пойду в поле,
Пойду в поле погляжу,
Пойду к Коле,
Пойду к Коле,
Пойду горе расскажу!

Глава 4.

Зина и Петр.

У Бертагая после Кати родились еще две дочери-близнецы. Наталья была рыжеватая, с детских лет упорная и деловая в отца Бертагая. Тот был рыжим и голубоглазым, только нос и глаза его были бурятские, видимо, по крови он был из потомков рыжих воинственных и культурно продвинутых диньлиней.

А Зина непонятно была в кого, белолица, боязливая и капризная.

Но и капризная она нравилась своему однокласснику Петьке, сыну улусного шамана Буентай, Петьке играть с этой ровесницей было всегда интересно.

Он часто приходил к Зине играть в камушки, нужно было подбросить камушек одной рукой вверх, и за это время суметь этой же рукой загнать другой камешек в ворота из пальцев другой руки и успеть поймать подброшенный камешек.

А в последнее время Петька заменил камушки на высушенные под жарким солнцем глиняные шарики.

Зина не возражала, с глиняными круглыми было даже лучше – игра получалась ровнее.

А Петька играет, играет и обязательно у него шарик закатится в ту комнату, куда его не пускали, и где Зинина мать прятала тарасун.

А к вечеру к Зининой матери являлся Петькин отец – шаман Буентай.

Он долго расспрашивает Зинину мать Анну о том, о сем, долго сидит и никак не уходит и в конце говорит:

– Ты Анна, сказывают, вчера тарасун сидела. Угостила бы соседа!

Отвечает Анна ему прижимисто:

– Нет, Буентай, у меня нет тарасуна, а что говорят – «сидела», так мало ли что болтают!

– Уй! Уй! Уй! – вытряхивает пепел из трубки Буентай, – нехорошо, Анна, обманывать шамана. Шаман не простой человек, ему духи все сообщают – шаман все знает. Они ему говорят – У Анны между шкафом и кроватью в дальней комнате стоит четверть чистого тарасуна.

Анна от неожиданности вздрагивает – именно в той комнате между шкафом и кроватью спрятала она тарасун.

– Нехорошо, Анна, обманывать шамана, шаман все знает и видит – повторяет Буентай уверенно, видимо, не зря Петька так долго лазил за глиняным шариком под кровать в дальней комнате.

– Уй, уй, уй, – вспоминает Анна, – забыла совсем, у меня там правда немножечко ещё с давнего сидения осталось.

– Неси, неси – говорит Буентай перепуганной Анне, – Шаман все знает...

Бертагай успешно перегонял по льду большие стада скота из-за Байкала, предварительно подковав их копыта тонкими, уголкем ко льду, железными пластинками так, чтобы скотина на льду не скользила и не падала.

Постепенно в семье у Бертагая появился достаток. Выгодно продавая много мяса, вскоре он стал кушцом второй гильдии. В своем улусе он выкупил землю и построил большой дом из толстых выдержанных бревен с шестью большими окнами с одной стороны и четырьмя с другой. Окна были украшены высокими наличниками, с искусной тонкой резьбой и ставнями. К дому Бертагай сделал двухэтажный пристрой с террасой на втором этаже и украсил ее полукруглые окна ярким цветным венецианским стеклом.

В достатке преобразилась и Анна, стала покупать дорогую нарядную одежду, модные ботинки с высокой до середины щиколоток шнуровкой, купила хорошую посуду с мисками и освоила невиданные ранее у бурят приправы.

Однажды после приема гостей ее вызвала в сени дальняя родственница: – Анна, у тебя в супу листья с деревьев плавали. Я никому ничего не сказала, тихонько их выловила и бросила под стол.

Тут довольная Анна снисходительно хихикнула:– Ины списально, лабробый лист нэргэм (Это специально, лавровый лист называется.)

Хозяйство стало большим и Бертагай взял в дом дальнюю родственницу Оту, чтобы она оказывала посильную помощь по хозяйству.– Ота! Ота! – радуется Зина, – расскажи сказку.

Бронзоволицвая Ота всегда и везде с трубкой, она вынимает ее, садится поудобнее и начинает рассказывать:

– В нашем улусе раньше жила девушка Сагахын. Была она нормальная здоровая девушка, но в последнее время стала у нее сильно болеть голова и от боли она была вынуждена ходить по избе из угла в угол, но места там было мало и стала она по улице взад-вперед ходить, и так по деревне днями ходила, а когда совсем сильно заболела голова, пошла в лес и наткнулась там на пустую избу.

Зашла в эту избу, время было уже позднее, и решила она в ней заночевать.

Только заснула, как слышит сквозь сон, кто-то в окно тихо так скребется: – Сагахын?– А-а-а?– Сагахын! Не твой дом, открой!

Решилась Сагахын, открыла дверь. Только открыла, как в избу ворвались какие-то люди, веселые, смеются, стол сооружают, продукты у них с собой, на стол выставляют, поют, шумят.

И так всю ночь напролет, но утром как вдалеке пропел петух, так засобирались ночные гости, а как в сени они вышли, видит Сагахын, у гостей-то вместо ступней-то копыта.

Тут Зина от страха сжимается в комочек.

– Стало ей нехорошо и упала она на крыльце. И с тех пор стала она полуумной дехабрэ (сумасшедшей) и по улусам бродит.

После этого рассказа перестала Зина вечером во двор одна выходить, а в туалет идти – стала старшую сестру просить, чтобы та ее провожала и караулила.

Сегодня мать отправила Зину к старшей сестре Зое помогать ворошить сено на покосе. Зина позвала с собой Петьку, но тот сказал, что отец велел ему пасти и охранять своих 14 овец и он не сможет.

На покосе к вечеру, только начали подсохшее сено складывать в маленькие копны, как над лесом сгустились тучи, поднялся ветер, сразу сделалось очень темно, а вдали загрохотал гром.

Зине стало страшно, она пригнулась, спрятала голову под жердь изгороди и прошептала:– Сагахын?

И вдруг сверху явственно услышала:– А-а-а?

Зина от страха закричала, но тут за спиной увидела улыбающуюся полногубую старшую сестру

– А-а-а? – захохотала Зоя

Глава 5.

Золотой стол.

В конце лета Бертагай сказал Кате:– Скоро осень, гимназистки уже в гимназию готовятся, платья покупают, а ты у меня все в штанах ходишь. На будущий год тебе в гимназию идти, надо к платью привыкать, надо его купить.

Завтра я еду в город, у меня там дела, а потом платье купим.

Радостная Катя повисла на шее отца.

В Иркутск они приехали к вечеру теплого августовского дня.

Бертагай снял номер в гостинице игорного дома «Золотой стол».

Ближе к ночи он засобирился, одел белую рубашку и черный костюм с бабочкой и наказал Кате:– Ты ложись спать и никому не открывай. Второй ключ от двери у меня есть, я буду приходить тебя проводить.

После длинной дороги, когда подняться пришлось до зари, и почти весь день ехать по тряским пропылённым проселочным дорогам до тракта и потом еще долго по тракту, в свежем чистом гостиничном номере Катя, помывшись, сразу уснула крепким сном.

Проснулась она ночью, отец толкал ее:– Катя! Катя! Помоги мне!

Отец просил ее освободить его от денег. Деньгами были набиты не только карманы костюма, но и рубашка спереди и сзади. Деньгами были набиты оба рукава и кальсоны.

Катя разгрузила отца от денег и тот опять уходил в ярко освещенный зал в конце коридора, откуда доносилась приглушенная музыка, где люди были возбуждены, а на кону стояли большие деньги.

Глубокой ночью он приходил еще два раза и был опять набит деньгами под завязки, и Катя его разгружала.

Спать отец явился только под утро, и до полудня они с Катей крепко спали, затем он заказал завтрак с вкусным пирожным для дочери и они опять немного поспали – Бертагай никуда не спешил.

Днем, помывшись, свежие и выспавшиеся они пошли в лучший поблизости универмаг в городе на пятой Солдатской улице. Катя никогда еще не видела такого красивого магазина. Окна его были большие, снаружи карниз подпирали скульптуры женщин в гирляндах цветов, медные перила

внутри были сделаны под золото. На площадке между этажами парадная лестница упиралась в большой цветной витраж, где среди голубых снегов сидела молодая женщина в желтом одеянии и задумчиво смотрела на застывающий ручей. Перекрытие второго этажа имело большой овальный проем с блестящими под золото перилами, через которые можно было наблюдать входящих посетителей.

По всей ширине лестницы был разостлан красивый ковер, прикрепленный к ступеням так же блестящими под золото трубками.

Когда Бертагай с Катей поднялись на второй этаж, к ним заспешили продавцы – они нюхом чувствовали, что этот покупатель с деньгами.

– Что вашему мальчику подобрать? – спросила старшая.

– Это не мальчик, это девочка! – поправил Бертагай, – Катя стригла свои природно вьющиеся волосы коротко под мальчика и носила брюки. Ведь в платье верхом на лошади ездить было неудобно.

– Сейчас мы подберем платье Вашей девочке – заулыбались продавцы и стали приносить ей разные платья.

Никогда в своей жизни Катя не видела столько красивого платья – и голубые, и красные, и зеленые, и в цветную клеточку, и с белыми воротничками и с манжетами, и с ровной юбочкой и с гофрированными складочками.

У Кати от счастья колотилось сердце – ни одного такого платья у нее никогда не было. Вместо штанов светлое платье, вместо унтов черные лакированные туфельки, а к ним еще белые носочки – радость непроизвольно раздвигала ее губы в улыбку.

Когда она надела подобранное платье и лакированные черные туфельки с белыми носочками, она почувствовала, что наступил предел ее мечтаний и счастья, сердце с трудом выдерживало радость: – Папа, папа! Как тебя я люблю, – от счастья она повисла на шее отца.

Бертагай расплатился и они пошли отметить покупку – покушать в дорогую кондитерскую, за хорошие деньги.

Путь к деньгам у Бертагай был непростым.

В бедной семье Яртахана физически сильному, голубоглазому, рыжему, но с монгольским носом и глазами, Бертагаю вечно не хватало еды.

Вскоре полуголод – голод в бедной семье ему надоел и он решил уйти на заработки в город.

В городе ему посоветовали идти конюхом к купцам. Купцов было много, но ему посоветовали держаться еврейских – Сачковых, Табачниковых, – у них можно было научиться грамоте. Бертагай устроился к известному купцу Таненбауму, у которого кормил, поил и чистил лошадей, а затем развозил товары по магазинам, и однажды он попросил хозяина, чтобы тот помог ему освоить грамоту. На эту просьбу хозяин согласился неожиданно легко – евреи уважают тягу к знаниям – и разрешил ему пользоваться букварями и арифметикой его малолетних детей Мишки и Лазаря, и даже иногда вместе с ними сидеть, когда приходил репетитор.

Бертагаю – он был уже взрослый парень – правописание давалось тяжело,

и уже потом взрослым мужчиной, когда он писал письма домой, его кучерявая дочка Катя наставительно поправляла его:– Бабэ, бабэ! Ины юмдо? (Отец, отец, что такое?) Надо писать «был», а ты пишешь «выл».

Но учиться дальше и больше у Бертагая не было возможности – надо было зарабатывать деньги и кормить семью.

Зато по арифметике и счету ему можно было ставить не 5, а 6, его неизрасходованный на учебу ум легко запоминал цифры, легко производил сложение, вычитание, умножение и деление, что подкреплялось постоянной тренировкой при подсчете стоимости мяса, он мгновенно и точно мог подсчитать, сколько стоит любой кусок мяса при любой сложной цене. Зная это, приезжавшие на рынок буряты привлекали его к продаже мяса. Они ценили его способность к мгновенному точному счету и все чаще стали просить его помогать им продать мясо.

Честный и точный счет создал ему репутацию, к нему все чаще стали обращаться с просьбой помочь продать мясо.– Бертагай хэря! (Бертагай умница!),– говорили они.

Через некоторое время, почувствовав под ногами прочную почву, Бертагай ушел от Таненбаума и переключился на продажу мяса.

Иногда, чтобы расслабиться и отдохнуть, Бертагай оставался после работы сыграть в карты, и здесь его способности запоминать и считать давали ему большое преимущество, и вскоре он стал постоянно обыгрывать партнеров по игре. Но город есть город, всегда есть игроки посильнее, и встречаясь с ними он постепенно поднимался с одного уровня на более высокий, и через некоторое время стал игроком «Золотого стола»

«Золотой стол» – это был уже настоящий профессиональный уровень, игроки здесь были опытные и серьезные, а игры были не на поцелуйчик.

Сюда приходили «пощекотать нервы» богатые люди – золото-промышленники с Лены, торговцы соболями и другой пушниной с Якутии и Прибайкалья, торговцы чаем и шелками из Китая и опытные игроки с деньгами. Здесь всегда играли новыми колодами и меченые карты тут не проходили.

Бертагай садился за стол, и игра у него, как правило, шла успешно.

Его стали остерегаться и выбирали себе более слабых противников.

Игрока, прошедшего «Золотой стол», можно было считать настоящим профессионалом.

Глава 6.

Смерть Матрешки.

Сестра Павлика Ангархаева Наташа родилась лет на восемь позже его, и наступило время, когда ее и Павлика надо было готовить в школу, и Матрешка собралась в город, чтобы купить детям одежду к школе и учебные принадлежности.

Она запрягла в ходок на мягких рессорах пару молодых и сильных лошадей, посадила туда Павла с Наташей и поехала в Иркутск.

Быстро промелькнула деревня Оек, названная так потому, что место там было болотистое кочковатое, арбу трясло и при каждой тряске сидящие в арбе буряты стонали: Оех!

Молодые лошади бежали резво, вскоре благополучно миновали кружной спиральный спуск у Карлука и уже поднимались на Веселую гору перед самым городом, названную так потому, что на этой горе не соскучишься, много лихих людей обычно поджидали там в лесу уставших коней и едущих в город путников.

Лошади уже почти поднялись на эту гору, когда из-за поворота выскочило, чихая и воняя сизым газом, невиданное чудовище. Кони, никогда не видевшие автомобиль, дико захрипели, заржали и понесли ходок назад по каменистому склону.

Ходок опрокинулся, Павлик и Наташа вывалились, а Матрешку, на руки которой были намотаны вожжи, обезумевшие кони потащили по камням вниз.

Она умерла, не приходя в сознание.

Глава 7.

Катя и Ира.

Бертагай твердо решил – дети получат образование в городской школе.

И Катя засобиралась, а дед Ертахан, наставляя её, повторял:– Ученье свет, а неученье тьма.

В городе Бертагай снял комнату на двоих на Жандармской улице у казачьего офицера Немчинова. Второй была Ира, племянница его ближайшего друга Хансахаева.

За время учебы накопилось много грязного белья и сегодня девчонки решили постирать его, но не в жесткой плохомылящей колодезной воде, а в мягкой воде из речки Ушаковки.

Они поставили большую деревянную кадку с деревянной крышкой на широкие санки и направились к речке.

В конце улицы стояла толпа ребятишек.

Увидев двух бурятских девочек, они оживились.

Сначала один из старших ударил по мерзлому конскому яблоку кривой загнутой палкой, стараясь попасть в девочек.

Это было как бы сигналом, все ребятишки плотным кольцом окружили Ирку и Катю и стали дразнить на разные голоса.

Первый пел:– Бурят, штаны горят,

Рубаха сохнет,

Бурят скоро сдохнет!

За ним второй:– Пароход идет,

Черный дым труба

Чо поешь хаба?– Хоробушка!

Третий, засунув голову в круг кричал:– Налим– рыба мелка,

По рублю тарелка!

Четвертый, положив одну ладонь на другую, изображал плавники налима и толкал эти ладони прямо в лицо девочкам.– Заслонка! – толкая их, кричал пятый

Наконец терпение крепкой Ирки лопнуло, она схватила первого попавшегося пацана, крутанула его через ногу, уронила на землю и закричала Кате:– Снимай с него штаны!

Девчонки оказались крепенькие, Катя легко стянула с пацана безременные штаны– Снегу, снегу в штаны побольше толкай! – кричала раскрасневшаяся Ирка.

Ребятишки отхлынули от девчонок, а пацан со сдернутыми штанами заплакал.

На реке подружки быстро наполнили кадущку, но Ирка не уходила, она ходила как разъяренный зверь, грудь её вздымалась и она духарилась, искала, с кем бы подраться.

Увидела на хлипком мосту надпись «Езда шагом» и тут же неприлично срифмовала ее, ей хотелось с кем-нибудь сцепиться.– С этими Хансахаевскими только свяжись. – думала Катя – себе дороже. Как говорится, – не буди лихо.

Глава 8.

Вечорка земляков.

Старшую дочь Зою Бертагай отправил в город учиться на фельдшера. В нем уже было немало детей обеспеченных бурят.

Зоя по возрасту крепко сдружилась с Татьяной, старшей сестрой Иры, с которой жила Катя.

Татьяну в городе опекал её дядя, предприниматель Хансахаев Михаил Николаевич, ближайший друг Бертагая.

По своим связям он устроил её в институт благородных девиц, расположенный в центре города на берегу Ангары в красивом здании с парадными подъездными пандусами, с красивыми внутри крестовыми кирпичными сводами перекрытий.

Через некоторое время на новый год бурятские студенты, чтобы поближе познакомиться и весело встретить праздник, решили устроить вечорку. Для этого в предместье Глазково сняли большую квартиру.

Девчонок, как всегда, пришло больше, ждали еще парней.

Наконец пришли Зангеев Петя из Баяндаевских бурят, Иванов Дмитрий из Боханских, который ухаживал за Зоей, и скоро должен был подойти русский военный курсант, будущий офицер Сокорский, который ухаживал за Татьяной.

Не сказать, что Татьяна была красавицей, но её открытый острый ум и решительность привлекали к ней внимание мужчин и на балу в институте благородных девиц она никогда не сидела в одиночестве.

Пока запоздавшие парни раздевались в прихожей, девушки в гостиной, усевшись в кружок, исполнили песню:– У кого душа широка?– У Зангеева Петюши.– У кого ухватом ноги?– У Зангеева Петюши.

Спели и хохотали.

– Мальчики! Мальчики! Народу много, надо вот этот большой стол в центр передвинуть. Петя помог бы!

Петя старался, но, поднимая тяжелый стол с уже расставленной посудой, сильно напрягся и вдруг неожиданно выпустил кишечный газ.– Извините, – смутившись, сказал Петя, – за нескромное выражение.

Девчонки в углу залиvisto захохотали, перешептываясь:– Ну и дурак же этот Петька! Лучше бы промолчал, или сделать вид, что не он, а то – «извините за нескромное выражение».

И хохотали.

Вскоре в гостиной появился Зоин кавалер Иванов Дмитрий с удлинненным чем-то похожим на лису породистым лицом, с умными узкими глазами и прической «ёжик».

В городе он учился на юриста.

Последним пришел курсант Сокорский, объяснив опоздание дальностью военных казарм.

Он был одет в светлую парадную форму из добротной ткани, и в своем нарядном светлом кителе, вихрем кружась в танце с Татьяной, затмил всех остальных танцоров.

В конце вечорки Дмитрий пошел провожать Зою до её съемной квартиры за мостом. В городе вечером ходить было опасно – там орудовали кошовчники – грабители на кошовках. Грабили обычно вдвоём, один разгонял лошадей, второй – захватывал арканом запоздавших прохожих, затаскивал их в кошовку, снимал всё ценное с жертвы и в подходящем месте её выбрасывал. В последнее время кошовчники промышляли на окраинах, в центре же города патрулировали чехи.– Здесь спокойнее, здесь чехи, – заметил Дмитрий.– Эти чехи уже надоели, – ответила Зоя, – такие высокомерные. Вчера около магазина на площади очень большая толпа собралась, чехи приехали разгонять народ.

Их офицер, такой красавчик с усиками, лошадь в толпе на дыбы поднял; велел ей разойтись:– Я чешский офицер, могу вас ра-а-а-а-с-стре-лять, могу и по-и-и-ловать!– Довольно про них, послушай Зоя, как хрустит снег, похоже, будто кто-то морковку свежую жуёт.

Из-за тучи вышла луна, заливая все своим сказочным серебряным светом, дома, большие деревья в куржаке, высокие сугробы отбрасывали глубокие ночные тени.

Николай остановился около глухих ворот с криволинейным перекладинами у большого высокого дома, где Зоя снимала комнату, привлек её к себе и впился губами в её большие сладкие губы, которые на людях она всегда поджимала.

Глава 9. Последняя поездка Бертагая за Байкал.

Еще до ухода в город Бертагая женили обменом «два на два». Так поступали в бедных семьях, когда нечем было платить калым и проводить свадьбу с большими расходами, Бертагай получил в жены Анну из семьи Васловых, а сын из рода Васловых получил в жены сестру Бертагая.

Женившись, Бертагай через некоторое время ушел в город на заработки, чтобы уйти от полунищего существования, оставив ждать молодую жену.

В городе жизнь Бертагая сложилась удачно. Спустя некоторое время, он стал торговать и поставлять мясо в город, стал получать прибыль от предпринимательской деятельности, получил солидный доход и на вырученные деньги построил в деревне большой дом.

После переворота 1917 года заниматься его бизнесом с перегонном скота через Байкал становилось всё опаснее. Бертагай видел, что с каждым годом число людей с винтовками в тайге увеличивалось, иногда он их видел в лесу, стоящими вдоль дороги, они как бы оценивали обстановку, но нападать на погонщиков большого стада не решались – куда потом девать это мясо – торговать лихие люди не умели.

Но у Бертагая была уже большая семья, и через два года после Октябрьского переворота его деньги стали заканчиваться, и он решил еще раз рискнуть и перегнать большое стадо из-за Байкала.

Он уже предварительно договорился с поставщиком с Баргузинской долины, оговорил дату, число скота и сумму за него, побрызгал дома сам на удачу и уже одетый к поездке выходил из дома, как путь ему преградил соседский шаман Буентай.

Он был выпивши, но встав на крыльце на пути Бертагая, сказал:– Не езди! Духи говорят – не езди!

Но Бертагая уже ждали за Байкалом, задаток уже был вручен поставщикам, а за воротами с лошадьями его ждал помощник Хак с многозарядным винчестером и бельгийским ружьем.– Пусти, – сказал Бертагай и легонько оттолкнул Буентай, подвыпивший шаман не удержался и упал с крыльца.

На ночевку в Баяндай Бертагай приехал с неприятным чувством, инцидент со служителем духов и какие-то еще неприятные предчувствия томили его.

Знакомый хозяин постоялого двора встретил его приветливо, расспросил о житье-бытье и в конце спросил:

– Уж не за Байкал ли Вы собрались, Бертагай Ертаханович?

И Бертагай автоматически кивнул.

И теперь, сидя за обеденным столом, он сожалел, что кивнул, и его сожаление усилилось, когда в зал вошел местный, отдаленно знакомый ему латыш Лукунда, о чем-то пошептался с хозяином и ушел.

Ночью Бертагай спал плохо, проснулся рано и заказал завтрак.– Что это Вы так рано поднялись, Бертагай Ертаханович? – спросил хозяин.

– Да что-то не спится.

– Видно, вчера устали, да всё будет хорошо! – участливо сказал хозяин.

– Да что-то предчувствия у меня нехорошие, – неожиданно для себя, видимо от сочувствия хозяина, разоткровенничался Бертагай.

Стоял густой рассветный туман, когда Бертагай с Хаком сели в кошовку, винчестер и бельгийское ружье лежали в ногах под медвежьей шкурой, а наган находился в левом внутреннем нагрудном кармане.

Под звон колокольчиков проехали деревню Кокорино, польскую Тургеневку и подъехали к деревне Косая степь. За Косой степью начинался длинный крутой подъем в гору.

Утренняя мгла уже начинала рассеиваться, силуэты берез и лиственниц становились все отчетливее, и человек, стоявший на вершине горы между двумя березами, отведя заиндеветый бинокль в сторону сказал: – Кажется они. Приготовьтесь!

Люди, сидевшие в невидимой с дороги на горе ложбине, встали от прогорающего костра и пошли прятаться за деревья.

Тройка лошадей шла ходко, седок и возница, одетые в волчьи шубы внимательно всматривались в вершину подъема, откуда несло запахом костра.

На самом крутом месте, где кони невольно замедляют бег, они вдруг услышали человеческий крик, что-то вроде «пли», затем ударил залп из нескольких винтовок, слева из-за деревьев взметнулись огненные молнии выстрелов.

Раненые кони, заваливаясь рванули вправо, кошовка опрокинулась, Бертагай вылетел в сугроб, держа винтовку в руке, и успел передернуть затвор, но прицельная пуля из леса попала ему в грудь. Хак Дабеевич лежал уже недвижимый.

Люди с винтовкой добились лошадей и Бертагая, а затем тщательно обыскали трупы.

Они нашли много золотых монет и бумажных денег в нерпичьей подушке Бертагая, забрали винчестер и ружье, лошадиные туши оттащили на костровище, сверху набросили кошовку, набросали ветвей и срубленных елочек и подожгли.

Через недели полторы Анна обратилась в милицию – муж уехал за скотом в Баргузинскую долину и не вернулся.

В это же время Анне передали буряты, что под Косой степью видели крупы замерзших лошадей пегой масти, в которых они опознали лошадей Бертагая.

Дело медленно закрутилось, следователь вызвал Анну на опознание двух сгоревших трупов возле Косой степи. Опознать мужа по скелету было невозможно, но Анна опознала его по кусочку несгоревших оранжевых трупов, которые она сама подарила Бертагаю, и по найденным в снегу очкам в изящной оправе.

На этом расследование закончилось, кто из винтовок убил Бертагая и Хака, осталось невыясненным, новые дерзкие нападения с убийствами завладели вниманием милиции.

Приехавшая домой вся в слезах, Анна не знала, что делать. Из семьи ушел единственный мужчина, отец, кормилец и голова, и как дальше жить ей и её четверем дочерям, было совсем неясно.

Она была неграмотная, хозяйство было большое, Зоя и Катя учились в городе, а Зина и Наташа были еще маленькие.

Анна запрягла в сани молодую резвую лошадь, посадила в сани приехавшую из города Катю и отправила её в соседний улус в Шотхой к другу Бертагаю Михаилу Ханхасаеву.

Из-за прилетевшей смерти отца из лесной засады, Катя боялась леса, каждого куста и дерева и быстро гнала лошадь.

Михаил Николаевич встретил Катю с большим вниманием и сочувствием к горю.

Он внимательно выслушал до конца все подробности расследования и посоветовал, куда и кому написать, чтобы дело было расследовано до конца и убийцы были найдены, сказал, чтобы Анна не падала духом и что он всегда поможет семье друга всем, чем может.

В конце добавил, – самое главное сейчас, чтобы дети не бросали учебу в городе.

В конце встречи Михаил Николаевич напоил, накормил и, главное, несколько успокоил Катю, глаза которой постоянно были на мокром месте, проводил её до околицы, обнял и наказал:

«Сейчас ехать через лес опасно, в лесу много людей с винтовками. Возьми этот длинный прут и гони лошадь всюю и не останавливайся ни в коем случае. Гони её, не переставая, до самого дома».

Глава 10.

Белье лебеди на Сур-Харбане.

В Бертагаевой семье Сур-Харбан почитался особо, ведь сам хозяин Бертагай успешно выступал на нем и выигрывал призы.

И теперь после его смерти буряты в застольях за тарасуном часто и в подробностях вспоминали, как он удивительно вырос в классного борца из полуголодной семьи Ертахана.

История – был ли он родным сыном Ертахана, была запутанной, – рыжий, голубоглазый, белолицый, он даже внешне отличался от своих смуглокожих братьев и сестер, а от славян тем, что глаза и нос его были монгольскими, видимо, от великих диньлиней.

Нос его не понравился его дяде и однажды он сказал Бертагаю:– Красивый ты парнишка растешь, только нос у тебя маленький!

С этими словами он схватил мальчика, крепко зажал его ногами и двумя согнутыми пальцами рук сильно и больно стал тянуть нос Бертагаю.

Тот кричал от боли и вырывался, но дядя неумолимо тянул нос как стальными клещами.

Нос воспалился и вспух, месяца два не заживал, но, как ни странно, действительно стал расти и в зрелом возрасте Бертагай предстал в городском свете с аккуратным и красивым носом.

Качественное мясо от его мясного бизнеса позволило Бертагаю нагулять сильное тело, быстрая реакция и смекалка позволили ему успешно выступать на Сур-Харбанах.

Зина и Наташа были еще маленькими, но Зоя и Катя хорошо помнили его яркое выступление лет за пять до его гибели.

Бертагай был в расцвете лет, уже немолодой, но еще и не старый, как говорится, в самом соку. В финале он боролся с молодым темнокожим борцом из Осы.

Молодой постоянно наступал, пытаясь поймать Бертагаю за ногу – основной прием бурятской борьбы – но опытный Бертагай увертывался. Наконец, молодой, потеряв осторожность, бросился вперед, пролетел мимо Бертагаю и тот в последний момент успел зацепить его, пролетавшего, за стопу, потом за колено и поднял противника вверх.

Бертагай выиграл приз в виде длинного трехметрового кушака из тонкой и прочной нити с оранжевыми и серыми полосами.

Прошло лет 8 после убийства Бертагаю, младшие дочери уже выросли из девочек в девушек и сегодня все четверо решили поехать на Сур-Харбан. Приехали они чуть позже, когда основные борцовские схватки только разгорались.

Ангархаев Паша сидел в первом ряду у борцовского сектора, как вдруг по полю пронесся восхищенный шепот – Бертагаевы басаһыт ере! (Бертагаевы дочери приехали!)

Не заметить их на фоне пестрой и серой толпы было невозможно, появление четырех сестер на белых лошадях и в белых платьях вызвало вздох восхищения:– Точно белые лебеди плывут Бертагаевы дочери! – Ямыр хяхын басаһын! (Как красивы дочери Бертагаю!)

Павел Ангархаев поднялся и с бьющимся от волнения сердцем направился туда, где привязывали лошадей Бертагаевы дочери, и уставился неотступным взглядом на Катю, которая была для него всех румяней и белее.

Все в ней его восхищало – и её выющиеся блестящие волосы, и её редкий белый конь – иноходец. На обычной лошади человек подсакивает вместе с лошадьё, а на иноходце – 2 левые и 2 правые ноги двигаются параллельно и человек как бы плывет по воздуху, и её отец до своей гибели, зная, что любимая дочка лучше всех ездит на лошадях, подарил именно ей жеребеночка – иноходца.

Павел смотрел на Катю, не зная, что сказать, но с этого Сур-Харбана поселилась у него в груди какая-то сладкая неотступная боль.

Глава 11.**Писать красиво не умею...**

После того, как Павел увидел белых Бертагаевских дочерей, он уже не мог успокоиться и стал искать встречи с Катей.

Быстро промелькнуло лето, наступило время учебы, Павел учился на бухгалтера, искал встречи с Катей, но пути их в городе никак не пересекались.

Наконец, через своего друга-сокурсника Кешу он случайно узнал, что Катя проживает в одной комнате с Ирой Хансахаевой, однолусницей Кеша, и угворил его сходить вместе в гости к девочкам.

Но в гостях, проговорив обычные новости, парни быстро выдохлись и не знали, о чем говорить дальше.

В затянувшейся паузе Ира предложила модное в то время развлечение – читать стихи или написать их в альбом – почти все девушки были вооружены такими альбомами.

Стихи – это было как-то не по теме ученикам бухгалтерских курсов, пришлось срочно припоминать полузабытые из школьной программы.

Кеша прочитал про Наполеона, про то, как «шумел, гудел пожар московский», и как он стоял объятый дымом с какой-то «думой на челе».

Кеша закончил, ждал одобрения, но аплодисменты почему-то задерживались.

– Знаете ли, – со светской улыбкой сказал Ира, – все-таки почти 100 лет прошло после того пожара. А не знаете ли Вы чего-нибудь посовременнее, чего-нибудь такого лирического?

– Это как? – уточнил Кеша.

– Ну, допустим, так:

– Я помню чудное мгновенье,

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное ви-и-и-день-е-е- –

пропела Ира концовку:

– Ка-а-к ге-е-е-ни-и-й чии-стой кра-а-а-со-ты!

Таких стихов еще или вообще на бухгалтерских курсах не проходили.

Кеша отчаянно шарил в голове какое-нибудь стихотворение, но там во всех уголках прочно сидели сальдо с бульдами и дебет с кредитом. Наконец в самом дальнем углу он обнаружил давно полузабытое стихотворение и прочитал его:

– Хотя бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать

Но ближе к милому пределу

Мне бы хотелось почивать!

Аплодисменты опять задерживались.

– А нет ли у Вас чего-нибудь менее замогильного? – ехидно спросила Ирка, – сразу бы начинали с заупокойной.

Кеша молчал.

– А что у Вас есть? – вдруг неожиданно спросила Катя Павла.

От такого внимания Пашу бросило в жар, он судорожно искал в голове стихотворение, но там сидели тоже одни сальдо с быльдами. Наконец, он вспомнил из начальной школы стихотворение Доржи Банзарова:

Помню маленьким мальчишкой
По улусам пробегал,
Без штанов и без рубашки
С хуригашками играл!
(хуригашка – барашек)

Паша ждал одобрения.

– Не знаю как Вам, – а мне понравилось! – решительно сказал Катя.

От похвалы и смущения уши и щеки Пала покраснели как маков цвет.

Паша не мог понять, что понравилось Кате – стихотворение или исполнитель, но эта благосклонность позволяла ему развивать наступление дальше.

Он купил новый костюм из добротной фактурной ткани, похожий на френч, с красивыми клапанами на накладных карманах и поясом, надел галстук с булавкой на белоснежную рубашку, пошел в лучшее ателье города и откуда вскоре получил свой фотопортрет в красивой серой рамке с белыми вензелями.

Оставалось дело за малым – подписать как положено его в стихотворной форме. И тут он измучился, вытаскивая поэтические мысли из разных сборников эпохи декаданса:

– В толпе мы встретились случайно

В толпе с тобою разошлись...

Паше это не очень нравилось – какая толпа, когда там с Катей рядом одна Ира? Наконец, он нашел подходящее стихотворение, слегка переделал его и под Новый год послал Кате свой портрет во френче с надписью на тыльной стороне фотографии:

Писать красиво не умею,

Альбом украсить не могу

И Вам сказать сейчас не смею

О том, как сильно Вас

Далее следовало многозначительное многоточие скромного ученика бухгалтерской школы.

Глава 12.

Хансахаев и Эльвина.

Ярким, искрящим снегом зимним утром молодая девушка Эльвина, одетая в ладно сшитый девичий полушубок с высокой талией и длинными полами, в нарядном, украшенном цветами, белом платке, с длинными кистями, шла в лавку за продуктами, а заодно она хотела зайти на почту узнать новости.

Лавка располагалась на другом конце ее небольшой деревни, расположенной близко к тракту на берегу небольшого Хординского озера. Озеро было небольшим, но глубокое, говорили, что оно сообщается с Байкалом подземным ходом, теленка, утонувшего в озере, будто бы находили на Байкале.

Разумянившаяся на морозе, она спокойно шла по улице, и тут увидела как с постоянного двора Ленских присков быстро вылетела кошовка в сопровождении верховой охраны.

Отдохнувшие за ночь кони легко несли кошовку с возницей и человеком в ней. Они миновали почти половину села, когда из-за длинного забора выскочила свора собак и злобно набросилась на бегущих лошадей. От неожиданности кони отпрянули всторону, из-под полозьев веером брызнул снег, кошовку круго занесло по кривой.

Конная стража бросилась разгонять собак, а Эльвине показалось, что из кошовки выпал какой-то сверток, она закричала, но ее никто не услышал, сани уже неслись к тракту.

Эльвина подошла к месту, где что-то, как ей показалось, упало.

Она наклонилась и подняла брезентовый зеленоватый мешочек.

Эльвина заглянула в него и ахнула: внутри лежало неочищенное природное золото.

Она остановилась в раздумьях – Что делать с найденным казенным государственным имуществом? Не сказать? А если схватятся и вернуться? Скажут – вот тут напали на нас собаки, а ты вот в белом платке как раз и проходила мимо, стража большая, все детально вспомнят. А на этот собачий шум и наши деревенские через окна тоже, наверно, обратили внимание, и они подтвердят – это она была на дороге.

И посадят. У них, казенных, это быстро получается.

Жила себе спокойно без этого золота и дальше поживу. И спросить некого – опасно. А не посоветоваться ли мне с Хансахаевым, он на почте служит, считай, на государственной казенной службе, он наверняка знает, что делать в таком случае.

И она решила зайти к нему, он одногодок и с ней в приятельских отношениях и все что-то там читает, рассматривает.

А у Хансахаева работа не пыльная, корреспонденции для жителей мало, зато по новой сельхозтехнике, новому ведению сельского хозяйства её море. И вся эта информация ему интересна. Уж сколько хороших товаров, молотилок, жнеек, сепараторов, сколько племенного скота с невиданной здесь продуктивностью из Голландии и Бельгии, сколько классических бельгийских ружей закупил он сюда. Но все это в мечтах.

Без денег запустить все это в дело не получается.

Когда Эльвина пришла к Хансахаеву и спросила, что делать с найденным казенным имуществом, он внимательно её выслушал и сказал:– Не торопись! Надо вначале всегда хорошо подумать.

Глава 13.

Мада, внук и Хошкин.

У Хошкина под рукой скопилось много любителей грабить... Говорят, что в начале Хошкин даже не хотел грабить, вёл даже какие-то разговоры о крестьянской республике, но реальная жизнь повернула его к реальному делу – грабежу. Сейчас он не хотел обманывать ни себя, ни других никакими обещаниями и расписками, что экспроприированное добро будет когда-то возмещено, он знал, что этого не будет никогда.

Стоявшая с края на отшибе улуса Водыр богатая усадьба Ангархаевых представляла для него лакомый кусок, и нападение на усадьбу Хошкин, как бывший военный, планировал загодя. Через посланного разведать в Водыр бурята Хамнушкина, он узнал, что все мужчины Ангархаевы на субботу и воскресенье уедут в Харзагай на выборы Степной думы, и в доме останутся только старая бабка Мада и ее внук Павел.

В субботу хошкинцы нагрянули на усадьбу с разных сторон, огромные псы подняли лай, но их всех быстро перестреляли через щели в заборе.

Оставалось проникнуть во двор и открыть перекладину ворот, и вот уже первые шапки показали над забором, и выше всех белая баранья шапка налётчика, который подъехал к забору на лошади. Он уже собрался прыгнуть во двор, как жужжащая пуля из винчестера пробила его шапку, и он в страхе скатился за забор.

Хошкинцы пытались проникнуть в усадьбу с других сторон, но оказалось, что со второго этажа отлично простреливается почти вся усадьба, а жужжащие пули из винчестера быстро переплетались с хлопками выстрелов из хорошего бельгийского ружья.

Осложняло хошкинцам захват и то, что стрелявшего не было видно за приоткрытыми ставками окон из цветного венецианского стекла.

Штурмовать дом через окна – так ведь лучшей мишени, чем человек в проеме окна, представить трудно, да и не привыкли грабители к штурму, это тебе не военный объект, там погибших Родина похоронит, а здесь кто?

Никто из грабителей своей жизнью рисковать не хотел – не то ремесло, чтоб огневую точку штурмовать, нападение срывалось, Мада стреляла метко и точно.

И тут к Хошкину подошел Хамнушкин и сказал, что на краю улуса сидит ячейка самообороны с ружьями и среди них находится внук старухи Мады Павел.

Ячейка самообороны села из трёх человек, созданная для противодействия грабёжам, сидела в доме Шалботкина, слышала выстрелы, но на помощь не пришла – уж слишком много было вооружённых грабителей.

Хошкинцы забрали у самооборонцев Павла и привели его к усадьбе. Стоя под прикрытием бревен ворот, Хошкин прокричал:

– Слушай сюда, старуха! Если через пять минут ты не откроешь ворота – мы твоего внука уберем.

Мада хорошо знала, что насчёт убить у Хошкина рука не дрогнет, насчёт убить он зря пустых слов на ветер не бросает.

Через пять минут, ругаясь и плача, Мада открыла ворота.

К концу дня хошкинцы вывезли 23 подводы добра.

Глава 14

Свадьба Хансахаева и Эльвины.

На свадьбу приехало много народу с обеих сторон. Со стороны Михаила – родня с ближайших улусов, со стороны Эльвины – родственники с ближайших деревень, одна пара из города и большая «шемя дяди Шемена с Леншских пришков».

Все шло как положено, молодых поздравили и вручили подарки с той и с другой стороны по очереди, и выпивали каждый раз за счастье молодых, за будущих детей. Вскоре все насытились, и в невестинной стороне кто-то негромко запел

– Выйду на улицу, пойду за сяло,

Девки гуляют и мне весело!

Тут тамада, Эльвинин родственник, хорошо говоривший по-бурятски, светловолосый, кудрявый в красной косоворотке, спохватился:

– Дорогие гости, я думаю, что сейчас наступило время попеть песни, иначе какая свадьба без песен! Сначала пусть каждый из Вас кто хочет споёт свою любимую песню или частушку, а в конце мы споем хором все вместе. Пусть начнут наши гости из города!

Городские поначалу отнекивались, потом, поломавшись, спели песню про иркутскую Серберьянку, которая красива – «Серберьяночка на ять». Заканчивалась песня куплетом:

– Угол Ланинской-Большой

Серберьянку бьют лапшой!

Песня деревенским не понравилась – Большую улицу в Иркутске они ещё не знали, а Ланинскую совсем мало.

Зажег всех Эльвинин родственник с Догутуя, он махнул рукой сидевшей напротив знакомой:

– Дорогая, ты куда?

– Дорогой, я по воду!

– Дорога, не застудись

По такому холоду!

Вслед за ним сидевший рядом мужик, выйдя из-за стола и разведя руки, крутанулся перед рядом сидевшей женщиной:

– Эх, милка моя,

Ты уважь-ка меня!

На тебе кушак широкий

Опояшь-ка меня!

Далее задвигались стулья в конце стола, молодой мужик протискивался в свободное пространство избы:

– Раздайся, народ
 Меня пляска берет!

и, подперев одну руку вбок, а другую вверх, ударился впрысядку.

Захотели на Эльвиной стороне петь и другие, но тут поднялся на жениховой стороне Буентай Содномович и запел:

«Ундер, ундер, гэлдэкше
 Орын дайда унат угэ
 Уһа сэмбер гэлдэкше
 Орын дайда унат угэ!
 (Высоко, высоко говорят,
 А люди с нашей деревни говорят не хуже
 Очень красиво говорят
 А люди с нашей деревни говорят не хуже!)

– Что и нам прикажете по-бурятски петь? – удивился тут Верховзин, бывший Эльвинин ухажер, а ныне друг детства, а потом возмутился:

– Этого еще не хватало!

Тогда поднялась с жениховой стороны полная Бутухан Шогжоновна и спела Верховзину:

– Овесом тологой
 Оттолжи не стоит
 Онэр танара
 Оттолжи не стоит
 (У овса головку
 Срезать не стоит,
 С Вами беседовать
 Разговаривать не стоит!)

Спыхватился тут светлокудрый тамада и, чтобы обстановку смягчить, спел на полурусском, полубурятском:

– Папирос харманда
 Поодруг хажуда
 Ханан яхоб ханужан
 Зурхэн яхоб ханужандо ясь
 (Папиросы в кармане,
 Подруга рядом,
 Куда мне пойти
 Сердце подскажет.)

А тамада уже нашел для всех выход:

– Давайте споем песни, знакомые и русским и бурятам, которые мы с удовольствием споем, когда по случаю собираемся вместе после уборочных работ!

И махнул рукой гармонисту, тот на басах рванул меха:

– Когда б имел золотые г-о-о-р-ы
 И реки полные в-и-и-н-а

Все отдал бы за ласки, взо-о-оры,
Лишь ты б владела мной од-н-а-а,
Все отдал бы за ласки, взо-о-оры,
Лишь ты б владела мной од-н-а-а,

Пели дружно, всем понравилось.

Опять тамада пальчик поднял и махнул гармонисту, и все запели знакомую русским и бурятам песню:

– Ой, полным полна моя коробушка,
Плеч не режет ремешок...
Пожалей, душа зазнобушка,
Молодецкой плеча!

....

Вот и встала ночь туманная,
Ждёт удалый молодец!
Чу! Идет пришла желанная,
Продает товар купец.

.....

Цены сам платил немалые,
Не торгуйся, не скупись,
Подставляй-ка губки алые
Ближе к молодцу садись!

.....

И закончили звонко, мощно и дружно:

Знает только ночь туманная
Как поладили они
Распря-я-мись ты ро-о-жь вы-со-о-о-о-о-о-кая,
Тайну свя-я-то сохра-а-ни!

И выложились в песне до дрожи:

– Тайну свято сохрани!

Все – довольные дружным пением, смеялись, хохотали и шлепали друг друга по спине и плечам.

После этих любимых песен петь захотели «ленские прищкатели».

И хотя говорить правильно по-русски они не умели, зато матерились отменно.

Сначала они больше молчали, стеснялись, но сейчас, приняв на грудь, разговорились и привычный как воздух матерок загулял по «ленским» берегам. Их песенный репертуар состоял из неприличных «озорных» песен, поэтому приличную доверили спеть Шеменовой невестке из сирот, которая исполнила ее высоким голосом на жалость:

– Девочка голодная,
Похлебочка холодная,
А была бы мать родная
Щей б горячих налила!

Шемену такой репертуар не понравился, он вышел из-за стола, разухабисто двигая плечами, забрал у гармониста инструмент, широко растянул меха:

– Эх тешша – блядешша
Блинишши пекла,
Уронила сковородишшу
Передник шожгла!

И подмигивал всем мутным веселым глазом, Эльвинина мать, сестра Шемена, зная его выходки, пригрозила ему пальчиком:

– Знаем мы этот Ваш «передник»! Одичали вы там, бедные, совсем в тайге. Переезжал бы ты, Семен, со всей семьей сюда жить, земли у нас много. Что? Не хотите! Ну тогда видно судьба у вас, несчастных, такая!

Замечание про несчастную судьбу задело Шемена, он растянул меха и пропел в ответ:

«Дершишь ша шишь, как жа ужду,
И не стони, не плакай
А пошылайка вшех...
А пошылайка...

– Да перестаньте, дядя Семен! – возмутилась невеста, – Да как не стыдно-то? Как не стыдно-то? Перед людьми за Вас стыдно!

Но дядя Семен не унимался:

– Чем это мы несчастные-то??

Это его сильно задело и понесло.

Он дугой выгнул шею, отвернув бороду в сторону, крутой дугой изогнул гармошку и пропел причмокивая:

– Эх милка моя!
Шавалилка моя!
Да расшаперилась
Шаринка твоя!

Свадьба явно вышла из берегов приличия и теперь, по порядку народной свадьбы, должна была начаться драка. А то:

– Молодых поздравили?

– Поздравили

– Подарки вручили?

– Вручили.

– Песни попели?

– Попели.

А теперь стало выползать спрятанное глубоко в мужиках ретивое. Удаль молодецкая – эх дать бы кому-нибудь по соплям, – кровь брызнет!

Тут-то и появился около Михаила с братом Николаем Верхозин, бывший Эльвинин ухажер, а ныне друг детства.

Он сел напротив, руки его чесались и он спрятал их под скатерть. – А у Вас у бурят такие песни есть, ну как у Семена? – спросил он Леонтия, брата Михаила.

– Ну, не совсем такие, похожие, – пояснил Леонтий.

– Ну-ка, ну-ка, спой-ка.

Леонтий пропел, закончив куплетом:

«Худугуй ундын холохольчик,
Худэ ундын яболхо-хомпетка»

– Ну-ка, ну-ка переведи!

– У свата в штанах колокольчик,

У сватьи в штанах яблоки, конфеты.

Верхозин глубокомысленно молчал, затем принял еще на грудь и, зажевывая капусткой, заключил:

– Не! Не то! Не можете!– Не можете, – повторил громко Верхозин, потирая под скатертью руку об руку.– Вот ты, обратился он вдруг к жениху, – Вот ты такой толстый, вот что ты можешь?

– Могу и меж глаз дать, – тихо и равнодушно, не акцентируя внимания окружающих, ответил Михаил, и для большей убедительности, не торопясь, выложил свой кулак на стол.

Размер тугого кулака, как бы налитого свинчаткой, произвел впечатление на Верхозина и ввел его в некоторую задумчивость, но, как это бывает у пьяных, ненадолго.

– Ну это конечно, – согласился он, – у тебя вес другой. Ну, а че ты еще можешь?

– Обьесть тебя смогу!

– Это как?

Брат Михаила объяснил, как проводится состязание по поеданию барана.

– Ну это конечно, у тебя живот вон какой! – согласился опять Верхозин. Посидев в задумчивости некоторое время, – ну а че ты еще можешь? – прикопался он опять.

– Ну тогда пошли во двор, посмотрим там, кто что может. Михаил оставил пиджак на спинке стула и в белой жениховой рубашке вышел во двор. (Бить малорослого гостя даже на народной свадьбе жениху было не положено)

Там пошли на скотный двор, Хансахаев велел вывести большого высокого коня, взял крепкий стульчик для дойки коров и сказал Верхозину:

– А покажи-ка счас, что можешь ты. Встань-ка вот сюда на стульчик и запрыгни на коня!

Верхозин на коня прыгнул, но его ноги не достали до спины и он упал под лошадь.

Хансахаев в белой расстегнутой рубашке попросил принести из дома веревки, попросил связать ими его руки сзади, потом низко пригнулся и прыгнул.

Тело его стальной пружиной взлетело вверх, конь дернулся и остановился, удерживаемый могучими ногами седока.

Глава 15. Война в тайге.

Отряд генерала Щукина численностью около четырёх тысяч человек пробирался на Восток.

Это был остаток белой армии командарма Апеля.

Позади остались тяжелые поражения под Минусинском и Ачинском, Пятая Красная Армия под руководством профессиональных военных умело использовала бронепоезда, превосходство в численности и в вооружении.

Командование отрядом Щукин получил неожиданно – командующий остатками белой армии генерал Апель в жестокий холод в затяжном бою где-то между Красноярском и Канском провалился с лошадьё под лед, отморозил ноги и у него началась гангрена.

Апеля положили в сани, укутали медвежьими и волчьими шубами, около него суегился полковой врач, пытаясь на привалах горячей водой, спиртом и теплом костра отогреть и спасти замерзшие конечности командарма, но сделать ничего не мог – гангрена стремительно развивалась.

Апелю нужны были тепло, больничный покой, операционная, а вместо этого стоял сорокапятиградусный мороз, а сзади наседали красные, у которых было достаточно сил и боеприпасов.

В районе Нижнеудинска Щукин устроил военных совет – решали, как пробиться на Восток в Забайкалье, к атаману Семенову и, в крайнем случае, в Китай.

Железную дорогу от Нижнеудинска до Байкала контролировали растянувшиеся по ней чехи, а в районе Иркутска и Черемхово отряды рабочих Советов, командование которых пригрозило чехам взорвать байкальские туннели, если чехи пропустят остатки белой армии по железной дороге.

Для чехов эвакуация своих войск была первостепенной жизненной задачей, взрыв байкальских туннелей парализовал бы всю эвакуацию их войск, и они выдали чуть позже Советам адмирала Колчака.

Щукинцам стало ясно, что прорваться через двойной кордон из чехов и отрядов Иркутского политцентра дело нереальное, и они решили, не доходя до Иркутска, обойти его стороной, по таежным тропам и просекам выйти через крупное село Ванзурку к Онгуренам, и оттуда по льду перейти Байкал.

Другого выхода не было, на Севере их ждали еще более жестокие морозы, безлюдье, тундра и бескормица, с Запада все сильнее наседали Красная армия.

Путь к Онгуренам знали только таежные проводники, на военных картах его нигде не было.

В Иркутске, опасаясь нападения, обеспокоились исчезновением отряда генерала Щукина, выслали разведку в сторону Нижнеудинска и она выяснила, что его отряд движется по тайге в сторону села Ванзурка.

В походе у Щукинцев через несколько дней умер от гангрены генерал Апель, воевавшие с ним соратники не захотели хоронить своего боевого

авторитетного командарма под таежной колдобиною и решили везти гроб с его телом дальше, чтобы похоронить его с почестями в более достойном месте.

В Иркутске взявший от Политцентра власть военно-революционный комитет решил уничтожить отряд Щукина под самой Ванзуркой, место для засады было идеальное – таежная тропа через узкую просеку круто спускалась к селу, расположенному в низине, а затем снова круто поднималась в гору по той же просеке.

Уничтожение щукинцев поручили командиру многотысячного партизанского отряда Андарашвили.

На совете в партизанском отряде он коротко доложил план разгрома щукинцев – лучшие стрелки-охотники становятся в засаде за деревьями на спуске вдоль просеки и выбивают действующих белых командиров, а лишенный командования отряд добивают основные партизанские силы, расположенные в низине.

Для полной гарантии успеха еще один небольшой засадный отряд будет выставлен за деревьями на подъеме тропы в гору на случай, если кто-нибудь из щукинцев сумеет прорваться.

В щукинском отряде также собрался военный совет.

Еще два дня назад высланная вперед разведка, доложила, что на просеке обнаружены следы трех лошадей без следов санных полозьев.

На следующий день разведка обнаружила новые следы – по конским яблокам и моче было видно, что здесь что-то выжидали и высматривали, по следам копыт определили, что лошадей было не менее полдюжины. Стало ясно, что это была разведка большого отряда.

На совете опытные командиры увидели, что идеальное место для уничтожения их отряда – это узкая просека на крутом спуске в село, и поняли, как будут расставлены силы засады.

Положение опять как под Нижнеудинском казалось безвыходным – другой дороги на Байкал не было – казалось – ложись и помирай, но щукинцы хотели жить и численному превосходству партизан они решили противопоставить опыт и мастерство в военном деле.

Бой начался, когда рассвело и стрелков за деревьями можно было хорошо различить, и начался он совсем не так, как виделся партизанам на их совете.

Стрелки-охотники, чтобы не перебить своих, располагались с одной стороны просеки, и именно на эту сторону и были нацелены с подвод двойные пулеметы, которые вели огонь такой плотности, что высунуться из-за дерева практически было невозможно.

Охотники, привыкшие стоя стрелять по мишени, совсем не привыкли к положению самим стать мишенью. Они не привыкли идти под пули, а для военных это было более-менее привычным делом, и если у какого-то дерева завязывалась перестрелка, то военные шли вперед на эту огневую точку, а среди охотников не нашлось на это охотников, они залегли и с позиции лежа уже не были меткими стрелками.

Ближе к обеду военный отряд Щукина стальным колючим ежом скатился по просеке в низину, где разгорелся бой с основными силами партизан.

Наступавших на отряд Щукина партизан остановил грамотный пулеметный огонь, обе стороны залегли. Щукинцы быстро выявили главные огневые точки партизан и подавили их, и тут в ходе боя у партизан выявилось отсутствие взаимопонимания между действиями отрядов с разных мест, неумение выбора выгодных позиций на поле боя, медленное и неадекватное выполнение команд и зачастую беспорядочные маневры.

Щукинцы поняли, что бой будет позиционным, затяжным и выслали свой наиболее опытный отряд освободить просеку на подъеме в гору.

Засадники на горе открыли огонь по выехавшему на просеку отряду, но они никак не ожидали, что их, спрятанных за деревьями, могут атаковать щукинцы.

Неожиданная атака военных ошеломила охотников, они дрогнули и скатились в низину.

Через освобожденную от партизан просеку отряд Щукина организованно отступил, увозя с собой гроб с телом командарма Апеля.

Глава 16. Мечь Жаргала.

После убийства Бертагая в Косой степи, Жаргал, брат Бертагая, летом следующего года поехал по делам в Байандай и остановился на постоялом дворе, где обычно останавливался Бертагай.

Вечером, придя на ужин, он увидел в зале играющих в карты. Играющих было четверо и Жаргал с любопытством стал смотреть за игрой – он уже многое в ней понимал. Бертагай, как профессионал, никогда всерьез не играл в карты с Жаргалом, а последнему так хотелось выиграть у профессионала.

Бертагай играл всегда непечатой колодой, а Жаргалу для дурачка дал использованную.

Жаргалу так хотелось обыграть Бертагая, что однажды он пометил иголкой эту колоду и пригласил Бертагая сыграть с ним по маленькой.

Опытный профессионал сразу заметил подвох, но оставил эту меченую колоду для игры в дурачка домашним и своему вознице Хаку, большому любителю этой игры. В дальнюю дорогу Хак обычно забирал колоду с собой, чтобы развлечься с любителями игры на ночлегах.

Вскоре один игрок ушел, и Жаргал попросился сыграть на ставку, но когда он получил в руки карты, то вздрогнул – его пальцы ощутили сделанные им самим метки.

Карты были хозяина постоялого двора. Значит, это карты, которые Хак с Бертагаем взяли с собой и хозяином их оказался хозяин постоялого двора.

– А как они попали к нему?

Жаргал поехал домой к братьям.

Вечером он с братьями вызвали хозяина на задний двор и там в дальнем углу в глухой стайке стали, закручивая веревку на голове, пытать его и

допытываться, где он взял Бертагаеву колоду. Вскоре хозяин сказал, что колоду эту месяца два назад дешево продал латыш Лукунда, приходивший за несколько часов до убийства Бертагая.

Жаргал с братьями поехали к Лукунде. Тот жил отдельно на хutore за Косой степью с больной матерью.

Жаргал с братьями завели Лукунду в дом, привязали его к стулу, накинули на голову выше ушей конскую веревку и стали закручивать её палкой, пытая его – с кем он убил Бертагая и куда девал его деньги и золото.

Лукунда упорно повторял: – я не убивал! – хотя голова его трещала по швам и вот-вот должна была лопнуть.

Его упорство у одного из братьев вызвало сомнение в его виновности.

Надо было обдумать, было время обеда, Жаргал с братьями устали и решили зайти на кухню перекусить и выпить.

Звон разбитого стекла прервал их трапезу. Лукунда как-то отвязался от стула, телом со связанными руками разбил стекло, добежал по знакомой тропинке в овраге до развилки тропы и скрылся.

Преследователи, добежав до развилки, остановились, в какую сторону бежать, было неясно, дальше начиналась тайга.

Раздосадованные братья вернулись назад и подожгли избу.

Позже командир партизанского отряда Лукунда хотел зайти в улус, где жила семья Бертагая, но на марше прошел мимо.

– Где тут Шатар-Шадай? – спросил он.

– Так мы его верст десять назад прошли.

Время было позднее, люди устали, возвращаться никто не хотел.

– Жалко! – произнес Лукунда, – жалко, что прошли, пустил бы я по ветру гнездо Бертагаево.

Глава 17.

Сватовство перед бурей.

После памятного Сур-Харбана и после того, как Павел подарил Кате свою фотографию с поэтическим признанием, он уже не мог больше думать ни о чем, как только о Кате.

Куда бы он ни пошел, что бы он не делал, о чем бы он не думал, в голове его возникала, как белое облачко в летний день, Катя.

Наконец он не выдержал, пошёл к отцу и сказал:– Езжай и сватай!

Отец Паши Аполлон вначале заворчал, что не время сейчас устраивать свадьбы, что в стране уже ходом идет раскулачивание, что некоторые здесь только ждут повода и команды, что гостей свадьбы, как чуждых, могут арестовать и посадить, что нельзя свадьбой обнаруживать свой недостаток, что нельзя привлекать внимание многих завистливых и следящих глаз.

Но поворочав для порядка, он понял, что эта компания по раскулачиванию может длиться не один год, и что сыну действительно пора уже жениться.

Он, собрал подарки для невесты и её матери и, чтобы не привлекать внимание, затолкал их в старый мешок, оделся попроще, запряг невидную лошадедку в старый ходок, а сзади к ходку привязал еще лошадь – белую и молодую, и отправился в Катин улус Шатар-Шадаи.

Встретившимся на выезде одноулусникам он объяснил, что молодая лошадь заболела и он повел ее к ветеринару в Харазаргай.

В момент приезда свата Кати дома не было, а когда она к вечеру вернулась с поля домой, сестра Наталья, встретив её на подходе к дому, сердито сказала:– Иди скорей, тебя ждут. Там тебя за коня продали!

Но Катя так не считала, Павел с его красивым с горбинкой носом, всегда чисто и со вкусом одетый, мягкий, никогда ни о ком не злословивший, ей нравился.

Подарки, которые привез сват ей, тоже понравились.

По тому «пошконному» времени, в котором они сейчас жили, их можно было назвать ценными.

На спинке высокого стула переливался цветами большой платок в рост человека с длинными кистями. Платок был выполнен в темно-зелено-фиолетовом колорите с мелкой проработкой деталей в виде то ли запытых, то ли изогнутых стручков. Особенностью платка была игра цвета за счет переплетения нитей ткани – при одном повороте к свету зеленый цвет становился тёмно-фиолетовым, при другом, наоборот, тёмно-фиолетовый становился зеленым.

На столе лежало 2 соболя и широкий бобровый воротник с искрой.

Мать Кати показала ей полученное от свата золото – 10 золотых монет с профилем Николая Второго и большую, с поперечник куриного яйца, серебряную монету с большой золотой вставкой в центре, на которой была изображена в профиль Екатерина Великая.

Под навесом стояла белая молодая лошадь.

Катину мать Анну подарки свата и получивший образование жених вполне устраивали, не дождавшись Кати она со сватом угощалась за столом и ждали её решения.

Катя не возражала.

Вскоре она появилась в доме Пашиного отца Аполлона. Молодым отвели светелку на втором этаже большого дома. Комната была светлая в три окна в одну сторону и в два окна в другую. По бурятским понятиям о красоте в комнате был покрашен только пол охрой на олифе из натурального растительного масла, стены и потолок были выполнены из хорошего неподсоченного дерева, промыты с песком и дышали свежестью. Кровать молодых располагалась за белой ширмой с криволинейным завершением в стиле модерн из мелких точеных на станке балясин.

Глава 18.**Хансахаев. Первый арест.**

Первый раз Хансахаева арестовали где-то в двадцатом.

Слишком видный был человек, высокий, солидный, шуба соболиная до ступней, а на отворотах широкий бобер с искрой, бабочку на белой рубашке носит.

Это раздражало многих и стали на него доносы писать.

Сначала ЧК на эти доносы внимания не обращало – ну живёт человек обычной обывательской жизнью, в политику сейчас не лезет, с новой властью не конфликтует, ну и пусть себе живет.

Но скоро доносов накопилось много – как бы комиссия с проверкой не заинтересовалась: – как работает и как реагирует Иркутское ЧК на письма трудящихся.

Но это были все-таки редкие доносы.

А настоящие доносы полились сначала ручейком, а потом широким потоком, когда Иркутские буряты начали самоопределяться в соответствии с правом наций на сомоопределение и на свое управление.

Определение границ земельных наделов русских крестьян поставил вопрос о границах расселения полукочевых бурят.

В 1901 году началось определение бурят в волостные управления, а в 1904 году комиссией Коломзина, существовавшие Степные думы были ликвидированы, однако после революций они вновь возродились в Забайкалье и при Керенском были переименованы в аймаки и хошуны, т.е. в управления наследственным князем или наследственным князем по старшинству. С приходом Советской власти в Забайкалье возникли 4 аймака, иркутские же буряты решили по их подобию создать свой аймак с ориентацией его на Восток, на Монголию.

И вот здесь-то именно в эти годы разгорелась нешуточная борьба за аймак и против с человеческими жертвами и арестами.

Часть бурят во главе с Хансахаевым выступила против аймаков. Его поддерживали предприниматели, которые участвовали своей сельхоз-продукцией на всемирных выставках и получали там медали и дипломы, а также часть народа, желающая приобщиться к достижениям технически более развитого Запада, к его железным дорогам, к электричеству, к образованию, медицине.

Ориентация на отстающую пастушескую Монголию представлялась им малопривлекательной, они хотели учить своих детей на инженеров, машинистов, электриков, а не на хувраков и лам, обученных в Тибете, хотели жить при развитой передовой инженерной инфраструктуре своего века, а аймачники хотели жить под управлением тайшей и шуленгов, но именно своих родичей.

Вскоре по обилию доносов арестовали Хансахаева и стали разбираться с ним по этим письмам. Допрос следователь начал издавека, и Хансахаев понял, что их будет много.– Вот тут пишут, что Вы каким-то обжорством занимались?

– Не обжорство это, а наш национальный обычай – кто больше барана съест.

Вопрос неопасный, можно и поподробней рассказать:

– Варят мясо крупного барана, ставят обом соревнующимся по 3-х литровой четверти с тарасуном, кто быстрее со своей половиной барана справится, тот и ставку от болельщиков выиграл.

Я вот в последний раз с большим трудом выиграл у Яргона Сапкальского. А он на фронте от бурятской казачьей части был – бурятам, если он казак, разрешалось служить – и узнал он там про азбуку Морзе – как лопатку или ребро барана съест, так большой палец вверх подымает и кричит:– Азбука Морзе – два пальца! – и хохочет.

– Довольно, довольно! – прерывает следователь. – У нас это обжорством называется.

– Так у Вас, извините, может и баранов столько нет, да и с водкой много не съешь, а с тарасуном можно.

– Достаточно! А чем Вы занимались до ноября 17 года?

Вот тут надо быть предельно осторожным, одно непродуманное слово – и можешь увеличить себе реальный срок. Надо побольше про новую технику говорить, эта новая власть любит постоянно о новой технике и ее прогрессе говорить. А о заслугах в той России не любит, так что по той России лучше проглотить язык и не высовываться:

– Вел дело по закупке передовой сельскохозяйственной техники в Иркутскую губернию. Я как в молодости прочитал, что бельгийская корова дает молока в 3 раза больше, чем наша, так заболел этой темой. Поначалу выписывал этих коров к нам в Сибирь, разводил бельгийских и сентименталок, но они к нашим кормам, уходу и холоду оказались неприспособлен-ными, но зато очень хорошо пошла торговля сепараторами, сенокосилками, жнейками, конными граблями, а также швейными машинками и бельгийскими ружьями. К новой технике я с молодости имел влечение.

– Пишут, Вы были депутатом Государственной думы царской России?

– Так получилось, народ решил, я особенно туда не рвался.

– Расскажите поподробнее, почему это Вас из глубины Сибири вдруг выбрали в Государственную Думу России, ну, по какой такой веской причине?

– Не знаю. Наверное, потому, что доставка передовой западной техники в Сибирь получилась успешной.

– Пишут, Вы были приняты царем?

– Так получилось.

– Пишут, Вы были начальником лазарета в Санкт-Петербурге?

Так получилось, меня назначил царь. Я не мог отказаться, меня бы за оскорбление отказом его офицеры бы застрелили.

– Пишут, Вы были председателем бурятско-калмыцкого комитета.

– Так получилось. У нас практически один язык, ну, видимо, калмыки тоже захотели приобщиться к передовой сельскохозяйственной технике.

– Тут пишут, что Вы проводили первый съезд западных и восточных бурят?

– Я подчинился обстоятельствам. Это было давно, я тогда был буддистом и ко мне обратился Его святейшество Хомбо-лама Эдилов, чтобы я помог ему собрать бурят с этой стороны Байкала, что я тогда и исполнил.

– На сегодня пока все! – следовательно дописывал протокол.

Вроде лишнего не сказал, надо и в дальнейших допросах больше подробностей о новой технике, она для новой власти не преступление.

– Распишитесь в протоколе.

Доносы на Хансахаева полились ручьем, а когда в аймаке появился русский Лукин со своими родственниками, узревший выгоды простого нахождения у аймачной власти, доносы превратились в поток – вся его родственная управа занялась их писанием.

Плюс допросов, в которых вроде бы ничего преступного против новой власти не обнаружили, его не выпустили.

Но тут месяца через два пришло два новых прошения.

Одно было написано женой Хансахаева на имя Председателя комиссии по Первомайской амнистии при особом отделе В.Ч.К., в котором она написала, что обвинение является результатом злобы некоего Лукина, который еще во времена Колчака хлопотал о высылке моего мужа из пределов Иркутской губернии, и который в своём доносе не смог привести ни одного факта его контрреволюционности. Далее она просила проявить отзывчивость к своей просьбе, а именно, муж подлежит освобождению, а дело его должно быть прекращено, и перечислила заслуги мужа в благотворительной деятельности, его участие в открытии русских и бурятских школ и лечебниц в деревнях и селах.

Второе прошение было написано влиятельным лицом NN от новой власти, латышом по национальности, в Чрезвычайную комиссию Иркутской губернии, в котором он просил освободить под свое поручительство Хансахаева, написал, что знает его лично за человека честного, полезного в сельскохозяйственной жизни своего края и никаких контрреволюционных замыслов не питающего.

Возводимые на него аймачниками обвинения в контрреволюционности считает сплошной клеветой, их желанием какими-то ни было средствами уничтожить одного из главных своих противников.

На прошение была наложена резолюция начальства, что знают товарища NN, как вполне порядочного человека, твердо стоящего на платформе Советской власти, и разрешают ему взять Хансахаева на поруки.

Третье ходатайство пришло от сельчан родного улуса, которые писали об открытии школы и фельдшерского пункта в их улусе, благодаря пожертвованиям Хансахаева.

Продержав еще месяца два, Хансахаева выпустили на поруки, взяв с него расписку, что он не будет заниматься политической деятельностью.

На радостях он «вольный сын бурятского народа», как он однажды назвал себя в письменном объяснении следователю, поехал в дальнее зимовье подальше от посторонних глаз, чтобы погулять, отъестся после тюремного полуголода, чтобы поправить здоровье.

Но оказалось, что от завистливых глаз не спрятаться, не скрыться – через месяц в ЧК прилетел новый донос, что враг трудового народа опять занимается обжорством.

Глава 19.

Доклад.

Начальнику информационного отдела 5-ой Армии

В Цотхойском улусе Дурэнской волости Иркутского уезда бурятский богач Михаил Николаевич Хансахаев организовал особого рода компанию, в которой принимает участие проживающий там же, 1 – бывший пристав Ащепков, 2 – бывший фабрикант Петров, 3-бывший начальник тюрьмы Беляев, 4 – председатель Дурэнского волревкома Тыкеев и 5- часто приезжает на автомобиле Путьлкин. Означенная компания набирает тарасуну и по целому быку мяса и отравляются на гуляние в лес, где приезжает еще много гостей для совместного пьянства и обжорства. Местного училища учитель тов.Новожилов организовал культурно-просветительский кружок и пригласил вышеназванных лиц принимать участие на собрании, но таковые отказались и население по примеру своего влиятельного руководителя Хансахаева, никто не стал принимать участия в Кульпросвете кружка и даже на собрание никто не пришел. Необходимо принять меры, ликвидировать организацию Хансахаева, как явно приносящую ущерб к народному образованию и тогда будет возможность в Цотхое организовать Кульпросвет, отдел и партийную ячейку сочувствующих: рабочих там довольно много, но они до сего времени находятся в руках своих кулаков Эксплуататоров.

Сотрудник (подпись) Абидуев

Глава 20.

Хансахаев. Последний арест.

На новый донос на Хансахаева ЧК пока особенного внимания не обращало. Опять обжорство, но такого преступления, как обжорство, в законе нет и статьи соответственно тоже.

– А что с ним делать?

– А не обращать пока внимания.

После короткого отдыха Хансахаев приехал в Иркутск. В стране все время не хватало денег и где-то через год во власти оформился новый лозунг, новое решение – забрать деньги и золото у классово чуждых элементов.

И в ЧК началась новая работа. Первой арестовали жену Хансахаева Елену Григорьевну Коростылеву. Через полтора месяца с большим синяком под глазом она привела с собой серьезных неулыбчивых людей и они выкопали все места, в которых она с Михаилом прятали деньги – и под кленом во дворе, и в углу сарая – на случай, если они кому-то из них двоих понадобятся.

И Хансахаев остался гол как сокол. Деньги за постоянный двор, за два дома в городе и от бизнеса выгребли все подчистую.

Были годы разрухи и голода, с питанием везде плохо, дома замолчавшая и морально подавленная жена и пустые сусеки, все уцелевшие деловые связи с Европой разрушены.

Ну где взять денег?

Но Хансахаев не был бы Хансахаевым, если бы не умел их делать из ничего.

Он делает неожиданный по ситуации предНЭПа и разрухи ход – нанимает беспризорных и голодных мальчишек словить ему диких сизых голубей.

И когда их набирается достаточное количество, везет их в Японию и там за этих птиц – 5 рублей пара, получает очень приличные деньги.

Получив деньги, он начинает осторожно налаживать связи с бельгийской фирмой Мак-Кормик, с которой ранее сотрудничал.

Небольшие, можно сказать, крохотные партии сепараторов для молока, швейных машинок для бурятских женщин, качественные бельгийские ружья с изящным ложем и цевьем, с матовыми травленными узорами для бурятских мужчин вновь становятся актуальными.

Но тут его вновь арестовывают. На этот раз нужны враги народа – классово чуждые элементы. На этот раз его обвиняют в организации заговора против Советской власти, обвиняют в призыве к восстанию против новой власти, заодно приписывая ему статус бурятского князя.

Г. Н. Ионин

Страшная сказка



СТРАШНАЯ СКАЗКА

Он прибежал ко мне сам. И мы полюбили друг друга. И такой любви и дружбы я сейчас не мог бы вообразить. А тогда мне казалось – это легко и просто. Нежданный подарок в первое лето после окончания войны. А я тогда только что перешел в пятый класс.

Надо бы рассказать все, как было. Но теперь мне, взрослому, больно даже подумать. Беды мои – расплата за то, как я тогда поступил. И теперь я хочу уйти от себя. И побыть им. Но тогда как мне его описать?

Нет, ничего не выйдет. А для меня окончание войны и этот котенок – одно переживание. И я пытаюсь это переживание вернуть. И может быть, кто-то из вас вытерпит и дослушает мой рассказ до конца. Я бы все хотел вернуть. Любую подробность первого послевоенного лета. Но котенок останется в самом начале и в самом конце.

Он прибежал неизвестно откуда. Иван Макарыч сказал, что он очень красив. Что у него хорошие крупные лапы. Редкие у беспородных тигровых кошек. А отец мой обратил внимание на то, что у него благородный коричневый нос. Мама заметила, что у него полосы по бокам идут вдоль, а не поперек.

Это все казалось мне какой-то сказкой. Но я сразу понял, что котенок пришел ко мне и уже никуда от меня теперь не уйдет.

Сорок пятый год. Было очень жаркое лето. Отец рано утром уходил на этуды. Я прежде не отлучался от него. Рисовал, придумывал что-то, писал в блокноте. Но теперь вместе с этим безмянным котенком жизнь моя стала совсем особой самостоятельной жизнью.

Он бегал за мной, как собачка. И не отставал, и шел куда угодно, совсем далеко, на самый берег озера Хепо-Ярви. Туда, где Иван Макарыч, папин друг, имел прекрасный участок и строил дачу.

Я поутру шел туда. И котенок бежал следом. Я прятался по дороге за стогом сена, и он меня находил. Потом вместе мы долго были на берегу. Я купался. И котенок ступал за мной в воду и плыл рядом со мной.

Можете верить, не верить. Но он точно, плавал рядом. Глазки, носик, ушки – наружу. Остальное в воде. И мы вместе выходили на берег. Он отряхивался. Он садился возле. Облизывал себя. И мы высохали. А я ему вслух говорил что-то свое. Потом, высохнув, котенок забирался ко мне на колени. И я укрывал его от слишком яркого солнца.

Помню – справа был раскидистый куст. Берег быстро подымался вверх. И я сейчас нашел бы эту горку, там песок, трава, где мы сидели. Она и теперь. Ждет. И я лег бы. И вдыхал ее запах. Трава. Песок.

В людях нет и не может быть простой ответной любви. Котенок – да. Он один. И я тихо, благоговейно присматривался. И невольно сравнивал себя и котенка. Думал и повторял: «Да, я сейчас такой. Но когда-нибудь. Неужели. Я не сумею и не смогу? Нет, не смогу».

И это я повторял себе шепотом. И у котенка ушко шевелилось. И он слушал и слышал. И спал. Доверчиво и спокойно. И я, содрогаясь, боялся тогда себя самого. И то, что я маленький, никак не утешало меня. И я вслух говорил:

– Вот этой минуте. Когда пригревает раннее солнце на берегу Хепо-Ярви, ты не будешь изменять. Понимаешь? И если что-то случится, ты вспомни. Каждое утро. Здесь. На горке. После купания.

И я больше ничего не мог сказать себе самому. И только знал, что никто в такую минуту не слышит меня. И никого нет. У меня за спиной. И котенок слышал и спал. А на самом деле. Иван Макарыч. Очень тихо. Готовясь купаться. Прислушивался ко мне. И покачивал головой.

– Правильно говоришь. Не изменяй никогда. Какое утро. Придется мне. Слегка нарушить. Котенок хороший. Но только ты его не купай. Вот он у тебя мокрый. Понимаешь? А он сам за тобой в воду. Никогда не пойдет. Не любят они. Их топят. Как щенков. И они почему-то знают. Я так думаю. Ну, сплаваю на середину.

И Иван Макарыч входил в озеро и уплывал далеко. А я, досадуя, что меня услышали, шепотом повторял моему другу те же слова о том, что я не изменю этой минуте. Я понимал. И тайна моя оставалась при мне.

Тайна жизни лежала передо мной кверху лапками. На моих коленях. Животик беленький. И никаких признаков, что это сибирский котенок. А я хотел, чтобы у меня был пушистый. Может быть, это японский. Они другие. У тех короткие хвосты. А у этого... Жаль.

Их топят. И все они знают о том. А мой ничего не знает. И таких больше нет. Надо было эти слова сказать в полный голос. Но я почему-то их даже не мог прошептать.

И когда Иван Макарыч выплыл, вышел, позагорал и поспешил по своим делам, я опять захотел искупаться. И думал, что котенок останется на берегу. А он снова пошел к воде. Я взял его, отнес на глубину, опустил. И он поплыл рядом со мной. Можете верить или не верить.

Нет, я уже не плыл. Я тихонько переставлял ноги в воде и шел к берегу. А он по самую мордочку был в этой воде, загребал в ней своими большими лапками и глядел на меня. Хвостик его рулил. Ушки оставались сухими. Вода в них не попадала.

Я не выдержал. Осторожно взял его двумя ладошками и вынес на берег. Он стоял на горке мокрый и не сразу стал отряхаться. Я лег, и мы смотрели друг на друга. И он отряхнулся весело и легко. А потом – как обычно. И только лизал себя с перерывами. Очень медленно и устало.

Я запомнил этот случай. И с тех пор мы по утрам купались один только раз. И Иван Макарыч однажды увидел. И мы при нем вышли на берег. И котенок. Поспешил за мной. И отряхнулся на горке.

И мне кажется, Иван Макарыч не поверил своим глазам. И он задумался на минуту. Но тут же по-взрослому. Отогнал эти мысли. И после того перестал хвалить моего красавца. И как только увидит его, отводит глаза.

Постоит на берегу. Помолчит. И, как обычно, стянет с себя рубаху и заплывет сильно до середины озера Хепо-Ярви.

Он летчик. Только что, год назад, воевал. И до сих пор летает. А может быть, уже перестал. И теперь строит себе очень хороший дом. И ему приятно, что мой отец – его друг. И только один раз он, не глядя на котенка, перед тем как войти в воду, спросил меня, что я думаю об отце.

Я понял его. Он решил, что мне пора оставить котенка. И, как прежде, ходить вместе с отцом на этюды. И не важно, буду я рисовать или нет. Надо привыкать к мирной хорошей и взрослой жизни. А котенок, совсем необычный, отвлекает меня.

Он был прав. Я сам думал об этом. Но ведь и я вырастал, по словам отца, очень уж взрослым. А котенок меня учил тому, что отец так хорошо выражал в своих этюдах и пейзажах. Котенок – природа. И она, природа, любила меня и была верна мне, как еще никто из людей. И это не все понимали.

Котенок в любую минуту мог убежать. А он больше и больше ко мне привыкал. И знал, что я его никогда не оставлю. И я думал, что отец один это хорошо понимает. Но как объяснить Ивану Макарычу. Летчику. Он столько видел и пережил. И у него все по-своему. И если он еще не понял сейчас, то уже никогда не поймет.

И вот пожалуйста – что я думаю об отце? Ничего не думаю. Живу и знаю, что он где-то рядом. И все, что пишет красками, верно ему до конца. Но Иван Макарыч не глядит на котенка и ждет, что я отвечу. Нетерпеливо. Ждет. У него дела. И что-то его заботит в первое послевоенное лето.

И вот я ему говорю:

– Мой папа еще ничего не сказал о том, что будет в жизни с моим другом, с этим котенком. А я хочу о нем сочинить большую и страшную сказку. И мне кажется, что я ее уже вообразил и придумал. Но только забыл и сейчас не могу вспомнить о ней.

– А почему страшную? Самое страшное – это когда люди расходятся. А у них психология такая, что они должны расходиться. Вот придет ко мне мой товарищ Константин Коваленко. Он друг твоего отца. И ты его знаешь. Это герой. А брат его – хороший поэт. Он в Москве, и даже я с ним еще не знаком. И хорошо, если такие люди жили бы вместе. Надо, чтобы твой папа, художник, получил участок рядом со мной. Вот здесь на берегу. Мы построим хорошие домики. И будем жить мирно и весело. И это самое лучшее, что может с нами случиться.

– А я все-таки вспомню мою страшную сказку. И ее запишу.

Да. Пока еще дом не был построен, мы жили в одной избушке. Вместе. И вполне хорошо. Избушка была на горе. Там, где поселок Токсово, без всякой границы, прямо переходит в Кавголово. От озера туда – длинный и крутой песчаный подъем.

Под жарким солнцем трудно взбираться, осыпая песок. Зато утром спускаешься отсюда очень легко. Мой котенок бежит за мной. И как будто все равно – спуск или подъем. А отец по утрам уносит с собой этюдник, а иногда холст и трехногий мольберт. Прежде я ему помогал.

А теперь. Вот уже несколько дней. Он уходит один.

И я думал сначала, что котенок совсем по-другому станет жить вместе с нами в избушке. И что он там будет ждать меня, пока я с папой хожу на этюды. Но он везде и повсюду бегал за мной. И я был уверен, что мы с ним никак не должны разлучаться. И жить станем только вдвоем.

Папа утром и вечером посматривал на него очень серьезно. Он пытался его приручить. Но сразу понял – котенок нашел друга. И папа, вздохнув, шел на этюды без нас. Что-то происходило такое – более важное, пока я придумывал страшную сказку.

Утро. Мы спим. Котенок у меня под одеялом, он тепло прижимается ко мне на подушке, у самого моего подбородка, и я жду, когда отец первый пошевелится и будет вставать. Раньше всех. И уже два дня я хочу утром что-то ему сказать. Но как только начну говорить, котенок потягивается, подымает свою голову и уже готов и ждет, куда мы пойдем.

Папа видит мои старания и по-особому тихо встает.

Холст от потолка и до пола разгораживал комнату. И там, на той половине, бесшумно спят Иван Макарыч со своею женой. Папа уходит. Мольберт остается в углу. А я еще долго лежу в тишине. И котенок подбирает лапки и прижимается опять к моему подбородку. Мы не можем больше заснуть. И я соображаю, как мы теперь станем жить и что с нами случится.

И вот на пятый день поутру он, не засыпая, тепло замурлыкал. Грудка его запела. Первый раз. И я этого ждал. И сказка моя началась.

До сих пор он молчал. И будто спрашивал меня: «Так или не так? Верно или неверно?». А теперь он ответил: «Так. Мы вдвоем. И никто нам не помешает». И я, услышав, этому подчинился. Но он верил мне еще лучше – верил, как только можно поверить.

Сказка моя добрая и счастливая. Но у нее очень страшный конец. И я не хочу его знать, и мне кажется, я его позабыл. А на самом деле вспоминать не хочу. И поневоле думаю, отчего он так страшен.

Многое жуткое с нами уже случилось. И со мной. И как будто со мной. Мама рассказывала, как погиб мой маленький брат. А потом я родился. И началась война. И блокаду я видел. И знал, что есть по-настоящему страшное. А в сказке, наверно, станет еще страшнее.

И я отгоняю от себя эти образы. Нетрудно их отогнать. Потому что они уже знакомы и пока еще далеки от меня. А о том, как это бывает, ведали все. Но в сказке живет совсем другое, о чем не знает никто. И я боюсь. Вот вспомню. Вот сумею вообразить. Вот еще немного – и догадаюсь.

Котенок мой не знал ничего. И когда в грудке его что-то запело и тепло задрожало, я подумал, что у нас, людей, такого теплого звука нет и не будет. И я очень жалел, что нельзя рассказать о том Ивану Макарычу. А вот отцу я бы сумел рассказать. И себе самому.

Но котенок сам что-то рассказывал этим дрожанием и звуком. Он рассказывал о том, что людям не очень понятно. Да, мы понимаем. Чувствуем то же. Но слов не хватает. И даже мама долго бы думала. И один отец, наверно, понял бы меня без этих неправильных слов.

Поэт Коваленков. Где-то в Москве. Вот его брат приедет сюда. Я ему расскажу. Он чужой. Но такой веселый. Потому что герой. Воевал. Он как Иван Макаръч. Но так умеет шутить и смеяться, что даже папа рядом с ним становится веселее. Он хотя бы сделает вид, что поймет.

Страшный конец обязательно будет. А сейчас котенок поет о другом. И то, о чем он поет, я знаю, люблю. И когда-нибудь скажу своим языком.

Отец молчит. Потому что видит – я от него отдаляюсь в мой собственный мир. И тогда еще я не мог это понять, а он, взрослый, чувствовал, сразу видел. И знал, что говорить об этом – совсем невозможно. И как раз туда, где о том невозможно сказать, я от него уходил.

Котенок счастлив. А мы страдаем – каждый по-своему. У меня впереди целая жизнь. А отец думает, что ему осталось немного. Пока можно писать пейзажи. Но вот кончится лето. И тогда спешно придется кончать большие заказные картины. И по вечерам углем рисовать себя самого. Он знает, что это будет именно так, и грустит, уходя на этюды.

Мне по-особому жалко отца. Но я не знаю, как мне с ним об этом начать разговор. И я отпускаю его и не могу себе объяснить, что нужно делать и о чем думать и как поступать. Мне вообще очень жалко взрослых. Все они такие, потому что уже прожили много. Но кто-то гонит от себя эти мысли и чувства. А кто-то хочет их выразить.

И я тоже хочу. И это будет. И все будет именно так. И я смотрю на котенка и знаю – он никогда не станет чувствовать это. И так будет, пока мы вместе. А если кончится наша дружба, он поймет сразу то же, что знает и чувствует мой отец.

И я боюсь – такой печальный конец может быть очень страшен и он зависит от меня одного. Уже сейчас. И я стараюсь. Не изменять этому нашему раннему утру после купания. И так продолжают наши самые счастливые дни.

Первое послевоенное лето. Конечно, оно кончается. Но это несерьезно. И пока оно есть, я вслух рассказываю себе то, что называю моей очень страшной сказкой. И мне кажется. Что это лучше всего делать, пока мы идем к озеру Хепо-Ярви. На песчаной дорожке нет никого.

Котенок бежит за мной. И я могу в полный голос говорить с ним. И никто не услышит меня. А если даже услышит, он поймет, что я разговариваю с тем, кто бежит, попевая за мной. И все в порядке. И так легко и весело – день за днем. И чем дальше, тем больше сказка моя походит на сказку. Это я думаю так. Думал тогда.

Лето прошло. Безымянный котенок уехал со мной в Ленинград. И это уже не котенок. Незаметно вырос. Это красивая тигровая кошка. У нее коричневый нос. Крупные лапы. И продольные полосы на боках.

До сих пор я не придумал, как ее звать. А она смотрит по-прежнему ласково и доверчиво. И когда поет, что-то у самого носика двигается и дрожит. Я это люблю. А она хочет сказать. И не знает слов. Имя ей не нужно совсем. Придумаешь имя. И что-то исчезнет. Ради имени.

Господи. Нет, не могу дальше о ней вспоминать. Мне становится горько – и я до сих пор никому еще не рассказывал.

Мама видела все и не нуждалась в моих словах. А отец все больше и больше после работы молчал, видимо, спрашивал себя самого, всегда ли нужны слова и все ли он сделал, чтобы можно было что-то без них людям пересказать. И он часто молча брал себе на руки мою добрую милую кошку. Ту, что любила меня одного.

Иван Макарыч редко приезжал к нам в гости с женой. Он жалел, что отцу моему, художнику, не генералу, нельзя иметь участок рядом с его домом, который еще не построен и строится очень медленно. А через год я перейду в новый класс, и мы уже летом не будем жить в одной избушке, в той комнате, разделенной холстом. Самое лучшее в прошлом.

Кошку мою Иван Макарыч помнил и узнавал. Но долго не мог на нее смотреть. И мне казалось, что ему на его глаза набегали слезы. И он отворачивался и думал о чем-то своем. А потом говорил. Особенно громко о друге своем Коваленко. Вот он приедет. И мы отгоним прочь. Все заботы и хлопоты. Всю работу.

– Что? Неужели до сих пор ты не придумал имя, и не знаешь, как ее звать. Это неправильно. И это надо в первый же день. А не то, будет поздно. Вот уже сейчас трудно придумать.

Отец не поддерживал разговор. И забыл о Токсово. Друг его – победитель. У него особая жизнь. И я чувствовал – нельзя им говорить о том, как было бы хорошо, если бы они жили рядом. Но я учусь рисовать, и это радует и вселяет надежду. Все изменится, Николай.

Коваленко приехал. Я уже видел его однажды. Еще в 44 году. Он тоже теперь генерал. И нисколько не изменился. Подвижный, стройный, веселый. Еще бы. Такая война за плечами. И все хорошо.

– Николай. Хочешь, пойдем в библиотеку. В читальный зал. Посмотрим полное собрание сочинений Пушкина. Много томов. Ты один том. А я другой. И сынишка твой, вижу, тоже хочет пойти вместе с нами. А потом вернемся и вместе будем читать Маяковского. Вслух. Потому что все равно понять невозможно.

И Коваленко что-то запел. И отец улыбнулся. А Иван Макарыч долго-долго смотрел на кошку мою.

– А вы по-прежнему ходите вместе?

– Нет, она меня ждет.

– А как же страшная сказка?

– Еще не готова. Могу почитать вам «Слово о полку». Мой перевод. Хотите?

– Нет, не хочу. Не люблю. Поэма сильная. Да. Но зачем говорить о том, как побил тебя? Надо рассказывать о другом.

– А это как раз о том, что люди не могут жить вместе.

– Что, князя? Понятно. И не одни князя. Костя. В Москве хорошо. А под Москвой еще лучше. Ладно. Потом. Сымпровизируй. Под Маяковского. Кое-что ясно и так. Не люблю. Но у тебя получается.

И Коваленко. Очень громко и весело. Прокричал для меня какую-то чепуху. «Полозей нос вертя, взревел паровоз, как разгневанный бог...».

Кошка сидит на углу большого письменного стола. При гостях она никогда не подходит ко мне. И сейчас там. Сидит спокойно. Потому что в комнате все хорошо. Громкий голос ее не пугает. А они. Добрые люди. Уйдут. Уведут меня. И я уйду вместе с ними. И уйду надолго. Даже не тронув ее. А она, как всегда одна без меня, останется ждать.

Я знаю. Кошка видит все другими глазами. И я научусь у нее. А пока...

«Слово о полку». Пушкин. Библиотека. Пятый класс. В средней художественной школе. Я буду художником. А на самом деле. Не очень хочу. Мне что-то открылось. Это счастье. Когда тебя кто-то. Спокойно и долго ждет.

По вечерам родители иногда вместе уходят. Раньше я оставался один в полутемной квартире. И мне было страшно. Теперь, когда я один, она рядом со мной. И я уже ничего не боюсь. Перевожу мое «Слово». Держу ее на руках. И слушаю, как милая кошка поет.

Пока я знаю, что так больше никто меня уже не полюбит. И если я уйду в библиотеку, она молча меня будет ждать. И, может быть, не уснет. А на том же месте, где сидела, когда я уходил, будет ждать меня в темноте. И даже на свету, если мама, как сейчас, останется дома.

Библиотека, читальный зал рядом. Отец часто приносит из нее, по моей просьбе, хорошие книги. «Илиаду» принес. Кое-что по искусству. А сегодня мы с Коваленко и Макарычем, как его называет отец. В малой комнате читального зала. Попросим нам выдать Пушкина. Все тома. Два полных издания. Заняли целый стол.

Коваленко что-то читает вслух. Вполголоса. Иван Макарыч разглядывает в этих томах фотографии черновиков. Отец, откинувшись на спинку стула, наблюдает за ними. А я не забываю кошку. И, перелистывая один из томов, думаю о том, что я ее не забываю.

Перед этим чувством и памятью пропадает все остальное. Даже то, что рядом два друга, и они, друзья отца моего, те, кто меня защищал во время войны, и то, что мы победили. И то, что нам дали сразу все эти тома. И то, что Коваленко весело и громко читает. И то, что Пушкин мой любимый поэт. Все отступает перед тем, как моя кошка молчит и ждет.

И тут вдруг я понимаю, как надо перевести горькие строки – «Ничит трава жалощами, а древо с тугою к земле преклонилось». Надо прямо – «трава припадает к земле, дерево плачет». Мне близко молчаливое чувство горя. И я жду, когда мы кончим и поскорее вернемся домой.

Жду. И вдруг понимаю. Она предвидит, как все для меня станет горем.

Но друзья, выйдя из библиотеки, решили еще прогуляться на берег Невы, к сфинксам. И там порадоваться победе. И я иду вместе с ними. Боль и тоска щемит. Но победа – еще сильнее. И я не могу не пойти. Конечно. Кошка меня подождет.

Константин Евгеньевич сегодня особенно весел. По дороге к сфинксам он много раз останавливается. Заговаривает с прохожими. И его как будто бы

узнают. Он может вдруг запеть. Что-то громко сказать. Развести руками в воздухе. Поздороваться с кем-то совсем незнакомым.

Я люблюсь им. Я ведь хорошо помню блокаду. Первую зиму. Константин Евгеньевич умеет выразить общую радость. Она сразу вспыхивает на лицах. «Страны рады. Грады веселы». Можно оставить без перевода.

Или нет. Попробую. Лучше так. «Весело. Праздник пока. И в городах и странах». Иван Макарыч молчит. А отец мой тоже поет. Впервые на улице. И все вокруг его понимают. Кончается лето сорок пятого года. И такое лето не повторится.

Коваленко читает вслух Маяковского. Тут же у сфинксов. Мы сидит на гранитной полукруглой скамье. Вокруг нас уже собираются люди. Все хорошо. Но мне вдруг становится жалко, что моя кошка до сих пор там и не видит меня. Она вместе с мамой ожидает нас дома. Сидит на краешке письменного стола. Самый счастливый день. Боль и тоска.

Темный вечер. Кончились белые ночи. Мы возвращаемся. А моя страшная сказка уснула. Но я знаю, что это пройдет. Кошка, не спит. И не может понять, куда я ушел. Она сторожит мою сказку. Она знает, что будет. А мне печально видеть, что радость победы уже остывает.

Мы дома. Темная лестница. Мама бросается прямо ко мне. Обнимает. Как будто я вернулся с отцом из-под обстрела. Она плачет и вспоминает все, что не может забыть. Кошка свернулась на уголке стола, где сидела. Она в стороне. И оттуда, приподняв голову, глядит на меня.

Я иду к ней. Беру ее на руки. И она тут же засыпает у меня на руках.

И почему-то я заплакал о ней тогда. В первый раз.

Горький счастливый день кончается. Темный вечер. Август. Завтра в школу не надо. У нас гости. Помимо Коваленко и Ивана Макарыча. Их знакомые. Все приносят мне подарки. Кинжал в ножнах. Немецкий трофей. Золинген. Заграничные пластинки. Вагнер. Вертинский. И новый патефон – только на вечер.

Шумно. А я с кошкой – в маленькой комнате. Без света. Что будет завтра. И что будет потом. Она перебирает лапками на моей руке. И так же тепло и любовно поет. Завтра начну переписывать «Илиаду». У меня останется ее полный текст. А книгу папа должен вернуть в читальный зал. Шумно. Гости смеются. Папа весел, он что-то громко сказал.

Страшные образы вокруг меня в темноте. А я не боюсь. Потому что рядом она. Я уже вырос. Надо жить самому. Как жалко. Незнакомые гости. Пошумят и уйдут. И потом не придут никогда. Сорок пятого года больше не будет. Мы счастливы. И нам очень горько вдвоем.

Такого сна и такой ночи у меня еще не случалось. Я не помню, как я разделся и лег и как моя кошка сначала где-то поверх одеяла, а потом своей головкой пригелась у шеи моей, и все успокоилось и утихло вокруг. И я просыпался и вновь засыпал. Очнусь, и она сразу тепло запоет. И так было много раз в эту счастливую и почти бессонную ночь.

Утром, пока еще никто не проснулся, я сажусь переписывать «Илиаду». Кошка на моем кафельном шахматном столике свернулась прямо передо

мною. Красные страницы толстой общей тетради. Десятеричное и. Твердые знаки. Переписываю все, как есть в этой старой книге. Кошка заснет. И тут же проснется. Подвернет свои лапки, запоет и снова заснет. И я начинаю шептать вслух гекзаметры «Илиады».

Мама давно не спит и, кажется, повторяет произнесенные мною слова. И вдруг я понимаю, что отец тоже не спит. Потому что я перестаю слышать его дыхание. А оно только что было ровным и обычным. Вот хорошее утро. Я умолкаю. Шепот утих. Мы все равно слышим друг друга.

Кровавые зори свет поведает. У Гомера такого нет. Старые большие березы недвижны. Радио молчит. Большой проспект. И только звенят на путях пустые трамваи.

Я думаю, кошка вспоминала наше лето и купания в озере. Но теперь жизнь городская. И она, кошка, выросла и привыкла. Я пошел в школу. И по утрам надо ждать на заправленной кровати, когда я вернусь. Что важнее – шумы дня или ее ожидание?

В СХШ после четырех уроков еще два часа искусства. А отец дома в большой комнате пишет заказную картину. Мольберт и громадный холст в полстены. До войны и в блокаду мы жили здесь, в большой проходной. Теперь тут мастерская. Синие обои сняты, стены – белая штукатурка.

Я не люблю эту холодную мастерскую. Отец – тоже. Из нее по утрам нельзя уходить на этюды. Но только в ней помещаются большие подрамники и холсты. Кошка редко сидит здесь на краешке письменного стола. А у меня с искусством все так же. Уроки – будто заказы.

Так неправильно. И нехорошо само разделение комнат. Но папа мне говорит: «Ничего, ничего. Первые годы после войны. Пока неизбежно. А ты смотри. Здесь твоя мастерская». – «Нет, – я отвечаю. – Моя мастерская там». – «Что? «Илиада» или твой Руставели?» Мне горько, и я уйду туда, где кошка понимает меня.

Я люблю искусство. Но твердо знаю – ничего у меня не получится. Что-то не так. И не только я. Все, и папа вместе со всеми, идут не туда. И думают не о том. И кажется мне, что никто из них не знает, что нужно делать. И вот они заставляют. И меня, и себя. И все правильно. И вроде бы все не так.

Но книжный шкаф со львами и «дубовыми стариками» перекочевал из мастерской в нашу малую комнату. И в нем у меня уже целая полка. Тетрадь, а в ней первая песнь «Илиады». А в конце – мой перевод «Слова» – до половины. А остальные книжные полки пустые. Нет ничего.

Мама чувствует и предвидит какое-то новое горе. Но радость победы никуда не уходит. Она есть, и очень просто – люди могут о ней позабыть. И со мной что-то совсем небывалое. Взрослею. День за днем. Голос меняется. Мама слышит. И скоро будет мне одиннадцать лет. И через два года. Оно. Лучше не думать. Настанет. Придет. А до войны. Тогда. Брат мой погиб. Тоже было ему одиннадцать лет.

Но я пережил день своего рождения. И ничего со мной не случилось. Кошка в это воскресное утро уходила к отцу, в его белую мастерскую. Он еще спал, выжидая время, когда станет светлей и можно будет работать, она

спрыгивала с моей кровати, лапой открывала стеклянную дверь и уходила туда.

Я не мог понять, почему. А она понимала. Вот я встаю. И еще далеко до того часа, когда брат мой вышел из дома за хлебом и не вернулся. И сейчас он еще там как будто. И я отгоняю остатки сна и проникаю туда, где моя кошка опять ждет меня, сидя на краешке письменного стола.

Я неслышным шагом приближаюсь к ней. Что с тобой? Кошка молчит. И мне становится вдруг страшно. И тут я словно впервые оглядываю всю мастерскую. Между окнами желтый диван, под белым чехлом. Там и в самом деле как будто сидит мой брат и вроде бы что-то читает.

Воображение. Мольберт. Повернут наискосок. Иначе натянутый огромный холст никак не вместить. А нужно, чтобы на него падал утренний свет и можно было работать. Уголкем диван виден из-за холста. И там за ним, кажется, брат. И я боюсь подвинуться, и заглянуть, и что-то увидеть. А когда проходил мимо – не было ничего.

Но теперь и впрямь, точно кто-то сидит. И этот кто-то мой папа. Ну, конечно, он встал и очень тихо из малой комнаты прошел в мастерскую. Работать еще нельзя. И он сел так, чтобы не напугать никого из нас. И кошка не испугалась. Она смотрит спокойно и знает, зачем это утро.

Мы втроем очень долго молчим. А потом она спрыгивает со стола, идет прямо к отцу и вскакивает к нему на диван. А он берет ее на руки. Прижимает головку ее к своему подбородку и что-то совсем неслышно ей говорит. А я в глубине у стола боюсь вдохнуть и пошевелиться.

И вдруг звенит стеклянная дверь. Мама останавливается в проеме. Держит руку у стекла этой двери. И теперь нас четверо. И отец очень быстро и шумно вскакивает, стоит и не знает, что делать и как работать в такой полутьме. Рано. Опять и опять. Он выжидает. И вновь...

Кошка оглядывает мастерскую. Обходит ее. Тихо. Спокойно. Легко. Будто впервые. И ласковым звуком зовет и уводит нас в малую комнату.

Все изменилось. Кошка станет хозяйкою в доме. Если что, папа мой обращается к ней. Берет ее на руки, подымает вровень с собой. Заглядывал ей в глаза. Она отвечает доверчиво и безмолвно. И ее коричневый носик шевелит верхнюю губку. И это всегда значило то, что мы любим друг друга.

Мама благодарно смотрит ей вслед, как будто кошка защищает меня от кого-то. Этот взгляд я знал хорошо. И ловил его и опускал голову, ожидая, что будет. Мы все ожидали чего-то. И только она, кошка, успокаивала нас. И каждого по-особому. Посмотришь на нее, и на душе становится легче.

Она любила таким чувством, какому вообще надо учиться. И как будто она знала все, что с нами произошло. И пока мы вместе, мы счастливы и к нам придет все счастливое, что стало после войны, и все оно соберется в малой комнате нашей. И кошка знала, что никто не изменит этому счастью. Она себя ему доверяла. Или она его принесла.

О том, что брат мой погиб, мы ни словом не говорили друг с другом. И только я шепотом спрашивал кошку и следил за тем, как изменится у нее

выражение глаз. А она вся обвисала у меня на руках. И становилась тяжелой. И готова была прильнуть к шее моей.

И, как тогда на озере Хепо-Ярви, когда мы утром плавали один только раз, я больше не спрашивал ее ни о чем. То, что могло случиться, уже случилось. И мы стали другими. И я сам родился другим. А кошка точно знала об этом. И жалела меня. И согласна была навсегда оставаться хозяйкой в нашей семье.

Она ни разу не вырывалась из рук. Я прижимал ее головку к моим глазам. К виску моему. И я держал ее так очень долго, сколько хотел. И отец однажды это увидел. И вынул свой фотокор. И, забыв обо всем, ждал, чтобы сделать снимок. И наконец поймал то, что надо было снимать. И я видел его выражение. И оно совпадало с тем, что кошка отдавала мне и ему. И маме.

А она все отдавала. Она отдавала себя. И у нее не было никого, кроме нас. Но я оставался первым и главным. И она меня тогда защитила. Да, защитила. В то утро, когда мне исполнилось. Одиннадцать лет.

От кого? И как она могла защищать? Я не знаю. Но все было именно так. Я не мог быть хозяином этого милого существа. И держался очень скромно. Но она была еще скромнее. И всегда старалась быть ни для кого незаметной. Ну, что такого? Не сибирская и не японская короткохвостая. Обычная тигровая кошка.

Нос у нее оставался коричневым. Лапы большие. А полосы вдоль боков. Почти незаметно. И ей совсем не нужно было никакой красоты. Она и так хороша. И отец, и мама. Рядом с ней стали мягче душой. И уже не придирались ко мне. И я был счастлив как никогда. А перед сном...

Я почему-то мечтал, что она оттуда может привести моего брата. И увести обратно туда. Маме я не мог ничего об этом сказать. И по утрам. Я бродил по комнате, где мы спали. Трогал вещи, которых он касался тогда. Кошка следила за мной и думала о чем-то своем. И все можно было, если очень захочешь. Я очень хотел. Но она отучала меня. Это хотеть.

Я решил опять вместе с папой ходить на этюды. Он кончил работу, и огромный холст увезли. Теперь он мог ездить на Смоленское кладбище. И там рисовать. Я тоже пытался. И даже раза два брал с собой мою кошку.

Ей не нравилось. Она смотрела мне прямо в глаза. Вот могила брата. А вот берег Смоленки. Нет, нельзя. Но отец рисовал. И то, и другое. А мама у могилы сидела за решетчатым столиком. Что-то шила. Я делал уроки. И ничего не мог. Не получалось ничего у меня. Кошка терпела. Но я знал – не убежит. Рисую, рисую – не получается. Я беру ее на руки и долго брожу по берегу речки. Темной, как смоль.

Кошка закрывает глаза. Дремлет у меня под вельветовой курткой. И я понимаю, что она просто не хочет видеть могилы. Чужие. Наши. Любые. Это земля. И, кроме того. Здесь очень много людей. Нельзя делать уроки, рисовать, гулять. Лучше отсюда скорей уходить. И чтобы другие люди. Тоже совсем отсюда ушли.

И я была бы спокойна за них. Но никто не уходит. И я чувствую. Что-то не так. Не умеют. Не знают. Подожду. Потерплю. Зажмурю глазки. А вижу, как если бы они были открыты. И я вижу то, что не видимо никому.

В другой раз – то же самое. И я понимаю – больше не будем пытаться. Отец ездит на кладбище сам. А я вглядываюсь в его смоленские пейзажи, которые он приносит оттуда, и хочу найти в них то, что не видят другие. Все не так. И все очень похоже на то, что заметит любой.

Кошка согласна. И я уже готов спросить об этом отца. Но она учит молчанию. И умеет разглядеть сразу то, что ей нужно. И я всматриваюсь в нее. И она отвечает мне спокойным и вдумчивым взглядом. Делай, что хочешь. И я буду с тобой. А ты словами. Рассказывай то, что сделал.

И я начинаю писать. Совсем откровенно. То, что хочу. И то, с чем согласна она. Плохо только, что это все происходит во сне. И в забытьи. Когда слова прилетают и улетают легко. И они там, куда улетели. И теперь незачем их искать. И найти невозможно.

А тетради мои на шахматном столике. Папа не трогает их. Увидит, пройдет мимо, оглянется и сразу уйдет к себе, в свою мастерскую. Этюды, картины – в споре и в поединке. То, что видеть нельзя. Но именно так и нужно. А он не умеет и не хочет. И никто не хочет. А нужно именно так.

Моя кошка очень жалеет людей. А меня ей особенно жалко. Подойдет, вспрыгнет на шахматный кафельный столик. И ляжет на две мои тетради. В одной – перевод «Слова», а в другой страшная сказка. И пока ни одной строки. И что-то меня еще ожидает.

И однажды вдруг сказка перешла на бумагу. Вся сказка. От первого до последнего слова. Кошка видела, как это все получилось. И хочет она, чтобы никто не увидел. И не прочитал. И в то утро. Отец долго шагал взад и вперед по своей мастерской. А на мольберте не стояло никакого холста.

Он шагал и не заглядывал в нашу малую комнату. Кошка со мной. И она уже не спит на столе. Сидит и смотрит поверх открытой тетради. Прямо в мои глаза. Очень тревожно. И я ей читаю шепотом. И вполне понимаю – это мало и плохо. А она спокойно ждет, что я еще прошепчу.

Сказка о том, как отец и сын потеряли друг друга. И до сих пор не могут найти. Но кошка знает. И никак не умеет словами сказать. И тому и другому. Идите за мной. И никто из них за ней не идет.

Друзья мои из средней художественной школы опять у меня в гостях. Мы все талантливые. Иначе мы не учились бы здесь, в Академии. Одаренные. Так о нас говорят взрослые. И даже учителя. А отец посмотрит на меня и вздохнет. И я знаю – он прав. Рисую плохо. Неверная линия. Цвет пустой. Нужно хотеть и уметь. Но я занят совсем другим. У меня – Руставели, Данте. У меня слово мое о полку.

Друзья хотят и умеют. Но ведь они, особенно Ифа, тоже пишут стихи. А после уроков мы иногда вместе гуляем в Соловьевском саду. И там придумываем что-то в духе Рабле. Ифа не умолкает. Я добавляю. Но мы понимаем. Это шутка. Отдых от уроков искусства. А у меня все немного не так. Строфы. Замыслы. А сказку мою никому я не могу рассказать.

И вот я зову их в гости. В малую комнату. Но чтобы туда пройти, нужно миновать мастерскую. И они видят работы отца. И не все нравится им. Ифа громко о том говорит, спорит со мной. И отец мой слышит все, о чем говорят.

Он ушел на этюды, но слышит издалека. А заказная картина – что-то чужое и страшное.

Я говорю друзьям, что их всех ждет эта же самая участь. Но не все будут ходить на этюды, как мой отец. Каждое утро. А он, бывало, на целый день. Как сейчас. Друзья умолкают и поглядывают на меня печально и долго. И мы уходим в нашу малую комнату. И я читаю им что-то свое.

– Аполлон. Фаэтон. А теперь послушай мою поэму о Наволоке.

– Ифа, довольно. Кошка. Скажи, хозяин, как ее звать. Она, видишь, красиво сидит на столе. Давай, порисуем. Вот. Спокойно сидит. И никуда не уходит. Позирует хорошо.

– А у нее, послушай, боковые полосы протянуты вдоль. Усилить надо. А то они почти не видны.

И товарищи мои сразу пристраиваются рисовать. И в малой комнате вдруг становится тихо. И только один я наблюдаю все это со стороны.

– Порисуй, порисуй. Трудновато. Смотрится классно. А попробуй поймай.

Кошка спокойно и скромно сидит. И по ее воле вокруг мир и порядок.

Мир наступил. А порядок еще надо возобновить. И люди стараются. И я верю в бога. А кошка любит меня. Так. Она и сама божество. И вот в эти дни, кроме Гомера и Пушкина, рядом со мной живет мой особо любимый поэт, которого я открыл для себя. Уже три года назад. И я читаю кошке его поэму. Когда мы остаемся одни.

Ад. Чистилище. Рай. Гравюры Доре. Мои друзья внимательно разглядывают эти гравюры. И папа, и дядя. А вот вместо текста его – переводы. И не то, и не так. Это уж точно. Переводчик – изменник. Знаю по опыту. Читаю то, что у меня получилось. Первая песнь. Кошка выслушивает все до конца.

Тайна от всех. И от взрослых. И от себя. Кошка ни разу не отвлеклась. И гравюры и текст мой. Принимает благосклонно. И с любовью ко мне. И все же я чувствую фальшь в каждом слове. Терцины. Мужские окончания строк. Никому нельзя прочитывать. Кроме нее.

А от меня прячут мою любимую книгу. Потому что я плохо учусь. Математика. Искусство. А мой Данте, наверно, был математик. Сколько слов, если посчитать, в Аду, в Чистилище и в Раю. Скартацини. Отец в старой книге мне купил по дешевке. И я даже это прочел. Отец подумал и вернул мне книгу, ту, где сама поэма в плохом переводе и гравюры Доре.

Кошка ни в чем не укоряет меня. Она как будто советует. Зная заранее.

– Ты не волнуйся. Математика – это когда отброшено лишнее. Подумай, подумай и снова отбрось то, что лишнее есть у тебя. Вот у меня – только то, что нужно. И больше нет ничего. И у Данте. Ему было очень трудно и очень легко. Совсем как мне. Пока мы будем вместе. А мне только легко.

Отец просыпается сразу. Еще темно. За окном зима. Воскресение. Холодно. Печку нужно топить. Кошка под одеялом, и как выйти оттуда. Ей хорошо. Но она сразу спрыгивает на пол и идет следом за мной. И это как в холодную воду. Как тогда. По утрам. В Хепо-Ярви.

Завтра понедельник. В академии будут смотреть все, что мы сделали дома. А если совсем ничего. Пытаюсь один. Вынимаю бумагу. Но кошка не станет позировать. И как нарочно. Только я пристроюсь, она сходит с места. Налево, направо. И прямо передо мной. Зовет и куда-то уводит.

Мы все одно существо. Нет, каждый из нас похож на себя. И чтобы не потеряться, нужно друг другом быть. Что здесь ад, чистилище, рай? Когда люди вместе, возможно и то, и другое и третье. Но только возможно. Что-то мешают. Иными словами. Кто мы такие? И до каких пор мы не будем собой? В трех проявлениях бытия. Что-то утрачено. Вот и причина.

Люди всегда себя и друг друга теряют. И тогда одно существо – это что-то ужасное. Очень плохое. А еще хуже, если все раздробилось и нет и не может быть. Единственного. Одного. Того, с чего все начиналось. Я видел, как люди постепенно уходят в это ничто.

Родители утром. В холодной комнате. В нашей семье. Томятся по вечному чувству. Мастерская еще холодной. Отец топит в обеих комнатах печи. Дрова горят. А тепла как будто бы нет. Я рисую отца. По памяти о каком-то мгновении. И все равно. Что-то ушло. Надо вернуть. Руки дрожат. Кошка целится. Прыгает мягко. На плечо мне. И сразу тепло.

Дверцы печек открыты. Вот постепенно. И там, и тут. Можно работать. Я помню. Какой был холод. Здесь. Во время блокады. В малую комнату мы вообще не входили. Грелись в нашей большой. А теперь кошка, спрыгнув на пол, бегаёт по квартире. Туда и сюда. И вот он – рисунок.

Отец изо всех сил потирает руки. И тоже готов бегать, играть. Как ребенок. С кошкой моей. Быстро. Мельком. У меня за спиной. Задерживается. Видит и одобряет рисунок. А потом опять.

– Отложи. Пусть полежит. Он сам себя дорисует. Кошка сегодня повеселела. Ну-ка давай. Поборемся, как бывало. Пол холодный. Погреем паркет.

Мы боремся. Падаем на пол. Возимся. Мне удастся. Прижать коленом. Руку отца. И вдруг я замечаю. Что он уже не противится мне. Я сажусь. Нагибаюсь к нему. Спрашиваю о чем-то. Молчит. Лежит на спине. Дышит серьезно. Потом, продолжая думать. Садится рядом со мной.

Спрашиваю. Спрашиваю. Какие-то глупости. Еще и еще раз. А он в ответ ни слова. Думает или нет. И я тоже замолкаю. И мы долго и безмолвно сидим. И никто не видит нас. И в эти минуты. Кошка вплотную подходит к отцу. И я слышу. Слабый звук. И вот. Она точно. Повторяет его.

Как хотите. Можете верить – не верить. Но после этого звука. Отец мой сильным движением. Плавно и мягко встает. И я так не умею. А он подходит к холсту. И начинает работу. И очень похож. На мой первый и последний. Хороший рисунок.

И в мастерской. Абсолютная тишина. И никаких шагов. Но я вижу, как он шагает. И никаких прикосновений к палитре. Но он берет краску и держит кисть на вытянутой руке. Дольше, чем я бы хотел. И как будто бы нет никакого. Прикосновенья к холсту. Почему он так долго стоит?

Я рисую. Еще и еще раз. И у меня получается. Или мне показалось. Но что-то велит мне. Видишь? У тебя движения точные. Запомни, как это бывает. И рисуй. Почти по памяти. Нет, гляди, гляди. Он специально задерживает себя. Видишь? Недвижная кисть. И это все для тебя.

Мгновение страшное. Папа должен и не хочет работать. Но, может быть, получится у меня. Если я нарисую. Как это страшно. Что он чувствует и чем он живет все это утро. Кто мне сказал? Кто велит мне сейчас держать карандаш?

Что же я делаю? Альбом на коленях. Один лист и другой. Отца невозможно узнать. Тот рисунок похож. А эти. Как будто вижу кошмарный сон. Черно-белый. Шевелятся линии. Сами рисуют себя. А я все понимаю. Хочу и не умею проснуться.

Отец стоит неподвижно. И на белой грунтовке холста. Видны чуть приметные линии рисунка углем. Все готово. И ни одного прикосновения краской. А кисть протянута и не касается этих линий. И я начинаю всматриваться в загрунтованный холст. И жду, когда встреча произойдет.

Нет, надо прожить целую жизнь. Чтобы хоть немного сказать. О том, как это бывает. И как это может произойти. И уже происходит. С папой моим. Что? Неужели можно. Карандашом на бумаге. Хоть как-нибудь это нарисовать. А что же еще. Папа не оглядывается на меня и наконец наносит на холст первый мазок.

И вдруг я слышу. Голос его. Да, его особенный голос. Он что-то запел. Фальцетом. Очень красиво. Чуть слышно. Тихо так. Он еще ни разу не пел. И я знаю, звук останется. Или скоро он снова явится мне.

Папа работает молча. Фальцет иногда. Открыто. Светло. Красивее, чем у Шалапина. И каждый раз я вхожу в мастерскую. Вижу – работа идет. На громадном холсте. Появляются пятна. И мне хочется, чтобы они так и остались. Но папа прикасается кистью. Быстрее и быстрее. Картина живет. Получается что-то хорошее. И опять и опять он. Светлый фальцет.

Я перелистываю рисунки в альбоме. И мне ясно только одно. Прикасаюсь не надо. И почему такие рисунки никто не поймет и не примет. Мама у меня забирает альбом, просматривает очень долго и прячет в бюро. Я бы еще хотел его посмотреть. Но она не дает.

– Забудь о них. Потом, спустя время, глянем опять.

– А что это было со мной?

– Сынок, я не могу объяснить. Что-то было. А я всего боюсь, когда случается это. Если хочешь и можешь, порисуй интерьер нашей комнаты. Видишь, как тут все хорошо. Кто-то помог. И тебе и отцу.

Новый альбом. Я медленно делаю много рисунков. Кошка поет. И я уже не слышу звуков из мастерской. Кошка сидит на выдвижной дощечке бюро. Она охраняет и бережет первый альбом. И я понемногу забываю о том, что и как там нарисовано. Черно-белый сон оставляет меня.

– Хватит. На сегодня ты уже много сделал. Хорошо. Но пока ни один рисунок не доведен до конца. Бедные художники. Вот у них вся жизнь. В таком напряжении. И я чувствую. Выдержать невозможно. И только тогда.

Получается что-то. И постепенно. Будет все трудней и трудней. И как ты сможешь вырваться из этого ада? Все. На сегодня хватит.

Но я не хочу. Карандаш требует, чтобы я вел его свободно и точно. И мне сейчас ясно дальнейшее. Последний рисунок нужно сделать по-особому тщательно. И довести до конца. И так нужно делать всегда, если ты заработался. Надо кончать, а не бросать.

Но я вижу. Никак нельзя кончить рисунок. Что-то нужно оставить и бросить. Или нет. Еще и еще. Одно и другое прикосновение. И снова неточно. И кошка прыгает мне на колени. И не дает рисовать.

Новый год. Рождество. И я до сих пор. Никак не могу придумать имя. Для единственной кошки моей. Захочу позвать. И на мое «кис-кис». Она откликается. И спокойно. Медленно. Подходит ко мне. И этот слабый звук обозначает вопрос. И я отвечаю себе и ей. Вслух. Голосом, который еще не сломался. И мы совпадаем. И я ей шепчу. Мое исповедание веры.

Кошка ни разу. Не прерывает мой шепот. Совсем особый. Этот наш язык разговора о Боге. Да, разговор. О том, что он есть. И неважно где. И я стесняюсь. У него что-то просить. Что-то вымалывать. Бог отвечает – проси у себя. И я помогу тебе.

И я знаю, что попросить. И шепчу о том самому себе. И рассказываю кошке, почему это еще не сбылось. Почему? А она. Кошка моя, уже сказала себе. Все молитвы свои. И вот поутру. В тишине. Слабый звук. Папин фальцет. Мой мысленный шепот. И еще немного. И я придумаю. Первый стих. Вместо молитвы.

– Что? Придумывать? Переводить? Как святой Иероним. Сколько разных картин. И ничего не просил. И у Данте. Ни одной молитвы, кажется, нет. И только в самом конце. Молятся души. И его душа. А он сам. Он ведь живым путешествовал. И в чистилище. И в раю. А ты? Можешь понять, как надо молиться? А я до сих пор не хочу и боюсь. Потому что нельзя чужими словами. А где они? Мои святые слова?

– Подожди. Отвечу. Но ты спокойно и долго смотри в мои большие глаза. Видишь? Черные щелочки мои стали круглые. И ты заметил – чаще всего я тебя вижу такими глазами. И ты расширь. Как можно больше расширь свои маленькие зрачки. Это будут слова. Это легко и трудно тебе. Я знаю. Но ты постарайся. Надо уметь раздвигать, открывать глубокие черные круглые, как твои, или прямые щелки мои. А иначе ты ничего не увидишь. Распахни. Открой. И такими словами. Я говорю с тобой целый день. Постарайся.

– Хорошо. Вот я гляжу. Или, может быть, хотя бы немного или недолго. А над нами бог. Мы верим. И вокруг полутьма и в углу наша нарядная бедная елка. Мало игрушек. Но вот их зеркальные огоньки. Рядом с мольбертом. И на нем нет никакого подрамника и холста. Папа спит на своей солдатской кровати. Мама уснула. Новый год. Рождество.

Ночь перед Рождеством как будто специально придумана, чтобы я не пытался и не мог уйти от себя самого. Я очень боюсь темноты. Но мне почему-то кажется, что в малой комнате в полночь еще темнее, чем в

мастерской. Кошка со мной, как всегда. Не отходит. Помнит себя котенком. Прижалась ко мне. Мы во тьме на диване. А за окном – ветер. Метель.

Вот уж точно – я все это вижу во сне. И не может быть, чтобы такое случилось на самом деле. Чтобы я вышел навстречу страху и тому, что кажется в темноте. Все, что пугает меня, собралось в мастерской и со всех сторон окружает меня. Сейчас появится Вий. Но кошка рядом. И я твержу вслух мои придуманные молитвы.

Я ничего не прошу. Бог догадается. И любой Гоголь. Отойдет от меня. А он вокруг и никуда не уходит. Почему-то за мольбертом у печки появилась графиня из «Пиковой дамы». Ничего не видно. И все же она оттуда кивает мне и, приседая, подходит все ближе и ближе. И останавливается на черте, которую взглядом обозначила кошка.

И тут мне удастся проснуться в малой комнате. И я по теплomu звуку чувствую – кошка не спит. Данте у печки застыл и как будто прислушивается к ее разговору. А она слишком громко поет. Но папа и мама не могут проснуться. А я изо всех сил пытаюсь и не могу закричать. И знаю только одно. Буду мучиться так целую ночь. Кошка – спасение.

Данте, я вижу во тьме, тоже меня охраняет. Но он думает о чем-то своем. И я не должен его просить ни о чем. Он сам по себе. И все же его присутствие замедляет кошмар. И только плохо то, что ночь становится более длинной. И теперь ясно. Кошка и бог. Но ведь я за год после войны вырос немного. И нельзя так бояться всю ночь до утра.

И тут я исчезаю. И успеваю подумать. Что, наверно, так подступит ко мне когда-нибудь смерть. И незаметно меня уведет. И самое верное в этот момент забыть о себе. Исчезнуть по собственной воле. Господи. Неужели ты услышал меня. Как хорошо, как все продумано верно. И уже сейчас. Можно уснуть.

И тут кошка меня окликает. В самом начале рождественской ночи.

Встреча с котом профессора Догеля. Белый сибирский огромный кот. Профессор по нашей просьбе сам приносит его. Они живут под нами на втором этаже. Отец говорит – у кошки должно быть личное счастье. Должно. И это правда. Я знаю. И, быть может, появится такой же белый пушистый котенок. Нет, я не вырос, увы, за этот первый год после войны.

Кошка теперь чуть старше меня. Признаю. А мне двенадцатый год. И в таком возрасте я мечтаю о пушистом сибирском котенке. Стыдно. И она понимает эти мои ребячьи желанья. И я сам котенок. По сравнению с ней Мама видит, что теперь творится в душе у нее. Папа хочет ее утешить. Она терпит его ласки и впервые долго не подходит ко мне.

Кошка моя несколько не изменилась. Больно. Та же душа. И она не умеет сказать. А она уже осознала, как можно словами выразить что-то. И теперь нет ничего страшнее неутолимой печали безмолвия. И потому – только я. Ребенок при всей моей взрослости. Нет, не ребенок. Погиб. Я грешник. И Данте не придумал круга для греха моего.

Не могу рассказывать и писать. Как такое случилось? Я разрешил себе эти желанья. Я не умел победить себя. И все нарушилось. Не смейтесь. И от этих

дней потянулась моя горькая взрослая жизнь. И я ее позволил себе. Отец и мать видели, понимали, тревожились и не в силах были помочь. Только я сам. А я себе разрешил. И разрешаю.

Кошка без всяких слов что-то сказала себе. Тут ничего не изменишь. Но когда-нибудь станет ясно. И он сам захочет, чтобы ему было больно, как мне. И боль придет. И не отпустит уже до конца. И больше нет ни одной души, которая бы эту боль приняла на себя. Только он и я. Он. А не этот сибирский белый котенок. Он, который останется. Кровь моя. И его еще нет. Но и у него будет горькая жизнь. Почему и зачем?

Кошка впервые завывла в голос. Прямым звуком. Я узнаю этот звук. Я его понимаю. И опять ничего не могу сделать с собой. Ребенок. И я не знаю, какая будет за это расплата. И только сейчас наступает время конца. От меня из жизни ушли. Отец и мать. И она одна приходит ко мне и теплым кошачьим горлом песни своей будит меня по ночам.

Господи. Что мне сделать, чтобы поправить все, что поправить нельзя?

То, что я проклиная себя. Это сказано слабо. Я и сейчас гоню прочь эту мысль. Как и догадку о смерти. Догадка невыносима. Но я повторяю себе: «Подожди. Потом. Потом ты сможешь подумать. А теперь – свободен. Живи и не вспоминай». Так я себе говорю всю мою взрослую жизнь. И вот время настало. И уже нельзя ничего отодвинуть.

Проклинаю. И продолжаю. Живу. Существую. А вообще проклятие до меня дойдет. В последний миг. После которого я исчезну для себя самого. Испытав неутолимую горечь. Так предназначено. Но почему все иначе. Я уже испытал эту горечь и никуда не исчез.

А это значит – вот они. Вечность и последний миг вполне совместились. Они одно и то же. И они враждебны. И они легко переходят друг в друга. Тайна раскрыта. А я продолжаю существовать. Кошка опять подходит. Садится рядом. Как будто не было ничего.

Она решила жить по-прежнему. Остались дни. Целый месяц. Пока еще можно. Отодвинуть конец и начало. Пока еще не родился белый пушистый котенок. Тот, из-за которого все началось. Тот, кого я задумал. И кого она согласилась мне дать. Вместо себя.

Продольные полоски. По бокам. Почти незаметны. Коричневый носик по-прежнему подается вперед. И собирает верхнюю милую губку. Большие зрачки остаются круглыми. И они черны как всегда. И я пытаюсь так же смотреть. И не выдерживаю больше секунды. И ничего не выходит. Видимо, в самом деле. Я становлюсь по-настоящему взрослым. Грехопадение совершилось. И теперь я сполна человек.

И вот. Хочется мне. Быть иногда. Совсем одному. Кошка в малой комнате. А я в прихожей. И вот мое вельветовое пальтишко. Я в темноте накрываю им голову. И рыдаю горько, беззвучно. Или мне кажется, что никто не слышит меня. И я не думаю, что она все-таки слышит. Нет. Надо покончить с собой. И я не знаю, как это сделать. А я. Серьезно хочу. Ножом? Вот он, мой нож. Пытаюсь и не могу.

Мама вдруг меня застаёт. Спокойно отнимает нож. И оставляет в прихожей стоять. Она уверена. Я никогда не сделаю так. И она права. И я в темноте. Рыдаю. Один. И остаюсь. И точно теперь. Ненавижу себя.

Кошка спит. Свернулась клубком. На шахматном столике. Пиши все, что хочешь. Делай уроки. Она будет спать. Иногда потрется головкой о руку мою. Не открывая глаз. И я осторожно. Пытаюсь ее рисовать. Много рисунков. И я уже научился. И в ней скоро шевельнутся котятка. А она спит и не хочет открывать. Свои большие глаза.

Весна. Трудный год за плечами. Но в СХШ такой закон. Едем в Южки рисовать. Все вместе. С нами преподаватель. И когда кончится лето. Рисунки наши будут решать. Остаемся мы в СХШ или нет. Все поедут. А я один. С отцом и с кошкой. Мама решила. Отец подумал и согласился.

Страшная сказка. Подходит к концу. Нет, куда угодно. Только не туда. Не на берег озера Хепо-Ярви. Там Иван Матвейч уже выстроил дом. Константин Коваленко. Вряд ли приедет. Все изменилось.

У отца – тематика. Колхоз имени Ленина. Поедем на лето в деревню Климовщину. К тете Наташе. К моим двоюродным сестренкам. Зое. Ире. Там буду я рисовать. И там кошка родит.

Я не люблю себя. Отец и мать знают об этом. Но они думают – лето пройдет. И что-то будет. Во всяком случае – кошка по-прежнему любит. Она, как и я, запрещает себе думать о белом котенке. Она всегда вместе со мной. И она дает себя рисовать.

Последний день в Ленинграде. Пред отъездом. Я читаю кошке большую стихотворную драму. Своего сочинения. Я начал ее писать еще до СХШ. С моими друзьями по четвертому классу. Надо кончать. Не получилось. Но кошка вполне одобряет отдельные строки. Слушает и засыпает. И я горько плачу. И думаю совсем о другом.

Самое горькое то, что я уже не хочу никакого котенка. Жду его. И боюсь этого дня, когда он родится. Но все равно уже случилось непоправимое. Даже одна минута желания, чтобы это случилось, в тебе оставляет след. И делает жизнь отвратительно взрослой.

То, что было, нельзя отменить. Даже если ты захотел чего-то другого. Спи. Рисуй. Сочиняй трагедию. Вези это все в Климовщину. И надейся. Там в деревне, у тети Наташи, совершится какое-то взрослое чудо. И до того как оно совершится, кошка пока еще останется рядом с тобой.

Нельзя отменить мысль. И нельзя отменить мгновение, когда эта мысль возникала в тебе. Кошка простила. Оттого что по-прежнему любит. И она, я вижу, готова родить. Никогда еще не была она такой красивой. Полный животик ее. Колеблется туда и сюда. Пока она ходит. А когда лежит на боку. Полоски шевелятся. Горка. И я целую. Этот живот.

Кошка дает мне его целовать. Спит. И ее головка прекрасна. Мама шьет матрасик. Папа делает низенький ящик. И хочет ее приучить. Там ложиться на мягкое. Там ожидать. Нет. Она прыгает на кровать ко мне и ожидает. В ногах у меня. А мы уже в Климовщине. Комната наша. Рисую.

В доме тети Наташи две большие комнаты. В каждой русская печка. Беленая там. А у нас ее еще не успели покрасить. Она желтовато-серая. Но точно такая. И в углу рядом с ней папа пристроил ящик для кошки. И она, чтобы нас утешить, порой ложится в него. Но чаще бродит по комнате. И по травяному двору. Прямо в траве. Дышит и ожидает.

Там у забора – бревнышко. Я беру ее на руки. Сажусь и долго смотрю. Она спит или просто отдыхает, закрыв свои большие глаза. Напротив нас – развалины взорванной церкви. Боже мой. Скажи, о чем сейчас молитва моя? Потому что. Я сам во всем виноват. И просить надо себя. Но я знаю – никакая молитва уже ничего не изменит.

Вот я сижу. На бревнышке. И чувствую. Происходит. Котята еще шевелятся в ней. А кошка уже, я вижу, становится матерью. И ей неудобно лежать у меня на руках. Но она терпит. Потому что любит меня. И вот сквозь сон она издает какой-то еле слышный жалобный звук. И смолкает сразу. Она вспоминает о том, как все было прежде.

И вот. Я осторожно снимаю ее с колен и кладу на траву в уютной хорошей тени. И долго на высоком бревнышке. Сажу. И она знает об этом. Да, вот она – мама. А что, если ради такого счастья, мне стоило пожелать то, что я пожелал. Вот он уже сейчас шевелится у нее в животе. Да. Я тогда пожелал. И вот оно – счастье.

И как только я это подумал, она подняла голову и взглядом отогнала мою грешную мысль. Да, это счастье. Но ты пока не понял, что будет, когда оно случится вполне. Оно совсем другое. И я не знаю, какое оно.

Просыпаюсь поздно. Раннее-раннее утро. Темная кладка бревенчатых стен. Первое солнце в окно. Папа над ящиком. Он проснулся раньше меня. А я уже давно слышу. Неужели они? Много. А кошка в ящике родила еще одного. И сразу несет котенка в зубах и прыгает с ним ко мне на кровать. Отец относит их в ящик. А они снова ко мне.

Как будто в комнату принесли. Громадное птичье гнездо. И все птенчики вместе, наперебой запели разными голосами. Комната ожила. Осторожно встаю. Кажется, котята везде. В каждой складке моего одеяла. Папа терпеливо относит в ящик одного за другим. Кошка, наконец, понимает и с ними остается там. В своем уголке.

Мама смотрит в сторону и рукой оберегает кошку от нас. Все как нужно. Красивая шерсть намочена от испарины родов. Кошка дрожит. Сколько она потратила сил, чтобы отнести котят одного за другим ко мне на кровать. Лижет каждого и с трудом поднимает усталую голову. Держит ее навесу уже после того, как это случилось.

Отец покачивает своей большой головой и, кажется, хочет заплакать. На мою маму я боюсь посмотреть. Птичий писк утихает. Кошка лежит на боку. И все десять прильнули к ее опалому животу. Все десять. И они мокрые и уже сейчас разноцветные. Боже. Как они хороши. Кто-то из них лиловой лапкой отталкивает соседа. Он уже немного сильнее других.

Большие красивые лапы справа и слева ограждают милую теплую грудку новорожденных. Кошка себя отдает им. Она закрывает глаза и не спит. И этот

особенный чуть слышный звук – раздается в утренней тишине, чтобы кто-то услышал. А пока она сама никак не может забыться. Толчки, прикосновения и дыхания в полной утренней тишине.

Отец первым произносит первое слово:

– Пожалуйста, я прошу тебя. Полуби это утро. Я не могу работать. Ничего не делал. Устал. И не могу. Не хочу. Первый раз. Вижу это безгрешное счастье. Пожалуйста, я прошу.

Мама целует отца. Меня. А потом снова отца. И я вздрагиваю от какого-то сильного чувства и боюсь его пережить. А кошку. Вижу. Вижу. И ничего больше. Только ее. И на какое-то время. Я забываю мой грех.

День за днем. Все на глазах у меня. Слепые котятка перестают быть слепыми. Кошка измучена. Бессильно лежит на боку. Смотрит в сторону. И я не смею к ней прикоснуться. А потом она с трудом подымается. Опираясь передними лапами. Лижет. Любого из десяти.

По утрам. Одна и та же молитва. Пока все еще спят. Но я в полутьме комнаты поневоле разглядываю. Каждого из котят. А потом целый день. Вот она лежа перехватила мой взгляд. И получилось так, что она сразу уснула. И я ее не тревожил. И заставил себя отойти. Упал на кровать и тоже уснул. И в тот сумрачный день у нас было два утра.

Не помню. Снилось такое... И это надо было вполне пережить. И тоже никто не трогал меня. И я пережил. И очнулся. И глядел другими глазами. И что-то отдалилось и отошло. И что-то я потерял. И уже молитва стала воспоминанием. И я ее шептал, повторяя мои смешные слова. Искал и не находил. Самое важное, открытое слово.

И в то утро, не знаю зачем, я рисовал нашу русскую печку. Подробно. И несколько раз. И хорошо получалось. Но я рисовал снова и снова. И в самом низу. В уголку между стеною и печкой. Двумя штрихами. Ящик, накрытый матрасиком. И любому, кто увидел бы этот рисунок. Любому. Было бы легко угадать. Но пока. Никто не угадывал.

И мне вдруг поутру стало душно. Как будто кто-то чужой не давал мне дышать. И как будто кто-то связал меня по рукам и ногам. И страшно было поверить в то, что все именно так. И вот я встаю с табурета. Отодвигаю его. Он падает с громким стуком. Но в комнате нет никого. Кроме счастливой матери. И сладко спящих котят. Не подходи. Не смотри.

Нет. Я шагаю. Раз. Другой. И нагибаюсь. И разглядываю, кто как уснул. И как им тепло. Хорошо. И кто из них. Тот выбранный. Вот он. По-моему. Самый крупный из них. Комочек. Но он отчего-то по-особому темный. Дымчатый. Серый. Он лапками протирает глазки свои.

– Послушай. Послушай. Я тебе прошепчу кое-что. Прошепчу. Кому? Нет. Ушки твои неподвижны. Шейка вытянута. Головка слегка запрокинута. А у него. На загривочке, и на груди. Будут. Густые волнистые прядки. И я его. Беру на ладошку. Подымаю. И он уютно. И тепло. Помещается в ней.

Папа целый день. Пропадает в колхозе имени Ленина. Этюды. Этюды. Осень. Поля. Жнейка. Потом золотая солома. Стога. Там, в мастерской. Будет

панно. А здесь. Женщины в платках и коротких платьях. Два мастера. Молотилка. Дрожит. Сетка сортирует зерно.

Я заставляю себя. Ежедневно. Ухожу с отцом. Рисую. И не получается. Плохо. Альбом наполовину пустой. Не могу дождаться. Раньше времени возвращаюсь к дому. Спешу. Иду в поле. Один. Еще далеко. И вдруг вижу. Дорогу мне переходит. Кошка моя.

Да. Направо, налево несжатое желтое поле. Посередине дорога. Прямо передо мной. Оттуда. Кошка выходит. Узнает меня. И не замедляя плавного шага. Оборачивается. Медленно и спокойно. Пересекает мою дорогу. И скрывается влево. Между стеблями.

Я стою и не понимаю, как такое случилось. Да. Она величаво, красиво прошла. Мимо меня. Проплыли над землей ее продольные полосы на боку. Огоньками блеснули глаза. И никаких следов усталости. Медленно. Плавно. После родов неузнаваемо. Независимо. Занята важным делом. И от нашего дома совсем далеко.

Боже. Как дома. Но одна. Без меня. И в далеком поле. И тут. Что-то горько и больно затрепетало и заныло в груди у меня. И я представил себе ее состояние. И как получилось. То, что она бы уже теперь. Как тогда. Не побежала за мной.

Вот скоро поселок. Иду. Страдаю. И на пути вдруг вижу – снова она. И так же передо мной переходит мою дорогу. Справа и слева изумрудом зеленеет густая трава. И на этот раз кольнуло меня особенно больно. Да, я завистливо поражен ее силой и красотой. И ведь не каждому выпадет обрести эту силу, которая так легко меня обогнала и от меня отошла.

Обед. Мы собралась в нашей комнате. И вдруг видим – кошка входит в открытую дверь и держит в зубах черное безголовое тельце крота. Она его принесла детям своим, чтобы они впились в открытую ранку и узнали что-то, кроме ее материнского молока.

И я вздрогнул и понял, что она вернулась ко мне.

В Климовщине еще никто не видел таких красивых котят. Приходят смотреть. Ира влюбилась в желтую пушистую кошечку. Тетя Наташа предпочитала светло-серого Зевсика. Это имя я сразу определил для него. Зоя полюбила белого с темными пятнами. Отец грустно смотрит, потому что не может никого предпочесть. Мама играет с тем, кого я сам выбрал себе.

Родители по ночам спят на полу, подстелив себе матрас, набитый соломой, и покрыв себя теплым и ласковым одеялом. Котята из ящика перебрались туда. Днем там отдыхает мама. И мой котенок лежит у нее на руке. Остальные ползают и играют сами с собой. Мама разглядела будущего кота моего и его всей душой полюбила.

Он пушистый. Он совсем такой, о каком я мечтал. Но я почему-то редко беру его на руки. Наблюдаю за ним как будто издалека. И каждый раз мне больно смотреть на него. И ясно, что именно он уедет со мной в Ленинград. Я решил. И в это время кошка вошла в нашу комнату.

Мой Журка не самый большой. Он понемногу светлеет. И как будто бы думает о том, какая жизнь ему предстоит. Он меньше играет, чем другие

котят. Но он так соразмерен. И так одет в свои волнистые прядки. И так смотрит серыми, голубыми глазами. Люблю его и боюсь. И на расстоянии мысленно с ним говорю.

Кошка лежит в опустелом ящике. Без котят. Отдыхает от них. Но они, поиграв, один за другим опять прибегают к ней, теребят ее и не дают ей уснуть. Журка отдельно от них. С мамой моей. Он полюбил мою маму. А когда я все-таки беру его на руки, он смотрит спокойно и как будто уже давно и хорошо знает меня. И вроде бы ждет, что я сделаю и что я скажу.

Кошка по утрам запоздало кормит его одного и потом любовно отдает мне его. И каждый раз это мне больней и больней. И я, как по чужой воле, обеими ладошками подымаю Журку и уношу с собой на прогулку. Он у меня за пазухой. И я с ним иду навстречу боли моей.

Зеленый двор. Сажусь у забора. Журка не спит. Он сверху лапками лежит у меня на коленях. Он вдумчиво, медленно отвечает мне взглядом. Он согласен со мной. Он совсем как она.

Теперь, когда котенок у меня на руках и мы гуляем в поле, кошка вновь попадает мне. И опять на дороге. Она останавливается и дальше не пускает меня. И вот мы возвращаемся. Она идет следом. Верьте, не верьте. Уйти невозможно. Ближе. Ближе. Некуда. Мы в Климовщине.

– Скажи. Почему ты не боишься? Хочешь, я заставлю себя и брошу все это? Но видишь – никак нельзя. Нужно вернуться. Пушистый комочек. Пора домой. А ты иди вперед. Я поспеваю.

Кошка идет. И вот-вот ответит. И я предчувствую, предвижу ответ. И мне уже и на самом деле. Становится страшно. Жаркий полдень. Сжата рожь. Направо, налево. Больше нечего рисовать. И нечего ждать.

– Ну, скажи. Почему теперь мы одни? Зачем ушли далеко? Или, кажется, я потерял дорогу назад. Вот моя тень. А твоя рядом с тобой. И ты никуда не уйдешь. И я как будто по воздуху. Перебираю ногами. А земля подло мною на месте. И только ты. Спокойно и медленно. Вперед и вперед. Журка уснул. И он сегодня как будто вырос. На руках у меня.

– Что? Неужели ты хочешь. Чтобы я его отпустил? Он побежит за нами. Помнишь? Как ты когда-то, играя, прибегала ко мне. Что мне сделать? Как прервать эту страшную сказку? Неужели я не сумею дойти?

Нет. Не сумею. Ноги совсем не идут. И моя тень куда-то пропала. Вот. Лечь и лежать на обочине. Кошка сядет рядом со мной. А котенок. Туда и сюда. Прямо тут по земле. Что? Неужели ты этого хочешь.

Идем. Она останавливается. Долгий внимательный взгляд. Мы стоим. И я знаю – такое больше не повторится. И что это? Что? Нужно решить. Ну, конечно. Мы в Ленинград поедем вдвоем. Ты решила? Или ты, как всегда, согласна со мной?

Земля побежала. Тени плывут. Прямо у нас в ногах. Журка за пазухой. Тут ему хорошо. И он так мило шевелится у меня на груди. Вот вдали две сосны. Это начало поселка. И теперь мы точно дойдем. Кошка медленно. Переступает большими лапками. Она идет, не оглядываясь. Ну, понятно. Она,

как всегда, выводит меня. Избы. Избы. Вот развалины церкви. А направо зеленый двор. И вот он, мой дом.

Все разрешилось. Я очень много рисую. Мы гуляем втроем. Отец доволен. Котята бегают по полу дома. И я замечаю. Кошка стала думать о них. По-особому. Они большие. Пушистые. Их уже выбрали. Но пока еще не унесли. Они останутся здесь. В Климовщине. Кошка живет предчувствием. И все чаще и быстрее возвращается нас в дом.

И вот они исчезают. Один за другим. Кошка ищет их. И пока не находит. Скоро найдет. И что тогда. Мама моя. Замечаю. Тоже страдает. Оказывается, она полюбила желтую кошечку. И никак не хочет ее отдавать. Но она понимает. Надо расстаться. И еще многое надо. Страшно подумать. И это все нам предстоит пережить.

Перебираю мои акварели. Перелистываю альбом. Вот один из рисунков. В самом начале. Он, естественно, черно-белый. Итальянским карандашом. Очень плохой. Но четко видны позы новорожденных котят. И то, как они прильнули к животику мамы своей. Безгрешное счастье. А теперь. В ящике опустелом. Который уже не нужен. Кошка часто лежит.

Я всматриваюсь в рисунок. И вспоминаю. Вот какой она была. Мамина кошечка. Та, которую нужно отдать. И вот какой она стала. Бегаёт. Падаёт. И вдруг становится очевидно. Если ты хочешь жить, то скорее забудь и ради бога не вспоминай. И я вижу, как трудно, как тяжело мама моя забывает. Их. Одного за другим.

Отец хочет убрать ящик и спрятать матрасик. Но кошка подбирается к ящику, садится с ним рядом. И смотрит, как Журка один трогает лапкой знакомые складки матрасика и падает набок, ложится посередине. Отец протягивает руку и, подумав, отводит ее. И ящик опять остается. И я беру карандаш. И выходит в альбоме хороший прощальный рисунок. Но желтой кошечки нет. Ее уже взяли. И мы не знаем, что делать.

И вот я вижу – что-то случилось. Ничего себе – что-то. Я знаю – что. Кошка моя поняла. Да, жить невозможно. И все-таки надо. Именно так. И с ней будет оно – то, что и со всеми. Скоро. И ты не думай. Не вспоминай. Мимо. Мимо. Забудь обо всем.

И она издает все тот же, свой особенный рыдающий звук. Уже третий раз, как я помню. Прозрачный. Он все тише и тише. И умолкает совсем.

И это все сделал я. Задумал там, в Ленинграде. И произошло оно. Здесь. И все получилось. Как ты еще недавно хотел. Зачем? И сейчас. Неужели ты хочешь. И в жизни твоей. Все будет. Именно так. Не обманывай себя. Те же чувства. То самое счастье. И та же беда. И если ты позволил себе. То же самое. Оно. Будет потом. И не говори, что тебе. Пока. Только. Одиннадцать лет.

Кончились. Рисунки. Прогулки мои. Папа сделал все, что наметил на лето. И теперь страдает. Видя, как непоправимо я повзрослел. Вот вроде бы все можно остановить. Но кошка поняла – ничего поправить нельзя. Она будет искать. Ходить по дворам и по избам. А может быть, кого-то из них. Унесли в другой поселок. Попробуй найди.

И теперь она уже почти не выходит из комнаты. Журка ее развлекает. Она его любит, но думает совсем о другом. Почему так устроена жизнь? И почему нужно это узнать и согласиться на это. Она часами сидит на одном месте. И уже не только мне. Маме моей становится страшно. И если надо что-то забыть, то прежде всего позабудь, как она, подвернув хвостик, молча сидит. И это горе, которое из души никак не может уйти.

Лучше не знать и не видеть. Но и это уже невозможно. И трагедию мою я никак не могу дописать. А вот она – трагедия рядом. И что же? Именно ее теперь я должен забыть? Ко мне отовсюду подплывают слова. А я их гоню от себя. Беру мою кошку на руки. Ласкаю ее. Пытаюсь повторить то, что подумал. А она отводит глаза.

Невозможно. Приближается день. Отъезда из Климовщины.

– Ну, так что же? – спрашивает отец. – Ты берешь нашего Журку с собой? А как же она? Тоже. Попробуем взять. А ты что скажешь об этом?

– Конечно, возьмем. Но ты посмотри. Что-то не так. Объясни. Я запутался. Видишь? Она никуда не уходит.

– Ну, ты ведь. Задумал. Там в Ленинграде. И ты сделал все, как задумал. А сейчас. Придется что-то забыть. Посмотри. Мама твоя. Не забывает. Вспомни о брате. Он погиб. Когда еще ты не родился. А настоящая жизнь состоит из того, что никак не вырвать из памяти. Мне и тебе. Думай. Осталось немного.

Я убегаю на берег разлива реки. Мельница. Плотины. Разлив. Боюсь оглянуться. И как будто слышу. Кошка за мной не идет. Котенок остался. В комнате. И теперь. Самое страшное. Вот он. Я сам. И мысленно говорить могу. Только себе самому. Год назад. Мы были вместе. А теперь. Грешник остался один.

Холодно. Август. На берегу разлива. Нет никого. Раннее-раннее утро. Ты понимаешь. Тебя увезут. И кончится то, что начиналось тогда. И было так хорошо. Ты виноват. И ты уже знаешь об этом давно. Там, в Ленинграде. Но тогда в тебе жило предчувствие. А теперь. Сказка твоя кончается. И нельзя ничего придумывать и желать. А тебя все равно увезут.

Искупаться бы. Но ты знаешь – время купанья прошло. Вспоминай. Садись на берегу. Охвати колени руками. Плачь, если можешь. Никто не увидит. Нет никого. Над разливом туман. А там две сосны. Смотрю сквозь слезы и не хочу их увидеть. Потому что нет больше предчувствий. В душе у меня. Все уже состоялось. Все произошло.

И тут вдруг я чувствую. Кто-то ко мне прикоснулся. Что-то теплое тронуло спину. Жду повторения. Нет ничего. Показалось. Но я начинаю шептать. И так легко. Друг за другом. От меня уплывают слова. По воздуху. В этот сизый туман. И он греет меня. И я мог бы теперь искупаться. Что же? Дрожь и тепло. Погружаются в эти слова.

И как только. Я подумал об этом. Вновь прикосновение. К спине. К руке. И сбоку. Рядом. И я чувствую. Что-то живое. Нет, опять показалось. Такого не может быть. После того, что произошло. И после того как я обхватил колени руками. И запретил себе видеть и слышать. Вот. Слова уплывут. И я сам

растворюсь. И поплыву белым туманом. Над утренней теплой водой. И что-то мне снова. Покажется в ней.

Третий раз. Потому что. Ожиданье обмануто. Все, как было. И ничего не случается больше. Но я уже всем существом знаю. Она рядом. Кошка пришла сюда следом за мной. И сидит она так же, как там. В комнате. Коснулась меня и садится рядом. На берегу разлива реки. И если бы я решил искупаться. Она бы вновь. Рядом со мной. Поплыла.

Оглядываюсь. Да, сидит. Готова. Но так же страшно. И неподвижно.

У меня за спиной раздается голос.

– Ну что же? Последний этюд. Синий, сизый туман. Вода. У меня тут на картоне. И в памяти у тебя. Да. Очень странно. Счастливое мгновение – самое горькое.

Отец верен себе. У меня за спиной. Пристроил трехногий штатив. Этюдник. Пишет. И только иногда вслух. Несколько слов. И опять. Пока над водой собирает слои белый туман. И вот его уже нет. И отец. Куда-то пропал. И я догадываюсь. Он кончил этюд и решил для себя. Кошка в Ленинград не поедет.

Вот она. Сидит неподвижно, как сон. И наверно знает, что мой папа решил. Зачем? Почему? Последний прощальный этюд. На том берегу две сосны. Два красных пятна. Солнце добралась до них. Кончена эта жизнь. Я знаю все, что он скажет. И поэтому он совсем незаметно и тихо ушел.

Снимаю сандалии. Пробую воду. Холод. Все снимаю с себя. Надо преодолеть. Нет. Никто не может решить. Осторожно ступаю. Глубже и глубже. Так, чтобы не было звука. По пояс. По грудь. Ну, конечно. Она плывет рядом со мной. А я стою. По горло в воде. И вот провал под ногами. Первый неожиданный всплеск. И я плыву наконец. Как она.

Кошка выходит на берег. Солнце не достает до нее. Холодные синие тени. И все же она не спешит. Отряхивается. Потом садится. Лижет себя. Вспоминает. Холодная дрожь. И ты понимаешь вполне. Что будет сегодня. Одежда моя на лиловой траве. Рядом с ней. Никуда не надо спешить. Круг завершился. И все стало с нами, как мы захотели.

Кошка дрожит. И медленным шагом. Тихо и мягко идет. Следом за мной. Мы переходим плотину мельницы. И какое-то время. Тонем в шуме падучей воды. А дальше подъем по дороге. К избам и к дому тети Наташи. Там, скользя по траве, набирает силу яркое солнце. Там золотые пятна растут. И вот слева ультрамарином четкие наши тени.

И вдруг. Навстречу нам. Выбегает маленький Журка. Пушистый. Пепельно-темный. Выбежал на дорожку. Остановился. По-взрослому сел. Обернул себя хвостиком. Ждет. Кошка неторопливо подходит к нему.

Сборы. Сборы. И вот последняя ночь. Ничего не помню. Ящик отец убрал. Спрятал матрасик. Журка спит со мной на кровати. Кошка в ногах. Под утро она прыгает и опять сидит на том месте у печки. Там, где она родила. Мама моет пол. Остановится. Долго смотрит. И моет опять.

Я был счастлив. Пока спал этой ночью. И от сна осталось. Где-то в душе. Состояние счастья. Память о нем. А остальное забылось. И ушло. Пол

высыхает. И даже в том углу у печки. Высохло все. Кошка с мокрыми лапами. Вновь свернулась. В ногах у меня.

– Просыпайся. Пора. И не надо страдать. Видишь – папа упаковал этюды свои. Позавтракаем. И телега будет. Мы договорились. Поедем на станцию. Поезд проходом. Три минуты стоит. Много народу. Как мы успеем. Журка с тобой. Понимаешь? Кошка останется. И через год. У тети Наташи. Мы приедем снова. Приедем за ней.

– Ну что ты молчишь? Она все тебе отдала. И теперь согласна. Журку отдать. Ну, здесь будет ей хорошо. И где-то в поселке. Желтая кошечка. Я знаю, где. Пойми, через год. Мы вернемся. И встретимся. Тут. И она будет ждать. И дай бог, чтобы тебя еще раз. Одарила такая любовь.

Мама протягивает руку. Чтобы кошку погладить. Но у нее смелости не хватает. И она обеими ладонями себе закрывает лицо. Она завидует кошке. Потому что. Котята живы. И можно в тепле и в холе жить и ждать еще целый год. Но все равно. Жутко. Невыносимо. И поправить нельзя.

Отец внимательно закрывает окна. Одно и другое. Проверяет. Можно ли толчком. Эти окна открыть. Проверил. Потрогал еще. И медленно отходит к нашим вещам. А на сухом полу лежит беззащитно раздвижной трехногий мольберт. Свернуто, упаковано остальное. Этюдник отдельно.

А у меня сборы короткие. Рисунков мало. Да и те никому не могу показать. Трагедия в голове. Сказке сегодня конец. Трогаю стены. Да, через год вернемся. А может быть тогда папа решит поехать к Ивану Макарычу. На Хепо-Ярви. И туда из Москвы. Заглянет опять Коваленко. И, может быть, не через год. А через два. Мы появимся тут.

Кошка следит за мной и за тем, как я трогаю стены. Спрыгивает с кровати. Стоит на сухом полу. Посредине. Рядом с вещами.

Что я делаю? Самое страшное. Вот. Исполнение желаний. А теперь только одно. Еще раз проверить окна. И закрыть кошку. В комнате здесь. Пока она еще неподвижно сидит. И никак не может поверить. В то, что отец напоследок вынесет свой мольберт и твердо закроет дверь.

Что я делаю? Почему сижу в телеге. И почему Журка у меня на коленях. Мы боимся. Что-то услышать. Зеленый двор. Сестренки. Дом тети Наташи. Развалины церкви. Там, рядом совсем, у спуска, мельница, плотина. Разлив реки. Все уплывает от нас.

И вот я как будто слышу. Голос кошки. Тонкий. Прямой. Небывальный. Он срывается. И опять. И опять. Избы плывут. Я оставляю Журку в телеге. И, ничего не видя, не слыша, спрыгиваю. Бегу назад. Возвращаюсь а дом. Тетя Наташа сторонится. Дает мне дорогу. Дверь. Открываю. Кошка на том же месте. Она спокойно смотрит. Она молча ожидает меня.

И вот. Я сижу на полу. Она прямо передо мной. И я. Ложусь у печки. На этот чистый вымытый пол. Кошка спокойно. Мягко ложится рядом. И сначала она, вижу, не хочет коснуться меня. И тут же. Ее коричневый носик. Собирает вокруг себя. То ласковое знакомое выражение. Которое я всегда любил и знал. И она ложится. Правым боком. И дает мне в ладонь свою красивую крупную лапу.

Теперь, я чувствую, она пойдет за мной, как только я попробую встать. Она ведь знает. Я вернулся, чтобы увести ее за собой. Больно, трудно решить. Она дождалась. И дождалась. Она согласна. Она уйдет за мною туда, где началась и начнется опять ее новая, счастливая жизнь.

Там Журка. Ее котенок. Он, которого она отдала. И я, тот же самый, кто здесь, в этой комнате, взял его и унес. А теперь вернулся. Кошка встает. И я. Приподымаюсь на локте. Сажусь на чистом полу. Ничего не решилось. И не может решиться. Пока мы здесь. И пока окна плотно закрыты. И пока распахнута эта наглухо перекрытая дверь.

Вот я встаю. Выпрямляюсь. Легко. Сбросить все это. Куда? Кошка идет к порогу. Опережает меня. А там отец. Он собой. Загораживает проход. И преграждает нам путь. Как хорошо. Схватка. Или всему на свете конец.

Папа забыл. Прикопленный прямо к стене. Свой самый лучший зтюд.

Он снимает его со стены. Сворачивает. И медлит минуту. Кошка прямо смотрит ему в глаза. И вдруг поворачивается. И возвращается в комнату. Невыносимо видеть, как она стоит на пустом чистом полу. Отец рывком уволакивает меня за порог. И закрывает страшную дверь. И припирает ее снаружи. Толстым коротким бревном. Которое почему-то стояло в сенях.

Смешно и серьезно. За дверью. Спокойствие. Тишина. Мы спешим. Потому что я знаю. Что происходит в комнате. Кошка торопит. Вот сейчас. Начнется то, что никому нельзя пережить. Мы почти бежим. И прыгаем в нашу телегу. Отец открывает этюдник. И прячет в него. Развернутый снова квадратик холста. Телега трогается. Журка у меня на коленях.

Кошка обходит комнату. Как будто в последний раз. Обходит. А кругом ничего не осталось. И она знает. Сюда очень долго. Никто не придет. И она прыгает прямо в окно. Головою в стекло. Ну, конечно. Его можно разбить. Бесполезно. И все-таки она прыгает в каждое из трех сияющих окон. И эти прыжки не в полную силу. А вот и последний. Самый слабый. На подоконник. Прыгает. Поворачивается. Спиною к стеклу.

Потом – на пол. И вот она снова. Посередине. Хозяйка. Отовсюду закрытой. Этой своей пустоты. Сворачивается клубком. На чистом полу. Никаких голосов. Неужели можно уснуть. И ей кажется, что она засыпает. И кто-то теплый. Гладит ее по голове и спине. Прикосновение живое. И почти неподвижное. Солнце добралось. Приятно пахнет. Вымытый пол.

И вдруг ей становится ясно. То, что она совершенно одна. И все, что вокруг. Дом. Поселок. Разлив. Берег. Совсем далеко. И даже котятя. Забыли. И только он один. Темный. Пушистый. Он. Которого она отдала. Он и хозяин. Оба они. Все дальше и дальше. И долго. Долго. Ей назначено ждать. И на этот раз. Она никого не дождет. И поэтому надо остаться. Не бойтесь. Вы как-нибудь. И когда-нибудь. Придете за мной.

Солнце не греет. Золотое пятно передвинулось. Кошка продолжает лежать. Свернувшись клубком. И вспоминает один за другим. Случаи прожитой жизни. Сколько их было. И пока она вспоминает, вдруг незаметно кончается день. И, тяжело ступая, в комнате. Оттуда. Тетя Наташа. Вот. Постояла. Вздохнула и вышла. А потом. Входит опять.

Осень. Иван Макарыч. Зовет отца. На дачу к себе. Дом наполовину готов. Хепо-Ярви рядом. Новые пейзажи. Коваленко приедет. Жаль – электричества нет. А он уже генерал. У него машина. Он отвезет. И у художника будет. Целая комната. Малая мастерская. Так и задумано. Дом двухэтажный. Сказка. Вторая осень. После войны.

Отец и Иван Макарыч. Там. Вполголоса. Обсуждают все это. В нашей большой мастерской. Они сидят в темноте. Без электричества. Не хотят зажигать. Огромную. Ослепительно яркую лампу. Она для ночной работы. Свет как будто дневной. Но сегодня отец отдыхает. А мы с мамой и Журкой. В малой нашей. Рядом. Слышим их голоса.

Журка душой похож на маму свою. Но почему-то он. Ее вытесняет из памяти у меня. Я стараюсь не помнить кошку. И когда получается так и я не помню о ней, – дела у меня идут хорошо. Но это случается редко. И все реже и реже. И вот сейчас. Неужели отец согласится. И мы с Журкой пойдем по следам. Кошки моей?

Занятия в школе скоро начнутся. Я рисую каждый день. Но почему-то. Никак не могу. Думать о том, что рисую. И у меня чужая линия обводит. Контур того, чего нет. Получаются образы. Совсем далекие от того, что я вижу. И это все больше и больше пугает меня. И сегодня я понимаю. Журка – спаситель мой. И все же некому. Об этом сказать.

Воображение. Когда ты уснешь? Но я как будто читаю письмо тети Наташи. Пережив. Невыносимо холодную зиму. Весною. Спустя почти целый год. Когда мы и впрямь поедem к Ивану Макарычу. Письмо брату. Отцу моему. И ко мне. Мама его прочитала. И мне отдала. А в нем. Самый конец. Вижу отчетливо карандашные буквы.

Так вот она чем завершилась. Эта страшная сказка. Целую зиму. Кошка жила в комнате нашей. Кушала. Спала на холодном голом полу. Ира. Зоя пытались ее приручить. Рядом теплое помещение. Горячая белая русская печка. Лежанка. Но кошка приходила кушать и спать. Только в ту комнату. Где родила. Днями она пропадала куда-то. И возвращалась. Ждала.

А по правде. В тот именно день. Когда мы уехали. Она. Вечером. Проснулась. На теплом полу. Встала. И тихо исчезла. Неизвестно куда.



V. КРИТИКА КАК ИСКУССТВО

В. И. Чернышев

ГУННКА

(рассказ)

КРИТИКА как ИСКУССТВО



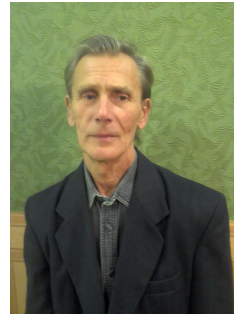
В. А. Овсянников

ДОМ ГРУДИНИНА

(рассказ)

ЕДЕТ ЦАРЕВИЧ ЗАДУМЧИВО ПРОЧЬ

КАК ПЕРЕВЕСТИ ХАЙКУ



А. В. Медведев

О влюбленной голове

В. И. Чернышев

«Яростная переписка»

"ГУНКА", или «встреча в вагоне»

Кажется, это было в 1998-м году, мы с сыном возвращались из Москвы в Петербург, наши издательские дела были уже в самом худшем положении, все развалилось и разорилось, что только можно, сотрудники разбрелись кто куда, имущество протекало в дыры, из которых состояло издательство, офиса, кажется, в Петербурге уже не было, надежд на будущее – тоже, ни соратников, ни сотрудников, ни идей, ни энергии к жизни... Но что-то, все же, еще оставалось, наша жизнь пока еще не стала хаотическим блужданием молекул, и хотя воли к направленному взаимодействию с миром уже не было, но молекулы чему-то еще подчинялись и не слонялись абы как. Жизнь была еще жизнью и куда-то двигалась и куда-то стремилась. Мне было в это время 56 лет и я чувствовал себя относительно здоровым, хотя время от времени возникали приступы аритмии.

Если и личное бытие представить как сосуществование двух вселенных, организованной, одухотворенной вселенной, имеющей смысл и цель – Космоса, и неорганизованной вселенной, без смысла, цели, направления, ничему не подчиняющейся, никуда не стремящейся, или подчиняющейся только случайности – Хаоса, то что же еще оставалось от Космоса? Мы двое, севшие в скорый поезд Москва – Петербург около полуночи с уверенностью, что в девять часов утра мы выйдем из вагона на Московском вокзале и поедем домой в городскую квартиру (а тогда у меня был уже и старый деревенский дом в Новгородской области, куда я иногда сворачивал по дороге из Москвы), наши домашние, которые нас ждали, возможность еще купить билет и путешествовать с относительным комфортом, существовал офис на Новом Арбате на 21-м этаже, и существовали относительные минимальные средства (не помню уже, откуда мы их добывали), позволяющие путешествовать на поезде, обедать, платить за квартиру и офис, даже иногда ходить в театр и филармонию. Нищета еще не наступила, хотя уже через год я ехал из Москвы в Новгородскую деревню в электричке, возвращаясь из Сибири с двумя стеклянными сервизами, купленными на станции около Казани (зачем? Уму непостижимо, один сервиз я подарил потом Володе Алексееву, а он подарил его девушке-путане...), а еще через год я ехал в электричке из Москвы, продав Библию 1812 года главе какого-то православного братства за 50 рублей, с рюкзаком, полным пустых бутылок, их я по дешевке продал в Окуловке и на вырученные деньги купил билет в автобус до деревни – иначе мне пришлось бы идти пешком 25 километров) – но сколько же во мне было еще жизненной энергии и силы, чтобы все же доехать из Москвы до деревни, а не идти оттуда пешком, побираясь по дороге?!

Что же еще тогда, в 98-м году, принадлежало моему Космосу?

Было главное: **телеология** – то есть *целесообразность бытия* (в частности, моей собственной жизни) и **энтелехия** – *его предназначение и жизненная сила*.

Поскольку моя личность была преимущественно явлением формы, постольку я сам был скорее литературным явлением, образом и воплощением, я был сосредоточен и проявлен и выявлен в Слове. Моя жизнь, как теперь я вижу, не составляется из хаоса событий, а представляет собою СЮЖЕТ – поиск и обретение **понимания**, и встречи с необходимыми личностями, в совокупности оправдывающими и жизнь как таковую и мою собственную жизнь. Это не обязательно самые приметные и самые выдающиеся – это только в совокупности необходимые и достаточные, чтобы оправдать и Народ и меня самого. Даже можно отчасти сказать, что не столько я сам существен, сколько те, с кем пути мои пересекались, с кем я целовался, разговаривал, пил водку. О них нужно написать, они того стоят. Но этот рассказ должен быть интересен, он должен быть судьбой и образом, сюжетом, приключением, загадкой и откровением.

Смогу ли? Музы, духи, силы небесные, мой собственный ангел или демон должны мне помочь.

Ну так вот, осенью 98 года мы вдвоем с сыном вошли в купе, в котором сидела милая, изящная, красивая и притягательная девушка, в ее облике, взгляде, движениях были не только изящество, но и сильный ум и обаяние.

Разговор завязался сразу же, и мы непринужденно начали болтать о разных милых пустяках, как это обычно и бывает при начале знакомства.

– Вы, вероятно, приезжая? – спросил я. – Может быть, из Прибалтики?

– Разве я как-то не так говорю?

– Вы говорите на прекрасном русском языке, но слишком хорошо на нем говорите, нет некоторой неряшливости в произношении, которая отличает посконных русских, москвичей и питерцев, но еще больше деревенских. Такое впечатление, что родным языком у вас был другой, а русский – благоприобретенный. Так, родным языком Пушкина был французский, русскому он обучился в четыре-пять лет, и многие даже жалуются, что в большинстве стихов он тяжеловат, слишком литературный, слишком книжный, особенно в сравнении с Жуковским. Приведу пример. Мой друг Казимир не знал польского языка, поэтому я буквально навязывал ему русскость, хотя его родные все говорили по-польски (дома) и хорошо знали литовский язык (конечно, вместе с русским), их родиной была Виленщина. На первом курсе он стал изучать польский язык, выучил наизусть Мицкевича, но для его старших братьев он так и не стал поляком, хотя они Мицкевича наизусть не знали. Вот и про вас я думаю, что, возможно, вы все же урожденная русская, но жили в чужой языковой среде.

– М-да... – произнесла "гордая полячка" (но нет, она оказалась не полячкой)

– А я-то гордилась своим произношением, я его *оттачивала*, я была уверена, что никто в мире меня не заподозрит в чуждом происхождении. Но так и быть, приходится *расколоться*. Я родилась в Германии, была немкой, и родным языком у меня был немецкий. Русский язык я изучала в университете и приехала в Россию, чтобы написать о ней диссертацию. Здесь судьба меня столкнула с «отбросами общества», изгоями, я познакомилась с жизнью *бомжей* и заинтересовалась их бытом и судьбой. Чтобы понять их изнутри, я

даже вошла в их "стаю", стала жить вместе с ними, как ни странно, среди них и мой русский язык и моя русскость только возросли.

– О вас писали в газетах, я о вас читал, как замечательно, что мне удалось с вами увидеться! И заверяю вас, что в вас всё безупречно, и язык, и поведение, и внешность, уверен, кроме меня никто не ощутит некоторый чуть слышный привкус, привкус обертонов, который присутствует почти неуловимо в вашем голосе. Так не всякий почувствует разницу во вкусе между лесной смородиной и садовой. Можно даже сказать, что я русский деревенский или городской, а вы русская с «Земляничной поляны». Или даже из реторты алхимика. Жаль, что это не я зародил в вас русский дух, хотя такое в моей жизни бывало... Но скажите мне честно, как же вам удавалось среди них жить? Разве сама обстановка, сами условия не были невыносимыми? Разве они не приставали к вам? Вот я жил и в общежитии, и на съёмной квартире, и в тюрьме, и в сумасшедшем доме, и даже в палатке у костра, но в грязном и холодном подвале больше двух дней я бы не смог выжить!

– Конечно, в необычных условиях одному всегда выжить трудно, но я ведь была не одна!

– Но в тюрьме мне в одиночке было легче, чем в общей камере, меня стесняли окружающие даже больше, чем несвобода.

– Это потому, что вы окружающих не любили. А когда любишь тех, с кем живешь, нет никаких невыносимых условий.

– И что же вы делаете теперь? Откуда, куда, с кем?

– Я только что была в Германии, встречалась с родителями и прошлыми друзьями, прилетела в Москву и возвращаюсь в Питер, который стал мне родным. Научная карьера моя сложилась великолепно, в Германии я защитила диссертацию, обо мне там тоже писали, я стала своего рода героиней, хотя многие меня осуждали, особенно после того, как я подробнее объяснила, почему я стала русской и отказалась от Германии.

– Если вам не тяжело об этом говорить, то расскажите, пожалуйста, о ваших чувствах и вашем решении подробнее, я тоже размышляю о родине, о духовной родине, даже написал статью «Я русский!», которую даже русские читатели не очень-то приняли!

– На родине за последние три года я была три раза, в этот раз по настоятельной просьбе родителей, они мне объявили, что если я не выкину эту русскую блажь из своей головы, то они от меня отрекутся и даже лишат меня наследства. Но как я могу оставаться немкой? Объясню это на примитивных примерах. Представьте, что навстречу друг другу идут два немца, и один другого спрашивает, нет ли у того сигареты. Тот достает сигарету из кармана и протягивает просящему, тогда первый достает два пфеннига, которые владелец сигареты без стеснения как должное кладет в карман. А в России? Тоже представьте, что на заводе после рабочей смены трое решили распить бутылку, сбросились на выпивку и закуску, поставили в углу заводского двора ящик, сели вокруг, откупорили бутылку... и вдруг один из них говорит: Ребята, простите меня, но сегодня я с вами не буду пить. Утром моя жена сказала, что если она услышит запах спиртного, то выгонит

меня из дома, и я чувствую, что так и поступит. Пожалуйста, пейте уж без меня, а я рисковать не буду, я побегу домой.

И ушел, но долю свою не стал забирать, ему даже в голову не пришло, чтобы они вернули ему его, условно говоря, *два пфеннига*.

Я думаю, что одного даже этого примера достаточно, чтобы понять, почему я больше не могу быть немкой. Да ведь и прежде такое бывало неоднократно, вы, может быть, не знаете, но среди русских юродивых бывали бывшие немецкие купцы, и один известный вологодский юродивый – ганзейский купец, и в Петербурге немцы быстро обрусевали, и Дельвиг, и Кюхельбекер, и Владимир Даль, и вот теперь часто приезжает в Россию внучатый племянник Достоевского барон Фальц-Фейн из Лихтенштейна, хотя он здесь и родился, и увезли его после революции пятилетнего, но он никогда не переставал сознавать, что он русский, *я читала его воспоминания в журнале Мера...»*

– ...который я редактировал и издавал! – закончил я.

Красавица *бывшая немка* вскочила и бросилась ко мне, вдруг схватила меня в объятия и прильнула в удивительном поцелуе!

– Ребята! – воскликнула она восторженно, – а не распить ли нам по этому поводу бутылку водки, у меня как раз с собой есть, купила в Москве, предчувствовала, что что-то должно случиться необыкновенное?! *И ведь вам даже не надо входить в долю, я угощаю!* – добавила она смеясь

Конечно, поспать нам толком уже не удалось, разумеется, мы не ограничились одной бутылкой, и хотя я старался пить больше моих "собутыльников" (я был закалённый боец и пил в эти безумные девяностые годы вообще бесшабашно, как только остался в живых?!), но и моей новообретенной ближней сестре досталось немало – а что она более подходит мне в дочери, об этом мы как-то не думали. Правда, сын смотрел на меня временами укоризненно, он был более строгих правил, чем я, все таки я его воспитывал на лучших литературных образцах – поэтому целоваться мы выходили в коридор, то под предлогом, что надо налить чаю, то ходили за водкой. Я ее окончательно утешил, я сказал, что целуется она совсем безукоризненно, как *самая русская из всех русских девчонок*, и ничего немецкого в ее поцелуях нет. «И много ты с немками целовался?» «Всего только раз», – и она укорила меня, что я чистый гунн, а вовсе не культурный европеец... – «Но значит, я твоя *гуннка*, и ради этого мы и встретились, пусть только на одну эту чистую и безгрешную ночь, хотя мы оба и русские тоже, но "для этих немцев" мы варвары, гунны, и ты и я! Вот для чего, оказывается, я перешла в русские – чтобы поцеловаться с тобой! Жаль, правда, что мы больше встречаться не будем: нельзя, чтобы твой сын смотрел на тебя укоризненно. Прости меня, но *ребенок женщине дороже возлюбленного!*»

После в моей жизни было еще немало всякого, я и болел немеряно, и чуть не стал нищим, и были еще и другие встречи и очарования – не только врожденное взращивает во мне писателя, но и мои странные встречи из меня его пытаются сотворить...

В. Чернышев. КРИТИКА КАК ИСКУССТВО

2 декабря 19. Читаю выдающийся роман современного английского писателя, страдаю, восхищаюсь, негодую, разочаровываюсь, изредка отваживаюсь на споры. Автор показывает почти бесконечную галерею самых разнообразных мужчин и женщин, преимущественно молодых, принадлежащих чуть ли не ко всем народам мира и живущих в Индии и сопредельных странах – но упоминаются или участвуют в событиях при этом и Россия, и Англия, и Новая Зеландия, и Австралия, и даже страны Ближнего Востока, Европы и Африки...

Что меня поразило, помимо высоких литературных достоинств романа? Поразило то, что автор показывает и доказывает изменчивость, неопределенность человеческого характера и души, показывает на примерах, что человек может не только пасть в бездну греха, преступления, растрения чуть ли не с небесных высот, но может и подняться с самого дна жизни и падения, низкий и жестокий может раскататься и вступить на лестницу, ведущую наверх. Я всегда любил слушать романс «Жили 12 разбойников» в исполнении Шаляпина, но я никогда не верил в то, что «вдруг у разбойника лютость совести Господь пробудил» – что это когда-нибудь и в самом деле случилось. Точно так же я, разумеется, читал и роман Достоевского «Преступление и наказание» и не сомневался в том, что Раскольников покаяться в своем преступлении – но дело в том, что он и не был преступником, он не был жестоким человеком и не был убийцей. Он не способен был убить во имя власти, богатства, честолюбия, во имя наполеоновских амбиций, он не был способен убить и во имя «идеи» – к чему призывали и герои другого романа Достоевского – «Бесы» – это всё были условные, воображаемые истории, своего рода сны наяву или даже математические условности. Некоторые теоремы доказываются «методом от противного»: мы предполагаем, что верно нечто неверное, *невероятное*, например, что два треугольника с соответственно равными сторонами не равны, накладываем один на другой и получаем очевидно абсурдное следствие, так и в случае с Раскольниковым, допустив, что он совершил убийство, мы следим за следствиями, которые бы он при этом претерпевал, и видим, что в этом случае он претерпевал бы невероятные мучения, не позволяющие далее жить – в силу исходного устройства его души, характера, его личности, исключающих возможность убийства. Другой человек (например, известный нам Усатый, мог истреблять людей миллионами и при этом не испытывать никаких мучений ни в то время ни позже. Но мог ли вдруг чудесным образом покаяться в убийствах, испытать пробуждение совести Кудеяр-разбойник, атаман разбойников? Если наши поступки, наши побуждения и переживания не предполагают *органически сообразных им следствий*, то, вероятно, что будущая жизнь наша не предсказуема, и совершая зло, мы пожнем добро или наоборот – но если все же **следствия** поступков и событий так же детерминированы вызывающими их причинами, как и «при нагревании газы расширяются», то как долька лимона вызывает ощущение кислого, так

Кудеяру-разбойнику нет причины почувствовать «сладость раскаяния», если только не произойдет нечто непредвиденное, экстра-ординарное, в череде житейских событий, не требующее такого воздействия Господа на человека, о каком рассказывал апостол Павел и что случилось с ним по дороге в Дамаск, где Христос предстал перед ним в блеске молнии. (И точно то же самое произошло однажды с рядовым, хотя и жестоким конвоиром, который на узловой станции перегружал заключенных из состава в состав и ударил прикладом замешкавшуюся пожилую эзчку: *Ну, старая бл...дь*, – заорал он на нее, – *пошевеливайся!* – и услышал в ответ: *«Сыночек, а это ведь я, твоя мать!»*)

Но тем не менее, читая роман английского писателя, героями которого являются бандиты, наркоманы, сутенеры и проститутки, мошенники и воры, но одновременно и полицейские, следователи, судьи, тюремщики, политики, богатеи, чиновники и журналисты, нищие и обитатели трущоб, я верю писателю, который показывает, что и у преступников часто еще почти неиспорченные почти детские души, способные к преображению, в то время как законопослушные преуспевающие граждане, правители и бизнесмены, а в особенности те, кто призван охранять закон и устанавливать порядок, настолько пропитаны адскими испареньями, настолько погрязли во зле, что уже не способны ни к чему человеческому. Корысть, мздоимство, страх и злоба сопутствуют им во всей их жизни, от необеспеченной (часто) юности до обрызгшей старости. И на вопрос, кто управляет этим миром, всем худшим в нем, автор отвечает: миллион правителей-негодяев, десять миллионов исполнителей-трусов и сто миллионов подвластных им тупиц и глупцов, мелких чиновников и журналистов.

Нет, не пробуждает совесть Господь ни в Кудеяре-разбойнике, ни в сыщике Видоке, ни в Торквемаде ни в Кальвине, ни в пламенных революционерах, – Марате, Робеспьере, Ленине и Троцком, ни в тиранах, – Грозном, Петре и Сталине; не пробуждает и не делает «совершеннолетним» и ум блаженных но нищих духом, вроде той старушки, о которой Ян Гус сказал: *Святая простота!* Но святая ли? А не дьявольская?

Погромы и избиения невинных как лесные пожары прокатываются по всем странам мира, и по Индии, стране чудес – избиения сикхов, избиения тамилы, и по Пакистану – резня в Бенгалии, и по Турции – армянская резня, и по Франции – Варфоломеевская ночь, и по Испании – сожжения ведьм, и по Германии – преследования евреев (Холокост). Уничтожение целых классов на совести и древних кхмеров в Камбодже, и русских революционеров в России, и якобинцев во Франции, и маоистов в Китае... впрочем, рука уже устала писать...

Пробуждает ли Господь коллективную душу народа, ответственного за убийства? НЕТ. И если коллективная душа не раскаивается в своих злодействах, то и действительный Раскольник не мучается и не возрождается к свету, а только вымышленный литературный герой, *условное допущение в математической теореме*.

2. Муза критики

Разочаровался я в собственном художественном таланте – хотя и предчувствовал это разочарование, даже точно знал, что **музы** в конце концов сойдутся в своих представлениях обо мне – человеку суждено либо *почти безотчетное художественное творчество*, либо *размышление о творчестве*, его философский анализ. Не это ли имел в виду Пушкин, когда написал Вяземскому, что его стихи слишком глубокомысленны, а поэзия должна быть глуповата? Впрочем, даже неважно, это ли он имел в виду, достаточно того, что эти Пушкинские слова поддаются именно такой изящной интерпретации, и не случайно поэты становятся критиками, исследователями и историками искусства, когда музы их покидают, и священный огонь, зажженный ими и горевший в их душах, перестает поlyphать, и начинает *светить* ровным *лунным светом* – *отраженным светом*. **Селена – муза критики**.

Но все же я сначала спросил у сведущего народа, не знают ли они, кто *муза критики*, и в меня полетели камешки. Если народу поверить, то можно подумать, что критика, то есть размышление над произведениями искусства – шарлатанство, но это, разумеется, не так, в широком смысле этого слова критиком являлся Аристотель, Менипп, Платон (ну, правда, этот являлся дрянным критиком), да и всякий философ в той или иной степени – критик.

Всматриваясь в себя самого как в автора, я хорошо увидел, что пока у меня были художественные задатки, пока еще я мог что-то лепить свое, я не в состоянии был подняться над творчеством как целостной областью духа, и лишь когда умения ваятеля исчезли бесследно, я стал видеть литературные и музыкальные произведения так же, как мы видим здание, находясь вне его.

Пока я писал стихи, я был глуповат, перестав их писать, я наконец поумнел. Не так ли мы глупеем, когда нами овладевает страсть к единственной, и в то время, как всем разумным нашим друзьям видны недостатки нашей избранницы, мы слепнем и не видим ни одного. Либо любовь и священная слепота, либо ясное и зоркое зрение, но равнодушие и спокойная дружба.

Вот почему поэт становится литературным критиком – он устал стоять на коленях перед Музой, и вышел из ее храма, освободился от ее магических чар – освободился и от дара священного бормотания.

Пушкин стал издавать журнал, написал Историю пугачевского бунта, Путешествие в Эрзрум, наконец взял и застрелился рукою Дантеса; Вяземский начал писать критические статьи; критиком стал Ходасевич; перешла к прозе Марина Цветаева, редактором журнала стал Твардовский....

Но все же, нельзя ли поумнеть, оставаясь поэтом? И в противоречие сказанному (чтобы его подтвердить, ибо некоторые учения настолько многогривы, что мы не только не в состоянии понять, верны ли они, но и сообразны ли здравому смыслу – и именно поэтому они претендуют на истину в последней инстанции) – я замечу, что иные поэты достигают «акме», переходя в область *интеллектуальной поэзии*: таковы Бальмонт и Максимилиан Волошин ... Кажется, поумнел и я, становясь семь лет назад философом и поэтом.

3.

Но, наконец, я стал в достаточной степени **критиком**, чтобы поверить, что могу поучать других... или, по крайней мере, поучать наивных читателей, еще достаточно стихийных, чтобы переживать искусство, как и любовь, чувственно или сверхчувственно, но не интеллектуально. (Впрочем, моя жена уверяет, что в норме у человека развита только одна половина мозга – и поэтому он руководствуется либо логикой либо эмоциями, либо внушениями со стороны; или ни одной – и только тогда он *блаженный*, согласно христианской классификации, то есть вполне зауряден, «таков же, как все» – и только некоторые отвечают замыслу Демидурга, и одновременно и мыслят и чувствуют, посему с опаской прислушиваются к чужим мнениям, в том числе и к тем, которые якобы внушены богом толпы или последними открытиями науки, – посему я постоянно спорил со всеми, несущими прямолинейную чушь. Одни, как большевики, уверяли, что бога нет, и с помощью расстрелов и тюрем успешно доказывали сие в течение 70-ти лет; другие, как христиане, уверяли, что их (и наш) Бог распят, и с помощью аутодафе и пыток (которые, оказывается, по их вере, были самым успешным методом обретения и доказательства истины) навязывали нам свою веру даже в течение девятнадцати столетий; третьи пошли «третьим путем», они тоже не сомневаются, что бог есть, верят в него, поклоняются ему, призывают и нас ему поклоняться, и наконец и меня поставили в тупик, и я уже не знаю, как возражать их вере.

Вера же их состоит в следующем. Они называют себя христианами, но священных текстов они не читают, зачем приходил Христос и зачем придет снова, и спас ли он уже нас или спасет чуть позже, не знают тоже. Они думают и утверждают, что Христос пришел, чтобы сообщить людям, в чем состоят правила добра и добронравия (будто народы, жившие уже несколько тысячелетий в развитых государствах, в рамках культуры и цивилизации, этого не знали, в то время как в Риме, например, римского гражданина нельзя было подвергать телесным наказаниям, и об этом рассказывает апостол Павел в своих посланиях; и в то время как после победы христианства над язычеством все народы средиземноморья буквально на тысячелетие одичали, пропали библиотеки, пропали лица и школы, пропали даже физические упражнения и олимпиады, культивирующие телесную красоту... в то время как и у иудеев были уже правила добра, которые были уже изложены в Библии (Десять Заповедей Моисеевых), среди которых, правда были заповеди не убивать и не похищать чужое имущество, но не было заповеди любить труд и *трудиться*, не было заповеди любить родину и защищать ее, не было заповеди ЛЮБИТЬ женщину и детей ее... Но они думают, что *Христос пришел, чтобы проповедовать людям любовь*, что **христианство – это религия любви** – любви людей друг к другу и к Богу. И они поклоняются такому проповеднику, который, по их мнению, Сам был сыном Божиим, строят храмы в его честь и ходят в эти храмы молиться. Правда, они не помнят, зачем ранее сторонники их Бога устраивали крестовые походы и разрушили Александрийскую библиотеку, а книги сожгли.

Одновременно многие другие или даже некоторые современные христиане говорят, что коммунистическое учение проповедует, что *человек человеку друг, товарищ и брат*, и народы тоже братья, что все люди должны иметь все общее и всего поровну, и мы сообща должны построить справедливое общество, в котором все будут счастливы.

И кажется очевидным, что и это учение верно и добродетельно, и нет различий между коммунистами и христианами, и они не пытаются объяснять, почему под влиянием этого учения коммунисты в Китае во время Культурной революции перебили сто миллионов человек, а в Камбодже его сторонники перебили половину своего маленького древнего народа, а в России во время Гражданской войны уничтожили часть образованного общества, других изгнали, потом был голод и уничтожение священников, потом коллективизация, раскулачивание, Большой Террор (и до сих пор спорят, пятьдесят миллионов тогда перебили или только половину пятидесяти), потом Всемирная война, потом война за мир во всем мире, и вот я читаю книгу о тех и других, и там в частности рассказано, что один афганец ненавидит всех русских за то, что во время советской войны в Афганистане они уничтожили его деревню, мужчин и женщин, стариков и детей, всех до единого – и я знаю, что это правда, так было, потому что и в 1920 году во время восстания на Тамбовщине газом травили крестьян как мышей.

Буржуазная революция во Франции в 1789 году провозгласила в качестве своих основных принципов Свободу, Равенство и Братство (что тоже кажется хорошим и не противоречит ни Евангелию ни Моральному Кодексу строителей коммунизма), и воздвигла в центре Парижа гильотину, которой отрубали головы тех, кто был против.

А Константин Леонтьев в 19-м столетии создал **Теорию цветущей сложности**, которая объясняла, что люди не равны и равными быть не могут, и что восемь веков от десятого до восемнадцатого в Европе были наилучшей исторической эпохой, а теперь наступило растление (не буду объяснять азы его теории, как и азы марксизма и учения о диктатуре пролетариата и азы христианства, читатель – которому угораздило в данный момент читать мою статью, – надо не полениться и прочитать **Новый Завет, Капитал**, один том из сочинений **Леонтьева**, его письма к **Розанову**, его рассуждения о **Страхе Божиим**, лежащем в основании **любви к ближнему**).

Надо также прочитать книгу *Шафаревича «Социализм как явление мировой истории»*, в которой показано, что сущностью **социализма**, то есть **регламентированного общества**, является **воля к смерти**.

Но у меня возникло такое странное представление о современном словно бы образованном человеке, словно он полный невежда и почти ничего не читал кроме романов Дюма, и его представления о христианстве и социализме туманны и обрывочны и дают ему понятие о действительности такое же, как если бы он пытался читать книги, зная из тридцати знаков азбуки только десять. Я не говорю, что надо прочитать Монбланы книг, но хотя бы несколько указанных мною книг надо прочитать, и только после этого между мною и читателем возможен диалог.

4. Искусство суждения

Культура и Искусство, говорят историки, на первых порах **синкретичны**, то есть соединяют в некую целостность разные их виды, история неотделима от мифологии, медицина неотделима от магии и шаманства, география неотделима от сказок и легенд, так же синкретична и поэзия, в которой содержится почти все что угодно, и судьбы героев и история народов, и философия, как, например, Илиада и Одиссея Гомера.

Развиваясь, Литература разделилась на Поэзию, Художественную литературу, Историю, Философию, Литературу научную. С возникновением философии возникло противоборство и исследование противоборствующих мнений, их анализ и оценка, так появилась **Критика**, являющаяся необходимой составной частью всякой философской системы взглядов (от греч. *krítike* – **искусство суждения, оценка**).

Естественным образом такая критика, соединяющая в себе и искусство суждения, и оценку того явления, исследованием которого занимается данное развернутое "суждение": статья, роман, поэма, философская система – оказалась в центре "суждения", стала его **методом**, то есть осью статьи, романа, поэмы, философской системы. Условно говоря, критика вынудила писателя создавать вместо художественного произведения того или иного жанра "философский роман", хотя бы он был по объему равен статье или рассказу, ибо по методу его представления он должен был быть всемирным, давать оценку не только частному явлению, но и той системе, к которой это явление принадлежало. Не фабула, не сюжет, не силлогизм и образ, не повествование или воспоминание стали главенствующей формой произведения, но *Критика стала его формой (формой Романа)*, одновременно и Роман преобразился, он стал синкретичным, вернулся в зарю своего происхождения, включил в себя Миф, Эпос. Мемуары, легенды, философствование, анализ и **оценку**. Важнейшей частью нового философского романа стало рассмотрение различных религиозных и научных учений и философских систем.

Неизвестный автор пишет, что «суммирование сущностного содержания различных учений стало способом познания Мира и путем познания Истины. Одновременно возникла догадка о том, что Критика – не только средство на пути к истине, но что сама истина "полемична" по своей природе» – что, конечно, являлось абсолютной противоположностью тоталитарного миропонимания и христианства и марксизма, утверждающих, что вся истина содержится в их учениях.

Но таким образом оказывается, что начинаясь как **искусство суждения**, то есть как *искусство критического анализа и рассмотрения* чужого произведения, *критика* превратилась в форму нового произведения "автор-критика", то есть сама стала искусством, наряду с литературой, зодчеством, музыкой и метафизикой, и отныне надо вести речь и иметь дело с новой не только равноправной с другими областью искусства, но и претендующей на главенство. Начинаясь с анализа, Критика стала Новым Синтезом, родилось не только искусство критики, но воистину **Критика как искусство**.

5. Критика как *Искусство*

Я начинался как поэт, еще в семь лет я пытался подражать Пушкину в его сказках в стихах, потом пытался писать рассказы и повести, первое достаточно существенное произведение (Боль и любовь) я написал в возрасте "второй молодости", в пятьдесят семь лет, перенеся почти смертельную болезнь. Игорь Ростиславович Шафаревич сказал, что не будет давать оценку его художественности, но в моем романе *всё правда*. (И я горжусь его отзывом, он сыграл важную роль в моем становлении как философствующего писателя.)

В шестьдесят два года я написал (в тюремной камере) философскую критику христианства и "христианской философии" (существование которой я отрицаю), роман «Записки на пальме», в который были включены даже отрывки из моих математических изысканий – он явился дальнейшим шагом на пути к Новому синкретическому роману, Саша Михайлов оба моих произведения оценивал как Мениппею.

Затем потянулись годы учения и поисков, в 2015 году я снова пережил серьезное испытание, в результате которого во мне **прорвало шлюзы** (по выражению моей врачихи – девушки-доктора), и я написал в течение двух лет несколько книг: Записки редактора, Любовь как всемирное притяжение, Поиски длиною в жизнь.

Не знаю, какое испытание я переношу ныне, что мучает и грызет мою душу, но я нахожусь в глубокой депрессии и словно пытаюсь пробить стену тюремной камеры – камеры, в которой заключено мое тело. Правда, одновременно я переживаю удивительно плодотворный период, который, казалось бы, должен был бы меня наполнить отчаянным счастьем – или я и подлинно счастлив, только по своему неразумию этого еще не понял?

За последние полтора года родились «Встречи на дорогах» и «В погоне за временем» – первые две книги «Исповеди пасынка века» – в них уже окончательно сформировался новый жанр философского романа – **Критика как искусство**.

Однако, разве не прочитал я более пятидесяти лет назад у Оскара Уайльда его эссе «Критик как художник», в котором Уайльд уже сказал нам что-то подобное о предназначении критики и о ней как особом жанре литературы?

«**Эрнест**. И все-таки, серьезно говоря: зачем нужна художественная критика? Почему не предоставить художника самому себе, чтобы он создавал, буде к тому стремится, новый мир или отображал мир, который нам известен и которым, полагаю, мы бы все пресытились, если бы Искусство, с его тонким даром отбора и отточенной способностью подмечать существенное, не очищало для нас этот мир, придавая ему, пусть на мгновение, вид совершенства. Мне кажется, воображение создает – или должно создавать – вокруг себя сферу уединенности, ибо оно всего привольнее чувствует себя среди молчания и одиночества. Что за дело художнику до крика и брани критики? **Отчего же, кто сами не способны творить, берут на себя смелость суждения о творчестве?** Что они могут об этом знать? Если созданное художником просто для понимания, объяснения не нужны...»

Я ведь и сам сознался в том, что художественные произведения создавать не могу, и если когда-то пытался писать стихи и рассказы и даже написал два философских романа (но все же не совсем художественных), то в настоящее время я умею только читать чужие романы, но не писать их. Что же касается живописи, зодчества и музыки, то в этой области творчества я был нулём от самого рождения, хотя и бываю в музеях и рассматриваю здания на улицах, когда по ним прохожу, а на музыкальных концертах иногда даже проливаю слезы. Но разве этого достаточно, чтобы сметь судить об искусстве, не умея его создавать? Но посмотрим, однако, что об этом пишет Уайльд.

«Эрнест. Я этого не говорил.

Джилберт. Но должны были сказать. В наши дни осталось мало вещей таинственных, и нельзя позволить, чтобы отбирали еще одну. Члены браунинговского общества, подобно теологам из числа приверженцев широкой церкви или авторам, печатающимся в вальтерскоттовской библиотеке великих писателей, как мне кажется, все свое время тратят на то, чтобы внушить публике мысль о своем избранничестве, пока в него никто не перестанет верить. Мы полагали, что Браунинг был мистик, а нам толкуют, что он попросту не умел связно объясниться. Мы воображали себе, что он стремился нечто скрыть от чужих глаз, а нас уверяют, что ему почти не с чем было предстать перед публикой. Я говорю только о его сбивчивых произведениях. А в общем и целом он был великий человек. К сонму олимпийцев он не принадлежал, но, как настоящий титан, во всем был недокончен и несовершенен. Наблюдательностью он не отличался, а поэтическое вдохновение посещало его лишь изредка. В его поэзии чувствуется борьба с самим собой, усилие и добровольно наложенная узда, и идет он не от переживания к художественной форме, а от более или менее определенной мысли к полному хаосу....»

И далее в том же духе, не ясно, издевается ли автор над поэтом, о котором пишет, или его защищает. Но все же, оправдана ли критика, мы пока не узнали, посмотрим дальше... [...]

Джилберт. Критик воздействует самим фактом своего существования. ...В нем культура эпохи находит свое высшее осуществление. Нельзя требовать, чтоб он ставил перед собою иные цели, кроме самосовершенствования... У критика вполне возможно желание влиять непосредственно, только тогда уже не на отдельную личность, а на все свое время, которое он будет стремиться пробудить к сознательной жизни и тем самым к творчеству, воплощающему в себе новые устремления и запросы, которые критик глубже всего постиг благодаря особой остроте своего зрения и тонкости своих переживаний. [...]

Эрнест. А вы не допускаете мысли, что **лучшим судьей стихов будет поэт, как живописец – лучшим судьей картин?** Всякое искусство должно ориентироваться прежде всего на художников, которые ему служат. Их мнения наверняка должны быть самыми ценными.

Джилберт. **Всякое искусство ориентируется лишь на художественный душевный склад. Оно не обращено к собственным профессионалам.** Само себя оно считает универсальным, и во всех своих проявлениях оно едино.

Художник не только не может быть в искусстве лучшим из судей, – если он истинно велик, он и вообще не может судить о произведениях, созданных другими, да навряд ли способен судить и о собственных работах. [...]

Эрнест. Так вы считаете, что великий художник не может оценить красоту произведений, не им самим созданных?

Джилберт. Он просто лишен такой возможности. Прочитав «Эндимиона», Вордсворт нашел в нем всего лишь живость языческого мироощущения, а Шелли, который не выносил будничной, повседневной обыкновенности, остался глух к стихам Вордсворта, раздражавшим его своей формой, Байрон же, этот великий страстотерпец, не сумевший до конца осуществить самого себя, был не в силах по достоинству оценить как поэта, воспевавшего облака, так и того, кто восхвалял озера, и ему осталась недоступна магия Китса. Еврипид со своим реализмом внушал отвращение Софоклу. Эти потоки горячих слез не пробуждали в нем никакой музыки. Мильтон, наделенный особым чувством возвышенного стиля, ничего не понял в методе Шекспира, как и сэр Джошуа в методе Гейнсборо. [...] истинно крупный мастер не способен представить себе, что можно показывать жизнь и творить красоту не теми способами, которые он избрал для самого себя. Творчество целиком поглощает и растворяет в себе критическую способность, ему отпущенную. Оно не оставляет ничего, что пошло бы на суждение о других. **Лишь по той причине, что человек сам ничего не может создать, он может сделаться достойным судьей созданного другим.»**

Итак, Оскар Уайльд **оправдал критику!!!** Он доказал, что истинное восприятие того, что создано мастером формы, принадлежит читателю, зрителю, слушателю, но **не творцу.**

Однако я развил его идею **оправдания критики** до совершенства (для чего мне понадобилось пятьдесят лет), я утверждаю, *что только человек, не способный к художественному творчеству* в поэзии и литературе, *может создать особую новую форму литературы, в которой восстанавливается исходный для культуры синкретизм искусства слова, создать новый синтетический жанр литературного искусства, соединяющий в себе драму, философию, поэзию и критику.* К этому новому жанру как раз и принадлежат мои книги, написанные в последние двадцать лет (а то, что я писал ранее, слишком беспомощно, чтобы его перечитывать).

Я плохо помню содержание драмы Уайльда, а теперь прочитал в ней только отрывки, но уже чувствую, что по существу из нее должно было следовать и все то, что я пишу сам в настоящей статье. Ну, что ж, если нечто замечательное, что не слышит публика, уже было сказано и прежде, это не умаляет того, кто хотя бы повторил гениальную идею – тем более что сегодня общим местом является преклонение перед особым **профессионализмом знатока** – в театре, в концертном зале, в музее, в библиотеке. Я к ним не принадлежу, да и они обо мне ничего не знают – и слава богу! Но по крайней мере мы уверены в том, что, во-первых, я вправе писать свои новые книги и, во-вторых, вправе судить об игре музыканта не менее **профессионального знатока.** Вправе судить и музыкант (*например, Полина*), хотя Уайльд и сомневается в способности поэтов слышать чужие стихи.

Кстати, однажды я тесно соприкасался с молодым композитором, с которым мы вели пространные беседы о музыке; в том странном заведении, где мы тогда прозябали, было все таки пианино, проигрыватель и грампластинки для двух избранных, но и само заведение предназначалось для «избранных», это был тюремный сумасшедший дом, композитор находился в нем за ужасное преступление, а я – за то, что осмелился написать статью против коммунистической тирании. Композитор был психически болен, хотя к тому времени, как мы с ним встретились, был относительно здоров (прошла ли его болезнь вполне, я сказать не могу). Ну а о собственном помешательстве не премину похвастаться: в семидесятом году весь советский народ, по крайней мере 117 процентов этого народа (а поелику у него были "социалистические таблицы логарифмов", "историки-марксисты" и "историки-христиане", то наличие у них 117 процентов голосующих за их тиранию меня не удивляет) поддерживал родную коммунистическую партию и только семь человек евреев и один русский, то есть я, были против нее, то естественно, что они сошли с ума и были заключены в «спец-больницу»; но в 2002 году понадобилось меня посадить в обычную тюрьму, так как в это время уже правили аллигархи, бывшие коммуняки, считавшиеся уже антикоммунистами, то я и провел целый месяц в подобной же тюремной больнице, и три медицинских светила постановили, что я совершенно психически нормален, в чем мне и выдали справку. И такая справка о **психической норме** есть у единственного человека в бывшей советской России – то есть у меня. Все же остальные не имеют права стукнуть себя кулаком в грудь и потребовать, чтобы его уважали. Дело в том... (да, сложно со мной читателю... Но потерпи, голубчик, будешь меня читать усердно, когда-нибудь получишь и ты такую же справку.) Итак, дело в том, что эти медицинские светила прониклись ко мне таким уважением, что даже предложили на выбор: дать ли мне справку о том, что я сумасшедший, чтобы *отмазать* от «срока, который уже светил», или дать справку, что я нормален, и обречь на тюремное заключение. Я предпочел сесть в тюрьму, ибо хотя, сказал я, "Брянский волк мне и товарищ", но "*истина мне дороже*" (хотя в этой стране, в России, вздохнули светила, ты *единственный ненормальный*, предпочитающий истину!) (Солженицын и Шафаревич были еще двумя русскими, не поддерживающими в 70-м году советскую власть, но Солженицына вскоре изгнали, и русские его до сих пор ненавидят, причисляя к евреям, а Шафаревича подвергли травле, что равносильно тюрьме. Браун же, еще один НЕ советский, уже благополучно сидел).

Возможно, читатель уже забыл, о чем мы только что говорили? А говорили мы о праве судить о произведениях искусства, не принадлежа ни к числу критиков-профессионалов, ни к числу творцов. И я хорошо помню, что мой юный сумасшедший товарищ сетовал, что занятия музыкой часто притупляли его восприятие музыки. Завидую я тебе, говорил он, звуки, которые ты слышишь, доносятся к тебе как слова стихов на чистые листы бумаги, мои же уши заполнены таким количеством звуков, что даже я часто не отличаю мелодию от будничного шума.

6. Критика как особенная форма духовной жизни

Теперь уместно привести стихи, написанные о музыке. Пятнадцать лет назад они были написаны для юной пианистки, которая испугалась нашей странной дружбы. И вот я включаю их в статью, посвященную **искусству суждения**, но не **искусству любви**.

Концерт для фортепиано и виолончели

Как жаворонка песня с высока,
Как солнечные брызги в день пригожий,
По клавишам скользит твоя рука,
И легкий холодок бежит по коже.
Всё – в будущем, мне прошлого не жаль.
Отныне книгу жизни пишут звуки.
Я полон обожанья; как рояль,
Когда его твои ласкают руки.
И тают и тоска и суета
В предчувствии безумного порыва.
И мир воскрес, и вдохновенье живо,
И с истиною слитна красота.
Но – стихло всё. Погас последний звук.
Боюсь вздохнуть, как дух, почти бесплотен.
Ты к нам сошла с Поленовских полотен,
И клавиши целуют кисти рук.
... Мы падаем, как горная река.
А дни бегут, и жизнь тихонько тает...
По клавишам бежит твоя рука,
И музыка смеется и рыдает.

* * *

Шел лёгкий снег. Кружился, танцевал.
Мир стал так чист, вокруг всё побелело.
Не в нашу ль честь был дан прощальный бал,
И музыка неслышимо звенела?
Я умолкаю. Легкое перо,
Уже с трудом, дописывает строчку.
Все кончено... Постой, поставлю точку,
И подпись: *Твой несбывшийся Пьерó.*
Нет, погоди... еще какой-то звук...
Как будто струн ... Как будто лист... из рук...

Если **критика** – это **искусство суждения**, то она не относится только к литературе и к произведениям искусства, ибо наша деятельность не отделима от мышления, состоящего из суждений, и сколько мы дышим, столько же и мыслим, даже во сне, следовательно, суждением пронизана жизнь, наша собственная, и жизнь народа, и всеобщее бытие, насколько оно входит в нашу жизнь, пронизано *суждением, анализом и оценкой*, и сравнивая способность критического мышления (которое и не может не быть критическим) с бытием мира, мы приходим к выводу, что выдающиеся произведения Канта: «Критика чистого разума» и «Критика чистого опыта», составляющие учения о нашем мышлении, и не могут не быть Критикой, и художественное произведение, не являющееся критикой – это частное высказывание об отдельных вещах и явлениях. Критикой человечества являются Христианство и Марксизм, Ислам и Буддизм, изложение научной теории является критикой сопоставимых с нею теорий, геометрия Лобачевского – это критика геометрии Евклида (ибо содержит целостное суждение о ней, оценку ее и сумму возражений), но чтобы не запутаться в определениях, будем говорить о **критике** в собственном смысле слова, когда исследование посвящено преимущественно возражениям другим учениям, и будем говорить о **Критике** как о *цельном изложении новой системы взглядов*, оспаривающих устоявшиеся мнения. Но если критика – это искусство, то необходимо еще помнить, что **не** критика, – то есть не возражение и не опровержение являются содержанием нового учения (или нового произведения искусства и литературы), но само новое искусство составляет это учение. *Важно в критическом исследовании, в статье, в рецензии, в отзыве, в филиппике и в остроте не сколько в нем критики, а сколько в нем искусства!*

Не следует забывать и другое, что в таком расширенном употреблении термина КРИТИКА мы этим словом называем *учение о преодолении*, изменении того, критика чего содержится в этом учении. **Мир необходимо изменять к лучшему**, успешнее всего этим занимаются Наука, Философия, Литература и Искусство – значит, они и призваны изменять мир. Уайльд говорит, что *искусство* не приносит пользы, что оно *бесполезно* – и это справедливо в том смысле, что его нельзя сравнивать с земледелием и строительством, плодами которых являются хлеб и жилища – но *искусство не ничемно*, вроде игры в карты, а имеет такое же важное значение в жизни, как труд по производству полезных вещей, а иногда даже более важное значение, искусство воспитывает, изменяет, преобразует человека и мир, спасает его душу, оно способно иногда даже лечить человека.

Каждое явление в мире связано с другими, и если говорить о литературе, то **творчество**, то есть создание литературных произведений, не отделимо от издания книг, от **редактирования** их, от анализа и оценки, то есть **критики**. Редактируются и чужие книги и свои, но редактируются не только книги – пропальывая огород, мы его *редактируем*. Следовательно, *критика* (оценка) и *редактирование* (то есть исправление) неотделимы друг от друга, вот почему новая философская форма моих романов является **редактированием мира**. И в этом отношении я не противоположен Христу и Марксу, которые пришли **спасти** или **изменить** мир, хотя каждый его по своему и объяснял.

7. Культура и жизнь. Критика и культура

Все, что мне хотелось сказать об отношениях между критикой и искусством, прозвучало у меня невнятно и неубедительно, и приходится вновь обращаться к Уайльду. Вот как заканчивается у него диалог, повествующий о превосходстве критика над творцом:

«**Эрнст.** Сегодня я услышал от вас много странного, Джилберт. Вы утверждали, что говорить о созданном труднее, чем создавать, [...] что все Искусство аморально, и что всякая мысль таит в себе опасность, и что **критика в большей степени творчество, чем само творчество**, и что *высшая Критика та, которая находит в произведении вещи, отнюдь не подразумевающиеся художником*, и что **истинным судьей становишься именно потому, что ничего не можешь создать сам**, и что настоящий критик не бывает ни справедлив, ни искренен, ни рационален. [...]

И это именно то, что хотел сказать и я, но мне мешала двойственность и противоречивость второй моей мысли (которую тоже высказал еще раньше за меня Оскар Уайльд), а именно то, что критик и сам становится и должен стать художником, а его критика – искусством, если она чего-нибудь стоит. Таким образом, он должен совместить в себе две ипостаси художественного творчества: его **изобразительность** (которая принадлежит художнику) и его **рефлексивность** (принадлежащую критику), и создать творение, которое будет и искусством и философией, **образом и суждением**.

Но всякое утверждение не тождественно самому себе, оно себя и утверждает и отрицает одновременно, соединение же двух противоположностей в нечто взаимно единое нелепо как мечта об *андрогинности*: мир и человек не цельны, и не снимается противоречивость сознания за счет размышления, как математическая неопределенность типа 0/0 снимается при сокращении числителя и знаменателя на общий множитель. Есть ли общий множитель у мужчины и женщины, приводящий к неопределенности их отношения, или оно более глубокой природы и не снимается математикой?? Да. Впрочем, не будем отклоняться в сторону, речь не об этом...

В теории «**цветущей сложности**» Константин Леонтьев доказывает, что общество не должно стремиться к равенству, что оно необходимо много-сословно, и только за счет неравенства сословий и многообразия условий их существования достигается его развитие, как и РОД существует только за счет того, что человек разделен на два пола, и красота существует лишь потому, что существует и противоположность красоты...

Так это или не так (ибо сторонники социальной справедливости все еще надеются на осуществление идеалов *свободы, равенства и братства*), но пока мы исторически существовали только в условиях **неравенства**, и рассуждения об искусстве и критике должны исходить именно из этого.

Золотой век русской литературы был в 19-м столетии, и литература была преимущественно дворянской. Содержится ли в культуре образ мира или нет, но во всяком случае *в русской литературе содержится образ дворянского мира*, как в европейской – образ мира феодально-буржуазного.

Современная *критика* (т.е. *философия культуры*) создает образ европейской культуры всех трех тысячелетий, вот почему так подобны мои рассуждения о критике и художнике рассуждениям Оскара Уайльда – мы отталкиваемся в наших рассуждениях от одной и той же культуры. Почему мое внимание привлекает Константин Леонтьев и его теория «цветущей сложности»? Потому что и в советской России я родился среди *колхозного крепостного права*, и сегодня царствуют те же монархические начала и тот же феодализм, что и в Петровской Руси. Почему **Критику** я противопоставляю **Искусству** (вслед за Оскаром Уайльдом) и ищу в ней более глубокую философию всемирного (тем более русского) бытия? Потому что **феодалная культура** не отвечает на мои вопросы, человека двадцатого столетия, она исходит из узкоклассовых интересов и классового мировоззрения, к тому же она привязана к христианству, привязанному к феодально-рабовладельческому устройству мира. В марксистском обществе тот же феодализм (как и в современной) – но оно не обладает «цветущей сложностью», а является **вырожденным феодальным обществом**, своего рода "огибающей" семейства "феодалных кривых". Мои статьи о театре и литературе – частные случаи моей *особенной критики*, они мало апеллируют к содержанию художественного произведения, к формам его исполнения, к формам и содержанию сценического воплощения произведения, даже к истории – но они тоже своеобразные предельные случаи возможных критических статей, своего рода их **огибающие**.

Новый Русский Журнал – это сцена, на которой разыгрывается драма критической философии современной культуры, мы, авторы, пишущие для журнала статьи, нечто особенное – или мы подпольная социалистическая партия, или союз вольных анархистов, или партия социалистов-народников, или христианские демократы, или алхимическое общество, вываривающее в реторте «секции критики» алхимический камень. Боюсь, что мы провалимся так же, как провалились и средневековые алхимики, провалится и наш Журнал – но я, возможно, еще на некоторое время останусь почти тем же в инобытийном виде, – «музыкальным или театральным критиком», критиком религии и философии – но уже не литературы. Конечно, я должен был быть критиком литературным, я даже написал *три тома*, три толстых тома Записок редактора, но русская литература замерла, как замер и русский народ. Значит, я должен ответить на вопросы, выходящие за рамки литературы, даже не имеющие к ней отношения – почему мы все замерли? Это вопросы трансцендентной философии, вот почему я создаю новый жанр литературы, о котором сказал еще Оскар Уайльд – жанр **«Критики как искусства, критики как литературы и критики как философии»**. В рамках этого жанра я уже и пишу свои новые сочинения. Но на их поприще я пока одинок. А мне ведь необходимо где-то прятаться от дождя и холода, от землетрясения и горных обвалов, даже от одиночества, – и такое пространство в нашем мире еще осталось, более того, оно самое горячее, самое благоуханное, самое философски и магически продуктивное – это **пространство симфонической музыки и оперного пения**.

И я прячусь в пространстве концертных и оперных залов, как «Призрак Оперы», **Я – Призрак симфонической музыки**.

8. Полина

Полине я сказал, что она стремится передать философию того произведения, которое она исполняет – хуже этого я не мог ей сказать ничего. Она гениальна в своем творчестве музыканта, пока она всецело во власти *стихии*, хотя она и сама является стихией; пока она подчиняется Евтерпе, богине музыки и лирики, хотя она и сама является богиней. Но кроме богов она не должна слушаться никого,

Я слушаю ее игру на фортепьяно семь лет, жаль, что так поздно преодолел предубеждение к ее детской славе. Хожу на концерты, на музыкальные встречи, прочитал ее книгу и слушаю интервью, смотрю на нее за *роялем*, впитываю в своё сердце движения ее фигуры и рук, когда она исторгает из него божественные звуки – но я и сами движения переживаю как музыку. Это переживание особого рода любви, такое же, какое я переживал к произведениям Достоевского, к музыке Вагнера, к магическому голосу Шаляпина.

Десять дней назад я слушал в филармонии в ее исполнении вариации Рахманинова на темы Корелли и седьмую сонату Прокофьева.

Конечно, я ее несомненно и сразу еще семь лет назад полюбил как выдающегося музыканта, как гениальную исполнительницу, но... наконец я ее полюбил и как попутчицу на Млечном пути!

В чем же состоит ее особенность, ее *гениальность* и ее совершенство?

Гений музыки, то есть Дух музыки ее одухотворяет, пронизывает и наполняет, как солнечный свет пронизывает и согревает атмосферу и почву, и мы, слушатели, пронизаны этим духом и светом тоже, как и она и как каждый музыкант и композитор (помимо, разумеется, ремесла и мастерства, как и вдохновенный писатель пронизывается духом литературы, но одновременно должен хорошо знать язык, историю и жизнь своего народа, что входит, по-видимому в условия мастерства) – но почему слушатель не является творцом, а я его приравниваю к музыканту и композитору (а Оскар Уайльд дерзает даже поставить читателя – или критика – даже выше творца)? Потому что мы единичны, и природа того, что сотворено художником и что нами переживается – одна и та же! Я не способен петь как соловей, но я слышу то же и так же что слышит и он и его подруга, ничуть не менее и не ниже! (Но, как вы помните, самонадеянный Оскар утверждает.... и он отчасти прав.)

В чем же отличие слушателя (читателя) от творца?

Мы все – создания божии, и в известной степени единичны Творцу, как единична Галатея Пигмалиону. Одна и та же материя в нас и один и тот же дух, что в божестве, что в его творении, иначе не стоило и браться за труд. Художник **рождает** свое произведение, так же его рождает и Бог, и в художнике и в божестве воплощено Абсолютное женское начало (ибо только оно способно рожать), во всяком творчестве проявляется и осуществляется **женственность** (вот почему я так морщусь при разговорах о мужской манере игры), **женщина достигает своего совершенства**, вершины, Акме, а поверхностный слушатель воспринимает их как мужественность, происходит подмена, т.е.

Не то чтобы Творец превращался в женщину, но женственное в художнике рождает творение, а мужское рождает в нем восприятие – и вот критик возможно и становится отчасти мужчиной – в той степени, в которой он критик, хотя одновременно он превращается в женщину – в той степени, в которой его критика поднимается до искусства.

Мы не случайно замечаем в художнике **женственность** – в изящности движений, в соразмерности и гармонии речи, в мягкости и деликатности – противоположные примеры объясняются тем, что в **художнике** существует и проявляется **критик** (например, в Толстом – притом критик вульгарный) – но когда и критика становится искусством, то и критик становится женщиной.

Впрочем, каждое утверждение говорит одновременно и то, что говорит, и противоположное, почему так обманчива и непостижима женская логика – но и моя мужская обманывает меня не менее женщины – то, что становится искусством, необходимо становится женственным.

Я часто смотрю на движения девчушек от трех до семи лет, как они стоят, смотрят, идут, как они переливают в движения свое ожидание, например, стоя у колонны в метро в ожидании поезда – они танцуют, и танец их даже совершеннее, чем балетный спектакль – поэтому я не удивляюсь тому, что маленькая Полина играла на фортепьяно даже сложные вещи – мелодию и рисунок и звуковую гармонию она слышала безукоризненно, мало было обертонов, того, что окаймляет мелодию... Но в движениях, в пластике девочек, в напряжениях, струящихся вдоль фигуры, было то совершенство, которое достигается при окончательном развитии типа – женский тип начинается с совершенства, затем его утрачивает, затем, в счастливых случаях, совершенство возвращается – иного свойства – но никогда оно не достигается за счет потери женственности в пользу мужественности или за счет смещения или соединения двух полов в так называемого андрогинна.

Мальчики в три года не танцуют в ожидании поезда, не танцуют они и сидя за роялем, как танцует Полина – но хотя мне даже хочется рассказать о том, как она танцует – и танец ее неотделим от ее исполнительского мастерства – но я вдруг почувствовал, что надо "придержать язык" и быть скромнее – поэтому не буду рассуждать и о том, как она одевается – а и ее внешняя красота, и ее одежда и прическа входят в состав той музыки, которую мы слышим. (Как красота собственного тела входит в состав того живописного искусства, которое создала Зинаида Серебрякова-Лансере – но художественный талант так преобразует материальность плоти, что она становится целомудренной даже в обнажении – но я не смею прикасаться к тайне женщины даже словом).

(Впрочем, мне возразят – разве в античных музах мы видим обнаженных женщин? – но мне надо успеть договорить свой монолог о критике, поэтому о музах мы еще поговорим в другой раз, и если у моих монологов будут слушатели, то можно будет порассуждать и об **эротизме** в искусстве)

Итак, Полина танцует, ее танец дополняет ее игру, но она минималистка в танце. Она еще и улыбается и хмурится – но и в игре лица она минималистка тоже, всё у нее в меру (вот у меня все сверх меры – потому что я интерпретирую не чужое искусство а своё...)

Правда, так как соната не существует без инструмента и пианистки, то можно считать этих трех создателей «сонаты для нас» (в отличие от «сонаты в себе») равноправными ее творцами, и не менее справедливо сказать, что когда мы слышим гениальную исполнительницу, мы слышим её музыку, а не чужую, она представляет нам не чужое творение, а свое – и сколько было загубленных сонат и рапсодий, когда мы сетовали на создателя, а виною пагубы был расстроенный инструмент! – "сколько слез сердца упало на песок!" – как писала мне NN.

Почти всему, что я сказал до сих пор, я мог бы возразить в той или иной мере, поэтому перечислю то, что я считаю принадлежностью Полины, и чему никто возражать не помет.

Полина красавица и одевается изящно и с большим вкусом.

Ее движения естественны и безупречны, они одухотворены и красивы.

Она мягкая и добрая женщина, она милосердна и впечатлительна.

Она образованна. Во-первых, ей свойственна поразительная широта понимания музыкальной культуры и владения ею, но она при этом обладает вкусом в литературе и философии. Она чувствует и знает не только историю музыки, но и европейскую и русскую историю. Она не консерватор, но она и не анархистка.

Она культурна в том смысле, который дополняет и расширяет и возвышает образованность.

Она безукоризненно умна. Что это значит, об этом придется писать отдельно в дополнение к Гельвецию – значит, впереди у меня как минимум статья об уме, о женском уме и мужском, об их различии (или сходстве?) об умниках и о блаженных...

Если добавить, что ей свойственны ВКУС и МЕРА в самом точном значении этих слов, то станет понятно, что нет недостатка в каждом качестве, который ей свойствен, и нет в нем чрезмерности (а вы не заметили, что я иду по канату, натянутому над пропастью? Я чрезмерен почти во всем, особенно я чрезмерен в отношении к тем, кто мне нравится – но в стакан с сахаром я кладу не менее семи ложек – но ведь мне приходится быть осторожным! Я не хочу, чтобы мои восхваления показались патокой, чтобы в них не было мяты и лимона – и мята и лимон смягчают привкусы... Красивой и изысканной музыки не бывает много, поэтому и в восхвалениях я иду до конца, пока не свалюсь в пропасть – но я стремлюсь одновременно к тому, чтобы та, которую я восхваляю, не заметила, что меня уже надо остановить...

Все, что я уже сказал, относится к женщине – но все это содержится в женщине-музыканте, это содержится в стиле, манере, характере игры, в интерпретации произведения, в его объяснении, в его демонстрации (показе), в его "расшифровке" (я лишь недавно узнал, что этого требуют некоторые произведения Баха – а Полина играет Баха, и я слушаю ее исполнение довольно часто, конечно, приходится прибегать к помощи компьютера).

Я перечислил не всё, но боюсь опоздать, поэтому вернусь к Рахманинову и Прокофьеву, не менее сложным композиторам, нежели Шостакович.

Она играла их совсем недавно в Филармонии, и мне стало страшно – так играют, когда прощаются с музыкой...

К счастью оказалось, что так играют и тогда, когда поднимаются по лестнице на верхнюю ступень бытия, с которой открывается вид на вселенную, и можно перешагнуть на Млечный путь.

Вариации на темы Корелли были написаны незадолго до смерти Рахманинова, а умер он в 1943 году. Он композитор трагический, но тот период жизни, который был отражен в его музыке, был сверхтрагедией – рушилось всё, что он любил, рушилось то, что он любил больше всего – рушилась Россия. Рахманинов помогал России всеми силами своего таланта, он был высоко оплачиваемым исполнителем, он концертировал исключительно много, помогал солдатам, беженцам, посылал медикаменты, закупал на свои средства оружие, экипировал и отправил в Россию танковый полк – если бы всего этого не было, он бы остался таким же великим, каким я его знаю – но я не плакал бы так горько, слушая его музыку и изо всех сил пытаюсь скрыть слезы. Мне казалось, что **боль и ярость** струились с клавиш и пальцев, и я боялся и за Рахманинова, и за себя, и за Полину.

... Осталось немного: я должен еще написать о своем пути к критике, о Прокофьеве и его прекрасной жене, французенке, отправленной в 1940 году в сибирский лагерь (и именно в это время Прокофьев и написал свою седьмую сонату), написать еще несколько слов о Полине и о **телеологии**.

И закончить свою статью я должен объяснением, как нам жить дальше.

Разумеется, я хочу, чтобы моей «критике» читатель вдумчиво внимал – но я и боюсь на него повлиять: представим себе, что я смотрю на небесную радугу: *осмелюсь ли я ее поправлять?*

Поэтому не верьте мне, не верьте Уайльдуду, живите так, как будто живете в первый раз. Хорошо, что есть музыка, которая формирует душу, но она не пытается ее своенравно переделать, она понимает и ценит нашу свободу.

Я понял, что нужно после концерта еще «третье действие»: есть еще о чем поговорить – но не отрубая журнальным топором голову уже никому – ибо *мир прекрасен, несмотря на то, что он так ужасен*. Поэтому лишь привожу в завершение стихи античного поэта Авсония «Имена муз»

"Клио прошлых времен дела вещает потомству,
Мельпомена трагический вопль исторгает печали,
Радует Талия шуткой, веселым словцом и беседой,
Сладкую песню поет с тростниковой флейтой
Евтерпа,
Терпсихора кифарой влечет, бурей чувства владея,
С плектром в руке Эрато чарует и словом, и жестом,
Песни времен героических в книге хранит
Каллиопа,
Звезды небес изучает Урания, неба вращенье,
Жестами все выражая, Поли(ги)мния славит
героев."



Или достаточно и сказанного? Новые слова пусть будут для новых песен...

9. Мужская и женская поэзия

Я часто слышу о мужской и женской манере игры, о мужской и женской поэзии – обычно так говорят, когда речь идет музыкантах женщинах (пока как то не принято говорить ни музыкантша ни докторша ни докторица, хотя давно говорят «учительница»... не принято даже говорить «поэтесса», поэты-женщины обижаются... но все это отражение в языке многовекового бесправного положения женщины, когда-то язык должен будет преодолеть собственные недостатки...) – но пока хорошо хоть есть не только пианисты, но и *пианистки*, а я, к тому же, и поэтов-женщин смело называю поэтессами.

Есть женственные мужчины и мужественные женщины, но поэзию поэтов-мужчин не подразделяют на женскую и мужскую, так же как и игру музыкантов. А о стихах поэтесс и игре пианисток с точки зрения пола рассуждают часто: есть женские стихи (они почти у всех поэтесс женские) и есть мужская манера игры (но у немногих, у большинства пианисток манера игры женская).

Что имеется в виду?

Не то же ли, что имеют в виду, когда говорят о женственных народах и о мужественных, например, противопоставляя германские народы славянским?

Женственные народы? Это, я думаю (или надеюсь) точно такая же только метафора, как и *мужская манера игры*...

Ну а женский и мужской ум?

Нельзя ограничиться по этому поводу несколькими фразами. Красота обладает одним несомненным достоинством – она неотделима от высокого интеллектуального и духовного уровня девушки-женщины, все талантливые женщины в то же время и красивы, в то же время и женственны, и что бы они ни делали, они это делают по-женски, и размышляют и играют на фортепьяно... но обстоятельнее поговорим об этом чуть позже, в следующем выпуске нашего альманаха...

.....
.....

10-13. Критика, философия, телеология и Дзен-буддизм

«Что сказала одна стена другой?» – спрашивается в дзен-буддийской притче.

– Встретимся в углу! – отвечает она.

Итак, я еще не прощаюсь, впереди у нас долгий разговор, и встретимся мы несомненно – а «угол» – не самое плохое и далеко не будничное место, есть и площадь Пяти углов в Петербурге, и Красный угол в каждой крестьянской избе, за столом с белой скатертью, под божницей, вдвоем ли, втроем, а то и в широкой компании, с Евтерпою, Каллиопой, Уранией...

Может быть мне еще удастся доказать, что если Философская критика не выше Искусства, то на братские узы она все же может претендовать.

.....

В. А. Овсянников

ДОМ ГРУДИНИНА

Октябрь. Ветер крутит почернелые листья. Много изменилось. Здесь, под горой стоял дом Грудинина. А теперь тут новенький краснокирпичный особняк в три этажа, с башнями и балконами. Дворец да и только.

Собирались в доме Грудинина его дружки алкаши. Грудинин жил один. У него не было ноги, отрезана выше колена. Пьяный, попал под поезд. Передвигался на костылях проворно и ловко. Могучего телосложения, с большой курчавой головой. Дом Грудинина – трухлявое строение, самый старый в поселке, грозил рухнуть в заросший пруд. Над прудом кренились корявые горбуни-вербы. В хозяйстве ему помогали. Прежде всего Гриша Дорофеев. Мастер золотые руки. И плотник, и столяр, и печник, и каменщик, и жестянщик. Все умел, все делал по высшему разряду. Но история у него печальная. С женой не сложилось, ушла от него с ребенком, с дочерью. Запил. Интересы к противоположному полу больше не проявлял. Стал ходить к Грудинину в его дом под горой. Дом этот всему поселку известен. Так и называли: кабак Грудинина. Туда шли все забулдыги, кому негде выпить, не с кем и не на что.

Ходил к Грудинину и Толя Мотыль. Тош, как жердь, угрюм и немногословен. Судимость за кражу. Отсидел пять лет. Работать не любил и ничего не умел. К любой работе испытывал непреодолимое отвращение. Однако деньги на выпивку добывал. Крал что-нибудь у себя же в доме, из-за чего в семье происходили скандалы. Вообще в доме Мотыловых часто раздражались бури и бывали дикие драки. В драке участвовала вся семья: отец и мать, младший сын Борис, дочь Светлана, и сам Толя Мотыль, старший сын. Дружно, все вместе били отца семейства, Дмитрия Ивановича, попросту Митю. Тот был чрезвычайно буйного нрава человек. Напившись, брал топор и бросался с этим топором на кого-нибудь из членов семьи, кто под руку попадется. Чаще всего попадалась его супруга Нюра. За ней и гонялся по двору, как за курицей, замахиваясь топором. Нюра кричала «Караул! Помогите, люди добрые! Зарубит! Ой, зарубит, падла!» Так они бегали вокруг дома, пока вся семья, сыновья, дочь и сама супруга Нюра не сбивали его на землю, связывали веревкой и тогда уж отводили душу, топча и пиная, кто сколько хочет.

Толю Мотыля тоже пытались учить таким же манером за кражи, но ему всегда удавалось отбиться. С добычей он благополучно достигал дома Грудинина и прятался у него несколько дней. Это было надежное убежище. К Грудинину совать нос боялись. Он мог костылем огреть.

У Толи Мотыля была жена Люба. Где он ее нашел, никто в поселке не знал. Просто в один то ли прекрасный, то ли несчастный день она вдруг появилась в доме Мотыловых и стала в нем жить. Это была святая и одновременно тихо помешанная. Она тоже нигде не работала, как и Мотыль; получала инвалидную пенсию за поврежденный рассудок. На эту пенсию они

оба и кормились. Мотыль отнимал у нее всю пенсию и нес пропивать в дом Грудинина. Но это удавалось ему далеко не всегда. Вся семья Мотыловых в день получения пенсии караулила у калитки почтальоншу Зою, которая приносила деньги. Люба была чрезвычайно тихое и кроткое существо. И мухи не обидит. Ходила в бесшменном темном халате, что-то вроде монашеской рясы. Она и похожа была на монахиню. Раза два-три в год на нее находило ее помешательство, тогда вызывали санитарную машину, два дюжих санитаря, взяв под мышки, выводили Любу из дома и вели к кабине с зарешеченным окном. Увозили в психушку где-то под Гатчиной. Возвращалась она оттуда через два месяца. И жизнь в доме Мотыловых шла по-прежнему, в полном составе.

Заглядывал в дом Грудинина и бывший мастер по боксу, Карпов, по прозвищу Карпыч, погрузневший и совсем спившийся человек.

Гриша Дорофеев умер от воспаления легких. Зимой, пьяный, пролежал на снегу всю ночь. Грудинин через полгода тоже сгорел от пьянства. Мотыль кончил свои дни иначе. Люба однажды посреди ночи ударила его молотком по руке, когда он спал. Рука посинела. Но к врачам обращаться Мотыль не захотел. А потом уже было поздно. Заражение крови. Любу опять увезли в психушку. Карпыч боксер пропал осенью, в конце октября. Нашли его тело весной, в марте, когда сошел снег, на горе, в яме, голова пробита. Дом Грудинина остался без хозяина. Наследников не нашлось. И поселковые алкаши-забуддыги больше в нем не собирались.

Когда я покидал поселок, переезжая жить в другое место, дом Грудинина еще был цел, еще держался, глядясь окнами в старый, заросший тиной и ряской, пруд.

Вячеслав Овсянников

Едет царевич задумчиво прочь

Что такое знание? «С тех пор как вечный судия/ Мне дал всеведение пророка»? Или знание – это то, о чем нам говорит наука и образование? То, что повторяется. То, что истинно. То, чему можно доверять. То, что называют закономерностью. Некто заметит нечто, зафиксирует то, что заметил, покажет другому. Если это относится к месту, другой пойдет и проверит. Убедится – да, все так и есть. Истинно, не соврал. Знает. Если это относится к свойствам вещей, к тому, что можно из них сделать, или к явлениям во времени – проверяем, на зуб, в колбе, в реторте, в микроскоп, телескоп. Если повторится, да не один раз, а много-много-много раз – значит, всё верно. Аз есмь истина. Будем знать, сохранять и передавать это ценное для человечества знание. Так в жизни, в практике, в науке и технике. А в искусстве? В поэзии? Что такое истинность творений художника, художественная достоверность, убедительность? Судьи искусства, эксперт, знаток? Станиславский и его «верю», «не верю»? Всегда найдется какой-нибудь Фома и заявит: Станиславский для меня не авторитет, не верю я его «верю»-«не верю». Да и вообще нет в искусстве авторитетов. Я, скажем, люблю только то, что никогда не повторяется, неповторимое. Единственное, исключительное, одноразовое. Вот сверкнуло, и нет его. Жди хоть до скончания веков – не повторится. Второй раз не явится. Как у Иннокентия Анненского: «Я люблю все, чему в этом мире / Ни созвучья, ни отзвука нет». Какое же это знание? Это мимолетное виденье, мелькнуло, и нет его. Нет навсегда. Миг, ослепительный миг. Как этому верить? Никак. Греза, мечта, фантазия. Метеор в ночном небе нашей обыкновенности и повторимости, вспыхнул в полете и погас. Сгорел. Мгновенное чудо. «Был или не был этот вечер?» спросит сам у себя Блок в своем лирическом шедевре. Летучий миг искусства. «Летучие творенья» поэтов всех времен и народов, всех творцов. Это не знание. Это не только нельзя передать, его нельзя сохранить, нельзя второй раз испытать. Темное это дело. «Есть речи – значенье / Темно иль ничтожно». Этому только можно, не оглядываясь ни на что, броситься навстречу. Один единственный раз. «Не кончив молитвы, / На звук тот отвечу, / И брошусь из битвы / Ему я навстречу». Искусство, поэзия – не знание. Это что-то другое. Знание только в технике искусства, в техническом мастерстве, в том, что повторяется, приемы, навыки работы с формой, с материалом, собственно ремесло, без чего искусство в принципе невозможно. А душа, дух искусства, без чего техника мертва, – кто о них знает? Сам творец не знает – откуда, как, почему и отчего. Неуловимое, всегда ускользающее. Только эхо томит и дразнит. «Тебе ж нет отзыва...таков и ты поэт!» Не повторить, не передать. А отсюда и попытка создать какую-то другую, невообразимую технику, не ту, что для всех, не

ту, что из знания и на знании, а совсем другую – ту технику, которая, отрываясь от известного знания, ловит нечто неизвестное, единственное, ускользающее от того, чтобы стать знанием. Каждый раз этот порыв схватить чудесное мимолетное виденье, Жар-птицу, хоть перышко, каждый раз эта отчаянная попытка художника. «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук / Хватает на лету и закрепляет вдруг/ И темный бред души, и трав неясный запах». Фет. Или у него же: «Не так ли я, сосуд скудельный/ Дерзаю на запретный путь, / Стихии чуждой, запредельной, / Стремясь хоть каплю зачерпнуть?» И как часто: «В усердных поисках все кажется: вот-вот / Приемлет тайна лик знакомый, – / Но сердца бедного кончается полет / Одной бессильною истомой». И ускользнувший лик так и остается незнакомым.

И что же художник? Обладает ли он этим тайным, неявным знанием неизвестного, всегда незнакомого, не могущего стать знанием? Не миф ли это? Всего лишь красивый, ставший привычным, миф о художнике-маге, чудотворце и тайновидце? А художник сам признается – не поймать ему эту тайну. Думаешь, вот, схватил – ан нет. Опять ускользнула. Мираж, призрак. Это как ловить отражение луны в воде. Как морскую царевну Лермонтова. «Едет царевич задумчиво прочь, / Будет он помнить про царскую дочь». Еще бы не помнить: ловил чудо красоты, а вытащил чудище со змеиным хвостом.

Вот он и бьется в своих жестоких битвах с миражами, художник, заложник вечности, у бездны на краю. Всегда один в поле воин, всегда – «в поле неизвестное», «среди неведомых равнин».

Знание – удобство, в нем можно хорошо устроиться, с комфортом, и жить припеваючи, в благополучии своей образованности, эрудированно и интеллектуально, хозяином и хранителем культуры. А бедняга художник, «босой алмазник», всегда в неустойчивости, в стрессах, крахах и катастрофах, в погоне за призраками. Ничего он не знает, ничего, ничего. Никаких тайн. По Сократу: «Я знаю, что ничего не знаю». Ну, ремесло-то свое он, однако же, знает. Еще как! Никто так не знает, как он знает! всю жизнь свою на это положил. «Ремесленник – я знаю ремесло» – утверждает Марина Цветаева. Что тут, опять же, тайного и загадочного? Ясно, как божий день. Только благодаря навыкам высочайшей техники кисть мастера может выпорхнуть из этой самой техники, как из кокона (не оглядываясь на эту технику и забыв о ней) чудесной бабочкой искусства, чтобы совершить в своем молниеносном полете мистический пируэт волшебства, дарованный неведомым божеством и непредсказуемый никакой техникой, единственный и неповторимый.

Как перевести хайку

Известно: создатель хайку, как высокой поэтической формы – великий японский поэт Басё. До Басё хайку – несерьезный жанр, шуточная игра. Хайку – трехстишие, стихотворение из трех строк со строго определенным количеством слогов в строке. Первая и третья строка – пять слогов, средняя – семь. Японцы в отличие от нас пишут хайку одной строкой сверху вниз. Самое знаменитое хайку Басё:

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.
Перевод Веры Марковой

Есть перевод Бальмонта, первый на русском языке:

На мертвой ветке
Чернеет ворон.
Осенний вечер.

Существует еще ряд переводов, вот, например:

На голом суку
Примостилась под вечер ворона –
Кончается осень.
А. Долин

На черной ветке
Ворон расположился.
Осенний вечер.
В. Соколов

Басё использовал это хайку как подпись к двум своим картинам: на одной изображен одинокий ворон на суку, на другой – стая ворон над оголенной веткой большого дерева.

Басё избегал лишних слов и оценочных, эмоциональных определений, также как избыточной экспрессии и пафоса. Его стиль: добиться предельного лаконизма, не описывать, а только называть вещи. Показ, а не рассказ. Но показ особенный. Эстетика «пресности», «ваби» (как называют японцы такой стиль), скудость, в том числе скудость слов для изображения. Притушить краску. Крайний аскетизм, бедность художественных средств. Басё, по свидетельству его учеников, отвергал беспредметность поэзии, необразность, абстрагирование. Никогда не давал четких определений, изъяснялся метафорически, роняя загадочные фразы, полные скрытых смыслов.

Начнем с перевода Бальмонта. На мой взгляд, этот перевод в корне неверен, искажает стиль оригинала. Это Бальмонт, а не Басё. Ненужная, излишняя экспрессия, драматизация. Ветка – мертвая. Ворон – чернеет. Эпитет «мертвая» мертвит ветку, заслоняет ее «мертвостью», оценочным субъективным чувством, чего нет у Басё. В оригинале ветка – сухая. То есть эмоционально нейтральный эпитет.

Причем по-японски образ, переведенный на русский как «осенний вечер», многозначен: это и вечер осени, и осени сумерки, и конец осени, то есть поздняя осень.

Итак, у Бальмонта ворон «чернеет». «Чернеет» не только лишнее слово (ясно, что ворон – черный), но этот эпитет еще и чернит ворона, заслоняет его нарочитой чернотой. Акцент на «чернеет», а не на «ворон». Что абсолютно несвойственно, даже противопоказано эстетике Басё. Кроме того, у Бальмонта точный метрический рисунок, двустопный ямб с одинаковым количеством слогов во всех трех строках, по пять слогов. Получается завораживающий эффект, мерность звучания затмевает образ. В переводе Бальмонта еще и нарочитая звукопись: мёр-чер-вор-чер. А также ассонансное краегласие всех трех строк: ветке-ворон-вечер. Если не смотреть на это трехстишие Бальмонта, как на перевод, то оно обладает своей особой художественной ценностью.

В переводе Марковой тоже есть лишние или неточно переведенные слова – «сидит» и «одинок». Ясно, что – сидит. Да и не сидит. В оригинале не так. Там буквально – стоянка, остановился. «Одинок» – не нужно обозначать одиночество напрямую. Это не в стиле Басё. Настроение одиночества должно навеваться образами, будучи неназванным. Таково кредо этого жанра. Как тут не вспомнить нашего Фета, самого близкого к стилю Басё русского поэта: «звук на душу навей». Показано ведь: ворон на голой ветке осенним вечером. Ясно, что один, одинок. К тому же голая ветка это не то, что сухая ветка. Голая тут может пониматься, как безлиственная, временно голая, весной оживет. Опять будет в листе. А вот сухая – это сухая. Придает другой смысл и ворону, и осеннему вечеру. «Сухость», «пресность» – опять же. Сухость – чрезвычайно важное понятие в японской эстетике, корни этого понятия в философии даосизма и дзен-буддизма. Просто недопустимо сухую ветку Басё заменять голой или мертвой.

Перевод А.Долина и совсем не то. «Примостилась под вечер ворона – кончается осень». Ужасно это – «примостилась под вечер». Ворон сгинул, вместо него – обыкновенная, скучная ворона. Басня, а не хайку. Утрачен образ осеннего вечера. Словосочетание «кончается осень» не рисует ту магическую картину осени, которую видишь в словосочетании «осенний вечер». Перевод А.Долина звучит слишком приземленно, упрощает оригинал.

Тем же грешит и перевод В.Соколова: ветка черная, ворон расположился. Мало того, что, ворон черный, так здесь еще и ветка.

Перебор. Перечернил. Словечко «расположился» (уютно, значит, с комфортом устроился) – никак не вяжется не только с тем, что в оригинале, но и вообще с духом Басё, с его стилем.

При переводе хайку трудно следовать его строгой форме, соблюсти звукопись, количество слогов в строке. Да и невозможно. В японском языке пять гласных и десять согласных. С русской фонетикой нет родства. А если упорно, во что бы то ни стало соблюдать количество слогов, то неизбежно погресишь против главной черты стиля Басё (и вообще стиля хайку) – лаконизма. Тогда-то и появляются «сидит одиноко», «примостилась под вечер», «расположился», чтобы средняя строка воспринималась длиннее, чем первая и третья, чтобы звучало схоже с тем, как на японском. И это еще не все трудности. Хайку – чрезвычайно сложная, своеобразная символика, понятная только японской культуре. Непереводимая игра на омонимах, большим наличием которых (не в пример русскому) отличается японский язык. Широкая система запретов: что нельзя делать в хайку, иначе это будет не хайку. Исключительная, невообразимая для русского языка, смысловая сложность. Сложно разветвленная ассоциативная образность.

Теперь взгляды в буквальный перевод этого хайку. Вот как оно в переводе на русские звуки и написание:

Карээда ни
карасу но томарикэри
аки но курэ

Нельзя не заметить, как крепко сцеплено звукописью, как сжато – что неизбежно утрачивается в переводах.

Карээда ни (на сухой ветке)
карасу но (ворон) томарикэри (стоянка)
аки но (осени) курэ (сумрак)

Рассмотрим подробнее: карээда, карэ – сухая; эда – ветка (не сук). Карасу – может быть и ворон, и ворона, и вороны (ударение на первом слоге), и вороны (ударение на втором слоге). В японском существительные не имеют разделения на род и число. Томарикэри – остановиться, остановка в пути. Аки – осень. Курэ – сумерки, конец сезона, года. Аки но курэ – несколько значений: осени сумерки, осени вечер, конец осени.

Подстрочный перевод этого хайку может быть таким:

На сухой ветке
Стоянка ворона (или – остановился ворон).
Сумерки осени. (Или – вечер осени. Конец осени).

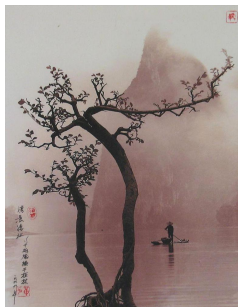
Но ведь надо еще учитывать значения этих слов в японской культуре, их ассоциативность. Ворон, например, с древнейших времен считается в Японии священной птицей, вестником богов. Также по древне-японскому мифу ворон – участник создания первого японского государства Ямато. Еще ворон в Японии – символ семейной любви и постоянства.

Предлагаю свой вариант перевода этого хайку Басё:

На ветке сухой
Нашел пристанище ворон.
Осенний вечер.

Разумеется, и этот перевод нельзя назвать полностью удовлетворительным. Трудная задача – соблюсти все требования. Да и надо ли? Вспомним высказывание самого Басё: «Не всегда следуют правилам. Нет правил, когда можно отступать от них». Тем более, что Басё как раз в этом хайку и позволил себе отступить от неукоснительных правил: во второй строке у него вместо семи слогов девять.

В переводе Веры Марковой настроение осеннего одиночества. В переводе Бальмонта – мрачное настроение, драматизм, смерть, что-то зловещее. Другие известные переводы в том же духе осеннего одиночества и печали. В переводе, предложенном мной, настроение другое: тут чувство хрупкости бытия и конец пути, успокоение, одинокий покой. Почему ворон выбрал пристанищем именно сухую ветку – такую ненадежную, хрупкую опору? Что означает этот странный выбор? Безрассудство, потеря здравого смысла, вызов? Или этот выбор абсолютно осознанный, глубоко духовный? Сухое – безжизненное. Но сухое также и неизменное, застывшее в постоянстве, сохраняющее себя самим собой, в своей твердости, в своей основе, в себе подлинном, в истинной сущности себя. И это пристанище не временное, как может показаться внешнему взгляду. Это пристанище последнее.



Александр Медведев
О ВЛЮБЛЁННОЙ ГОЛОВЕ

(по поводу книги В. Чернышева "В погоне за временем")

Нередко в разговорах о поэзии можно услышать фразу: «Поэзия должна быть глуповата», а по сему слова Пушкина считают индульгенцией на пустословие, которое называют поэзией. Древние ещё заметили, что поэт называется поэтом совсем не за стихи, – что такое стихи: неужели так сложно их сочинить? – а за созданные им образы. С созданием образов дело куда как сложнее обстоит, чем стихотворчество. Я склонен думать, что и с прозой во всех её изводах точно так же: писатель не тот, кто наделён усидчивостью и скорострельной клавиатурой, а тот, кто способен создавать образы – человека, природы, – миров видимых и невидимых.

Короче говоря, не всяк поэт, кому хочется таковым быть.

Что же делать, если всё же хочется – *выразить в звуке всю силу страданий своих*, а пушкинского таланта Господь не дал, как, впрочем, не дал такового и большинству из нас, людей всё же относительно грамотных?

Тогда можно полагаться на вкус, на чувство меры и чувство такта. Правда, говорят: "о вкусах не спорят", и что нет горшей обиды для человека, чем услышать упрёк в отсутствии вкуса.

Оставим тогда вопрос вкуса, коснёмся такта, и сразу перейдём к бестактности.

Среди примеров бестактности у древнегреческого философа Теофраста есть такой: *начать рассказывать всё сначала, когда суть дела уже понята собравшимися*. Это всё равно, что рассказать анекдот и тут же пояснить его суть, и подсказать, где смеяться.

Бестактный человек не имеет злого умысла, но действует невпопад и не вовремя.

Чтобы не уходить слишком далеко и не говорить о бестактности вообще, а только применительно к литературному её явлению, вернёмся к пушкинской фразе о глуповатости поэзии. Появилась она по конкретному поводу – по всё той же литературной бестактности, когда без злого умысла, а всестороннего разъяснения ради автор заставляет опять и опять всесторонне осматривать описанную им картину, *когда суть дела уже понята собравшимися*.

В письме Вяземскому в мае 1824 года Пушкиным написано: «Твои стихи к Мнимой Красавице (ах, извини: Счастливице) слишком умны. – А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата».

Дело в том, что стихотворение Вяземского дидактично и многословно, тогда как его зерно в четверостишье:

О женщины, какой мудрец вас разгадает?

В вас две природы, в вас два спорят существа.

В вас часто любит голова

И часто сердце рассуждает...

Суть – **образ!** – в четырёх строках, но Вяземский варьирует сказанное еще в двадцати семи (!) четверостишьях. Умно чрез меру, тогда как достаточно кратко благозвучия.

Пушкин, конечно, пишет о мнимой глуповатости поэзии, недаром «оговаривается», деликатно указывая другу на неуместность в стихах тяжеловесного долгого нравоучения.

Почему стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье» считается (я не сильно, надеюсь, ошибаюсь?) одним из лучших стихотворений о женщине в русской поэзии? Вероятно, потому, что образ женщины явился поэту «как мимолётное виденье, как гений чистой красоты». Ми-мо-лёт-ное... Можно ли сказать здесь о чём-то ещё большем?

Мимолётный гений чистой красоты! Красоты – без примесей учёности, без умопомрачительной способности к тому, сему, пятому и десятому, – *Красота и ничего более!* Это – идеальный образ женщины. Для контраста – крайне полярный – реальный образ в песне В. Высоцкого: *Придѣшь домой – там ты сидишь*. Подобный – в песне П. Мамонова: *И не ходишь никуда, и не уходишь никогда. / Ты рядом всегда. Рядом всегда*.

Другими словами, реальный образ женщины – это неразрывная и последовательная цепь событий. Даже, если золотая, всё же – цепь... *во мраке заточенья*.

Так что, вне мимолётности нет идеала.

О реальной женщине, с которой связывают пушкинское произведение, согласно его названия – К ***, – Пушкин отзывался, мягко говоря, не поэтически и крайне бестактно, но Пушкин-человек не обязан быть тактичен, таковым он и не был. Мы же говорим о литературе, а здесь наш поэт – образец, тактичности в том числе.

Впрочем, не будем категоричны: понятие такта невыразительно и невыразимо. Говоря о чём-то тактично, при этом чего-то не высказывают. Это не значит, что от этого *чего-то* отворачиваются, его всегда именуют перед глазами – для чего? Чтобы об это *что-то* не споткнуться. Такт помогает держать дистанцию, избегать столкновений и уязвления интимной сферы личности.

Как же быть? Пишущий ведь по большей части стремится к выразительности, ему надо *выразить всю силу страданий*, и как же тогда ему говорить об этом тактично? У меня, не знаю, прав я или нет, на это один ответ. Если понятие такта невыразительно и невыразимо, то пишемому, чтобы не впасть в бестактность, оставаясь выразительным, надо всеми силами создать образ – отражение, представление – о человеке, о явлении.

Не надо быть филологом и литературоведом для того, чтобы знать закон: *красиво не соврать, рассказа не рассказать*, и пользоваться этим законом, если вы пишущий. То есть, создавать представление о явлении, о человеке так, чтобы это было структурно сходное с ним описание, но не совпадающее с ним.

В. Чернышев. **Выбранные места из переписки художников и критиков**

Письмо от В.И. к А.В. Свою статью по поводу чрезмерности и такта и взаимоотношений «критического и поэтического», **образного** и силлогистически-дидактического (или, проще говоря, **рационального**) я послал В. О., он возмутился предположением, что «Критик как художник – это следующая ступень искусства», это, говорит, Уайльд пошутит.

Ваше письмо я внимательно прочитал и перечитываю. Много интересного (тем более, что на мне, как на воре, шапка горит). Но я пока понял не все и не до конца. Все же я – математик, как видно, и хотя в основание Логике предложил в качестве основной аксиомы «**Нетождественность тождества**» и одновременное с этим вместо принципа исключенного третьего предложил «сосуществование двух взаимно-противоположных предположений из одного условия» (как, например, загадочное убийство Анфисы в романе Шишкова «Угрюм-река»), и все сие у меня стройно математично, хотя при этом женщина для меня по-прежнему загадка (правда, я для них тоже пока загадочен – хотя бы для некоторых). ... Чтобы не показались мои слова обидными, что я в вашей статье не все понял - добавлю, что и письмо В. О. не понял до конца, а потом по этому же поводу разговаривал по телефону с А. В. О-м, но и его не во всем понял. И при этом не понятно мне еще: 1. почему две стороны в диалоге и в других случаях чаще всего не понимают друг друга, В ЧЕМ ТУТ ДЕЛО? 2. Почему человек, ясно и полно видящий существующий мир и человека в нем, не понимает того, кто в этом же мире видит еще нечто сверхъестественное. 3. И почему тот, кто видит и чувствует в этом мире богов, не понимает деиста, ощущающего "Трансцендентное" в мире (как мы все ощущаем искусство, красоту, справедливость...

Письмо от А.В. к В.И. Дорогой В. И.!

Спасибо за отклик на мою статью «О влюбленной голове». Вы написали мне, в частности, что: «... из двух набросков, из письма и статьи, можно написать хорошую Статью, лучше всего, если в ярости поспорить со мною, получится интереснее, подлинно со мной, или с образом меня, это не важно, ибо мы все – только литературные образы, в быту мы – блёклее самих себя».

Ваше предложение поспорить с вами, да ещё «в ярости», увы, свистящей стрелой минуло «моё обнажённое сердце» (Бодлер). Это стоик Белинский мог говорить: какое там «обедать», когда мы ещё спор о Боге не решили! И вы, по-моему, под стать ему, – не только не обедаете, но, подозреваю, и ужин врагу оставляете ради неистового поиска «правды святой», к которой и сей день презренный «мир дороги найти не умеет».

Что до меня, то я придерживаюсь банального правила: война войной, а обед по расписанию. Как художник я существо беспринципное и таковым желаю оставаться, несмотря на все соблазны получения поэтического гражданства. А раз нет принципов, то отношение моё к спорам таково: в спорах рождаются – грибы, а гриб и огурец в брюхе не жилец.

Я вот написал, что *ваш лирический герой* (из «Побега за временем») *напомнил мне Макара Девушкина*. На что вы мне ответили:

«Я, конечно, не Макар Девушкин, потому что всякая девочка мечтает о чудесах и героях, и я их сердца чем-то привлекал... тем, что я НЕ был Дон-Жуаном (хотя мог им быть, но был Дон-Кихотом... А пишу про себя потому, что для Исповеди (в которой «Погоня...» – только вторая часть) я из самого себя беру материаль, хотя совпадаю ли с героем исповеди, бог весть...»

Да говорить вы можете всё, что угодно, и я со всем вашим чем угодно соглашусь, почему нет? но ничего при этом с собой поделывать не могу: тень Макара Девушкина не изгнать мне из межстрочного пространства ваших эпистол (из первых частей книги).

Я имею право воспользоваться трюизмом: Я – так вижу! И не оспарю ваше право видеть не так, как я того хотел бы.

Вообще видение штука странная. В 1950-х гг. некие учёные показывали чёрно-белые снимки людей, пейзажей, натюрмортов туземцам бассейна Амазонки. Оказалось, что никаких людей, пейзажей и предметов для туземцев на снимках попросту не было, они видели лишь какие-то серые, чёрные и белые пятна. Художественное видение поэта и писателя устроено по такому же принципу, да и у всех людей *видение зависит по большей части от воспитания, от внушения, от привычки.*

Представьте теперь, что эти учёные стали бы спорить с туземцами, принялись бы доказывать, что на снимках не пятна, а портреты этих же самых туземцев? Да их бы просто изжарили и съели, учёных этих! А вы, В. И., предлагаете поспорить, да ещё в ярости поспорить. Платон мне, конечно, друг, но истина(?) ценою «обращения себя на жаркое туземцам» меня не привлекает. Поэтому я с вами согласен: на вашем снимке (простите, в *эпистолах*) нет никакого Макара Девушкина, просто есть пятна различных оттенков («Достоевского»).

Но отойдя на приличное расстояние, я, пусть и про себя, но всё же обязан сказать: А всё-таки он вертится там, Макар этот Девушкин...

Что ж в том плохого? Вреда он не приносит, скорее, наоборот. Человек он с тонким и своеобразным характером, в переписке отдающийся прихотям своего сердца, возможно, более обнажённого, чем у Бодлера. И он, «ваш М. Д.», разумеется, никакой не двойник героя Достоевского, а деятельный, энергичный и смелый, и он не терпит на ниве жизни и малой поросли "*цветов зла*", он их неумолимо уничтожает, подобно Толстому, рьяно срывающему толстенный стебель колючего «татарина» в начале повести «Хаджи Мурат». В его образе скрыты (но не для меня, читателя) кипящие чувства, драматизм, сложность и эмоциональное богатство. В нём уже мало чего осталось от психологии сомнительных «бедных людей», разве что навязчивое стремление к обличению начальств – земных и Небесных, проявляющееся внезапно, через запятую после элегического вздыхания, философского раздумья над сложными проблемами жизни поэта в *Послании Красавице*.

Вот он каков – «ваш М. Д.».

А уж с кого вы его списали, В. И., это не принципиально. Меня не подкупает строка в книге или на экране – «В основу нашей истории легли подлинные события»; я допускаю, что автор может одинаково морочить голову читателю и протокольной хроникой, и абсолютно безбашенной фантазией. Примеров тому и другому методу уйма. Да лишь бы не скучно.

Поэтому, спора у нас не получится. Пока, во всяком случае.

В вашем письме есть такие строки ко мне:

«...последнее замечание мое как литературного критика: если соединить письмо и наброски статьи, то в целом пока «до Медведева» не дотягивает, пока не хватает обычного безумия, которое в статьях ваших всегда (как я чувствую) есть».

То есть, вам видится в соединении моего письма и статьи с их доработкой вещь более «безумная», чем они представляют по отдельности. Я это понимаю, в ахмадулинском смысле: «высокой степени безумства» можно достичь при доработке.

Василий Иванович, не знаю, в какой степени посвящения я на сегодня нахожусь, какого градуса моё безумство, но согласен, есть ещё куда стремиться. Давайте так. Дописывать и комбинировать я, думаю, мне не стоит. Достаточно будет пояснения, хотя я не сторонник пояснений (см. мою статью «О влюблённой голове», ту часть, где о чувстве такта, когда одно четверостишие, раскрывающее тему, стоит двадцати семи четверостиший, объясняющих эту же тему, и далее). К тому же, по свидетельству В. О., поэт Виктор Соснора говорил, что не надо ничего объяснять – первая заповедь денди: никогда ничего не объясняй. А так как дендизм у меня доморощенный, неканонический, то лёгкое объяснение, даже, скорее, примечание можно позволить.

Не спроста возникло у меня сравнение вашего героя, переписывающегося с девушками, с Макаром Девушкиным. Имя – мужское, фамилия – женская. Явная отсылка в этом имени к проблеме андрогинности. Это что-то высокое, божественное, и в то же время в понимании толпы – нелепое, шутовское. *Внимать вам долго, понимать / Душой всё ваше совершенство* – так подурочки выставляют себя перед женщиной, пусть и в письме, может лишь существо очень чуткое, что уже подозрительно, к тому же смешное, недалёкое. Несмешное, далёкое мужское существо исповедует другой принцип: *Выслушай женщину и сделай наоборот*.

В картах Таро есть карта The Fool – дурак, шут. Этот персонаж истолковывается многозначно. Он изображён идущим, иногда с котом, иногда с собакой, причём она впивается ему в задницу и рвёт портки. Дурак символизирует в том числе и период вступления в неизведанное – с весёлым удивлением, без конкретных ожиданий. От него не веет благополучием, лстящим Эго, но веет благополучием души, не привязанной к условностям, пребывающей в странствии. Дурак воплощает архетип души – неприкаянной, безрассудной, блаженной, голой и нищей, идущей куда глаза глядят.

Он – асоциален, способен на всё, но практически реализует очень мало. У него шутовской наряд, он шут, «приличные люди» смеются над ним, но он этого не боится, сам посмеется над кем угодно, оболванивание его не смущает.

Дурак – это пустота, которая может стать всем чем угодно. За плечами у него узелок, в нём – всё и ничего, жизненный опыт всего человечества, котомка заблуждений и бессмысленных поступков. Число дурака – ноль, за тайну этого числа в древности люди отдавали жизнь. Умножение любого числа на ноль даёт ноль. Потому, что ноль – число совершенства, – двойственность, приходящая в

существование. А двойственность – это андрогин, и в дураке есть мужское и женское разом, и ни того, ни другого нет. Согласно оккультным книгам, Бог там, где одновременно находит мужчину и женщину. Возможно, он находит их внутри самого человека – «сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их» – и речь идёт об едином существе.

В детстве, когда меня уличали в каком-нибудь нехорошем поступке, и спрашивали, почему я его совершил, я частенько отвечал: *А я тогда дурак был*. Это объяснение поначалу устраивало взрослых, им казалось, если человек признал себя дураком, следовательно, теперь-то он поумнел и больше глупостей не сотворит. Стоит ли говорить, что поступки мои нехорошие продолжались с тем же самооправданием, только мне казалось, что слова *тогда* и *был* почти не звучали, слышалось только – *А я дурак*. Я огорчился. Пока в двадцатилетнем возрасте не прочёл Феогнида:

Уж лучше безумцем прослыть и болваном весёлым,
Чем умником хмурым, о Кирн!

За такой длинный текст Вы, надеюсь, извините меня, но он лишь для того, чтобы прозвучало объяснение, почему я не способен к спорам по поводу искусства. Если бы я просто отказался... я бы тогда дурак был. А так я всё же есть. *С уважением, Александр Медведев, 12 декабря 2019 г.*

Пост скриптум Критика, возмнившего, что за ним всегда должно оставаться последнее слово.

Джокер (или The Fool – Дурак из карт Таро) оказался тем восклицательным знаком, который почти перевернул нашу общую поэтическую вселенную.

Всё сие (то есть статьи об искусстве и споры о критике и поэзии – пусть и не яростные) между ВИ, АВ и В.О. я печатаю в 16-м номере Альманаха «Русские страницы», о, читатель! Указанную карту Таро (которую вместо Черной метки» прислал мне АВ, я помещаю на последней странице Обложки – и сие многозначительно во многих смыслах (так же как и приписка на последней странице издания, что издатель-редактор не отвечает за тексты авторов!!!! – а это *неспроста!!!*



Впрочем, я надеюсь на то, что наш Альманах никто кроме титульного листа не прочитает и мы можем спать спокойно. Академик Черниговский в годовом отчете кафедры, которой он руководил, вырезал нишу и туда помещал бутылку шампанского и приписку, что того, кто дочитает до этой ниши, он выдаст сто долларовую купюру. За десять лет к нему так никто и не обратился и Отчеты эти стоят на полке нераскрытыми (но не скажу, где они стоят). (Кстати, я об этом академике

уже вспоминал в своих пасквильных сочинениях). Впрочем, надеюсь, что споры наши об искусстве на этом не закончатся а только разгорятся. **ВИ**.

МЕМОРИИ, КУЛЬТУРА, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ

НРЖ №!% С250

Л. Л. Бубнова

ИЗМЕРЕНИЯ – НЕСОВПАДЕНИЯ

(О выставке живописи Н.А. Ионина в Музее современного искусства XX – XXI век, МИСП)

К 90-летию –

Виктор Голявкин о себе, о друзьях, о живописи

Виктор Голявкин

«ЮБИЛЕЙНАЯ РЕЧЬ»

Л. Л. Бубнова

ТЕНИ ПРОШЛОГО

В. Чернышев

По поводу слякоти в Петербурге

ИЗМЕРЕНИЯ – НЕСОВПАДЕНИЯ
(О выставке живописи Н.А. Ионина в Музее современного искусства XX – XXI век, МИСП)

Посвящается Г.Н. Ионину

Весь наш любимый XIX век изобразительное и литературное искусства любовались с подобострастием отображением видимых вещных миров в трёхмерном пространстве, верно учитывая земное притяжение: благостное впечатление от человека головой вверх, от дерева, растущего из земли кроной в небо.

В XX-м веке впечатление от видимого мира начало в искусстве усложняться. Предшествовали изменению кровавая Первая Мировая война, социально-политические революции в мире, Гражданская война в России, нацеленная на уничтожение, по крайней мере, половины людей в стране, чтобы не мешали революционерам по-своему делать мир.

Войны и революции показали мир со стороны всеобъемлющего зла: возможно ли полное уничтожение человечества или его выживаемость несмотря ни на что?. В упорстве жить человечество выстояло, но гуманистическое искусство, от начала мира сопровождающее человека, перешло в другое измерение: от благостного созерцания до по-разному понимаемого всеобъемлющего зла – прожили 20-й с ещё одной II Мировой войной и с уничтожительным для человека искусством смерти.

Вошли в 21-й с тревожным предощущением неизбежного апокалипсиса. Зло, как правило, вскользь поминалось в паре с добром – добро и зло, – но развёрнуто говорить предпочитали о добре, стеснительно оставляя зло в туманном литературном подтексте. В изобразительном искусстве намёки на зло тоже бывали, но неотчётливые. Один чудак сжёг классический храм, про него так писали, будто он и был один, а Герострат умер, и зло будто прекратилось. Войны и революции обнажили зло в полную силу. Мировое человеческое зло веками оставалось под завесой бесчисленных философических словоизвержений – тысячи фолиантов! – якобы в пользу добра. В изобразительном искусстве живописная красивость (и красота) привычно видимых предметов и лиц или мудрёных символов-намёков искусно скрывали подспудно бушевавшее зло войн и революций. Французская «Свобода на баррикадах» Э. Делакруа – буйно романтическая картина. Особенно уводила от реальности религиозная тематика христианства: талантливейшие художники кисти и слова создавали красочные картины то ада, то рая, воспринимаемые людьми с восторгом от красоты и величественности мифов.

– Ну, не только!..

– Что «не только»? Конечно, зло бывает разных форм образного фантазийного изображения, много нюансов может иметь, плюс и то, что вы сами считаете... Кроме того, зло умело маскируется под добро и под реальность – от того нам с вами ещё тревожнее, покоя не будет... Сдвиг в сознании в другую, нам не свойственную, реальность. Зло энергетически сильнее добра, волей-неволей заставит принять как должное его. Всё, что было до XXI века, может показаться слишком вялым.

– Нас сметёт?

– Не поддайтесь!

– А это возможно?

– В войнах, в страшных битвах бывают победители.

– Вы с ума сошли: задавать нам такую реальность?

– Почему нельзя? Самостояние всегда было под угрозой: в крепостном праве, при коммунистическом режиме, во время войн. Но достоинство! Всегда такие случаи были... Если бы не упрямое достоинство человека – наш мир разрушили бы до основания. («Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем» – и новый так же разрушат и тоже до основания – заповеди иродов человеческих). Пока в мире находится человеческое ДСТОИИСТВО – апокалипсиса не будет...

Я внимательно просмотрела 66 живописных картин Н.Ионина в репродукциях. Ранее побывала на двух выставках его оригиналов в музеях города. На выставке в МИСП у К. Ионина нет картин «нарисованных» – всё от этюдов с натуры до картин «производственных», как я называю, писано ласковой кистью и маслом. Как бы не относиться к его художественной манере (с расстояния другого века) с удовольствием можно сказать – настоящая живопись.

Повидавши множество картин русских художников – тематических, реалистических, экспрессивно авангардных, сугубо индивидуалистических, нонконформистских – видишь: цельность чувственно живописного мышления приближает художника непосредственно к предмету изображения и приятно исключает литературность. «Литературщины» (рассказывания) в русской живописи много, что выдаёт провинциализм многих художников. Н. Ионин – живописец органический.

Воспитанным и испорченным «аксиомами авангарда» разного свойства на протяжении всего XX века, было, показалось: не хватает в картинах Н. Ионина пресловутого «авангарда». Написанная кистью и красками в столь же «пресловутой» реалистической манере, любая картина вызывает трепетность кисти в руке художника, убедительностью и ясностью мысли живое чувство, словно только сейчас писанный с натуры этюд. Этюды всегда живее организованных картин. У Н. Ионина и картины воспринимаются как свежие этюды с натуры.

А вот кажущееся «чего-то не хватает»... мы привыкли воспринимать художника неотделимо от «его времени». Время художника объяснит, кому надо, перипетии его творческого метода – от обратного смысла.

Живописец Николай Александрович Ионин (1890 – 1948) родился в Петербургской губернии, но Великий Новгород – «... город моего отца» (Г. Ионин «Апокалипсис»). В Новгород был когда-то богатым и вольным, героически отражал набеги захватчиков, в XX веке был разбит чуть не до основания немецким нашествием в Великую Отечественную и стал заметно провинциальным.

Николаю Александровичу, рождённому в 1890-м, достался весь ад мирового зла: участие в I Мировой, после пришлось быть свидетелем революций – Февральской, Октябрьской – с репрессиями и реквизициями. Он был призван в Красную Армию, значит, был солдатом в Гражданскую войну, нацеленную на уничтожение несогласных с революцией (таковых было полстраны). Пришлось ему претерпеть голод 20-х после Гражданской. Количество пережитого страшного представить невозможно.

Ни один солдат, живой пришедший с войны, никогда не рассказывает, что там с ним было, ужас и зло скрывает в молчании, как и Николай Александрович, по свидетельству наследника. «Молчание – самый лучший ответ» – так от отца интуитивно перешло к сыну. «Офицерская шинель с прикрепленным к отвороту двуглавым орлом...» – шинель отца или «пряддюшки» отдана мальчику для игр.

«Я понимаю, чего боится отец... не хочет оставлять меня одного... мир, в котором я живу, смертельный. И подлый. Уж было бы за что умирать... Умирать не за что... Бедный отец. Он хочет понять, как одно Я переходит в другое...». (Г. Ионин «Апокалипсис»).

В 20-е гг. Николай Александрович женится на прекрасной девушке из семьи художников. И родится сын. Возможно, после этого возрождения и «понесло» его в Академию художеств – его на это хватило, то ли по случаю, то ли почувствовал в себе некую миссию.

В России до сих пор, нет-нет, да из какого-нибудь «медвежьего угла» выходит провинциальный мессия с надеждой весь мир подлунный накрыть СВОЕЙ идеей, а поскольку из «медвежьего угла» ракурс обзора мира специфически узко «свой», то в идеях запутывается и миссия проваливается в тщету бесплодности.

Художник – мучительно трудная профессия, а жизнь его, и особенно семьи, мученическая.

Я пишу это 22 июня 2019-го. Я ребёнком переживала войну, мой отец был раненым солдатом Отечественной войны, муж – художником-живописцем. Каждый год как проклятие: «Ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война...». Сразу опасно забьётся сердце от воспоминаний о войне. Писать мне трудно, но Н. Ионин-живописец стоит того. Живописным творчеством ему удалось показать и оставить людям реальное изображение земногорая, после того, как сам испробовал ад.

Напитанные свободными западными идеями Парижа и Берлина, русские художники, никогда ничего не выдумавшие сами, всё – и довольствие, и продовольствие, и свободолюбие – с Запада тащили домой. Что, мол, нам стоит, мы даже дальше пойдём! А попробуем-ка из НИЧЕГО сделать НЕЧТО

или одно превратить в другое. Политики превратили жизнь в страшнейший ад, сытость людей – в голод, богатых – в нищих, надо, чтобы искусство не отставало. И давай догонять политиков и соревноваться с ними в разбое!

В самом деле академическое русское искусство к 20-м годам XX-го века всё ещё молилось на старые иконы, картины писали по христианской, в лучшем случае по исторической, мифологии.

Западники к тому времени христианские заповеди вообще убрали из светской общественной жизни. А вместо изобретали много чего интересного...

Соблазнительно! И нашим нужно!

Главным новатором можно назвать К. Малевича: он догадался на все прежнее искусство наставить «Чёрный квадрат» – символ: что было – прошло, начинайте с нуля.

Но с нуля начинать оказалось трудно, никто не додумался, как, а начали с подражания – и это у новых художников бойко и споро пошло, рекой потекло, бурным потоком.

Н. Ионин попал в самый разгар подражаний; вероятно, носил в себе что-то другое, но не поддаться бушевавшим влияниям сначала было невозможно. Говорят, в Академии его учителем был К. Петров-Водкин. Представляю, как могли не нравиться Н. Ионину примитивностью, заданностью и рисованностью картины «Смерть комиссара» или «Купание красного коня», да и образы под влиянием иконописных шедевров подражательностью.

К. Петров-Водкин явился в столицах, будто только что отошёл от Иисусовой иконы. Сначала имел подобострастие к иконам: русских баб с грудями и младенцами изображал иконописно в виде мадонн: не как на старых аскетических образах, а будто «ренессансно». Натюрморты писал, будто предметы сейчас скатятся от земного вращения со стола – это считалось откровением в искусстве.

Но картины никого из художников тогда «не кормили», и скоро он перешёл на «тематику»: «Смерть комиссара». «Купание красного коня» – символика понравилась вдруг на государственном уровне как «высокоподнятое знамя в будущее». Позже эта картина стала казаться прозрением, пророчеством великих потрясений.

Большую жизнь мира Н. Ионин уже испытал на себе во время войн и революций: оголтелое разрушение пространства, жилищ, тотальное уничтожение человеческой плоти, личности. Сколько повидал он специалистов разрушения, они, наверно, в школах учились, книги читали, философские трактаты писали... и что? Всё разлеталось от выстрелов на мельчайшие части, ничего невозможно собрать.

Н. Ионин, было, попробовал отдать дань учителю. Но тут же засомневался... В 1925 году Н. Ионин пишет свой «красный» символ: стоит «Женщина в красном» будто на краю Земного шара на фоне лоскутков родной земли; словно изголодавшаяся аскетичная фигура, лицо, шея, руки коричневые, как на старых аскетичных иконах (грешно, мол, писать женское тело, как у кающейся Марии Магдалины итальянского художника). Красным,

может, похоже, как у Петрова-Водкина. Но символ несогласия отчётлив и жесток – красная женщина сходит с Земного шара в космический ад: снижение романтической приподнятости до здраво осмысленной бывалым человеком реалистической действительности.

Другой иконоподобный лик на фоне деревни «Женщина в платочке» 1925 года: лицо и тело коричневые, как на иконах, но как самоирония плат на голове украшен орнаментом из серпов и молотов.

Иконописные формы учителя Ионину явно не подходили и портили вкус.

В 1923-м он пишет городской пейзаж «Новгородский Кремль» в стиле конструктивизма, отдалённо напоминающем А. Лентулова, он, похоже, складывал городской пейзаж. Но странно – кособокая конкретная будка на переднем плане подозрительно жмётся под купола: неблагоприятное подкралось к храму. Ещё «Новгородский пейзаж с деревом» 1924 года в стиле (Дереновского?) минимализма. Таким образом в 20-е годы Н. Ионин ещё примеряется к разным бродившим в то время среди художников стилям.

Но... Надо любить, что видишь сейчас. Через мгновение может не быть тебя или вида: снесёт пулей, снарядом, бомбой...

Был на войне – внутренне там навсегда остался.

Ценно – только сейчас!..

«Интерьер комнаты», первая половина 20-х, можно считать программной: тишина, светлый покой комнаты, тепло, деликатно, мастерски написанный в собственной Ионинской гамме – мечта человека о рае, именно этим и никак другом – пусть он будет всегда! Видеть перед собой природный пейзаж с целым (не разрушенным) тёплым домом, возлюбить рукой, кистью, красками, глазами, умом человеческим – как молитва художника – для того он художник.

«...Он видит каждый день то, во что верит. Очевидность и достоверность – вот его принцип», вызывающие, однако, тревогу, интуитивно восприняты сыном. «То, что я вижу вокруг, – островок, сохранённый от катастрофы... здесь островок чистоты, здесь нет загрязнений. И ближайшая буря обойдёт стороной эти дома и деревья, как сегодня гроза обошла... Слышу раскаты грозы из будущего...» (Г. Ионин «Апокалипсис»)

Картина-этиюд «Ветряные мельницы», начало 20-х годов – уверенно, красиво, цельно написанная. И композиция, и охра золотистая на переднем плане оставляют глубокое эмоциональное впечатление. Картину не хочется (и не надо) ни с кем и ни с чем сравнивать – живопись оригинальна, совершенна – шедевр. Жутко жалко ветряков, если взрывом разорвёт! У художника бесспорно оригинальный живописный талант.

В Академии 20-х гг. беспредельно правят два гиганта-авангардиста – К. Малевич и П. Филонов (пришедший с «румынского фронта»). Они провозглашают свои теории, «школы», у них ученики – они возглавляют «новую культуру и искусство», «подсознательными движениями» хотят «переворачивать мир».

«Расширенное сознание» – художественная цель К. Малевича: «беспредметным искусством» подготовить мировую революцию. Он говорит «о тайной силе супрематических знаков». В 1917-м К. Малевич получил пост

в Отделе ИЗО Совнаркома. Ему поручили создание формы и знаков отличия для работников ВЧК и военнослужащих Красной Армии – «Чёрный квадрат» положен в основу знаков. Якобы К. Малевич ввёл в этот квадрат всю Вселенную. «Чёрный квадрат» заглянул в иное измерение.

Живопись поглощена «Чёрным квадратом».

Н. Ионин только что вернулся оттуда – из того «измерения». Безликие головы Малевича напоминают Ионину формы мишеней для стрельбы.

П. Филонов учит «анатомически расщеплять, разлагать действительность ... голову надо разобрать по косточкам» (на холсте, естественно). «Аналитический метод представляет исключительное явление в мировом искусстве».

В это время Н. Ионин служил в Красной Армии, шла Гражданская война.

Что станет с «Ветряными мельницами», если в них попадёт снаряд или бомба? Они превратятся в «супрематические» щепки Малевича; в «действительности» голова сама разлетится, нечего станет «разлагать по косточкам», как учит П. Филонов.

Кошунственно «разлагать действительность» в Академии художеств, когда на фронте это происходит ежеминутно и называть подобное «авангардом» в искусстве. Война не оставляет камня на камне: массы убитых, раненых, кровь, огонь и дым – неужели и с искусством можно делать то же самое?

Действительность всё же лучше сохранять, хотя бы красками на холсте, а не «разлагать».

Вот теперь, разглядывая картины Н. Ионина, делается понятно, почему он не погружается в «авангард», уже превратившийся в широкую моду.

«Очевидность и достоверность!», запечатлённая красками и кистью на холсте.

В 1920-е Н. Ионин переходит «на тематику» и пишет две большие («общественно значимые») картины. «Золотые недра и цивилизация», начало 20-х. Символично задумано: синяя гора, у подножия завод по переработке рудных ископаемых. Завод выедаёт гору и готовит ей «апокалипсис» – современная экологическая мысль. Живописная красота картины зловещая. Н. Ионин умеет задумывать многозначные символы.

Но представляется: самое главное для него недалеко уходить от дома, потому он находит производственную «тематику» на своём Васильевском острове: завод «Севкабель», праздничные демонстрации на набережной Невы, верфи судостроительного завода.

«Производственная» картина «На верфи», 1920-е: красно-коричнево-зелёный корпус судна на втором плане держит внутреннюю содержательную и зрительную весомость композиции, а на переднем плане светло-охристо-красные конструктивные предметы, неназойливо расставленные люди задают тёплый, мягкий, приятный, живой колорит всей композиции – убедительная живопись, ничто не нарушает цельности, смотреть и вглядываться приятно.

1930-е гг. – художник уверенно, свободно работает большие картины, в том числе, как я называю, «производственные или общественно значимые». Но сначала хочу ещё раз «шагнуть в эту» (Г. Ионин: «Натюрморт с красками», 1937). Н. Ионин с такой любовью и обожанием живописует предметы вокруг себя, неотъемлемые от его ежедневного быта (никаких других ему не надо) – с каким увлечением, сосредоточенностью я рассматривая матово-зелёные тона в его композиции, его собственные, карминно-красный ободок раскрытого этюдника, тёплое свечение красок, всё слаженно и вписанно в картинке – чувства художника и мои впечатления. Минимализм поставленных предметов в «Натюрморте с красной тканью», 1941: киноварь, ультрамарин, Ионинские зелёные – классическое бытие, только бы кто не тронул грубой силой, не разбил слаженность, не развалил предметы – навиделся он такого. В каждой картине чувствуется настроенность, особенно в пейзажах с домами.

«Луга. Голубой дым над крышей», «Голубые крыши», «Деревня. Отлогий берег реки Луга» (все – 1939–1941-й). Обретённый рай в зелёном пейзаже скоро станет обречённым. Когда знаешь прожитую исторически неизбежную эпопею жизни художника – ТО и видишь в его картинах. В тридцатые годы беда настигла-таки художника – погиб единственный сын. Но как он сам возродился после войн, революций, распадов в качестве художника – родился новый мальчик и счастливо заместил потерю.

Мастер интерьера, в 1930-е написал «Золотую лестницу», интерьер «Цех бронирования, этюд №1. Из серии «Севкабель», « На заводе», «Эрмитаж. Зал Екатерининского дворца», 1936. Пейзажи «Подготовка новых быков для моста Лейтенанта Шмидта в Ленинграде», «Демонстрация», 1935 – мелькание черно-красно-белых тонов на охристом фоне. У чёрно-белой толпы нет лица. У композиции – лицо мягкое, тёплое. Успел написать портреты сына, автопортреты...

И началась Великая Отечественная война, Блокада Ленинграда – голод до того небывалый.

«Мы занимали по-прежнему две комнаты – те, в которых ещё молодые мой отец и мать голодали в двадцатые годы... но малая комната, которую ...не в состоянии отапливать... оставалась закрытой... пропала мастерская в черноте и холоде...» (Г. Ионин «Апокалипсис»).

Представляю мученическую эвакуацию в Киргизию (Пишпек).

Что видел художник в Киргизии:

«Сбор винограда в Киргизии», 1942–43;

«Яблоки созрели», 1942–44;

«Персиковое дерево», 1944;

«Тянь-Шань», 1943. Горный пейзаж: тонкие акварельные переводы жёлтых, сиреневых (синих), зелёных Ионинских.

По возвращении в Ленинград «Автопортрет» 1947-го года – лицо усталого человека, но ему предстоит ещё живописать оптимистичные красивые полотна. Особенно символический «Этюд с детской коляской», после 1945. Он радостно удивлён, что в жизни остался любимый пейзаж-картина:

«Васильевский остров», после 1945 – светло-жёлтый, группа играющих детей под молодым деревцом, (Я пришёл домой. Я у себя дома!).

Большое полотно «Набережная Лейтенанта Шмидта. Корабли» и шеренги курсантов. Снова мирная картина «Дом тёти Наташи. Зелёный двор», 1945 – 1947 – с мальчиком в центре композиции.

После войны «авангард» в стране был попросту запрещён, начался соц-арт – прославление советской жизни.

Послевоенный шедевр – солнечный панорамный пейзаж «Переезд», 1945 – 1947: с домами, прудом, людьми, детьми, телегой и быком – композиция апофеоза жизни. Но не соц-арт. Символ – песня Н. Ионина, видение Ионинского сиюминутного рая на земле.

Зная жизнь художника, так вероломно вставленную в беспощадную историю страны, с жадностью разглядывая фрагменты полотна, насыщая глаза видением реалистического пейзажа. В любой момент родного уголка может не быть, но в картине он останется теперь точно. Верность художника живой, органичной для него сиюминутной живописной действительности – его достоинство. Стойкость художника не стать подражателем «авангардистов», даже в лучшем варианте в то время, когда многие «бросились» в его омут, – поучительна.

Позже, в 60–70-е «сезанизм», «гогенизм», «пикасизм» стали разоблачением несамостоятельности художественного метода советских художников. «Авангард» вытолкнул художественную мысль из стагнации, стимулировал искать новые индивидуальные формы в изобразительном искусстве, но подражательность для художника стала явно уничижительна.

Этюды Н. Ионина – чувственные живописные чудеса: «...Всё дробилось, извивалось и оставалось на месте, и столько живых оттенков голубого, зелёного и красного, каждый раз новых...» (Г. Ионин).

Н. Ионин радостно удивлялся чудом сохранившейся после всех войн и революций видимой и осязаемой жизни. Он умер за мольбертом в 1948-м году, 58-ми лет.

Всё. Художник, ты так трепетно обрисовал многими живописными картинками: что есть на свете – настоящий рай. Но преодолеть столько раз мировой ад человеку больше невозможно, свыше твоих сил.

Жена и сын остались без денег.

«...Минуло несколько лет голода и неопределённостей» (Г.Ионин), пока мать нашла работу, но было уже не так страшно, как в Блокаду. Жена художника – всегда непосильно трудный роман.

К. Малевич и П. Филонов – первые авангардисты оставались в России до смертного часа, а многие другие попросту разбежались по миру.

«Супрематизм» К. Малевича, «аналитическое искусство» П. Филонова – художники работали независимо друг от друга, имели учеников, какое-то время преподавали в Академии художеств. Свой метод каждый из них утверждал теорией, подводил философскую базу.

К. Малевич: «Я уравнил не только квадрат и человека, но ввёл в этот Квадрат вою Вселенную... заглянул в другие измерения... мир состоит из геометрических фигур...»

П. Филонов: «Я – революционер в искусстве... исключительное явление в мировом искусстве... очевидец незримого... Моё изображение не только говорит, но и мыслит о не всегда видимом, о внутреннем...»

На выставке в Русском музее, организованной после большого перерыва, кажется, в конце 1960-х годов, искусствоведы говорили, будто П. Филонов изображает связи микро и макрокосмоса.

Авангардисты искали новые смыслы в искусстве.

Руководители нового социалистического государства ставили им в пример Исаака Бродского, выполняющего хорошо оплачиваемые госзаказы. Изюгиз заказывал П. Филонову картину «Тракторная «Красного путиловца», издательство «Академия» – иллюстрации к финскому эпосу «Калевала». Реввоенсовет заключил договор на картину о Днепрострое...

Самоуважение и достоинство не позволили перекараситься.

Со временем художественное творчество авангардистов названо совершенно уникальным явлением в русской живописи.

Двое неистовых, К. Малевич и П. Филонов, положившие жизни на новое искусство и неповторимое художественное воплощение новых идей, сделали заметным и ценным в мировом изобразительном искусстве весь русский авангард 20–30-х гг. XX века, больше чем на полвека наглухо запрещённый в Советском Союзе.

Потому они «гении» и «гиганты».

Н. Ионину, реалистическому живописцу, по истории его жизни и мировоззрению авангардность не стала органичной, лишь бы сохранить видимое и осязаемое взглядом человека сейчас и облюбванное кистью художника, что всегда под угрозой разрушения при слишком частых катаклизмах на земле.

На фоне разных современных «авангардов» заметно быстро уходит культура художественного визуального письма с натуры – реалистическая живопись теперь уже представляется бесценной.

22 июня 2019 г. Санкт-Петербург

К 90-летию –**Виктор Голявкин о себе, о друзьях, о живописи**

В бумагах нашёлся листок – случайная одинокая машинописная страница пятидесятилетней давности, охристо-жёлтая от времени с лохматыми краями, но с правкой чёрной тушью самого В. Голявкина. Видно, готовил публикацию для журнала.

«... они этого так хотели: но арфистом я так и не стал. Я поступил в художественное училище. Потом закончил Академию художеств в Ленинграде. А потом стал в конце концов писателем. Вот видите, какой долгий и сложный путь! Вот обо всём этом и о другом я хочу написать в своей новой книжке.

Я никогда не жалею, что занимался боксом, хотя многие считали, что я занимаюсь не тем, чем нужно. А бокс всё-таки дал мне много хорошего, ~~дал веры в силы~~ (зачёркнуто), научил не отступать перед трудностями.

Занимаясь живописью много лет, я учился лучше понять правду, понять законы искусства.

Некоторые говорят: всё что не(и) делается – делается к лучшему. В какой-то мере это так. Ведь я никак не мог знать, что когда-нибудь стану писателем. А всё делалось к этому, как теперь стало ясно. Если только всё это свелось к лучшему – тогда всё правильно в этой пословице.

Я сам рисую рисунки к своим книжкам. Так что мне приходится дважды встречаться со своими героями. Иногда мне труднее бывает встречаться с ними во второй раз и я никак не могу представить себе ~~этого~~ (зачёркнуто) того или иного героя в рисунке, хотя сам написал его. Ведь написать всё-таки одно, а нарисовать – другое. То есть это совершен (оторвано) разные вещи, о чём вы и сами догадываетесь ~~знаете~~ (зачёркнуто).

Я начал писать с маленьких весёлых рассказов и написал их более ста. Я и сам сейчас их продолжаю писать. Во всех детских журналах и газетах, таких как «Пионер», «Костёр», «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Пионерская правда», «Ленинские искры», «Звёздочка» вы, ребята, наверное, встречали мои маленькие рассказы.

Многие спрашивают, как писались эти рассказы. Они писались по-разному. Некоторые истории, скажу по секрету, происходили со мной, ведь я тоже когда-то был в вашем возрасте, и кое-что помню из того...» (конец страницы).

Надо же: писателю, создавшему к тому времени неуловимый, изобретательный, женский характер в «детском» коротком рассказе «Передвижение комода», так скромно, робко, застенчиво, нескладно писать о себе и своей работе.

Довели человека?

-4.

чему они этого так хотели: но артистом я так и не стал. Я ~~пожарил~~ поступил в художественное училище. Потом закончил Академию Художеств в Ленинграде. А потом стал в конце концов писателем. Вот видите какой долгий и сложный путь! Вот обо всем этом и о другом я хочу написать в своей новой книжке.

Я никогда не жалею, что занимался боксом, хотя многие считают, что я занимаюсь не тем, чем нужно. А бокс все-таки дал мне много хорошего, ~~как и другие виды спорта~~ научил не отступать перед трудностями.

Занимаясь живописью много лет я научился лучше понять правду, понять законы искусства.

Некоторые говорят: все что не делается - делается к лучшему. В какой-то мере это так. Ведь я никак не мог знать, что когда-нибудь стану писателем. А все делалось к этому, как теперь стало ясно. Если только все это свелось к лучшему - тогда все правильно в этой пословице.

Я сам рисую рисунки к своим книжкам. Так что мне приходится дважды встречаться со своими героями. Иногда мне труднее бывает встречаться с ними во второй раз и я никак не могу представить себе ~~того~~ того или иного героя в рисунке, хотя сам написал его. Ведь написать все-таки одно, а нарисовать - другое. То есть это совершенно разные вещи, о чем вы и сами ~~догадываетесь~~ *думаете*.

Я начал писать с маленьких веселых рассказов и написал их более ста. Я и сам сейчас их продолжаю писать. Во всех детских журналах и газетах, таких как "Пионер", "Костер", "Веселые картинки", "Мурзилка", "Пионерская правда", "Ленинские искры", "Звездочка", в ребята, наверное, встречали мои маленькие рассказы.

Многие спрашивают как писались эти рассказы. Они писались в разном. Некоторые истории, скажу вам по секрету, происходили со мной, ведь я тоже когда-то был в вашем возрасте, и кое что помню из того,

А для «взрослых» уже написана Проза, которую время публиковать только через полвека.

«Орут, толкаются – просто жуть! Сидят друг на друге, иные стоят, иные вышли. Иных вывели, чтоб не шумели. Иные скрылись в толпе и потом потерялись. Многих потом не нашли – фу, ты, чёрт! Иных уговаривали, но тщетно. Двоих подняли и пронесли, но не донесли, уронили и шибко ушибли. Троиш причинили увечья, то есть: им вывихнули носы. Одному придавили уши. Несчастье какое!..» (В.В. Голявкин. Всё будет неплохо – Петербургский Писатель, 2000 г., 300 с., ил. автора).

Тогда в Ленинграде 1960-х гг. так смело, будто на века, писать и публиковать было нельзя. А теперь перевернулось время: на экране «жёлтые жилеты» на Елисейских полях, в украинской Раде дерут друг друга за что попало, на улицах трещат оранжевые майданы...

Несчастье предвиденное – будто Голявкина начитались. Дела, конечно, гораздо глубже и хуже, чем в Прозе полувековой давности. Но интересно: Проза обнажает реальность в коротких строках! В них юмор, сарказм и правда – смех над «правдой».

Из интервью.

– А друзья у вас были?

– Прибежал однажды в детстве в бакинский городской сад, вижу: мальчишка рисует на асфальте. Я ведь тоже рисовал, подошёл – и познакомился с Тогрулом (Нариманбековым – Л.Б.). Было нам тогда лет по десять. Вместе листали книги в библиотеке в центре городского сада. На конкурсе рисунка, организованного библиотекой, познакомился ещё с одним мальчишкой – Таиром Салаховым. Втроём ходили по городу, разговаривали про художников, смотрели городские выставки, учились в одной – шестой – школе. Баку стоит на холмах на берегу Каспийского моря. Бежим по улице вниз – прямо к морю. На Приморском бульваре мы и выросли: море, солнце, порывистый ветер – благополучная была бы картина. Но у Тогрула отец и мать были «высланы». Они с братом остались под присмотром няни. У Таира был «взят» отец и вскоре погиб – семья с пятерыми детьми осталась без средств, семья жила в доме «врагов народа»...

Мальчишками в Баку мы пережили голодные годы. И непрерывно рисовали: в студии Дворца пионеров, в художественных училищах – окончили художественные институты. Искусство нас воспитывало. К началу 1960-х (XX века) мы сформировались: для самостоятельных художественных исканий. На 60–70-е пришёлся пик нашей зрелости.

В детстве слово «художник» звучало для нас романтически. Вызывают сочувствие судьбы любимых импрессионистов, постимпрессионистов, они жили отшельниками, бедствовали, но оставались верными своему делу. Искусство бескорыстно, деньги безнравственны. Цена неизвестна – оно бесценно, раз стоит всей жизни художника...

– А вы в каком стиле работаете?

– В живописи? Во второй половине двадцатого века в станковой живописи первостепенное значение приобрела ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ художника.

Жизнь творится ежеминутно. По поводу того, что было, есть и будет, возникают новые мнения. Чем новее – тем интереснее. В искусстве они безмерно интересны. Хотя и будут тут же поглощены реальностью. Особенностью живописи НАШЕГО времени становится свой СОБСТВЕННЫЙ цвет художника.

Реалистическая традиция не осмеливалась порывать с натурой. И цвет подсказывался натурой: небо непременно голубое, деревья зелёные. Новым художникам удавалось преодолеть диктат природы – небо и деревья могут быть любого другого – СВОЕГО цвета. Характер живописи ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ: в этом есть наконец свобода выражения чувств и мыслей цветом, красками – живописно.

– А что такое живописно?

– Краски komponуются на плоскости холста, ритмом переходят от одного цвета к другому, гармонично, интенсивно эмоционально создают художественный образ. В любой картине я смотрю художника, как он мыслит красками, художественное мышление автора – мировоззрение.

Вообще есть такое понятие – развитие мировой художественной мысли: реализм, импрессионизм, абстракционизм и т.д.

– Сейчас вы пишете картины?

– Иногда пишу.

– В каком стиле?

– В стиле экспрессивного реализма... Говорят, сейчас появилась компьютерная живопись. Этого я уже не знаю...

– Что нужно, чтобы стать хорошим художником?

– Хорошим? О! Хорошим... – Голявкин смеётся, – Нужно съесть кусок графита, кусок угля, выпить разбавителя для красок, погрызть пилёных досок; сожрать стол, стул и ящик; наглотаться сырых ягнят, не подавиться барабанными палочками с барабаном, керосиновой лампой, духовым утюгом с горячими углями, алюминиевой кастрюлей; сжевать шлагбаум, искушать таз, скушать рельс, слопать кузов машины, проглотить трос и метры изоляционного провода...

Шутка. Жёсткая метафора в форме парадокса... (Из публикации к 80-летию В. Г. Альм. «На русских просторах», вып. 5, 2009 г. «Фотоны вашего света доходят до нас»)

Наконец можно напомнить «Юбилейную речь – самопародию (автопародию), написанную в конце 1950-х – она тридцать лет пролежала в столе писателя, – а в 1980-х пародию случайно переориентировали на другое лицо, и она надолго испортила писательскую карьеру. (Взято: Виктор Голявкин. «Всё будет неплохо». Петербургский Писатель, 2000г.)

«ЮБИЛЕЙНАЯ РЕЧЬ.

Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не верится, что он ходит по улицам вместе с нами. Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг! Любой человек, написав столько книг, давно бы лежал в могиле. Но этот – поистине нечеловек! Он живёт и не думает умирать, ко всеобщему удивлению. Большинство считает, что он давно умер, – так велико восхищение этим талантом. Ведь Бальзак, Достоевский, Толстой давно на том свете, как и другие великие классики. Его место там, рядом с ними. Он заслужил эту честь! Он сидит передо мной, краснощёкий и толстый, и трудно поверить, что он умрёт. И он сам, наверное, в это не верит. Но он безусловно умрёт, как пить дать. Ему поставят огромный памятник, а его именем назовут ипподром, он так любил лошадей. Могилу его обнесут решёткой. Так что он может не волноваться. Мы увидим его барельеф на решётке.

Позавчера я услышал, что он скончался. Сообщение сделала моя дочка, любившая пошутить. Я не скрою, почувствовал радость и гордость за нашего друга-товарища.

– Наконец-то! – воскликнул я, – он займёт своё место в литературе!

Радость была преждевременна. Но я думаю, долго нам не придётся ждать. Он нас не разочарует. Мы все верим в него. Мы пожелаем ему закончить труды, которые он ещё не закончил, и поскорее обрадовать нас».

Публикация подготовлена Л. Бубновой
СПб, 2019 г.

ТЕНИ ПРОШЛОГО БЛУЖДАЮТ ПО СТРАНИЦАМ

О новом сборнике «Литература и жизнь». Обзор

Герман Ионин. ЛЕВ ТОЛСТОЙ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА.

Лев Толстой вошел в литературу XIX века феноменальным произведением «Севастопольские рассказы», побывав непосредственно в самом нутре «Севастопольской страды». Никто ничего подобного тогда еще не написал в русской литературе – настоящий феномен.

После первого великого произведения подобного феномена он не выдал, хотя вполне хорошо, интересно писал повести и бульварные романы. Роман «Война и мир» на треть написан по-французски... Все его произведения провозглашаются гениальными и читаются молодыми.

Но уже из «сегодня» фигура Толстого смотрится иронически: затеял дискуссию на весь мир, желая «чуть-чуть» поправить православные прописи – почему, получив пощечину по одной щеке, надо подставить другую. Всю жизнь истязал плотской любовью жену (13 родов было у Софьи Андреевны), а потом убежал от нее и от семьи на «край света», позоря жену и детей непонятным поступком.

Однажды наш журналист спросил некоего известного зарубежного литературоведа: как он воспринимает русскую литературу XIX (золотого для нас) века. Ответ был таков: вся русская литература была с идеей православия – ничего нового не было. Православие съело?

Что будет «завтра»? У нас так и будет: «Толстой – гений всех времен и народов. А ты кто такой?» «Домострой» не преодолен.

Анатолий Белинским. РЕАЛИЗМ, СОЦРЕАЛИЗМ И РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.

А. И. Белинский к любой теме подходит, тщательно, скрупулезно изучая документы, после излагает свой собственный, иногда наивный, взгляд на большую проблему.

Уж как «правили» литературой всё советское время, уж как «чувствовали себя вершителями писательских судеб». Много названо авторов и произведений, получивших Сталинскую премию или не получивших, но лучшие книги того времени «не вписываются в рамки соцреализма... они разрывают эти каноны».

Заканчивает исследование автор (снова!) словами А.С. Пушкина: «Мысль писателя не зависит от ее употребления». Так что будем мыслить!

О мире запредельном? – мой вопрос.

Вячеслав Овсянников. О ЗВУКАХ.

«О музыке слова ... о звуках»...

Автор набирает порядочно слов и фраз из классической русской поэзии. Хорошо. Но...

Он слушает прошлое. Поблагодарил всех известных поэтов за музыкальную звукопись слов. Нельзя не согласиться насытиться вместе с ним музыкальностью поэтических строк. Мило. Но...

Ведь это колыбельные звуки. Какой вы, оказывается, нежный мальчик – колыбельные мотивы любите. Мы тоже их любили. Но вот они прозвенели: вы вылезли из колыбели, где приятная речка звуков текла. Что дальше? Приходится вбирать другие звуки мира. *Атональная* музыка пошла. Как быть со **скрежетом времён**? Когда «Катерпиллер» (грузовик) свозит с горы четверть ее породы и довольно рычит от большого груза... Что делать с гулом при возбуждении земных континентов, при тряске в землетрясение? А канонады орудий («катюш») при наступлении друг на друга армий? Как найти словесные ноты для этого? Разве это не музыка?

Баюкающие колыбельные мотивы вы любите, а рёвы штормов и пунами нет? Но как быть со всем этим звучанием?

Вы – писатель – должны это определить. Вы – счастливчик: вам ещё есть о чём писать! В вашем настоящем времени звуков ещё больше – и это тоже музыка и её надо описать.

Юрий Серб. РУССКИЕ ПОЭТЫ СОКРУШАЮТ ПРАВИЛА ТРОЦКИСТОВ.

Прямо с названия соскочила политика.

В «правиле мягкого знака» он видит «крушение России».

Отменить «закон мягкого знака»!!! Кроме того, автор желает наставить нам «ятей».

Станет лучше? Кому? Ему? Или всему народу? В следующий раз объясните почётче.

Александр Медведев. БЛУЖДЕНИЯ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ.

Считает: «Христианство соединило в человеке конечное и бесконечное – тело и душу, человек увидел себя личностью». Не согласна! Христианство подчинило себе народы и континенты, а человека сверзило с ног на колени перед любой иконой, подавило его дух и душу. Христианство не знает национального самосознания. А мы с вами?..

Если что-то «соединяет», то жалко на это смотреть (писателю). Тексты этого автора часто страдают от цитирования чужого. Это как болезнь то ли духа, то ли плоти. Призываю лечиться, как теперь отучают от курения или алкоголя.

Татьяна Федеяева. ... О ПЬЕСАХ АВСТРИЙСКОГО ДРАМАТУРГА ФЕЛИКСА МИТТЕРЕРА.

Автор приоткрыла нам чуть-чуть литературное окошечко в Европу: заметила новую тенденцию в австрийской литературе – «завучала тема патриотизма, героизма и национального героя».

Понимание «патриотизма в целом как жертвенного служения своей Родине». Добавлю: вопреки насаждению «национализма как главной причины зарождения фашизма... разрушающей внутренний мир людей через человеконенавистнические потенции».

Герои пьес Ф Миттерера «искренне любят свою малую родину и дорожат семейными ценностями». Могу добавить: так же, как мы с вами.

Дмитрий Улахович. ЧТО ТАКОЕ «ЧТО ДО ТАКОЕ», ИЛИ ЭТОНЕОН.

Никогда не читала этого автора – наконец выпадает (деловой) случай
Посмотрим.

«Являющиеся ниоткуда события цепляются одно за другое... Так рождается безграничный поток сознания... Искажённое сознание... Поток сознания возникает из убеждения... что всё обо всём уже давно сказано... Он не находит своего места в жизни, потому исчезает он сам, автор. А с ним исчезает и герой... жизнь человека упорно обесмысливается, превращается в симулякр – ...содержания нет... Симулякр души. Поток сознания... состояние неопределённости... И это постмодернизм. Человек изменяет сам себе, сдаваясь на милость искусственному интеллекту... Создатель... ужаснувшись, воскликнет: «ЭТОНЕОН!» (Не герой, не автор).

Резюме автора таково: «нет ничего выше, яснее и красивее, чем реализм...»

Если бы в статье было написано только это: коротко, вразумительно – мне бы понравилось.

Но тени Гюйгенса, Борхеса, Чехова, Дамы с собачкой, Пушкина (опять!), И. Кравченко, собственной бабушки автора, Павла и Петра, Луки, Иоанна и Пикассо, вороны за окном – если бы они снились автору во сне – пусть будут, чего только не приснится! Но они потерянно ползают по ТЕКСТУ автора совершенно непрофессионально и напрасно – мешают ему выразить свою мысль о писателях-постмодернистах А. Битове и Саше Соколове.

Татьяна Забозлаева. ОПЦЫ И ДЕТИ.

Исторический очерк. «...В старой Руси отношения между родителями и детьми строились на основе полного и безусловного повиновения младших старшим». В основном шло это от самодержавия. В семье четко и грубо выполнялись установления по «Домострою» – строгой и чёрствой книге. Уважения человека к человеку не было. Ценилась бессловесность. Тотальное унижение человека от мала до велика.

Чем кончилось? Сначала криком «Долой самодержавие!» Далее – террором, революциями, Гражданской войной, когда «красные и белые соперничали в жестокости». Очерк все эти беды страны объясняет. Можно понять: почему в России мрачные люди, им трудно живётся и часто повторяются революции, потому что веками унижается «человеческое достоинство».

Борис Краснов. «КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ» метод в пейзажной лирике: А. Жигулина, И. Бунина, Н. Заболоцкого, А. Фета.

Кому-то этому приёму стоит поучиться. Статья написана просто, приятно – наполнена хорошими стихотворениями.

Ирина Катченкова. И ОЖИВАЮТ ТИХИЕ СЛОВА...

Воспоминание о поэтессе Ларисе Антоновне Никольской (1935 – 1992).

Благородное дело.

Александр Акулов. ПАРАДОКСЫ РАЗВЁРТОК. Эссе.

«...Так называемый реализм оказывается либо наивным, либо метафорическим».

«Почитайте платоновский "Котлован". Тошно от него не станет? А именно "Котлован" – квинтэссенция человеческого муравейника».

Предъявляется: автор дает самое отчетливое понимание известного произведения!

«Создание новой реальности в искусстве затруднено... Другое дело, когда речь идет о чисто ИНДИВИДУАЛЬНОЙ новизне... впервые открывающейся перед индивидом... его потока сознания».

Я тоже считаю: будущее нашей литературы, сейчас привыкшей, как все, цитировать и повторять всем известное, созреет в ФЕНОМЕНЕ индивидуального мышления, свободного от пут неизвестного русского писателя.

Алексей Филимонов. ... СВЕРХНОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР.

Автор открыл возможности НОВОГО жанра – видеоселфи, уже после введенного им направления «вневизм».

«...Видеоселфи может дать импульс... небывалому, перед чем душа замирает от восторга или трепещет в страхе перед безобразностью и насилием».

Возможно, возможно – пока спутник направляет электроэнергию в твое видео...

Это не моя культура. Но сейчас буквально все заняты видеоселфи – сплошной базар, а не искусство.

Александр Андриюшкин. ИРАНСКИЙ РОМАН.

В европейской прозе всё еще «правит» т.н. «поток сознания». В иранском романе то же самое называется «интроспекцией» с религиозными элементами... применяют «модернистские и постмодернистские приёмы».

Молодцы! (в кавычках) – иначе не скажешь.

Я с большим любопытством и жгучим интересом читаю книгу «Статьи о литературе и истории» А. Андриюшкина, ученого, историка, романиста. Мне нравится его искренность, грамотные обобщения по поводу культуры, политики, религии. Но...

Я разочарована: он называет себя православным и, вероятно, истово православным. Значит: быть настоящим писателем ему не удастся. Писатель стоит над государством, над политикой, над религией, над обществом – он никому ничем не обязан.

Алексей Ахматов. СКРОМНОЕ ОБОНЯНИЕ БУРЖУАЗИИ.

В стихах и в прозе А. Ахматова мне импонирует здравый смысл: в любом литературном бездорожье он стойко держит реальность.

И вот здравый смысл А. Ахматова обиделся за Человека, поверженного предательскими 90-ми годами нашего XX века. Поэт В. Британишский «брезгует убогими и голодными».

А мой здравый смысл говорит: пусть высказывается – «озлобленные» просто злые поэты бывают, но за внешним доброжелательством злобу к людям умело скрывают.

Зато в стихе не один персонаж-автор, а и второй на него глядит психологически интересно, усложняет жизнь стиха и сочиняет меньше привычной гладкописи. Само собой, поэт выглядит непобедительно.

А когда персонажем напротив поэта станет весь непрорцветающий народ, автор сам себя разоблачит и как поэта уничтожит.

В целом: сборник разнообразный, интересный. Писатели пока умеют писать. Но мыслить им мешает, как ни странно, культура, накопленная за жизнь, и православная религия, они перепутываются в головах и СВОЕГО остается мало.

30 сентября 2019

В. Черньшев

По поводу слякоти в декабре в Петербурге

Зимы ждала, ждала природа...
Снег выпал только в январе!
А. С. Пушкин.

Наше время, наша эпоха – это эпоха строительства коммунизма (придуманного эллинским философом Платоном и диссидентствующим иудейско-протестантским философом Марксом – ибо он воспитывался в протестантской семье, будучи по рождению евреем), эпоха коллективистского сознания (то есть пережитков первобытно-общинного строя, разбавленного русским язычеством, византийским православием и крестьянской **земельной общиной**). Общинность же самого строя крестьянской жизни не существовала и придумана славянофилами, ибо крестьянин работал на барщине по принуждению, на оброке по склонности, остальное время на своей индивидуальной полоске и в семье, изредка встречаясь с обществом на праздниках, гулянках и в церкви. Русские крестьяне были *единоличниками* и в значительной степени язычниками, я родился в деревне, воспитан на русских песнях, сказках и былинах, потому органически сопротивлялся коллективизации, христианизации и общине. Общинное сознание (коммунистическое) было только у рабочих в городах, христианское – у потомков дворян и аристократов, у духовенства, архаически общинное у иудеев, буддистов, мусульман, язычников-инородцев – вот они все вместе и произвели антикрестьянскую революцию в России и разгромили, наконец, русское крестьянство.

Новая Россия, после реформ Петра усваивавшая новую культуру и цивилизацию Запада, была сначала французской, потом отчасти немецкой, отчасти английской – но фундаментом ее стала античная философия и поэзия. Разгром этой новой культуры, заменивший ее на архаический марксизм, прежде всего разрушил всю античную гуманитарную ученость, оставив западную науку, мышление и культура советского человека превратились в абсолютный штамп из марксистско-ленинских прописей (которым три тысячи лет). Что такое движение от советской культуры к Пушкину? Это скачок на тысячу лет вперед!!!! Мы и сегодня, даже иногда перелистывая Хайдеггера, возьмем в конфуцианстве, притчах Соломона, дравидийских легендах, смеси из поучений Будды и Шивы.

Не менее важная причина того, что мы оглядываемся от архаических Хлебникова и Маяковского, Маркса, Филонова и Малевича (с их наскальной живописью) на Пушкина и Державина, Карамзина и Лермонтова, на Белинского, Добролюбова, Писарева – состоит в том, что эти все – наследники **постхристианской эпохи**, Пушкин был учеником Вольтера, Эсхила и Вергилия (философов и поэтов, неизмеримо более близких к нам, чем Ветхий Завет и еще более ветхий Капитал), он был учеником современной ему великой французской литературы, и он СОЕДИНИЛ европейскую культуру в своем лице в русском переложении в **Новую русскую культуру** (имея предшественником Карамзина), Пушкин был **всемирн!** Малообразованные историки часто нападают на Пушкина, что он де всего лишь перепел западных на русский манер – словно великий Шекспир не перепел целое столетие европейской драмы (ВСЕ драмы Шекспира шли в театрах в его время в оригиналах предшественников, которые их тоже списывали иногда с более ранних, тогда это было естественно, как и Томас Мор, Гоббс, Юм, Бэкон, Свифт... продолжали античных авторов.

Что такое современный писатель (включая и весь почти двадцатый век)? Говорят, что у него должны быть **своя тема и свой язык** – но и тема и язык его – это узкая тропинка, на которой такой неуклюжий читатель, как я, уже не помещается! В Пушкина вмещены вся Европа и вся античность, то есть весь тогдашний культурный мир, поэтому, оглядываясь на Пушкина, я оглядываюсь и на Библию (Свободы сеятель пустынный) и на Коран (Пророк), и на Вергилия (Я памятник себе воздвиг), и на Державина (с этим же памятником), и на Мюссе (Песни западных славян), и на Вольтера (Гавриилиада), и на все Средневековье (Пир во время чумы), и на все рыцарство (Каменный гость и Скупой рыцарь)... Наивная Людмила Леонидовна переживает, что я не цитирую Маркова (хотя я все же вспоминаю его деда Фишку), не цитирую Фадеева (но я и его Разгром помню), не вспоминаю Шолохова (но этот написал клеветническую на крестьян книгу «Целина» - зачем я его буду вспоминать? Мы ведь все учились в одной школе, и сотни поэтов и писателей прочитали, иногда наизусть, и я, хотя почти всех позабыл и перепутал, прочитал и в самом деле очень много, и это мой черномез десятиметровой толщины, из которого я расту!!! Вот русская революция: «тот мир был русским кабаком, и я поникнул над стаканом, чтоб не жалея ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном!» – есть кого

цитировать и кроме Пушкина, но у Пушкина и в самом деле почти на поверхности лежат все наши горечи и переживания, но уже очищенные от рыданий – современных русских гениев тяжело цитировать, неизмеримо больше горя выпало на их и нашу долю. «**Когда мы в Россию вернемся?!**» – это бесконечный вопль, – а мы в Россию уже не вернемся! Советское сознание уже окаменело, и я под ним словно под могильной плитой – его сущностью является воспевание рабства и *принадлежности*, отрицание личности. Почему за всю мою уже не столь короткую жизнь меня никто не читал, не цитировал, не печатал? – не потому, что я пишу плохо, вот В.А. говорит, что я пишу хорошо – но потому что я противоположен «советскому», сущностью которого является РАСТВОРЕНИЕ частного, **личного**, отдельного во **всеобщем**. Меня иногда читают дети и школьники – но ведь неотвратимо им стать такими же как все...

Вчера я смотрел и слушал передачу, в которой соединились ведущая, пианистка и два композитора, разговор шел о музыке от 12 до 21 века, о трагической отделенности современного композитора от публики (легче ли писателям?), о том, что поколение тех, кто ее СЛЫШИТ, уже вымирает, но что даже и эти (якобы) не слышат нóвой музыки.

Нет, к счастью, концертные залы почти заполнены, да ведь многие слушают музыку и через компьютер, это способ личного общения с небом и Богом, не тем богом, который дан народам как в философской 4-ой главе бывшей сталинской истории ВКПБ или в курсе диалектического материализма для домохозяек, но подлинный Бог, открытый для всех как и природа – к несчастью, музыку труднее цитировать, но она в моей душе занимает места не менее, чем литература.

Писатель чрезмерно увлекся советскими штампами, заменившими ему культуру, и даже воспевание **образа** – это штамп. Сердцевиной мышления является силлогизм, мышление пронизывает и музыку, мелодия является силлогизмом... Но не буду теперь увлекаться, позже мне еще предстоит говорить о музыке, тогда поговорим мы и о Боге и о том, чего мы ищем в жизни помимо протекающих физиологических удовольствий. Пока, чтобы утешить Людмилу Леонидовну (заметки которой я очень ценю), ограничусь я цитатой из поэта Толстобы (о котором впервые услышал у поэта Ахматова, которого тоже было бы уместно цитировать).

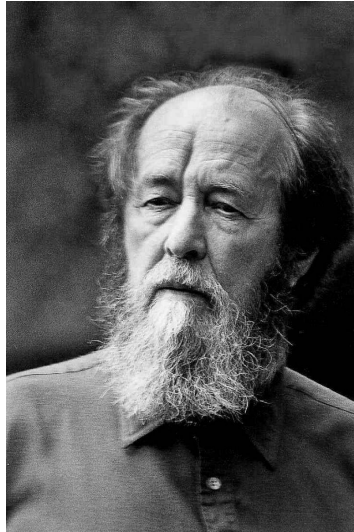
«Вдруг такая мгла накатила!

Поискал в карманах – хватило...»

Какие цветы растут на асфальте? Никакие... «Самобытные» авторы, начинающие, растущие из себя самих, подобны тем картофельным росткам, которые растут в подполье весной, бледным и худосочным. В огородной почве хотя росток и прет из картофелины, а не из воздуха, но питается и воздухом, и водой, и веществами, растворенными в почве, и только поэтому он может произвести и другие плоды, кроме себя самого. Самобытный автор, существующий вне мировой культуры, или хотя бы отечественной, **НЕ** интересен, и он никого не цитирует (никого не читал, кроме себя), и его никто не будет цитировать. Да и, как сказала П.О. по поводу музыки, нет еще современных авторов, чтобы прошибить титанов 19 или 18 века.

С. М. Ларьков

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН – «ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ ВЕЛИКОЙ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»



**Чтение книги как реализация когнитивных способностей
человека**



К 95-летию со дня рождения писателя

Предыстория. Заголовок статьи – цитата из постановления Нобелевского Комитета о присуждении премии по литературе А.И.Солженицыну (1970), от которого 9.02. 1999 года я получил ответное, на мое обращение к нему, письмо (см. Приложение-1). Поднимаемые в нем темы – повод для размышлений и в наше время.

70 – 80-е годы прошлого столетия были отмечены в стране как книжным бумом, так и – дефицитом. Тема широко обсуждалась в СМИ; возникло и у меня желание высказаться, что нашло свое отражение в заметке «Семейная библиотека» (СБ) на страницах «Книжного обозрения»⁽¹⁾. Предлагалось издать многотомную коллекцию книг, состоящую из СЕМИ тематических серий. Подборка литературы в первых ПЯТИ – соответствует возрастным этапам становления личности⁽²⁾, ШЕСТАЯ – ориентирована на взрослого читателя, а последняя – носит научный характер. Цель проекта – предоставить подрастающему поколению материализованную возможность для того, чтобы путем самообразования, которое есть «истинное образование», освоить накопленный социальный опыт, приобщиться к духовному, культурному наследию своей страны. Через 5-7 лет возможно переиздание с учетом изменений, происшедших за это время.

Письмо академика Д.С.Лихачева. Обрадованный успехом и уверенный в правильности выбранного пути, я решил обратиться (см. Приложение – 2) за поддержкой к академику Д. С. Лихачеву (1906-1999), выдающемуся деятелю русской культуры. Ответ (см. Приложение 4) пришел довольно быстро: «Дорогой Станислав Максимович! Вернуть семье книгу – моя самая большая мечта. Раньше семья вечером собиралась, и вслух читали наиболее понравившееся. У каждой семьи свой уровень и свои интересы. И все-таки большое спасибо за письмо. Я кое-что пытаюсь подтолкнуть к изданию. С Новым годом и Р.Х.! Ваш Д.Лихачев 29.XII.91» (Публикуется впервые). Ответ Дмитрия Сергеевича огорчил, но не обескуражил. С одной стороны, он говорит о своей мечте «вернуть семье книгу», с другой стороны, естественно предположить, соглашается с Толстым, что «все семьи счастливы одинаково», отвергает возможность практического решения потребности в совместном душевном сопереживании ее членов – основе гармонии в межличностных отношениях для тех, кто увидел рациональное зерно в данном предложении. Такой ответ естественен для человека, который с детства был дружен с книгой. Вот цитата из его «Воспоминаний» (СПб, LOGOS, 2000, с.126), относящаяся к 1917 году (Петроград): «Жизнь в типографии многому меня научила, многое раскрыла, объяснила., может быть, не последнюю роль сыграло и то, что на некоторое время отец получил на хранение библиотеку директора ОГИЗа Ильи Ионовича Ионова. В его библиотеке были эльзевирь, альдины, редчайшие издания XVIII века, собрания альманахов, дворянские альбомы, Библия Пискатора, роскошнейшие юбилейные издания Данте, издания Шекспира и Диккенса на тончайшей индийской бумаге, рукописное «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, книги из библиотеки

Феофана Прокоповича, множество книг с автографами современных писателей (запомнились письма – надписи на сборниках стихов Есенина, А.Ремизова, А. Н. Толстого и т.д.)). Все перечисленное и есть материализованная возможность для свободного общения с книгой. Цитата приведена полностью, чтобы показать объем информации у 11-летнего мальчика, сохранившейся в памяти Дмитрия Сергеевича до глубокой старости. Вот что определило выбор его жизненного пути! «Идите в детство интересующего Вас человека, и Вы поймете все» (Фрейд).

Письмо академика А.И.Солженицына. В 1998 в Пушкинском Доме состоялась Международная научная конференция «Академик А.И.Солженицын. К 80-летию со дня рождения. Мое внимание привлек доклад д.физ. наук Н. П. Ильина «Жить не по лжи», вызвавший у меня резкое неприятие из-за незрелости мыслей, словно специально прозвучавший в подтверждение тютчевской сентенции «Россия как государство колоссально, но как общество – младенец». Свой взгляд на призыв «Жить не по лжи» я изложил в материале «Постулат «Жить не по лжи» – путь возрождения России»; это стало темой моего выступления на следующей юбилейной конференции в 2003 году. Но перед этим решил свое читательское суждение отправить самому писателю вместе с развернутой идеей издания СБ и просьбой подтвердить подлинность (его ли?) молитвы (Приложение 4), обнаруженной на свободном листе форзаца книги «Раковый корпус» из мемориальной библиотеки князя Г.В.Голицына (СПб).

Пребывая «В прекрасном и яростном мире» человеческих страстей, круговерти буден, вдруг слышу за строчками текста спокойный и уверенный голос:

«Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда рассыпается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра – Ты снишься мне ясною уверенностью, что Ты есть и что Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты.

На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь на тот путь через безнадежность – сюда, откуда и я смог послать человечеству отблеск лучей твоих. И сколько будет, чтоб я их отразил – Ты дашь мне. А сколько не успею – значит, Ты определил это другим».

Молитва вызывает чувство трудно сдерживаемого восторга!

Радости моей не было границ, когда из почтового ящика я достал конверт, на котором стояли: Петроград, моя фамилия с обратным московским адресом А.И.Солженицына. Как следует из «Хронологии жизни и творчества А.И.Солженицына» (составитель Л.И.Сараскина) момент отправки письма (9.2.99) совпал с напряженнейшим периодом работы над книгой «Двести лет вместе», не имеющий аналогов в русской литературе. О многом говорит заключительная фраза письма (Приложение 5): «Вопреки своему режиму времени я написал это некороткое письмо ...» Вот его текст от 9.2.99:

«Уважаемый Станислав Максимович! Благодарю Вас за Ваше письмо, столь разнообразное по составу. Спасибо за сообщение о конференции в

Пушкинском Доме. Меня туда полгода назад приглашали, я ответил, что приехать не смогу, – а с тех пор никто мне не прислал никаких материалов, как это сделали конференции нескольких других городов. Я думал, что в Петрограде – не состоялось. Ваши мысли о «Жить не по лжи» в соединении с Вашим эмоциональным изложением – произвели на меня выразительное впечатление. Такой оценки мне еще читать не приходилось. Спасибо. Кстати, для справки: физмат я закончил нормальным темпом, за 5 лет. Но одновременно с курсами 4-5 успел два года проучиться в МИФ ЛИ, – война оборвала продолжение этой учебы. (Уточнение потребовалось из-за ошибок в персоналии А.И., см. Лауреаты Нобелевской премии, Энциклопедия (М-Я), 1992, с.429 и «Нобелевская премия по литературе. Лауреаты 1901 – 2001 гг., СПб, 2003), вставлено мной. С.Л). Да, математическое воспитание, конечно, сильно повлияло на мою работу по конструированию обширно-объемных произведений.

Теперь о Вашей идее Семейной библиотеки. Она – великолепна, осуществление ее было бы живительно для воспитания поколений. Но в Вашей разработке не со всем могу согласиться, напр., 7-ой этап у Вас выглядит уж слишком необъятно / «бестселлеры» – т.е. часто – однодневки, и обилие отраслей знания / – это уже перетекает в некую универсальную библиотеку.

Но что касается первых шести разделов – такое предприятие, вероятно, осуществимо. Однако: оно потребовало бы исключительно вдумчивой элитной редакции, большого труда, вложенного ею, – и материально крепкого издательства, понимающего захватную важность задачи. А в наше время, когда Россия разорвана в своем культурном пространстве и подписные издания не могут быть всеобщими, лишь местными, – задача усложняется неимоверно.

И еще одно: российской, т.е. моноэтнической, такая библиотека быть не может, теряет смысл. Она может быть только – в нашем случае – быть русской, крепчайше, органически связана с родным языком. А кто хочет – пусть издает башкирскую, якутскую и т.д. Кто из других наций тянется к культуре русской – он ее и изберет.

Вопреки своему режиму времени я написал это некороткое письмо – но заранее предупреждаю, что мой возраст и лимит времени не даст мне более ни в чем участвовать.

Всего доброго. Жму руку. Успеха вашим начинаниям. Подпись

P.S. Да, молитва (1964) моя. Возвращаю».

Обратил внимание на слова «моноэтнической такая библиотека быть не может, теряет смысл», которые понимаю буквально: такой проект приобретает смысл тогда, когда будет нести в себе заряд, помогающий заинтересованному читателю осознать в себе русскость, самоутвердиться в этом.

Взволновало, конечно, что мои мысли о «Жить не по лжи» лежат в русле идей самого Александра Исаевича и «произвели выразительное впечатление», столь лестное для меня; а говорит он об этом потому, что в качестве приложения (см. Приложение б) в моем письме содержалась статья, ставшая

темой моего выступления на юбилейной конференции в Пушкинском доме: «Постулат Солженицына «Жить не по лжи» – путь возрождения России»(3).

С учетом сказанного, Молитва и «Жить не по лжи» – два документа невероятной убедительной силы! Это КРЕДО писателя, линия его жизни!

Важнейшее свойство окружающего нас мира таково, что все явления имеют лицевую и обратную стороны. Вот и в данном, конкретном, случае два выдающихся деятеля русской культуры, два академика, по проблеме издания СБ высказали прямо противоположные суждения, что является естественным проявлением интенции гуманитарной и аналитической ментальностей. Поэтому в социальной сфере, например, в выработке концепции преподавания, издательской деятельности, где определяющим является профессиональный подход «лириков», к мнению «физиков» также можно прислушаться.

И последнее. Если в исторической последовательности выстроить документы, призывы, манифесты, посвященные теме правда / ложь, то получится следующее.

«ПРАВДА РУССКАЯ» – первый правовой кодекс Киевской Руси (X-XII).

В названии выражено стремление русского менталитета Жить по Правде и это была русская идея, высказанная в юридической форме.

«РУССКАЯ ПРАВДА» – разработанный П. И. Пестелем проект конституции России, ставший политической платформой декабристского движения. В названии не только почтение к памяти славного прошлого Руси, но и указание на то, что речь идет о русской Конституции и никакой другой. Насколько сильным оказалось влияние декабристов на современников, говорят последовавшие за ними события.

«НЕ ЛГИ» – нравственная заповедь Владимира Соловьева в его философии оправдания добра.

«ПРАВДА» – большевистская газета, первый номер которой вышел 05 мая 1912 года. Это убедительный пример того, как можно в популистских целях использовать Слово, выражающее народные чаяния, и исказить его смысл политиканством, что подтверждает научный вывод: между субъектом правды и правдивостью в конкретных коммуникативных ситуациях – большое поле деятельности для всякого рода обманов.

«ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ» – постулат Солженицына, в котором отрицание лжи, соседствуя с жизнью, явно указывает на пагубность утверждения ее в качестве способа в решении принципиальных проблем. Непреднамеренная ложь, обман, лежащие в той или иной логической связи, будь то идеологическая установка, научная теория, инженерные расчеты ... всегда приведут к аварии. С другой стороны, правда / ложь в их канонических значениях – «две стороны одной медали» и потому присутствуют всегда, как наряду с реальностью существует лицедейство, театр, искусство..., направленные не во зло.

Может быть, постулат Солженицына «Жить не по лжи!» ставит точку в поисках Русской идеи?

«КУМИР ПОВЕРЖЕННЫЙ – ВСЕ БОГ!» (М.Ю.Лермонтов)

Со времени получения письма от Д.С.Лихачева прошло уже 12 лет, от А.И. Солженицына – почти 5 лет! Возникает вопрос, насколько актуальна настоящая публикация в наше время? Ответ очевиден, насколько актуальны поднимаемые вопросы. Правда, есть еще один аспект: при жизни оба академика были рупорами эпохи, но как сейчас относиться к их мнениям после критики, прозвучавшей в их адрес? Остановимся на личности А.И.Солженицына. «Пастырем пера, не убоявшимся гонений,... и ратником яснополянца» назвал его Борис Чичибабин, посвятив ему такие строчки: «но чин писателя в России // за полстолетия впервые // он возвеличил до небес». И в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН) юбилейные конференции, посвященные академику Солженицыну, проходили в 1998, 2003, 2008 годах. Если первая – была горячо поддержана Лихачевым, то уровень последующих был слабее и, что удивительно не свободна от критики (?) в адрес юбиляра; а в 2013 конференции вообще не было (?). В своем выступлении Дмитрий Сергеевич поставил Солженицына в один ряд со Львом Толстым, увидев их похожесть в том, что надежной опорой у них были жены. Касаясь личных встреч, оратор отметил, что по приезду в Ленинград, в то опасное для общения время, А.И. часто останавливался у него. И в один из приездов он стал говорить о необходимости издавать журнал, свободный от партийного диктата, который предложил возглавить ему, ученому с мировым именем. Такому журналу нужно только имя, а все технические вопросы будут решены другими людьми. Д.С. отклонил это предложение, сославшись на то, что к такого рода деятельности он совершенно не готов; после чего последовало обвинение в трусости. По волнению, охватившему оратора, было видно, каких усилий стоило это публичное признание в нанесении ему незаслуженного оскорбления. Это был поступок. Но сам Солженицын был уверен, что он бы возглавил журнал, окажись в подобной ситуации. В СМИ не утихают споры вокруг его имени, а книги В.Войновича и .С.Бушина носят необоснованный оскорбительный характер.

Неприязненное отношение В.В. к А.И. возникло после того, как автор «Портрета на фоне мифа», М., Эксмо,2002 оказался в эмиграции и, находясь в затруднительном положении, обратился за поддержкой к А.И., которую не получил. Поэтому он на одних эмоциях написал бранную книгу, где красной нитью проходит закомплексованность из-за его межнационального происхождения, что стало основанием (?) для обвинения Солженицына в антисемитизме. Логично, не правда ли? Вот на 117 странице названного издания читаем: «Когда одни люди (Какие? Где?- не сказано, вставлено мной – С.Л.) упрекают Солженицына в антисемитизме, другие начинают кричать: «Где? Укажите!» Укажу. Например, в Гулаге: На берегах Беломорканала он бы выложил дощину еврейских фамилий начальников строительства». А.И. назвал лишь фамилии, а этническую их принадлежность, возможно, где-то ошибочно, указал сам В.В. Интересно, к какой национальности он бы отнес, русского по происхождению, Маршала Советского Союза В.К.Блюхера, зная только его фамилию? На стр. 55,56 читаем: «У меня к антисемитизму с детства стойкое отвращение, привитое мне не еврейской

мамой, а русской тетей Аней, которая утверждала, что от антисемитов в буквальном смысле воняет...» Это утверждение основано на уникальном чувстве к запахам давно ушедшей из жизни Анны; а где же работа второй половины головного мозга (левой) самого Войновича? И подобных несусловностей, основанных на детских впечатлениях, закомплексованности, неспособности к аналитическому мышлению, в книге множество. Таков оппонент у математика, блестяще закончившего Университет!

У идейного противника А.И., гуманитария В.С.Бушина, участника Великой Отечественной войны, аксиомой его позиции являются патриотизм и глубочайшая приверженность социалистическим идеям. Такая позиция вызывает не только уважение, но и позволяет высказать ряд критических замечаний. В его трех томах (1776 с.): «Неизвестный Солженицын», М., 2010; «На службе Отечеству», М., 2010 и «Солженицын и евреи», М., Алгоритм, 2014 преобладают эмоции. Но так, о себе любимом, можно писать, пока не иссякнут чернила, одновременно критикуя А.И. за многословие. Можно подумать об объединении их в конволют под одной обложкой с названием: «Отечество славлю, которое было, и ненавижу, которое есть!» Высказанные там идеи существенно отличается от классики патриотизма, прозвучавшей в стихах Пушкина, Лермонтова, Есенина, наконец, Маяковского; но – точно отражает содержание трехтомника. Жизнь потому и продолжается, что в любые ее моменты имеют место и привлекательные стороны. «Было время, и цены снижали» – пел В.Высоцкий. Но обсуждать вопросы государственного устройства только с помощью эмоций – слабовато! Если жить в замкнутом непробиваемом пространстве «железного занавеса» или Берлинской стены, то – да! Поэтому и носились в воздухе идеи мировой революции, а пока – стойкий социализм на Кубе может предложить на рынке только хорошо подержанные автомобили типа «Москвич», «Жигули»; но не все так хотят жить. Эмоционально: «Эх, хорошо в стране советской жить!», но базисом государства является экономика и здесь требуется серьезная аналитика, отсутствующая в названных трактатах!

Вот вновь перечитал обращенное ко мне письмо Александра Исаевича, его Молитву, полистал «Теленка»... и образ автора встает совсем не таким, каким его представляют В.Бушин и Войнович. Был очень хороший фильм Курасавы «Расемон», где одно и то же событие описывается по-разному его участниками без преднамеренной лжи. Попробуем коснуться тех примеров, на которые опирается сам Владимир Сергеевич. Вот Твардовский пишет письмо Демичеву в защиту Солженицына, информирует его и через два дня оно уже опубликовано на Западе. Твардовский – Солженицыну: «У Вас нет ничего святого!» и совершенно прав, если речь идет о соблюдении этики в приличном обществе, но в глазах А.И. государство устроено совсем неприличным образом и, с точки зрения «Жить не по лжи», правду нечего скрывать, за нее, святую, можно и пострадать! Строго, как в математике! Описанный выше конфликт между А.И. и Дмитрием Сергеевичем возник по той же причине. Желанием «проверить алгеброй гармонию» была организация лингвистической проверки на предмет плагиата «Тихого Дона» Шолоховым у Крюкова. С этической стороны это выглядит некрасиво, но, с

другой стороны, – к гению всегда много вопросов. Как мог Михаил Александрович, находясь в столь юном возрасте и не имея необходимого жизненного опыта дворцовой жизни, суметь описать ее? Поверить в это А.И. не мог и вопрос веры не предмет спора. А как понять абсолютно нелогичное поведение Григория Перельмана, решившего проблему Пуанкаре и отказавшегося от получения премии Филдса? На странице 56 книги «Солженицын и евреи» приводится факт (из Архипелага) самокритичного отношения к себе А.И., рассказавшего, «как какой-то полковник вызвал меня и стыдил» за издевательство над солдатами, но с ремаркой В.С. это выглядит так: «Да, Солженицын и сам себя по недосмотру опроверг». По известной логике: «офицерова вдова сама себя высекла». Человек раскрылся, «посыпал голову пеплом», а его, «лежачего», бьют. Но так поступали только в ГУЛАГЕ!

После прочтения вышеназванного трехтомника как-то неловко читать на 4-ой стр. обложки «На службе Отечеству!» в аннотации к тому: «Огромный талант..., великолепный литературный стиль..., острота и глубина..., гражданская позиция». А в наличии – лишь верность одной политической доктрине, правительству, обожание которых ничего общего не имеет ни с гражданской позицией, ни с любовью к Родине. Социализм и Россия – разные вещи! Скажем, Троцкий был одержим идеей строительства социализма, но Россию он не любил. Сейчас это имя полузабыто, но вот его персоналия в «Спринт – Истории» Кира Булычева: «Троцкий Лев Давидович, в самом деле обыкновенный Бронштейн (1879 – 1940). Дьявольски хитрый еврей, смог возглавить Красную армию и победить в гражданской войне, чтобы никто не догадался, что он троцкист».

Общее впечатление такое: читая написанное Солженицыным, чувствуешь в себе духовный подъем, испытываешь гордость за то, что русский человек нашел в себе силы и, стряхнув дурман, окутывавший его сознание, смог стать «одним в поле воином», который президенту США Рейгану заявил об отказе от навязываемого ему диссидентства, и с достоинством назвал себя русским писателем. У Бориса Чичибабина об этом сказано лучше: «отдавши душу без отдарства, / один за всех – на государство, // казенной воле супротив». Отказался он и от Ордена «Андрея Первозванного» в виду того, что Правительство страны, с его точки зрения, не беспокоится «о сбережении народа». Не уверен я и в том, что «Владимир Бушин – фигура грандиозная во всех отношениях. (Словно «дама, приятная во всех отношениях» – С.Л.) Поэт, критик, фронтовик» («На службе отечеству!», с.865) повел бы себя так же в подобной ситуации.

Знакомство же с упомянутыми четырьмя томами дает ощущение копания в грязи, с «точностью в мельчайших деталях», и зря потраченного времени.

Хочется напомнить, что одновременно с выходом «Капитала» К.Маркса (1867) Я.Бурхардт высказал идею создания государства как произведения искусства, но не был услышан ни современниками, ни последующими поколениями. Не отсюда ли все беды XX века? Можно считать, что в русле идеи Я.Бурхардта и предложение акад. Д.С.Лихачева о принятии Декларации прав культуры (1995). В коллективной монографии «Аксиология российского

конституционализма. История и современность» /под ред. С.И.Дудника и И.Д.Осипова. – СПб, 2012, посвященной 1150-летию российской государственности, эта тема нашла свое развитие в материале «Декларация прав культуры академика Д.С. Лихачева – важный момент в развитии российского конституционализма», автор Ларьков С.М., с. 139, в которой, по мнению автора, содержится ответ на вопросы «Что делать?», «Кого любить и что защищать?»

Подводя итог, могу сказать, что мысли, изложенные в письме Александра Исаевича, меня убеждают, а четырехтомное многословие нет!

Приложения.

1. Обращение С.Ларькова к акад. А.И.Солженицыну
2. Обращение С.Ларькова к акад. Д.С.Лихачеву
3. Ксерокс автографа письма Лихачева – Ларькову
4. Ксерокс автографа Молитвы Солженицына
5. Ксерокс автографа письма Солженицына – Ларькову
6. Ларьков С.М., Постулат Солженицына «Жить не по лжи» – путь возрождения России (Полный текст).

С.М.Ларьков, член Российского Философского общества 2013-01-11

Приложение 6

«ПОСТУЛАТ СОЛЖЕНИЦЫНА «ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ» – ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ (Полный текст)

Манифест «Жить не по лжи!» автор закончил словами: «Если и в этом мы струсим, то мы – ничтожны, безнадежны и это нам пушкинское презрение:

«К чему стадам дары свободы?....

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич».

Это пророчество; но у Пушкина есть один из вариантов ответа на вопрос «Как жить не по лжи?», отсутствующий в перечне предложений, содержащихся в самом Постулате: «Не надо пропускать случая, чтобы делать добро». Позиция поэта, изложенная царю в записке по проблеме народного образования, высказана в форме отрицания «Не надо...», что сближает ее с мыслью писателя «...не по лжи». Сейчас, когда отзвучали приветственные речи на торжествах всех уровней, посвященных прекрасному юбилею, даже дата ареста 12.02.1974 перед высылкой наряду с датами появлений пробившихся в таких муках его произведений к читателям – повод еще и еще раз вернуться к ним в ходе бесстрастного течения времени. На наш взгляд, важнейшее качество необыкновенности личности автора, скрывшегося однажды под псевдонимом Теленок, – синтез в его менталитете математика и художника слова. Подобно тому, как мир разделен на половины, мужскую и женскую, способность мыслить отличает гуманитариев, склонных к ассоциативному и образному мышлению в восприятии мира, от представителей точного знания, придерживающихся строгих канонов

формальной логики. Последним свойственно специфическое, обостренное мироощущение с точки зрения присутствия / отсутствия Истины! В юности, когда будущий писатель подходил к выбору своего жизненного пути, он стоял на распутье трех дорог: математики, театра и литературы. Накануне войны, неполных 23-х лет он с отличием окончил математическое отделение Ростовского университета и одновременно заочно пройдены 2 курса МИФ ЛИ в трудных бытовых условиях. Блестящий результат! Затем война и ГУЛАГ. Образование завершено.

Давно отмечено некоторое противостояние математических способностей и литературных, «физиков и лириков». Подобное разделение начинается с получением образования и в настоящее время окончательно оформилось в организацию школ различных уклонов. Вот как характеризует математический способ мышления выдающийся математик Герман Вейль: «Под математическим способом мышления я понимаю, во-первых, особую форму рассуждений, посредством которых математика проникает в науки о внешнем мире – физику, химию, биологию, экономику и т.д. и в наши размышления о повседневных целях и заботах...» (1). Очевидно, чтобы проникнуть в творческую лабораторию писателя, необходимо и с этой стороны анализировать созданные пером А.И. произведения. Примеры соединения подобных ментальностей довольно редки, но они есть: Михайло Ломоносов, Софья Ковалевская, Льюис Керролл... Вот мнение самого создателя «Красного колеса»: «Да, математическое воспитание, конечно, сильно повлияло на мою работу по конструированию обширно-объемных произведений...» Однако пониманием этой стороны творчества писателя литературоведы, нематематики, не одарены. Вообще, фигура А.И. Солженицына значительна и масштабна! Ворвался он в нашу советскую «застойную» жизнь столь стремительно, весомо, грубо, зримо», что его появление было воспринято как пролом и разрушение привычных штампов обыденного сознания, привычных норм поведения.

Математика очень категорична в своих суждениях: если есть доказательство – есть наука, нет доказательства – нет и науки! В гуманитарном знании, в литературоведении, появилась ценная работа, затем – другая, в чем-то уточняющая или отрицающая первую, но обе сосуществуют в науке. Математик оценивает мир с точки зрения присутствия или отступления от истины, художник – красоты и многообразия форм проявления жизни. Один из способов доказательства в математике – от противного, когда за основное утверждение принимается противоположное тому, которое следует доказать, и, если исходящая из предпосылки нить рассуждений приводит к абсурду, то это означает, что противоположное принятому – правильное!

Выражение «Жить не по лжи!» – открытие художника слова Солженицына, сделанное математиком Солженицыным! Выделенные кавычками слова – та минимальная краткость, когда высота полета мысли от прочитанного позволяет ей улететь за всякие разумно-предсказуемые границы! Нужно немного побыть наедине с ошеломившим тебя откровением, насладиться открытием в себе нового знания и тогда, словно в пересыщенном

растворе роя теснящихся в голове мыслей, свет сознания, преломленный и отраженный от граней родившихся кристаллов, очагов новых идей, будет подобен переливу радужного разноцветья. То есть восприятие Истины! И оно прекрасно!

Выразительность начальной фразы сравнима с впечатлением от картины Александра Иванова «Явление Христа народу», когда при взгляде на центральную фигуру динамизм и напряжение вытянутых вперед дланей способен вызвать ощущение крика: – «Вот ОН! Как же Вы Его не видите?» Это момент восприятия Истины! И он вдохновляет! В картине главенствуют две линии, сходящиеся к Мессии: одна – от простертых к Нему дланей, другая – от обнаженной мужской фигуры переднего плана стоящего к Нему спиной, не видящего Его, и потому – с бессмысленными широко раскрытыми глазами человека, лишенного Разума! Общий фон картины: все заняты своими делами, не понимая историчности момента, хотя кто-то и что-то услышал.

Аналогичная по силе эмоционального воздействия мысль, высказанная в утвердительной форме, – клятва на Библии: « Правда, только Правда, ничего, кроме Правды!». Весомость выражению придает форма высказывания, подобная Необходимому и Достаточному условию существования математического признака: «Тогда и только тогда». Для художника слова, да еще русского, не проблема найти и даже превзойти по силе эмоционального воздействия это избитое выражение. Замена его на более привычные не до конца выражают мысль автора, так как известны и более «сильные» выражения: чистая правда, суцная правда, истинная правда, настоящая правда, не говоря уже о полуправде и о партийной – газет типа «Правда». Из опыта человеческого общения хорошо известно, что любой, переступивший Закон, в тайниках своей души всегда находит оправдание проступку в полном согласии со своей совестью. А вот понимание лжи как отступления от внутреннего чувства правоты у всех одинаково: отказ от известной тебе Истины! Нравственная граница утверждения «жить не по лжи» – это линия разреза скальпеля хирурга, отсекающая отжившее от живого, крайний рубеж между жизнью и смертью! В названии явлена Истина, а свободные рассуждения на заданную тему могут быть длинными или короткими. Не суть важно. Эти слова достойны Библии! Удивительно, что учитель математики из школы российской периферии, словно строкой из Евангелия, сказал о советском периоде жизни своего народа!

Мир искусства принимает окружающую его действительность во всем ее многообразии, изумляется этому миру, живописует его и восхищается / содрогается открывшемуся перед его взором прекрасному /безобразному! Давно отмечено некоторое противостояние «физиков и лириков». Математик воспринимает мир действительности как возможность поиска и лицезрения Истины, носителя Прекрасного в этой жизни, и отвергает безобразное, считая его алогичным, неестественным. Разные ментальности предполагают непохожие линии поведения. У людей искусства это проявляется в эмоциональном отрицании, у аналитиков – в стремлении к конструктивной деятельности. Отсюда – бесстрашие таких людей, как А.И.Солженицын и А.Д.Сахаров. При всей очевидности и убедительности зова «жить не по лжи» буквально

следовать ему, подобно другим православным истинам, подчас чрезвычайно трудно. Это высокий критерий, предъявляемый автором самому себе.

Если согласиться, что человек, согласно христианской трихотомии, есть единство Духа, Души и Тела, то отказ от всякой осознанной лжи означает АКМЕ – стремление к высшим ступеням совершенства в творческой деятельности, отвечает движению вперед, а обратное – просто примитивный обман, уступка в сторону низменных интересов. В одном случае, это действие в направлении увеличения потенциала, вверх, в другом, – в горизонтальной плоскости с тенденцией вниз. «Есть ли что-либо важное, чем борьба с ложью, этим одним из наиболее распространенных пороков у примитивного человека и одним из самых позорных?»(2) Подобный призыв давно обсуждается в философии и психологии: «Не лги» – И.Кант, В.Соловьев; «Жить в правде» – Ф.Кафка; «Жить по правде» – М. Кундера. Можно сослаться и на Библию: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего», Исход, 20; 16.

Но только Солженицыну удалось безукоризненное по форме, точное по содержанию Обращение, направленное им в Самиздат 12 февраля 1974 года. Дата памятна и тем, что это день его ареста. Этот призыв, обращенный к себе, имеет общечеловеческую ценность, воспринимаемую как Истина! Его философское содержание в том, что ЛОЖЬ в понимании каждого конкретна и всегда направлена против действительности! В конечном счете, рано или поздно, – против солгавшего индивида. В призыве явлена Истина, здесь корни нравственного и физического здоровья каждого россиянина и России в целом. А первые практические шаги в этом направлении сделать нетрудно:

«Неучастие во зле и Наш путь ни в чем не поддерживать лжи сознательно!»

В более широком плане актуальность поднимаемого вопроса видится в том, что в «развитых странах общий уровень честности населения неуклонно снижается, а количество нечестных людей постоянно возрастает... Психологические исследования показывают, что нет прямой зависимости между пониманием субъектом правды и следованию принципам правдивости в конкретных коммуникативных ситуациях... Поэтому среди психологов распространено мнение, что изучение правдивости как личностной характеристики оказалось непродуктивным» (3). Но особенно актуально воззвание Солженицына в нашей стране, где десятилетиями все управлялось по «телефонному праву», а четко работающая судебная система – только в мечтах, хотя первый правовой кодекс Киевской Руси (10-12 в.в.) именовался «Правда Русская».

Известно, история не терпит сослагательного наклонения, но при ретроспективном взгляде на события окажется, что в их основе лежит ЛОЖЬ! Универсальными ответами на вечные русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?» видятся такие: «Тот, кто лгал?» и «Не надо бояться жить не по лжи!».

С момента написания Постулата-Истины, открытой писателем своему народу и скрытой от него власть имущими, пролилось много слез, не высохших и поныне.

Землетрясение в Спитаке. Там ложь, скрепленная печатями на тысячах

накладных, актах, экспертизах уверяла, что все здания построены из крепчайшего бетона, оказавшегося смесью песка с легкой добавкой цемента.

Чернобыль. Оператор ЦПУ, оказавшийся «стрелочником» трагедии, до последних минут жизни был уверен: «Мы же все правильно делали!» Это пример лжи неосознанной, когда недостаточный уровень профессионализма определил неправильность принимаемых технических решений. А осознанной она была у тех, кто размашисто расписывался в релициях под УТВЕРЖДАЮ, ПРИКАЗЫВАЮ, НАГРАДИТЬ, ПРИСВОИТЬ, ПРЕМИРОВАТЬ ...

Ложь ущербного строительства хрущоб, возведенных в противовес Истине, известной с 1-го века н.э. в виде Трех принципов Витрувия: Польза, Прочность, красота.

Мечущееся молодое поколение, лишенное крепкого основания нравственных устоев, еще намучается со всем этим в Третьем тысячелетии.

Особенно непереносим гной лжи, связанный с гибелью АПЛ «Курск» со 118-ю членами экипажа. Статистика свидетельствует: с декабря 1952 по август 2003 года потерпели аварии 20 подводных лодок СССР – России с общим числом погибших 730 человек! Вечная им память! ...

Сейчас, когда стране предстоит избрание нового президента России, было бы замечательно, если бы всеми кандидатами на высший пост государственной власти был услышан призыв «ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ» и они дали бы в этом клятву; тогда это станет не только нравственной, но и юридической нормой. Закончить размышления хочется ясной мыслью А.С.Пушкина: «Лучшие и простейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». И это тоже Истина!

Примечания

Ларьков С.М., Семейная библиотека, // КО, 22 июля 1984, с. 14

Кулагина И.Ю., Возрастная психология, М., УРАО, 1998

Ларьков С.М., Постулат Солженицына «Жить не по лжи» – путь возрождения России // Русская литература, 2004, №3, с. 253.

Вейль Герман, Математическое мышление, М., Наука, 1989, с.6

Пуанкаре Анри, О Науке, М., Наука, с.508

Знаков В.В., Психология понимания правды, СПб, Алетейя, 1999, с.206

Чтение книги как реализация когнитивных способностей человека

«Чтение – вот лучшее учение»

А. С. Пушкин

Мысль Пушкина всем хорошо известна, как и то, что адресована она в письме к брату Льву с горячим желанием помочь ему выбрать правильную линию в жизни, и потому ни у кого не вызывает сомнений – речь идет о чтении книг с целью приобретения знаний в самом широком смысле. В названии конференции тема обозначена гораздо шире и на вопросы: «Что, Как, Когда, Зачем? Сколько читать?» каждый докладчик должен ответить сам, в соответствии с выбранной темой, и тут многообразие возможностей неисчерпаемо. Поэтому практических рекомендаций в решениях конференции ожидать не приходится, хотя лейтмотивом ее проведения, несомненно, является ощущаемый кризис понимания роли книги, чтения в культуре современной России и, как следствие его, размытость в осознании философии бытия на всех его уровнях. «Смотри в корень!» – известный афоризм Козьмы Пруtkова; принцип, следуя которому точные науки стали основой прогресса, тогда как гуманитарное знание в этом сильно уступает потому, что «пренебрегло» другой подсказкой Козьмы Петровича: «Никто не ОБНИМЕТ необъятного!». ОБНЯТЬ необъятное (просторы России), имеющее конечные размеры, нельзя, но ОБЪЯТЬ – можно. (Для сравнения, у Маяковского, «Землю всю, охватывая разом, // Видел то, что временем сокрыто») В то же время нельзя ОБЪЯТЬ числовую ось с её двумя ветвями, положительных и отрицательных значений, устремлённых в бесконечность, равно как и постоянно увеличивающийся объём знаний о человеке, книге. Нельзя ОБЪЯТЬ и Галактику Гутенберга. Конечно, «Мысли и афоризмы» К.П. Пруtkова нельзя отнести к области научного знания, но к классической русской литературе и характеристике русской ментальности, безусловно – можно.

Проблема обозначена, но нет теории для ее решения. Гениальный Эвклид, живший в Александрии (3 век до н.э.), предложил аксиоматический путь развития геометрии, положив в его основание пять постулатов, следуя которым доказал множество теорем. Тем самым, из бесконечного выделил замкнутую область, границами которой являются постулаты. Так родилась проверенная практикой теория. Изменение постулатов привело к созданию, наряду с геометрией на плоскости Эвклида, геометрий Лобачевского и Римана, имеющих свои теории и области применения [1]. Подобный подход в изучении проблемы можно увидеть в «Комплексном междисциплинарном исследовании человека» («Многомерный образ человека», М., «НАУКА», 2001). Хорошо известен афоризм: «Нет ничего практичнее хорошей теории», а аксиоматический метод, существующий в науке более двух тысячелетий, можно с уверенностью считать «хорошей теорией», которую, на наш взгляд, целесообразно попытаться применить к решению проблемы «Человек читающий».

Делая акцент на проблему ЧТЕНИЯ КНИГИ, обратим внимание на то, что отсутствует научное определение [2] ключевого понятия *книга* по причине его беспределности. Об этом говорится в Энциклопедии КНИГА, М., 1999:

«Существует большое количество дефиниций понятия К., из которых ни одно в наст. время не может быть признано общепринятым»; это же утверждается в «Науке о Книге» Кшиштофа Мигоня. Книга – наилучший способ самовыражения Человека, о чем сказал Иосиф Бродский в своей Нобелевской лекции: «В истории нашего вида, в истории Homo sapiens, книга – феномен антропологический» [3]. Естественно, сходство Книги и Человека простирается и на трудности, связанные с невозможностью дать определение предмета своего исследования, как в книговедении, так и в философии. Известный психолог Эрих Фромм пришел к выводу, что исходным при решении проблемы должен быть не вопрос «что такое человек?», а вопрос – «что значит быть человеком?».

Исходя из изложенного, следуя Эвклиду, постулируем понятие Эталона книги, что отражает качество изготовления, в дальнейшем просто *книга* – образцовое, привычного вида издание, отличающееся от многообразия других исполнением соблюдения эстетического, этического, научного и нравственного принципов единства формы и содержания, формулировку которого дал Витрувий: «польза, прочность, красота». Конечно, критерии, названные Витрувием применительно к архитектуре, в данном контексте имеют более широкий социальный смысл. Например, под «пользой» понимается все, что имеет жизнеутверждающую основу; под прочностью – не только механическую, но и научную базу содержания; под красотой – не только внешнюю привлекательность. «Сосуд она, в котором пустота, //Или огонь, мерцающий в сосуде»? (Н. Заболоцкий). Ответ видится таким: книга это изящный сосуд с мерцающим огнём, способным зажечь сердца людей. Многообразии читательских интересов ограничим пока этими граничными условиями. Тогда, чтобы привлечь внимание к книге, нужно дать ответы на вопросы, которые находятся в поле зрения потенциального, прежде всего, юного читателя. Через Галактику Гутенберга можно виртуально провести демаркацию, делящую все книжное богатство, накопленное человечеством, на две части: «Есть книги, написанные для каждого, и есть книги, написанные для всех» (Михаил Пришвин). Похожее утверждение содержится в китайской мудрости: «Читать надо много, но не многое». Этот процесс дробления может быть долгим с учетом классификации основных проблем и наук о Homo sapiens (по Б.Г. Ананьеву), включая мнение незабвенного Прутковка: «Книги (у К.П. – вещи) бывают великими и малыми не токмо по воле судьбы и обстоятельств, но также по понятиям каждого». Подобная теория предполагает, что на каждом этапе дробления необходимо введение определений, суг – постулатов.

На основании изложенного, можно предложить следующие постулаты для построения аксиоматической теории, которую назовем «Человек читающий».

1. «Все люди от природы стремятся к знанию» (Аристотель). Мысль великого философа относится к утверждению понимания одной из сторон сущего в человеке, хотя в разные периоды своей жизни индивид может быть занят, например, бытовыми вопросами, то есть деятельностью, далекой от интеллектуальных проблем; но это никоим образом не отменяет сказанное выше. Человек есть триединство Духа, Души и Тела. При этом под духовностью понимается потенциальная энергия человека, его творческое

начало; душа – субстанция, вырабатываемая сознанием, а тело – биологический субъект определенной генетической природы. Полная гармония между ними наступает, когда «в здоровом теле – здоровый дух», и наоборот. Многие ученые, философы, поэты стремились приблизиться к тайне человеческого бытия, но только Достоевскому лучше других удалось приблизиться к ее открытию: «Человек проявляется в противостоянии нечеловеческому, звериному».

2. «Что б делал я, когда б ни был уверен, // Что существуют книги, жизни продолжение» (Паоло Пазолини). Книга как феномен антропологический является наиболее полным средством самоутверждения человека, во всем многообразии форм проявления, с описанием не только величия силы духа, но и слабых сторон личности в реальных ситуациях; ее роль в познании прошлого, настоящего, будущего, целостной картины мира и самого человека уникальна и бесценна. Тому есть множество примеров. «Книгу ничто не заменит в будущем» (Айзек Азимов).

3. Чтение – творческий процесс формирования личности. Чтение – труд, труд интеллектуальный, характеризующийся невозможностью фиксации полученного результата в ходе самого процесса и отмеченного ярко выраженной эмоциональной составляющей, способной либо усилить проникновение в текст, либо прервать его. Трудовой процесс, согласно экономическим воззрениям, включает в себя собственно трудовые усилия, предмет труда и средство труда. «Когда труд – удовольствие, жизнь хороша, если труд – обязанность, жизнь – рабство». Психологи давно выделили как наиболее трудный начальный этап трудовой деятельности, связанный с преодолением известного психологического барьера, особенно трудного для человека, ещё не умеющего трудиться. Здесь особенно, наверное, важна тактичная психологическая поддержка юному труженику. В процессе становления личности человек преодолевает все эти этапы общения с книгой. Чтение рефлектирует и развивает комплексное мировосприятие, как на сознательном, так и бессознательном уровнях.

Как известно, теоретические положения на практике реализуются не на все 100%, а с учетом коэффициента полезного действия (КПД). Здесь рассмотрена классическая схема взаимодействия ЧЕЛОВЕК – КНИГА, не осуществимая во всей полноте практически. Аналогично, можно создать свои постулаты по линии спорта, ТВ, музыки, художественного воспитания... и, затем, теоретически предсказать формирование личности в этих условиях, но для этого нужно проработать и создать на аксиологических началах акмеистическую теорию не только чтения, но и каталогизацию по конкретной тематике одной из разновидностей «Семейной библиотеки» (СБ) [4]. Однако в недавнем прошлом среди книговедов и филологов утвердилось мнение в ненужности рекомендательных библиографических указателей [5].

Об акмеизме [6]. Только в последнее время появилась возможность свободного употребления этого термина в его истинном значении. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова (М., 1975) читаем: «**АКМЕИЗМ**. Декадентское направление в русской литературе начала XX в. Там же: «Декадентство отличается «упадничеством, крайним индивидуализмом», что находится в

противоречии с переводом с греческого акмё как «высшая степень чего-либо, вершина, цветущая сила». Это произошло по причине, связанной с именем создателя акмеизма поэтом Н.С. Гумилёвым, репрессированным в 1921 г. Сравнительную концептуальную характеристику акмеизма (Аполлоновское светлое начало), состоящую из 27 отличий от символизма (Дионисийское тёмное начало), привёл горячий поклонник поэзии, глубокий исследователь творчества и биограф семьи поэта А.В. Доливо-Добровольский [7]. Поэтому некорректно характеризовать акмеизм как упадочническое и индивидуалистическое литературное течение. Об этом писал акад. В.В. Виноградов в своей «Истории слов»: «В истории русского языка ... эволюция словообразования почти совсем не изучена. И это обстоятельство создает большие трудности для надлежащего синтеза этимологических и историко-семантических исследований в области лексикологии» [8].

Убедительным подтверждением сказанному является мнение, бытующее среди лингвистов, о допустимости смыслового употребления слов в том значении, в котором они употреблялись в глубоком прошлом, без каких-либо комментариев, хотя при этом возникают явные несоответствия.

Пример первый. 1837 год, в Москве вышла «Медицинская газета» с очерком «Дуэль и смерть Пушкина» за подписью Владимир Даль под рубрикой Фельетон (?!), что современным читателем воспринимается как кощунство.

Пример второй. «Идеальный издатель» Ф.Ф. Павленков в 1890 году приступил к осуществлению проекта «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), героев которой подбирал, сообразуясь своей к ним симпатией, и если цензурные требования: «За Царя, за Родину, за Веру!» были соблюдены, то издание выходило. После октября 1917 издавалось только то, что отвечало принципу партийности (приоритет политики над научным знанием) литературы: «Против царя, против веры, но за социалистическую Родину!» На этих принципах возродилась в 1933 году серия биографий по инициативе М. Горького [9]. Здесь уместно напомнить, что в «Профиле комплектования» отдела редких книг ГБЛ 1956 г. декларировалось о необходимости комплектования отдела образцами «лучших серийных и однотипно оформленных изданий», причем серия ЖЗЛ собиралась полностью, естественно, при строжайшем идеологическом контроле при выходе отдельного издания [10]. После «лихих» 90-х годов прошлого столетия редакция издательства «Молодая гвардия» выступила с инновацией и в соответствии с новой политической доктриной героями были объявлены: террорист и убийца С. Нечаев, развратник Калигула, изменник Мазепа, Малюта Скуратов и даже Степан Бандера. Последняя фигура значится в списках военных преступников и на знамени УПА, запрещенной в РФ организации. Причисление этих лиц, хотя и известных, к когорте «замечательных», то есть положительных в общепринятом значении слова, отношения не имеющих, противоестественно. Последствия подобных смысловых трансформаций хорошо видны в трагических событиях последнего времени на Украине [11]. Однако, наши известные, но далеко не замечательные филологи, например, д. филол. н. Максим Кронгауз, когда он выступал в программе «Диалоги» в библиотеке

им. Маяковского (СПб), на заданный ему вопрос о недопустимости таких манипуляций с понятиями Добро и Зло посчитал эти метаморфозы допустимыми, назвав этих персон «великими». Правда, из каких «научных» соображений он посчитал «великий» и «замечательный» синонимами? Не ясно. «Теперь мы знаем, что к чему вело, // В каких углах гнездились вурдалаки, – // Но не впервые у нас Добро и Зло, // Расшаркавшись, свои меняют знаки» (1996 год, Вадим Шефнер).

Третий пример. Мотивацию переосмысления современного толкования слова *замечательный*, широко употребляемого в наше время, Валентин Юркин – гл. редактор серии «ЖЗЛ» – основывает, ссылаясь на пушкинскую «Историю села Горюхина»: «Единственное замечательное происшествие... есть ужаснейший пожар» и Священное писание: «Замечательнейшим был семилетний голод...». И далее: «Замечательный» – значит обладающий выдающимися качествами» [12]. Вот только какими? Имеется ли ввиду Аполлоновское светлое или Дионисийское тёмное начало? «Определяйте значения слов и Вы избавите мир от половины заблуждений» (Рене Декарт). И такое дополнение. Стоит ли ломать копыя и русский язык, если в экономике, рекламе давно существует ответ на поднимаемый вопрос – *РЕБРЕНДИНГ*, при котором экономическая эффективность даже повышается, но для этого нужно, в соответствии с законодательством, убедиться в принятии подобного решения членами АО «Молодая гвардия». Всего лишь! Прогресс возможен всегда!

Подвести итог сказанному можно мыслью недавно ушедшего из жизни Умберто Эко, концептуально выразившего содержание настоящего сообщения: «Книга – это не способ присваивать чужой ум, наоборот, это машина для производства собственных мыслей». И как, удивительным образом, афоризм нашего современника созвучен словам, обращенным Пушкиным к младшему брату! Нужно теперь суметь пробудить интерес у молодого поколения и родителей к стремлению овладеть социальным опытом, сконцентрированным и материализованным на научной основе сначала в разработке Каталога СБ, а затем и серийном её издании.

Об этом проекте положительно отозвался Александр Исаевич Солженицын в своем письме от 09.02.1999 г., адресованном в мой адрес. «Уважаемый Станислав Максимович!... Теперь о Вашей идее Семейной библиотеки. Она – великолепно, осуществление её было бы живительно для воспитания поколений». Пока это единственный отклик с момента первой публикации в «КО».

P.S. На научной конференции предполагается выдвижение идей, способных выстоять и подтвердить свою состоятельность после обсуждения. В установочном докладе «Приобщение детей к письменной культуре и чтению...», с которым выступил канд. пед. наук Е.И.Кузьмин, была дана информация о действующих нормативных документах, в преамбуле которых все теоретические проблемы декларируются. Следовательно, ими и нужно руководствоваться в практической деятельности, хотя существует и такое мнение: «Нет ничего практичнее, чем иметь хорошую теорию»; только оно

имеет одно НО: её нужно разработать! Первая строка «Декларации права на грамотность граждан Европы», точнее, для стран ЕС, рекомендованная докладчиком, выглядит так: «Грамотность (чтение и письмо) составляют основу развития человека». И далее приводятся 11 условий, необходимых для претворения в жизнь права на грамотность, среди которых нет главного: заложить в ребенка навыки и любовь к трудовой деятельности. Как говорил Горький, «сначала голова (для ребенка это голова родителей – вставлено С.Л.) учит руки, затем поумневшие руки учат голову» и т.д., процесс возобновляется уже самостоятельно. Но подобных критических замечаний Евгением Ивановичем высказано не было. Более того, уже в наших, российских, нормативных документах, это следует из доклада, чтение определено как освоение информации, что вообще уводит от выработки навыков способности к трудовой деятельности. В менталитете русского человека прочно закрепились два утверждения: «Бог создал человека» и «Труд создал человека»; таким образом, труд обожествляется. Без труда, его культа, человек деградирует, а, значит, деградирует духовность, культура. Чтобы ребенок не рос в семье нечитающих взрослых (а это среда низкой культурной информированности), нужна «Семейная библиотека», специальное издание, ориентированное на родителей/детей и создающее через книгу основу для душевного/духовного общения в семье: «О. память сердца! ты сильней!// Рассудка памяти печальной!» (К.Батюшков) Одни и те же переживания, мысли, ими рожденные, сблизят поколения и создадут прочную основу благоприятных семейных отношений. «Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души» (Цицерон). Когда смотришь на полки с книгами своей библиотеки, то в голове роятся мысли: это читал, эту книгу обязательно надо перечитать, эту – прочитайте..., а в душе рождаются эмоции от нахлынувших воспоминаний; и все это исчезает при взгляде на компьютер.

Удивило, что в сообщении «Приобщение детей к ... чтению: проблемы и перспективы» не было уделено внимания юношескому чтению, хотя бы в рамках книгоиздания, где традиционно книги серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия» были ориентированы на юношеское чтение, что подтверждалось горящим факелом Прометея на издательской марке, произошли принципиальные изменения. XXI век издательство отметило выходом книги Феликса Лурье «НЕЧАЕВ Созидатель разрушения», Москва, Молодая гвардия, 2001, сопроводив выпуск 1002/802 следующим предисловием **От редакции:** «Разгул терроризма в современном мире показывает сугубую актуальность *изучения* фигуры С.Г.Нечаева, и это обстоятельство (а также интересы бизнеса – вставлено мной, С.Л.) сыграло немаловажную роль в решении издать биографию *этой знаменитой со знаком минус личности* (выделено мной – С.Л.) именно в серии «ЖЗЛ». Простите, но *замечательный* – положительный в общепринятом значении при определенной известности, а *знаменитый* – пользующийся чрезвычайно большой известностью; знаменитый со знаком минус, известностью не пользующийся. Однако, широко известно, что Ф.М. Достоевский написал роман «Бесы», в котором прототипом главного героя был Нечаев, а сам роман получил большой общественный резонанс не только в России, но и в мире!

Неужели это неизвестно литераторам из редакции?! Изучать, значит, привлечь науку, призванную защищать людей от глупости. Например, на столбе – плакат «Не залезай, убьёт!». Это научно доказано. Так ведь и тут нарушили во главе с док. филол. наук, проф., чл.корр. РАН Б.Ф. Егоровым! В каких только литературных источниках не приводится цитата из Евангелия «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Когда я спрашивал у профессоров, где ставить акценты в этом предложении, то ответа не получал. Его я нашел в стихах Н.С.Гумилева: «Но забыли мы, что осиянно// Только Слово среди земных тревог, //И в Евангелии от Иоанна сказано, // Что Слово это Бог!». Николай Степанович был расстрелян в 1921 году, а реабилитирован только в конце XX века, и поэзия его была предана забвению! Текст «От редакции» – сплошная софистика, то есть – ЛОЖЬ!

Издание персоналии Нечаева подтолкнуло в последнее время расширить численность героев серии ЖЗЛ, включив в их число предателя гетмана Мазепу, отмеченного Петром Первым орденом Иуды №1, развратника Калигулу, Малюту Скуратова, заплечных дел мастера, и т.д. В 2013 году этот список пополнил фашист (!?) Степан Бандера (автор Александр Елуферьев)!

Как же сориентироваться неокрепшему юношескому сознанию в этом информационном потоке безнравственности?

Настоящее обращение продиктовано тем, что у участников не было возможности высказаться в рамках предполагавшихся стендовых докладов.

Спасибо за внимание.

ПРИМЕЧАНИЕ

[1] Можно напомнить, что целью работы акад. А.Н. Колмогорова «Основные понятия теории вероятности», впервые вышедшей в 1933 на немецком языке, было их аксиоматическое обоснование

[2] Ларьков С.М. К вопросу научного определения понятия КНИГА// Петербургская библиотечная школа №2 2003, СПб, с.40-46.

[3] Ларьков С.М. Семейная библиотека //Книжное обозрение, 22 июня 1984, №25(943), с.14.

[4] Ларьков С.М. Чтение как творческий процесс формирования личности //Вестник Российского Философского Общества, №1, 2010, с.130-131.

[5] Ларьков С.М. «Книги, написанные для каждого»/Акмеология чтения: идеи и решения, Материалы научно-практического семинара, 21 апреля 1999 г., СПбГУК, Санкт-Петербург, 1999, с.14.

[6] Доливо-Добровольский А.В. Семья Гумилевых, Книга первая, Николай Гумилёв: поэт и воин, СПб, 2008, с. 78-80.

[7] Виноградов В.В. История слов, «азь», М., 2000, с.10.

[8] Ларьков С.М. Осторожно, ЖЗЛ // Санкт-Петербургский Университет, №19 (3742), октябрь 16,2006, с.37.

[9] Самарин А.Ю. Редкие книги и книжные памятники: смена ориентиров// Актуальные проблемы теории и истории библиофильства, Материалы XII Международной научной конференции, СПб, 2010, с.7.

[10] Ларьков С.М. Ответ Обаме// Вестник Российского Философского Общества №3, 2015, с.114-115.

[11] Из жизни замечательных. Интервью Валентина Юркина // РГ 2 сентября 2010, 197 (5276), с.26.

ОСТОРОЖНО! ЖЗЛ!

Известно, что основная причина многих споров и конфликтов – неправильное, неоднозначное употребление сторонами терминов и понятий, результат различия в понимании единиц общего языка. Поводом для написания заметки стала книга Ф.М.Лурье «Нечаев. Созидатель разрушения», М., 2001, изданная в серии ЖЗЛ.

Как-то трудно уловить несовместимое: образ террориста, убийцы С.Нечаева с характеристикой «замечательный», то есть «исключительный по своим достоинствам», как сказано в «Словаре русского языка» С.И.Ожегова. Недоумение, вызванное этим, напоминало помутнение сознания, словно я лишился одной из опор бытия. Логика подсказывала: все заметное, оказавшееся в поле зрения, осознается потом либо как замечательное, либо как знаменитое.

На Книжной ярмарке в Ледовом дворце (Санкт-Петербург, весна 2004 г.) главный редактор серии ЖЗЛ О.И.Ярикова еще больше запутала вопрос, сообщив следующее: «Мы продолжаем серию ЖЗЛ Павленкова. О чем здесь еще говорить!» Однако сам создатель уникальной коллекции книг подбирал героев, сообразуясь своей к ним симпатией, и если цензурные требования: «За Царя, за Родину, за веру!» были соблюдены, то издание выходило. После октября 1917 издавалось только то, что отвечало принципу партийности литературы: «Против царя, против веры, но за социалистическую Родину». На этих новых принципах возродилась в 1933 году по инициативе М.Горького серия биографий. Слово «замечательный» изменило смысловую нагрузку и обрело четкие контуры положительного в строгом соответствии с его толкованием в рамках политической идеологии. Поэтому сегодня использовать марку ЖЗЛ, погибшую, как оказалось, идею вводить единую нумерацию томов в серии и считать Горького продолжателем Павленкова на издательском поприще неверно.

К чему это может привести, я увидел в декабре 2005 г. на выставке «Терроризм» в стенах знаменитой библиотеки, там на видном месте лежал знакомый том в глянцевого обложке. Наличие даже одного тома серии ЖЗЛ, посвященного С.Нечаеву, способно превратить в чьем-то сознании бандитов в кумиров. А это опасно!

Автором был сделан запрос в адрес Института лингвистических исследований РАН: «В популярной серии ЖЗЛ вышла книга Ф.М.Лурье «Нечаев. Созидатель разрушения» М., 2001. В разделе «От редакции» этого тома дано «теоретическое» обоснование, концепция развития издательской инициативы: «Замечательность (знаменитость) наших героев вовсе не подразумевает их положительность. Отждествлять эти два понятия – откровенное заблуждение».

Просим Институт дать экспертное заключение относительно правильности утверждения, выска-

занного редакцией, оценить правомерность, с лингвистической точки зрения, включения в серию ЖЗЛ персоналий типа С.Нечаева, Чингиз-хана, Фридриха I Барбаросса...»

Заключение Института содержит три вывода:

1. «Таким образом, использование слова «знаменитость» для истолкования смысла существительного «замечательность», с точки зрения лингвистики, является неверным».

2. «Таким образом, понятие «замечательность» применительно к человеку подразумевает наличие у него общепризнанных положительных (заслуживающих одобрения) качеств».

3. «Оценка правомерности включения в серию персоналий типа С.Нечаева ... не входит в компетенцию лингвистов».

Позиция филологов разъяснена в п.2: «Однако следует заметить, что слова «замечательность» и «замечательный» носят субъективно (всегда ли? – С.Л.) оценочный характер, и потому ни у кого не вызывает удивления, когда подобная характеристика высказывается, например, боевиками бандформирований в адрес Шамиля Басаева, Хоттаба или Усамы Бен Ладена. Другое дело, когда с ними солидаризируется заведующая редакцией серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия». Так ли, как они, думают жертвы Буденновска, Беслана, Москвы – зрители «Норд-Оста» и их родственники. Спросите вы «у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят (!) их сыны». Нельзя именовать «замечательным» того, чьи деяния пресекаются действующим законодательством, подобно недобросовестному бизнесу, когда в упаковке привычного всем продукта содержимое не соответствует этикетке.

В заключение хочется напомнить известное: «В начале было Слово». В конце тоже будет слово, но какое? Это зависит от нас.

С.М.ЛАРЬКОВ, председатель городской секции библиофилов СПб

Владимир Лапенков

ЧИТАЕМ ПЛАТОНОВА

1985г

(Статья была написана еще до того, как главные произведения Платонова были опубликованы на родине писателя)



Андрей Платонович Платонов (1899-1951) Воронеж - Москва

Лапенков Владимир Борисович, г.р. 1951 – Ленинград, ученик Д. Я. Дара, работал трубочистом и кочегаром, примыкал к движению хиппи и рок-культуры в период их создания, входил в Клуб-81 и круг Малой Садовой, печатался (иногда как Игорь Непруха и Владимир Константиади) в самиздате 80-х гг. («Часы», «Обводный канал», «Метродор»), а также – «Эхо» (Париж). Писал прозу с 1969 до 1987 года, в дальнейшем увлекся культурологическими изысканиями. См. – «Самиздат Ленинграда». М.: НЛЮ, 2003 и в Интернете.

ЧИТАЕМ ПЛАТОНОВА

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСТЕРА.

– Но на какой почве?

– На нашей, датской.

/Общезвестное/.

Каким бы избитым ни казался образ «загадочной» русской души, но и до сих пор от него исходит – пусть затхлый, книжный – но все-таки пряный ностальгический аромат. Удальцы, самодуры, балбесы, юродивые – как много было их в нашей истории, в нашей культуре, как много их и сейчас! Кто самый известный герой русского фольклора? Иван-дурак. А любимый древний тиран? Иван Грозный, он же Парфений Уродивый. Да от любого застолья несет парной и шапкозакидательством.

Россия – вечный симбиоз лени и ухарства. Ноздрев – тот же Манилов, наглотавшийся допинга. И деятельность лихорадочная не только не мешает творческой лени, но и исходит из нее и не может без нее обойтись. Лени – творческая наша страсть, с деятельностью ее роднит склонность к мечтаньям, т.е. *утопизм*.

Русские – нация, больше и громче всех прочих говорящая об Истории, но лишенная подлинного чувства историзма. Карамзин, по мнению Ключевского, «не собирал, а выбирал факты», для Костомарова русская история была «музеем, наполненным коллекцией редких предметов», из тезисов Погодина выходила «историческая мифология или риторика», «История русской жизни» Забелина – «музыкальная фантазия»...

Можно добавить, что Владимир Соловьев, сын крупнейшего русского историка, большую часть жизни – чистейший утопист, апологет теократической идеи, а незадолго до смерти – разочарованный декадент (как это естественно для пламенного утописта!), предрекающий конец мировой истории и приход Антихриста. Парадоксально то, что, по его же признанию, впервые он услышал слова о конце истории от собственного отца, в некотором роде либерала, государственника и позитивиста.

Историзм в России это или 1) любовь к исторической «клубничке» у т.н. образованной массы, или 2) апокалиптика – у т.н. элиты. «Апокалиптик... чувствует историю... как боль, которую нужно утолить» (Аверинцев). «Апокалиптика и нигилизм с противоположных концов, религиозного и атеистического, одинаково низвергают культуру и историю, как середину пути» (Бердяев). Апокалиптика и утопизм, часто переходящие друг в друга – порождение страха перед историей, ритуальное заклинание ее. Поскольку утописты фанатики не идеи, а чувства, то и негодяи среди них подчас симпатичны, а святые выглядят как недоумки. Ноздрев книг «не знал и не хотел», Чернышевский хороших книг написать не умел и не мог, Николай Федоров знал и читал все, из чего вынес, что интеллигенция – это

«эпикурейское стадо», что религия без практики мертва, то бишь – «слово суетное», литература – «многописание», социология – «теория дрязг», а история – «бездушное знание» и «бездейственное представление», судилище над умершими.

Утопист утописту, конечно же, рознь. Что общего между Федоровым и, скажем, Чичиковым? Разве что любовь к мертвым душам... Утопист порывает с плотью земной и бесплотные души преследуют его, как эринии. Но он родился не на пустом месте. Где личность круче зажата общественными условиями, там и утопизм энергичней. Ему есть чему себя противопоставить. Поначалу жалостный скрип дивана, затем – рывок, фантазии (обычно) или деятельности (достаточно иной раз фантастической). Чем хуже на деле, тем сильней компенсация, тем более невозможного хочется. «Из грязи в князи» – типическая наша поговорка.

Причина, собственно, не столько в социальном давлении как таковом, сколько в однородности этого давления, в узости личного выбора, в дефиците возможностей. Перетряхнуть, так все сразу! В этом весь футуризм, весь Пролеткульт, вся революционность (начиная с базаровых-писаревых).

Утописты, как говорилось, бывают разными, не бывает только иронических утопистов. Здесь протопоп Аввакум – братец императора Павла. Ирония родилась не в России. Русскому свойственен пафос и эпос. Утопистами не рождаются даже, ими становятся, хотя при той же беспомощности и с тем же лепетаньем. Хронотоп определяет утопию. Отсюда постоянная спешка с реформами и переворотами при постоянном же отставании от тех, кого намечалось обогнать. Отсюда и вечная оглядка на Запад и вечные комплексы перед ним, нередко переходящие в ненависть.

Самоуничжение не всегда смирение (и наоборот). У каждой нации своя особая субстанция. И наш аисторизм, по-своему, историчен. Русский парадоксальнее европейца, с ним интереснее. Пусть субъективней, но и ярче других может рассказать о событиях их переживший участник. Проза Андрея Платонова – уникальнейшая история болезни русско-советского утопизма.

2. УСОМНИВШИЙСЯ ФОМА.

*Светлое послезавтра сообщи куя,
Зря грядущее сквозь время призму,
Мы не признаем и не желаем ни....
Т.е. ничего,
Акромя изма!*

Ал. Зиновьев «Зияющие высоты».

Нет нужды пересказывать биографию Платонова, многие его сверстники писали «время – вперед!», но ничего подобного роману «Чевенгур» русская литература не знает... О духовном переломе в жизни Платонова, пришедшимся на середину двадцатых годов, факты мало что могут рассказать. К этому времени Платонов достаточно успел сделать – согни

построенных плотин, электростанции, мелиорация, сотни и сотни газетных статей, корреспонденций, лозунгов, стихотворений. Казалось бы, есть чем похвастать, и есть от чего почувствовать себя во главе несущегося потока, на трубе летящего к коммуне паровоза...

Но – человек, недавно еще пытавшийся создать перпетуум-мобиле (в прямом, не переносном смысле слова, что позже отразилось в повести «Город Градов»), наталкивается на новую (как ему кажется) «социальную болезнь – бюрократизм», разочаровывается в прожектерстве, начинает осознавать, что административно-хозяйственная деятельность не отвечает на «последние» вопросы. Вокруг «форменные кретины и доносчики... хорошие специалисты беспомощны и задерганы», пишет он жене из Тамбова, «здесь просто опасно служить». В рассказах и письмах тех лет появляются недвусмысленные высказывания: «природа... мудрее и разноцветнее всех людей», «как... хорошо перемешаться с сырой старой землей», «жизнь – порочный факт», «человек – стервец».¹

Это прозрение завершило становление Платонова как художника; практически все его будущие произведения варианты одной и той же основной темы, первообразы которой – мать, земля, душа, дорога, тоска, томление, сиротство. Каждый из этих образов наращивает вокруг себя целые структурные блоки, между которыми натянуты сетки семантических связей. Один из таких образов – образ Мастера, от нехитрого кустаря до гениального одиночки, от простого лопатника (возможно, не менее мудрого, чем природа) до искателя мирового стержня (возможно, близкого к безумию). Этот образ вбирает в себя и динамически объединяет верх и низ, добро и зло, тщету и достоинство платоновского космоса.

Не работающих на целое деталей не найти в прозе Платонова. Обыкновенное рытье ямы это одновременно и строительство новой жизни, и докапывание до основ, и путь к умершим предкам, и оплодотворение природы, и бессилие перед ней человека.

Что может мастер? Или – что то же – что может человек? Или даже – *зачем* человек? Философия Платонова поворачивается то метафизической своей стороной, то социальной; в ней появляется сатира. В пафос вливается волна мягкого юмора, вера и трагическое чувство тщеты сменяют друг друга.

Было бы упрощением рассекать Платонова на две полярные половинки: фанатичный юнец – умудренный муж. И в юности он был знаком с отчаянием, и в зрелости не терял до конца надежды. Но нельзя не заметить, сравнивая платоновские призывы тех лет с его же последующей прозой, сколь многое было им осознано и пережито. Ни один призыв не остался без ответа:

1. «без души мы и без бога» (цит. по Васильев, ук. соч., с 31).
2. «религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание – ко всенощной – попробуй не сходи... Тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет!» («Город Градов»).

¹ Цит. по В.В.Васильев «А. Платонов». М.: 1982, сс 64, 66, 67, 76, 124.

1) «О, мы раздавим, взорвем динамитом, / В песок превратим этот мир! / И продиктуем кометам / И колоссальным мирам / Волю машин...» (газ. «Пламя», 1919, № 69).

2) «Пусть спят спокойно и вечно все завоеватели мира... они предполагали в своем жалком сознании, что действительность – лишь шутка...» («По небу полуночи»).

Или – как поэт «хор затейников из кондукторского резерва»: «ту-ту-ту-ту» – паровоз, «ру-ру-ру-ру» – самолет, «пыр-пыр-пыр-пыр» – ледокол... Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори «ту-ту», «ру-ру», шевелись каждый гроб, больше пластики, культуры, производство – наша цель!..» («Фро»).

1. «истинный философ – механик» («Воронежская коммуна», 24.08.1922).

2. «Гражданин механик! – с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию» («Фро»).

«Людам дадим мы железные души,

Планеты с пути сметем огнем» (Васильев, ук. соч., с 31).

«Люди сами затомят и растерзают себя» («Мусорный ветер»).

«Лихтенберг прислонился лицом к машине, как к погибшему братству... он увидел могильную тьму механизма, в его теснинах заблудилось человечество и пало мертвым» (там же).

1) «Наука – голова революции» («Красная деревня», 16.07.1920).

2) «паровозное колесо согласовывал с Карлом Марксом, а сам сох от вечернего учения и комиссарства – и забыл, как делается это колесо» («Сокровенный человек»).

1. «Неужели... Христос, Шелли, Байрон, Толстой интересней электрификации?» («Воронежская коммуна», 13.01.1923).

2. «ни хорошие, ни плохие моторы сами по себе не помогают правильно существовать человеку, если в человеке нет священной сущности» («По небу полуночи»).

3. «Выходите... уверенным, твердо рассчитанным маршем» («Пламя» 1919, № 69).

«Мы сокрушающий, последний шаг» («Вор. комм.», 15.01. 1921).

4. «Сафронов остановился перед всеми в положении вождя ликбеза и просвещения, а затем прошелся убежденной походкой и сделал активно-мыслящее лицо» («Котлован»).

5. «во многих других людях существует такой же инстинктивный, радостный идиотизм» («По небу полуночи»).

Примеров еще предостаточно. Но это не интеллектуальное противопоставление, не идеологические оппозиции, а отношение порождения, художественное преобразование. Язык лозунга не просто язык молодого Платонова, это язык целого поколения, язык «новой жизни», в претворенном

виде ставший стилем Платонова зрелого. Раскроем газеты тех лет и взглянем, к примеру, на сообщения рабкоров.

«С большим успехом прошла в кино «Большевика» научно-художественная фильма «Аборт»... Сколько перебивало народу... Были и пожилые и старые. У всех одно желание – посмотреть в кино действительную жизнь» («Красная газета», 2.04.1925).

«Член профсоюза химиков Энгельсина Постникова. Этому члену профсоюза всего две недели возраста. В присутствии 400 гостей в клубе полигона состоялась церемония наименования» (там же).

«Перевыборы на заводе «Красный Треугольник». Старая галошная мастерская под звуки оркестра... наполняется рабочими... Аленют знамена цехьячек... «Стальной поступью по заветам вождя!» Грянул хор галошниц... Тов. Саркис передает привет от тов. Зиновьева» («Красная газета», 31.03.1925).

На формальном использовании такого благодарного материала выросли Добычин, Хармс и Зоценко. Но Платонов не формалист и не сатирик. Больше того, он не «правый» и не «левый», он не судит, не издевается, также как и не славословит. Не столь уж редки старания записать Платонова то в почвенники, припадающие ухом к горьковской целине, то в интеллигенты, бичующие пережитки масс-культуры. Платонов – архетипист, психоаналитик, его интересует не столько форма (здесь – лексика и синтактика), сколько семантика, даже метасемантика речи. Народ здесь сам себя судит через язык; этот язык эклектичен, утрирован, автопародиен, но не вовсе анти-концептуален: чувства и понятия, стремящиеся к выражению, никуда не делись, а примитивность только подчеркивает их архетипичность.

(А что скажут по этому поводу лингвисты? Шарль Морон: «навязчивые метафоры... указывают на существование мысли... до-логической». Жак Лакан подтверждает значимость подобного оксюморона: «бессознательное – это язык»).

Как ни странно, но в этом подходе к языку – среди плеяды современных ему блестящих русских стилистов – Платонов одинок. Пожалуй, только Хлебников так самозабвенно вгрызался в проблематику слова, но его поиски были поисками неизлечимого алхимика, а его утопизм не нес в себе никакой трагической рефлексии.

Похоронив времен останки,
Свободу пей из звездного стакана,
Чтоб громыхал по солнечной болванке
Соборный молот великана.

(Собр. пр-ний В. Хлебникова. Л.: 1928-33, т. I, с 196).

Как это уже знакомо! Но «доски судьбы» избавили от суицида «честнейшего рыцаря поэзии». Умер Хлебников удивительно во-время, даже представить себе трудно, что бы он запел в тридцатые годы... Современная Платонову критика укоряла его («укоряла» – это, конечно же, эвфемизм) за мрачность, замогильность, безысходность творчества. Была ли она совершенно слепа? Мифологизм, архетипизация социальных конфликтов,

внимание к подпочве бытия не могли, разумеется, не выглядеть чуждыми элементами в мире фанфар и литературного схематизма. Критики и не умели и не должны были трактовать его творчество по-иному.

Мастер у Платонова редко остается без наказания, особенно учитывая, что наказанием могут служить не только смерть или безумие, но и сомнение, душевная боль, разочарование в идеалах. Массе как будто бы не присуща индивидуалистическая рефлексия, масса только *терпит*, но в этом своем терпении, томлении, сиротстве она выступает как единое целое, как единая страждущая душа. Наиболее выпукло трагедия мастера представлена в одном из самых совершенных по форме и «черных», жутких по содержанию, рассказов – «Мусорный ветер».

Место действия – гитлеровская Германия. Но почему «Германия»? Удобное чучело для разрешенных плевков? Ориентализм в творчестве человека, не колесившего, в отличие, скажем, от Пильняка и Эренбурга, по зарубежью? Да и Германия ли это? Аллегория не нова. Судьба Перри из «Епифанских шлюзов», «иностранными» глазами рассматривавшего русскую глубинку (которая не изменилась и ко второй половине XX века) – вероятностный вариант судьбы Платонова. Герои же немецких рассказов «Мусорный ветер» и «По небу полуночи» чувствуют себя *чужаками* в родной стране («поражался, как чужестранец» – «По небу полуночи»). А сам Платонов, годами выступающий в печати под псевдонимами, которые нередко являлись именами его же героев?..

Рассказ написан после трех лет авторского молчания (в виду разноса его хроники «Впрок» и цикла очерков «Че-Че-О»), но и под германской своей маской не пришелся ко двору (точнее, не понравился Горькому, что, собственно, одно и то же). Из-за бледных немецких реалий выступают вечные русские (вообще) и платоновские (в частности) мотивы и ситуации. Для сравнения можно взять сюжет рассказа «Река Потудань» – смягченный (для печати) отечественный вариант «Мусорного ветра».

Что же мог увидеть здесь Горький, помимо бескомпромиссного по своей жестокости сюжета? Действие большей части произведений Платонова происходит где-то в южнорусской провинции (лесостепь Воронежца и Тамбова), действие рассказа «По небу полуночи» – в некоей *южнобаварской деревне*, «Мусорного ветра» – в *южной германской провинции*.

Что еще? Рожь, ракиты, отсутствие света в крестьянских домах (экономят керосин), пропасть, «вырытая для какого-то могучего механизма» (пресловутый Котлован), женщина с умершим от голода ребенком на руках, однодушная толпа (ср. с образом колхоза в «Котловане»), убогие труженики, здоровые обжоры из партийных, безмолвные бюрократы, безымянный город, показанный как бы глазами проходящего сквозь него странника.

В повести «Город Градов» – хаты с нужником во дворе, храмы, площадь, на ней – собор, в «Мусорном ветре» – церквушка, площадь, на ней – собор, упирающийся в «могилы своих строителей», у собора – блаженный юродивый Лихтенберг (буквально – «Горный свет»), герой рассказа, чей полугрупп скоро унесут в черный двор с сараем над выгребной ямой. И, наконец, главная причина гибели «усомнившегося» Лихтенберга – «бронзовое полутело»

фюрера, в лице которого видна «мучительная сосредоточенность... над организацией судьбы человечества и... напряженный дух озабоченности» Ср. с «научным человеком» из сна героя рассказа «Усомнившийся Макар»: «Научный человек» молча стоял на горе, «думая лишь о целостном масштабе..., а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора... миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах». Сравнение, пожалуй, не в пользу «научного человека»!

Рассказ не оставляет надежды – не только мир вокруг мастера – это «мусорная пустота пространства», но и он сам – пародия на человека. Жена Лихтенберга, Зельда, родом «из русской Азии», от голода и отчаяния становится «хуже обезьяны», обрастает шерстью, превращается в зверя, в «сволочь безумного сознания». Лихтенберг ударяет ее тростью и покидает навсегда. Следующий – и последний – удар он нанесет «бронзовому полутелу», за что жестоко поплатится. Но... Лихтенберг «не жалел об исчезающих органах жизни», ибо «прошло время... *цельного тела* человека (курсив мой.– В.Л.): «каждому необходимо быть увечным инвалидом».

И это только начало голгофы для «физика космических пространств». До попадания в лагерь он проводит долгое время в помойной яме, питаясь отбросами; ему снится женская ласка, но это оказывается лишь пожирающая его тело крыса: Лихтенберг пытается вернуть свое мясо и кровь, съедая «маленького зверя вплоть до его шерсти». Собака, увидев заросшего шерстью, поврежденного телом и умом мыслителя, «задрожала от ужаса, глаза ее наполнились смертельной скорбью»...

В лагере Лихтенберга собираются расстрелять, как несоответствующего «уровню государственного умозрения», но и это не конец – натуралистическая трагедия завершается символическим фарсом – Зельда, разыскивавшая мужа, случайно натывается на его мертвое тело и принимает за изувеченного зверя. «Полицейский подтвердил догадку Зельды, что это лежит обезьяна или прочее... ненаучное животное; в одежду же его нарядили молодые наци...: для политики».

«Научный человек» – «полутело» – «ненаучное животное»... Регресс – неизбежная расплата.

Гротесковое решение конфликта не единственная, и, быть может, не главная метода Платонова. Иносказание чаще тяготеет к мифу.

МЕНИППЕЯ ДУШИ.

Странничество нашего духа есть явление глубоко национальное.

Н. Бердяев

Повесть Платонова «Джан» еще одна геоэтнографическая аллегория, едва скрывающая свою двуплановость, двумерность. Ее нарративные функции вполне укладываются в известную (здесь – несколько редуцированную) пропповскую схему, относящуюся к фольклорному повествованию. Экспозиция – завязка / узнавание – отправка / пространственное перемещение героя –

недостача – испытание / борьба – преследование / поиск – вредительство – обличение антагониста – ликвидация недостачи / спасение.

Бинарные оппозиции нарратива (пользуясь методикой К. Леви-Строса) можно разместить по нескольким основным семантическим кодам: «гастрономический код» (среди прочих «дифферентов» здесь особенно заметны бинары голода и насыщения, еды-добычи и еды-дара); «сексуальный код» (акт удовольствия – акт продолжения рода, любовь – насилие, старое – молодое); «природный код» (живое – мертвое, человек – животное, охотник – добыча); «социальный код» (коллектив – маргинал, формальное и неформальное лидерство); «морально-философский код» (забота – равнодушие, помощь – вредительство, прошлое – будущее); «мифологический код» (хтоника – уранизм, Ормузд – Ариман, души живых – души мертвых). Сама эта формальная сетка помогает лучше разглядеть и простоту и сложность реальных взаимоотношений внутри нарратива, где одни моменты могут быть подвергнуты дальнейшему обобщению (редукции), а другие (или те же самые) рассмотрены как сложные диалектические сущности, «мерцающие» на границе между оппозициями.

В самом деле, у Платонова нет непроходимой грани между одушевленным и неодушевленным миром, между животным и человеком. Даже такое очевидное, казалось бы, противопоставление как «жизнь – смерть» теряет привычную четкость: персонажи уже вроде умерли, фактически бессознательны, но все-таки действуют; герой постоянно насыщает свою утробу, но остается голодным; эротическое стремление не реализуется, а эвтаназия может обрести характер полового акта; охотник становится добычей, а добыча – охотником (А поглощает В, поглощающее А).

Между инстинктом и сознанием, органикой и неорганикой, прошлым и будущим мучаются герои и мечется мысль Платонова.

Вышеприведенные коды могут быть сведены к трем категориям: к природному, культурному (т.е. собственно человеческому) и супранатуральному, метафизическому. Напрашивается аналогия с фрейдовской трихотомией – Оно, Я и Сверх-Я, где место «Оно» займет народ джан с ареалом своей практической истории на фоне природы, место «Я» займут два индивидуально выделенных персонажа – главный герой Назар Чагатаев и его антагонист Нур-Мухаммед (инь и ян Эго), и, наконец, «Сверх-Я» это вся гамма мифопоэтических трансфигураций, в том числе известная идеологическая надстройка, заявленная не только марксистскими формулами, но и образно – миром «колоннады дальнего города».

Народ джан – изначально полиэтничное, квазисоциальное образование, представляющее из себя и на метафизическом уровне и буквально (этимологически) – понятие души, правда, души умирающей. Это крайнее выражение телесной развоплощенности и духовной униженности, рядом с которым «маленький человек» Гоголя и Достоевского покажется Крезом и белокурой бестией. Трагичность положения народа, этой развернутой метафоры, не столько в его историко-социальной изоляции, сколько в том, что будучи родственным природе, он не черпает из нее жизненной силы – природа сама унижена, угнетена, безблагодатна.

Космическое значение имеет здесь начальная мотивема «голода». Голод – тотальный архетип: это голод и плоти и сознания, и самой природы, он диктует ситуативное оформление, он движет и обездвиживает. Голод окрашивает мрачным светом всю задействованную ойкумену, всю топику нарратива: пустыня, оскудение, одиночество, неприкаянность и беспомощность, пассивность, призрачность, угасание. Люди движутся по круговой овечьей тропе вслед за стадом (примерно равным им по численности и с двойником-лидером) одичавших от голода овец. Поедая их, люди как бы питаются собственной плотью, уничтожают собственный тотем, а за людьми следуют хищные птицы, поедая отстающих, словно возмездие поруганной природы. Все это происходит в стихии ветра, несущего песок и былинки наравне с людьми и кустарником перекати-поле... в стихии *мусорного ветра*.

Назар Чагатаев, выводящий народ с «адова дна древнего мира» (которое есть не только географическое пространство, но и историческое время), – культурный герой, медиатор и преобразователь инициального конфликта; одновременно – Моисей и Прометей, Ной, Язон, Одиссей и Орфей, и даже – Ариман. (Ариман у Платонова противопоставлен сытому, оседлому Ормузду, как «душевный бедняк», вечный искатель золотого руна).

Назар, наряду с Нур-Мухаммедом, единственная личность повествования. Но что это за личности? Оба они посредники между мирами (функция шамана, странствующего по Мировому Древу). Нур-Мухаммед, сам исполненный жизненной силы, витальности, является посланцем смерти, бюрократом спасения. Он не бросает народа, движется вместе с ним, не убивает, но радуется гибели и ведет ей аккуратный учет. Постоянная его принадлежность – учрежденческий портфель (восточный, демонический, вариант Шмакова из повести «Город Градов»). «Буду хоронить, – объясняет он свою миссию Назару Чагатаеву, – пока выйдут все, тогда уйду отсюда, скажу – командировка выполнена».

Чагатаев – позитивный герой, но он сам из породы джан: если Нур-Мухаммед «глядел вперед открытыми глазами, осознавая ясно весь мир», как личность, поставленная над природой, то личность Назара хтонична, противоположна аполлоновско-ормуздову формоустроению, мучаясь, он впадал «в беспамятство, спасая свою душу». Вообще все ураническое в прозе Платонова носит отрешенный, надчеловеческий и двусмысленный характер: «пустое небо», «пустынный свет», «летний день стал... тяжким и вредоносным для зрения глаз», «Фомин поглядел... на небо..., там было скучно и не было сочувствия человеку», «мертвая массовая мусть Млечного пути», «скука самых далеких звезд, где в недрах те же медные руды и нужен будет тот же ВСНХ»...

Ураническое – это *иное* пространство; иное, *другое* – для освоения, но и иное, *чужое* – для жизни. Пока горячка энтузиазма, настоящая на дрожжах Федорова и Циолковского, затмевает разум видениями «дальнего града», Вселенная это сподручный материал и некогда томиться одиночеством, но

чуть спадает волна ударничества, и человек сразу теряется в ледяной пустоте равнодушных пространств, душе его там места не находится. Характерно описание старинной картины, которую Чагатаев замечает в доме своей московской знакомой. «Там некий большой человек... пробил головой отверстие в небесном куполе... И он настолько долго глядел в неизвестное чуждое пространство, что забыл свое основное тело... Туловище человека истомилось... и, наверное, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет – по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз, – голова искателя новой бесконечности» (здесь вновь перед нами оторванное от почвы *полутело* «научного человека»).

Где же Родина? Не только *на* земле, но и *в* земле, в преисподней. Чагатаев вспомнил было в пустыне о Москве, но «быстро понял себя: Нет, здесь тоже Москва!»

Природа у Платонова не книжная иллюстрация к Фету, с закатами, ручейками и лютиками, а человек не тургеневский барин с ружьишком; любование видами и заячья травля остались в XIX-м веке. Если люди сами хтонические существа, родственные природе, то и обратно – в духе гилозоизма – флора и фауна проходят вслед за человеком аналогичную эволюцию и, может быть, также стремятся к утопии. «От векового угнетения скотина отстала от человека, а ей человеком тоже быть охота!» («Чевенгур»). В повести «Джан» это выражено даже с некоторым нажимом: «Черные стебли небольшой травы редко, как сироты, стояли вокруг спящего, точно жалея, что он встанет и уйдет, а им придется быть здесь опять одним».

Но на ступени экзистенциального отчаяния родственные связи слабеют, происходит взаимное пожирание. Человек сначала съедает дружески сопровождающего его, почти очеловеченного верблюда, затем бессловесных овец и, наконец, одолевает в борьбе за жизнь хищных птиц. Это можно отобразить формулой:

$a : b :: a : -b :: -b : a$, или, сокращенно: $a : b :: -b : a$.

Т.е. человек относится к животному-другу как животное-враг (негативный маркер) относится к самому человеку. Орел пожирает плоть героя, но затем герой съедает орла, пожравшего его мясо. Происходит как бы замкнутый цикл причащения, гомеопатическая магия мясной пищи, осиянная светом жертвенности.²

Здесь мы видим не просто птиц, но аналог птицеобразным душам умершим, нападающим на людей; акт мясной или хлебной дани навьим душам отражен во всех мифологиях мира.

Не только спасти душу живую от голода, но и вывести ее на свет из преисподней, в прямом и переносном смысле финальная задача культурного героя. Удачная медиация не может произойти без борьбы, а, главное, без

² Эта тема в разных своих вариациях глубоко занимала Платонова и нашла свое отражение в уже упоминавшихся рассказах «Мусорный ветер» и «Река Потудань».

потерь. Герой тратит (опять же, во всех смыслах) себя и также теряет в дороге часть спасаемых им. Другими словами, душа обретает счастье, теряя какие-то присущие ей качества. И здесь, вступая в область разрешения финального конфликта, мы попадаем в мир неясных измерений, нечетких и даже двусмысленных образов. Трудно понять, бессознательная ли это полисемантическая или эзопов язык.

С одной стороны, отчетливо видно поступательное движение: смерти инициальной материнской пары Вера / Гюльчатай противопоставляется жизнь, полная надежд, финального дочернего дубля Ксения / Айдым, как смена истощенного плодородия прошлого свежим плодородием будущего. Народ спасен от вымирания, антагонист наказан, герой чувствует себя человеком, исполнившим свой долг. Все чудесно. И, тем не менее – странный путь проделывает душа-джан. Герой, символически выводя народ из ада, фактически ведет его от воды (устье Аму-Дарьи) и миража «дальнего града» через адовы пески на древнюю родину Сары-Камыша и Усть-Урта, т.е. прямехонько в те места, именуемые «адовым дном».

Уже на месте герой теряет свою мать, главное лицо, нуждавшееся в спасении, что обесмысливает его орфический исход. Перед нами не счастливая концовка сказки с ее линейным движением, а трагическая статуарность циклического мифа. Народу дана новая жизнь и забота «старшего брата». Но старик Суфьян говорит, глядя *«старый московский башмак Чагатаева»* (курсив мой. – В.Л.): «твой народ боится жить... Он притворяется мертвым, иначе счастливые и сильные придут его мучить опять». О каком времени идет речь? Старик знает, о каком. «Я слышал, – равнодушно сказал Суфьян, – мы знаем – богатые умерли все».

Финальная точка не справляется с оппозицией «счастье – несчастье», взрывается с распадом спасенной души: народ разбредается во все стороны света.

Почему же Платонов не остановился на более ясной концовке, смазал напрашивающийся хэппи-энд? Чутье? Неготовность отвечать на запросы нового истеблишмента? Писатель победил в нем советского писателя?.. Впрочем, это, скорей, перемирие. Платонов столь же лиминален, как и его персонажи, он все время мечется между приятием и неприятием, точнее – между приятием цели и идеала и неприятием заскоруждого бытия. Но время от времени идеал дрожит и лопается мильным миражем, а бытие обнажает живые человеческие души, о которых страдает писатель.

Но страдает он именно как писатель. Души, взыскующие счастья, слепые и нежные, грубые и беспомощные, разыгрывают эту мистерию в лицах, они постоянно в движении и постоянно в проигрыше.

В России есть свои Ламанчи.

4. ДОН-КИХОТЫ ЧЕВЕНГУРСКОГО УЕЗДА.

*Недостижимость утопий не спасает
от ужасов их достижений.*

Б. Останин

Чтобы проанализировать роман «Чевенгур» потребуется книга, возможно, превышающая объем самого романа, а будет ли еще толк от нее – довольно сомнительно. Если книги достоин и малый платоновский рассказ, то «Чевенгур» можно обсасывать целыми поколениями, в результате так и не поняв ничего. Поэтому, не делая окончательных выводов, сосредоточим внимание на ряде деталей.

Наинтереснейшею загадкой кажется мне образ Копенкина. Загадочность его уже в том, что он не имеет параллелей в других произведениях Платонова. «Чевенгур» – энциклопедия, квинтэссенция всех платоновских тем, идей, образов; в целом этот роман один может заменить все остальное творчество писателя. Но в нем есть и нечто особое – это Копенкин. Копенкину можно найти аналогии только в мировой литературе, в классическом эпосе или в пародиях на него – Дон-Кихот, Рама, Рустам, Святогор, И. Муромец, Галахад, Неистовый Роланд и «рыцарь бедный». Неясно, пишет Платонов, «был ли он из батраков или из профсоюзов», черты его «международного лица... стерлись о революцию». Путеводной звездой, мистическим символом будущего счастливого царства служит ему образ умерщвленной Дульсинеи, земной, но недоступной Девы Марии – Розы Люксембург.

На богатырском коне Пролетарская Сила скитается паладин по степи, всматриваясь вглубь страны: в поисках «правильного врага». Конь, вытасненный прямо из сказки, карающий меч, обобщенный тип рыцаря в черной кожанке, отчетливый былинный дух... И – абсурдность донкихотовой миссии: «правильных врагов» уже не осталось. Революция победила, перед Копенкиным – бескрайняя выжженная пустыня с редкими островками притаенного человеческого существования. Непонятная, тревожная тоска исклевывает его душу: враг разбит, эксплуатация уничтожена – где же счастье? Может быть, враг сменил кожу? А, может быть, в самом человеке сохранилось нечто, требующее искоренения? Не умея осознать этого (сам себя считал «дураком»), дорожными подвигами заглушает в себе Копенкин тоску. Но подвиг уже совершить нелегко: великаны своевременно обращаются в ветряные мельницы.

– А чего у тебя на дворе гарью пахнет? – вспоминал воздух Копенкин...

– Это, проходящие сказывали, белые буржуи сигналы по радио дают... воздух от беспроволочных знаков подгорает.

– Махай палкой! – давал мгновенный приказ Копенкин. – Пугай ихний шум... Копенкин обнажил саблю и начал ею сечь вредный воздух, пока его привычную руку не сводило в суставе плеча.

– Достаточно, – отменял Копенкин. – Теперь у них смутно получилось.

Утрированным отражением Копенкина является Пашинцев, напяливший на себя настоящие рыцарские доспехи. Если первый всего лишь оправдывает

физическую ликвидацию «буржуев» Чевенгура (хотя сам в ней и не участвует – все-таки это не бой, а бойня), то последнего обижает недоведенность дела до предельного конца: надо было, по мнению Пашинцева, на место гекатомбы перенести сад, чтобы «деревья высосали из земли остатки капитализма и обратили их, по-хозяйски, в зелень социализма».

Но Копенкин не просто фанатик, он – носитель концентрированного чувства хилиазма и миллениума, готовый «сжечь все недвижимое имущество на земле, чтобы в человеке осталось одно обожание товарища». Хилиазм, как известно, учение, отброшенное ортодоксальным христианством; социалистический хилиазм также не кафоличен (не православен), это достояние ранних, стихийных, *небюрократизированных* сектантов. Явочный коммунизм в Чевенгуре, установленный на костях одиночника, это отчаянный вопль низов, которые «не хотят жить по-старому», но в нем не учтены далекие «верхи», которые уже начинают руководить по-новому.

– ...если мы в губернию на тезисы отвечать не будем..., – жалуется Копенкину пред. чевенгурского уика Чепурный, – то оттуда у нас весь коммунизм ликвидируют.

– Нипочем, – отрек такое предположение Копенкин. – Там же такие как и мы!

– Такие-то такие, только пишут непонятно, и все, знаешь, просят побольше учитывать да потверже руководить... А чего в Чевенгуре учитывать и за какое место людьми руководить?

Новый бюрократизм складывался не один день. Первые годы были полны и реального хаоса и терминологического «ляпа»; наивно думать, что в то время обязательно вызвал бы смех призыв «из стихии какофонии капиталистического хозяйства получить гармонию симфонии объединенного высшего начала и рационального признака». И даже такой прирожденный бюрократ как Шмаков («Город Градов») мог в своем деле быть утопистом и умереть от истощения при создании фундаментального труда «Принципы обезличения человека с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия».

Легче всего смотреть на Чепурного, Шмакова, Копенкина и других платоновских «идейных» героев, как на юмористических персонажей. Действительно, их слова и поступки тотально нелепы, но они не марионетки. И не в том только дело, что автор изображает героев живых и подчас удивительно страдающих. Сам абсурд, при долгом всматривании в него, теряет балаганную окраску. Когда абсурд тотален, это уже не смешно.

Абсурд и утопизм – две стороны одной медали. Медаль эта – неприятие истории, как мучительнейшего процесса, враждебного человеку.

Чепурный, он же – Японец, странная, неведомо откуда взявшаяся личность, также страстный нутряной хилиаст-милленарист. При всей своей примитивности, он первый ум Чевенгура, при всей грубости и неумелости, он – Дедал, при всем атеизме и бескультурности это своеобразный религиозный сектант и *sancta simplicitas*. Последняя – в форме активного деятеля – особенно опасна для окружающих. Социальная мечтательность, писал Бердяев, вовсе не невинная вещь. Чепурный сродни алхимику, не жалеющему

для своих опытов ни себя, ни других, ни подручного материала. Впрочем, опытами это назвать нельзя: «Чепурного... коммунизм мучил, как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни, и Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре».

Пролилась кровь, взвилось облако чудовищной чуши; ни смерть врагов, ни труд, ни однодушный коллектив (вплоть до совместного кувякания по степи в металлической бочке; грандиозная метафора!) не приносили удовлетворения. Прошлое – беспросветно, настоящее – абсурдно, будущее... Герои не знают еще, что они – исторически «переходны», чепурные сменяют копенкиных (воинов), а их, в свою очередь, сменят шмаковы и бормотовы («мы – заместители пролетариев!»). Действительно, Копенкин уже кажется анахронизмом и естественна его гибель – в конце книги – в борьбе с некой безымянной бандой. Реальные копенкины редко умирают от старости.

Бессмысленная толчае в чевенгурской ступе противопоставлена философии и практике странничества (в романе) и, с другой стороны – целеустремленной работе по построению светлого будущего, рытью Котлована (в одноименной повести), работе печальной и нудной, но – уже – плановой! И механический труд и бродяжничество избавляют человека от сосредоточенности. В первом случае – от рефлексии, от поисков истины («некуда жить, вот и думаешь в голову!»), во втором – от «излишней вредной жизни»; «надо, чтобы человека ветром поливало», убеждал чевенгурцев вечный пешеход, Мишка Луй, «иначе он тебе опять угнетением слабосильного займется...», а в дороге дружбы никому не миновать». (Об отечественной социальной мысли можно не говорить, но на Западе подобные вещи переоткрывались заново, хотя нередко в излишне театральных формах).

Чевенгур – неустойчивая, но центральная точка опоры, фиксирующая (правда, лишь на мгновение), и концептуально маркирующая, встречу прошлого с будущим. «Судьба всех спонтанных коммунитас в истории, – пишет Виктор Тэрнер, – через упадок и гибель... к структуре и закону» («Символ и ритуал». М.: 1983, с 202).

Копенкин интуитивно чувствует что-то неладное в чевенгурском коммунизме, ему кажется, будто буржуазное прошлое каким-то образом протискивается меж человеком и ожидаемым счастьем. На самом деле он провидчески ощущает будущее затверждение структуры.

Саша Дванов – лирическое альтер эго Платонова – нежное душевное растение, чутко реагирующее на загазованность общественной атмосферы. Он – воплощение тихой грусти, слепо тянущееся к теплу и братству, которое должно заменить ему уют материнской утробы; существо недоумевающее и, в конечном итоге, гибнущее.

У Дванова нет книжных идей, предубеждений, он все принимает, впитывает душевными порами, но подобная натура не способна жить в экологическом дисбалансе с реальностью. Он не просто гибнет, а сознательно выбирает смерть, как надежду на иную, лучшую, жизнь, которая соединит его с отцом и с истинным градом.

Если даже для паладина Копенкина коммунизм это светлый мир «по краям дороги к Розе», к мистическому цветку потустороннего царства, то еще ближе к хтонически-магическому чувству – Дванов, дети, нищие странники, убогие калеки. Эти персонажи встречаются почти во всех произведениях Платонова. Мертвые именуются не иначе как «любимые мертвые», спящие обнаруживают во сне «любимые лица», дети одинаково привычны «жить и не жить, в этом и есть их главная прелесть».

Два града, два рая – рукотворный на земле и нерукотворный – в земле. От образа заемного, бедного – к образу полному и вечному. Но не небесному, который, в трактовке Платонова, приобретает слишком по-человечески умозрительный, книжный, волонтаристский характер.

«Чевенгур» – эпос, насыщенный закатными красками умирания. Смерть-убийство, смерть-суицид, смерть-возвращение, смерть-рождение. Здесь нет, однако, ни христианского, ни даже дионисического акцента на превосходство жизни и обновления. Воскрешение в платоновском универсуме противоположно также и федоровскому идеалу. У Федорова мертвые должны восстать, у Платонова живые ложатся к мертвецам: Чиклин («Котлован») ложится спать к мертвым «под общее знамя» и дарит два гроба маленькой Насте – один под постель, другой для игрушек («пусть она тоже имеет свой красный уголок»); крестьяне заранее облеживают гробы («у нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет»), а желтоглазый безымянный мужик, из той же повести, жил только из страха («Зачем же он был?» – «Не быть он боялся»).

У Федорова наука должна собрать умерших отцов из рассеянных элементов, у Платонова изобретатель Вермо («Ювенильное море») думает, глядя вслед любимой женщине, «сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Бесталоевой». «Зачем строят крематорий? – с грустью удивился инженер. – Нужно строить химзаводы для добычи из трупов цветметаллога, различных стройматериалов и оборудования». У Федорова утопия завершается воскрешением прошлого, у Платонова – смертью будущего: в «Чевенгуре» умирает попавший в коммуны мальчик, а котлован (в одноименной повести) становится вечной могилой для Насти. У Достоевского «хрустальный град» это вечная жизнь, противопоставленная «слезам» жизни преходящей, у Платонова «град вечной смерти» есть высший синтез, основанный на слезах и костях, «снимающий» страдание в конечной реальности; здесь «билет» не возвращен, а использован.

Еще в прелюдии к «Чевенгуру» (повесть «Происхождение мастера») говорилось об «умнейшей власти», «которая либо через год весь мир окончательно построит, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет. В «Котловане» искатель истины Воцев (вариант Дванова) стоит в «недоумении над утихшим ребенком, – он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении?...».

Кто ж не устанет? Кто останется жить? Пролетарий-Медведь, седошерстый молотобоец («Котлован»). Хотя и этот зверь ревет от тоски («жил с людьми, вот и поседел от горя»). Да ответственный товарищ Пашкин,

проживающий в «основательном доме из кирпича, чтобы невозможно было сгореть», «научно» хранящий свое тело «для близких рабочих масс».

Платонов, не будучи «правильным» ортодоксом, без трепета относился к понятию класса и к формам вождизма. Он, не столько по биографии, сколько по духу, прямой потомок русских странников, очарованных поиском истины.

– А истина полагается пролетариату? – спросил Вошев.

– Пролетариату полагается движение, – произнес справку активист, – а что навстречу попадет, то всё его: будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта, – все пойдет в организованный котел... («Котлован»).

«Одно успокаивало и возбуждало Чепурного: есть далекое тайное место... называется Кремлем, там сидит Ленин при лампе, думает, не спит и пишет. Чего он сейчас там пишет? Ведь уже есть Чевенгур, и Ленину пора не писать, а влиться обратно в пролетариат и жить» («Чевенгур»).

«Я бы и Ленину работу нашел», – говорит инвалид Жачев («Котлован»).

Далеко не идеализируя массу, Платонов признает только стихийных, народных активистов – тот же Жачев, старуха Федератовна из «Ювенильного моря». Старик, старуха, калека – существа, о чем уже говорилось, лиминальные, находящиеся, по сути, в «пограничной ситуации», в них проявляется не окаменение всего человеческого, а детскость, также как в детях, у Платонова, угадываются старческая усталость и мудрость. Старость и детскость метафизически сливаются в единое безвозрастное, беспорочное существо. Не цепляющиеся судорожно за жизнь, лишенные эгоизма, они ближе к истине, чем кто бы то ни было. Страх смерти, считает Платонов, от нечистой совести.

Двуликий архетип «мать-отец» более никем в русской литературе не был изображен с такой мучительной глубиной и, одновременно, простотой. «Земля спала обнаженной и мучительной, как мать, с которой сползло одеяло». Мать – женщина – чрево – земля – чувство, отец – мужчина – вода – оплодотворение/мелиорация – познание. Избыточность платоновской символики выражена в первую очередь во взаимосвязанности всех понятийных оттенков, в материализации концепта и движения, и – обратно – в одухотворении материального. Сочетание спиритуализации космоса с овеществлением духовных содержаний это неотъемлемое свойство мифологического сознания. Социальный и духовный сдвиг, произошедший в России, обнажил первичные основы бытия и без творчества Андрея Платонова не могло состояться какое-либо серьезное его осмысление.

Рефлексия Платонова это своеобразный инсайт, постоянно соскальзывающий с персонального в родовое сознание.³ Отсюда – усиленная метафоризация обыденного. Вода указывает на кровь, душа связана с воздухом, ветром, птицами. Пуля, попавшая в ногу Дванова, уподобляется

³ Читаем у Юнга: «душа содержит все те образы, из которых когда-либо произошли мифы», «наше бессознательное – это действующий и страдающий субъект, чью драму примитивный человек находил по аналогии во всех больших и малых процессах природы» (цит. по «История зарубежной психологии». Издание МГУ, 1986, с 161).

железной птице, шевелящей остями крыльев (ср. в трудах А.Н.Афанасьева упоминание о железном огенноклювом вороне, как эмблеме меткого выстрела), Дванов повержен на землю и бессознательно совокупляется с женщиной, которую замещает нога павшей лошади. Самоубийство отцарыбака является жертвоприношением духу вод; тут вспоминаются самые разные мифы, в том числе об Иштар и Таммузе (см. труды Фрэзера).

Федоровскому воскрешению людей Платонов противопоставляет магическое оживление вещей, связующих человека с природой, с жизнью и смертью, с памятью. Существование «голого человека» проходит в ауре вещественных человеко-природных остатков-останков. Эта неорганическая «в себе», но оприродованная «для нас» аура составляет постоянный фон повествования. Она овеивает человека бесчисленными песчинками, былинками, «мусорным ветром», облепляет шерстью, концентрирует его внимание на символически значимых (но всегда оторванных от обладателя) предметах. Вошев подбирает отсохший палый лист: «раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить». Он привозит Насте «мешок специально отобранного утиля, в виде редких, непроданных игрушек, каждая из которых есть вечная память о забытом человеке». Ту же роль играет в повести «Джан» шлем, снятый со скелета красноармейца. Особое значение приобретают и сами человеческие останки: умирающая Настя просит принести ей кости покойной матери.⁴

Думается, что при внимательном прочтении произведений Платонова можно будет найти еще немало подобных деталей и смысловых нюансов, отмечу здесь лишь несколько оригинальных моментов, связанных с чисто культурным контекстом. Платонов испытывает чувство трогательного уважения к забытым книгам и малоизвестным писателям. Он, при всей «мортальности» своей философии, верит, что «в мире нет бесследного уничтожения». Могучий монолит верховной культуры слишком тоталитарен и в то же время бессилен перед злой суетой бытия, и, возможно, что истина жизни содержится как раз в заброшенных книгах, иначе она давно бы уже восторжествовала на свете. Бытие классической культуры неизбежно искажается и утрируется в социальном измерении, особенно на постреволюционном этапе. Вряд ли оценил бы такую шутку Федор Михайлович, узнав об уполномоченном Игнатии Мошонкове («Чевенгур»), переименовавшем себя в Достоевского, одного из своих сограждан – во Франца Меринга, а другого – в Колумба. Однако, так ли уж утопист Мошонков-Достоевский чужд донкихотствующему «идиоту» Мышкину?

⁴ В свете постоянного снятия оппозиций между культурой и природой, жизнью и смертью можно вновь вспомнить о структуралистском подходе. Читаем у К. Леви-Строса: «скальп – это переходная ступень между войной и земледелием (скальп – «жатва» войны)», «одежда – это переходная ступень от «природы» к «культуре»; подобно тому как отбросы есть переход от обитаемого места к дикой чаще», «в Европе существует поверье, приписывающее роль носителя счастья отбросам» («Структурная антропология». М.: 1985, с 200).

Своеобразным подвидом утописта, утопистом, глядящим в мертвое прошлое, является персонаж с говорящей фамилией Умрищев («Ювенильное море»). «Мыслитель» Шмаков (повесть «Город Градов») по-своему выражает основы диалектического материализма: «Стоит ли измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всякого героя есть своя стерва». Старинные, кажущиеся столь бестолковыми книги, сопровождающие Умрищева, или Бертрана Перри («Елифанские шлюзы»), ничуть не более странны, чем то, что происходит с их обладателями, да и вокруг них...

Умрищев – вполне по Гегелю, и даже по Леви-Стросу – антипод-антагонист изобретателя Вермо, но этот негативный персонаж, старавшийся «постигнуть тайну и скуку исторического времени», странным образом родствен Вермо (как и молодому Платонову!), мечтающему о породе «социалистических бронтозавров»; инженер собирается производить электроэнергию «из любой освещенной точки бесконечности», а Умрищев, как бы передразнивая его, утверждает, «что все на свете есть электрон, который никуда не денется». В финальном факте женитьбы этого «терпеливого отрицательного старичка» на «положительной» энтузиастке Федератовне нетрудно усмотреть сарказм Платонова над марксистско-ленинской формой диалектики.

Но при всем том сам Платонов остается сыном своего времени и класса. Гениальный художник мгновенно превращается в литературного «шиита», выразителя взглядов «третьего мира», как только из области художественной образности выходит на прямую стезю публицистики. В этом он близок Л. Толстому, хотя сам Платонов с негодованием отверг бы приведенное сравнение. Но – чем крупнее художник, тем менее он объективен.

Разумеется, атмосфера Пролеткульта и т.н. вульгарного социологизма могла сыграть свою роль, но, думается, весьма незначительную. Родовое мышление не может не отрицать индивидуализма и культурного аристократизма. Джойс, Пруст, Достоевский, Хемингуэй и иже с ними, конечно же, извращенные эстеты, пестующие героев-монстров и пессимистические идеи распада. То ли дело духовность русских народных сказок (в трактовке Платонова) и Александр Сергеевич Пушкин, добрый «наш товарищ» (платоновского же производства), всем хорошим в себе обязанный матери (т.е. Арине Родионовне). «Ничто не исчезает бесследно»... Но – именно *ничто*, а вот индивидуальное *нечто* не может быть вечным. То, что в России нет памятника Платонову, неестественно для его почитателей, но установка его показалась бы неестественной самому почитаемому.

Нет смысла иронизировать над тем, что, по сути, неопровержимо, хотя и выглядит односторонне. «Любовь – есть собственность, ревность, пакость и прочее» (из письма к жене. Цит. по Васильев В.В., ук. соч., с 158). Тургенев и Бунин, да и товарищ Пушкин, бросили бы тут же перчатку в лицо, коль не пристрелили бы сразу. Но – ведь отрицается низменность плоти во славу духовной любви. Душа, истина, свет товарищества... что можно возразить на это из «темной аллеи»?..

А возражать и не надо. Секс и обильная пища, эстетика и смирение, фашизм и декадентство, церковь и народ-богоносец – все это «фатальная», «выморочная» *предыстория*; спорить с этим, то же, что дергать Аввакума за бороду (спорщики – никониане, «блядины дети»). Итак, предыстория – блядь, а история (читай: вечный рай земной) – духовная «невеста человечества». Она некрасива? Но это злой модернистский Мерлин, фашиствующий бюрократ, околдовал Дульсинею, и долг литературного соц-рыцаря оставить блуждания, долг же «попутчика» – влепить себе добровольно три тысячи триста плетей.

Что бы ни высказывал Платонов в печатной публицистике, всю жизнь он писал одну книгу: о том, как сирая душа искала родину в утопии, а нашла ее – в смерти.

5. ПОСЛЕ ПЛАТОНОВА.

Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам.

Венедикт Ерофеев

Немалый круг описала мысль страждущего русского интеллигента – от «слезинки ребенка», от снов Веры Павловны через «философию общего дела» и «гармонию симфонии рационального признака» к коктейлю «Слеза комсомолки». «Пахуч и странен этот коктейль». Как наша действительность. Но еще странней и пахучей нынешняя культура. С одной стороны – поиски «положительного современника» (ищущий не обрящет завистливых взглядов), с другой – кришнаизм, экстрасенсы, попса, наркота и лечебные панации. Часто на другой стороне (той же медали – за отвагу родиться в нынешний век) дети тех, кто на первой, с остатками папиных гонораров.

Платонов не перевернется в гробу – он видел кое-что страшней, чем цветной телевизор и посмешней Литгазеты.

Нет, культура не дышит на ладан (ну, разве – религиозная): лекции Эйдельмана и Лотмана, эклектика Шнитке и Вапирова, полуофициальный авангардизм в изобразительном искусстве, многозначительный взгляд Окуджавы, доказывающий, что он знает больше, чем про то поет под гитару (впрочем, может быть, это такая оптика у очков)... Да, у нас любят культуру. (Я этим не хочу обидеть ни Шнитке, ни Лотмана; как говорят бихевиористы: «не спрашивайте о значении, спрашивайте об употреблении!»). Без культуры – ни шагу; взгляните внимательней в любого из ваших сограждан и по тому как он сплунул или высморкался сможете установить каких писателей он любит и сколько раз за последний месяц был в театре. Мы столь похожи друг на друга – и в мелких гадостях, и в желании выглядеть лучше, чем являемся, и уверенностью в своей оригинальности – что безошибочно можно назвать нас единою нацией.

Как же дошли мы до такого единства? Платонов успел захватить и отразить самое главное.

Сознание пред-историческое (донациональное) и сознание пост-историческое (посленациональное) – до рождения и после смерти культуры – мифологичны; это – «дикий разум» («The savage mind»/«La pensee sauvage» Леви-Строса). Традиционные духовные ценности неожиданно ухнули в яму, удивительно быстро освободилась бескрайняя пустошь, по которой бродили призраки интернационала – японцы-чепурные, чагатаевы, копенкины с «Международными лицами». Из хаоса в муках рождалась новая нация, возник новый этнос. «Новый» не значит – чужой, скорей – отчужденный. Часть ценностей прошлого все же осталась, обязательным, хотя и мертвенным грузом (едва ли не бременем).

Культура сегодня, как и сознание, политональна, она – всякая-разная и поэтому – никакая. Прикладные искусства, литература сокращенных руководств, поп-сциентизм, варварская тяга к колоссальности, имперство в политике (см. Шпенглера)... Родовые травмы, родимые пятна, уродливые недостатки прошлой культуры сохранились, но к ним прибавились новые, новобитные. Аисторизм уже не просто вакуум, а черная дыра, при всем том (и благодаря тому), что интерес к истории становится почти истерическим. С одной стороны – еще – Тарле, ориенталисты: серьезный, «счислимый», механически-кропотливый историзм, с другой – уже – яны, пикули, дреюны, ефремовы: транквилизаторы для транспортных и постельных инсайтов. Аполлоническое – демагогично, дионисийское – в узких рамках и качество «второй свежести». Впрочем, и в противоположном случае – экстаз сокрушающим маршем, а номос в виде домашней микстуры – будет еще жутее...

«Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю. Но разве *это* мне нужно? Разве по *этому* тоскует моя душа? Вот, что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали *того*, разве нуждался бы я в *этом*?..».

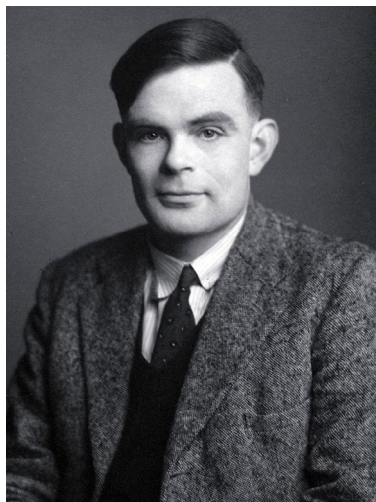
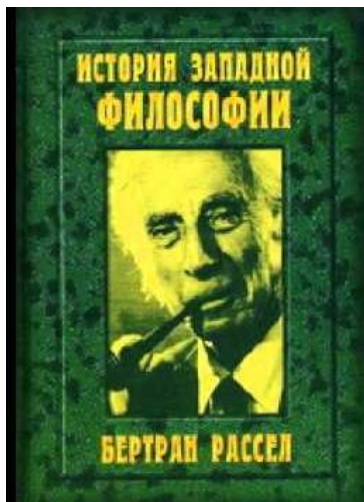
«Москва-Петушки» Ерофеева, на мой взгляд, парадигма всей послевоенной нашей культуры; самое смешное и самое грустное, самое фантастическое и самое правдивое произведение после Платонова. Кажется, что его написал пессимист, циник и скептик, Платонов, отрезвевший от хилиазма, и поэтому – непросыхающий от алкоголя. Так и самому автору кажется. Но это не верно.

Душа тоскует именно по подвигам. Это душа утописта. Чем ранимее интеллигент, чем скептичнее он на словах, тем острее тоска и надежда на будущую справедливость, на воздаяние.

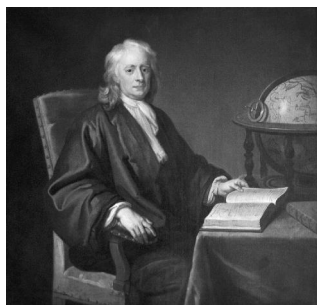
И самый ничтожный кропатель стишков, и самый крупный деятель-рационалист пальцем не двинут без веры в грядущее оправдание в интеллигидельных сферах. Деятель *не* донкихот, *не* копенкин, *не* божий юрод (кого б не считал он за Бога) у нас невозможен. Вне этого – только скука, томление, пустота.

В. Чернышев

«Англичанка ...»



Алан Тьюринг



Исаак Ньютон



Джордж Беркли

В. Чернышев. «Англичанка ...»

Нельзя, mon cher, нельзя,
Чтоб, как салопница-мещанка,
Твердили мы весь век,
Что гадит англичанка.

Николай Венцель, 1902

1.

Я еще не до конца потерял надежду повлиять на мой народ, внушить ему истинные и справедливые убеждения и знания о мире и истории – но убеждаюсь в недостатке творческих способностей, знаний и в плохой памяти. **Вижу правду** я часто воистину вернее других, и тлетворность коммунизма-социализма-советизма видел я справедливо, и их большевиков и учителей, от Маркса до Джугашвили, и пагубность религиозного отношения к жизни и связанного с религией феодального уклада, и не всеобщность буржуазно-демократических отношений... Но почему же тогда я, часто имеющий на окружающее и историю более верный взгляд, не превосхожу других в своих творческих способностях и мне не удастся влиять на мой народ?

Наконец-то я понял причину своей ограниченности и неуспешности в сравнении с другими, претендовавшими стать учителями.

У них было больше ума, знаний, творческой силы – но при этом и больше самомнения, нетерпимости к чужим мнениям, пренебрежения к человеку и народу. Многие скажут, что и я такой же, претендующий учить других. Нет, я не такой же. У меня есть самомнение – но оно минимально, меньше уже невозможно, я и теперь в себе не уверен, сомневаюсь в своих уверениях, чуть-чуть меньше веры в себя – и что же тогда я буду делать? Я обращусь к вам с призывом: «**Может быть, стоит и меня выслушать, вдруг и мои бредни** содержат капелючку здравого смысла?» – и вы рассмеетесь...

Если я пришел как учитель, я должен сказать: Дети мои, человечество – не сирота, у него были великие учителя, и Аристотель, и Евклид, и Эсхил, и Архимед, и Ньютон с Лейбницем, и Шекспир, и Пушкин, и Толстой с Достоевским, и я пришел с ними вас познакомить, научить вас мыслить и постигать и старое знание и открывать новое в труде и творчестве. Я не Бог, поэтому критически относитесь и ко мне, но доверяйте моим побуждениям открывать и удостовериться в правде вместе с вами. В одном и я не до конца уверен и не до конца знаю, в другом и ваши сомнения я приму за основу, в третьем – не надо забывать слова Коперника о том, что истинное он принес человечеству потому, что **стоит на плечах великих** – я призываю и себя и вас идти вперед в познании и строительстве чистой и справедливой жизни именно таким путем.

Большевики в подножье своей злобной доктрины положили полное отрицание: **!Весь мир насилья мы разрушим до основанья! И затем...** – вот только затем **«мы наши, мы новый мир построим...»**. – они противопоставили себя всей предыдущей истории человечества как полной неистине а себя провозгласили (как некогда Христос) истиной единственной и полной. Но они

оказались даже не частичной истиной, а ложью. Такой же ложью оказываются и тоталитарные религии и тоталитарные доктрины (то есть объявляющие себя единственными носителями истины).

Свобода! – восхитила и Французская революция, и коммунистические фарисеи (Маркс и Ленин)... Но если *«кто не со Мною, тот против меня (Христос)»* и если *«кто не с нами, тот против нас»* (большевики), и если «шаг в сторону, конвой и инквизиция стреляют и возжигают костры без промедления», то откуда же здесь взяться свободе? Откуда взяться справедливости хотя бы в собственной душе, если человек соглашается жестокосердому и лютому учению простить право тиранить тела и души, и крестовый поход детей, и сожжение ведьм (одних только ведьм двести тысяч сожгли в Европе), и красный террор Революции, и затопление офицеров у берегов Одессы, и избивание офицеров в Киеве, и лютый голод в Поволжье, и лютый голод на Украине и в прилегающих русских областях, и... и... и... и...?!?!?

Равенство! Если необходимость свободы я подтверждаю (хотя и... и... но...), то о *равенстве* придется написать поболее в моей третьей книге Исповеди. Можно, конечно, не писать, школьники и так всё знают. НО точно ли знают *всё*? Школьники сегодня убеждены, что Русь зародилась на Латинских холмах у этрусков – и что же, молчать, не учить, не лечить, ждать, пока пройдет само? Лучше, конечно, не писать для читателя, не писать для народа, для интеллигенции (обывателей), они и сами умные. Лучше писать для той единственной безмужней женщины, разочаровавшейся в мужчинах, которая иногда **нанимает меня в учителя!** (даже за деньги) своей любимой и ненаглядной, но не такой умной, как мама, дщери, чтобы я ее научил математике, а заодно «вольной философии»... Только потому, что такие мамы бывают, я еще жив и пишу свои книги – для них! Другие меня читать не будут, а эти читают. Они тоже знают, что жизнь ужасна, а мужчины лжецы. И только я немного правдив (но по сравнению с нулевой правдой других моя малая правда почти бесконечна!).

В чем моя трагедия? Стоит воскликнуть: «И жизнь хороша, и жить хорошо!» - и все разногласия с обществом пропадают, человек становится счастливым, пока не произведут очередную революцию те, кто нами правит и нас эксплуатирует и нас истребляет за мелкую оппозиционность и несогласие – им, видно, все же «мучительно больно», и именно они и ставят то вместо русских князей монгольских ханов, то вместо них еще более Грозных царей, уже наших, то вместо русского царя польского и Марину Мнишек вместе с ее незаконнорожденным дитем, то польского снова меняют на русского, и даже отдают «жизнь за царя!», то вовсе свергают царя и ставят временников-тиранов, то... И вот я и мечусь: не то вопреки очевидно хамской жизни **встать на колени вместе со всеми** и заклинать, что жизнь хороша и *жить хорошо*, и писать философию и историю, оправдывающие мое собственное раболепие, не то признать и сказать (хотя бы во сне, когда я временно забуду о вечном страхе пред властью, делающем из всех нас не только пожизненных но и посмертных рабов – там ведь еще и ад грозит! – но хотя бы во сне вздохнуть, переворачиваясь на другой бок: *Боже! Как грустно жить в нашей России!* (Н.В.Гоголь).

Но все же почему я такой неудачный учитель? Или я не столь самонадеян, как Ленин, или не такой талантливый, как Маркс, или не такой знающий, как Евклид (правда, Аристотель и Евклид несомненно и по праву меня превосходят. Хотя ведь и я написал учебник высшей математики, и неплохой, и хотя сам сочинил в нем немногое, а остальное заимствовал, но и Евклид собрал математические сведения у своих предшественников! И Коперник «стоял на плечах великих», как он сам об этом сказал). Или мне не помогают высшие силы (хотя и обещали), и я не их посланник? Но Атилла, Чингиз и Наполеон? Чем они отличаются? Отчасти, думаю, дело в том, что начинается вдруг Вихрь истории и он подхватывает все, что ему встретится, и взметет и возносит, и Наполеон – один из многих, кто подвернулся Вихрю Революционной Франции, а что было воистину неотвратимо, это столкновение Третьего сословия с Феодалами за власть, как в феврале 1917 года в России, но здесь мы яснее видим, как малы и не козырны все эти случайные карты из колоды, якобы возглавлявшие революционный вихрь, ничтожен и князь Львов, и Керенский, ничтожен, увы, оказался и Корнилов, в августе 17-го не одолевший полудневного перехода от Гатчины до Петрограда, чтобы установить Наполеоновскую диктатуру, ничтожны оказались и Милуков, и Шульгин, и Родзянко.. и кто там еще в Государственной Думе.

В сравнении с лозунгом Ильича «*Земля крестьянам, фабрики рабочим, мир с немцами!*» ничтожным оказался и Колчак и Деникин, не привлекая на свою сторону ни крестьян, ни рабочих, ни даже казаков... ни даже большинства офицеров!

Уж не ничтожество ли безобразный Ельцин? Что он сделал? Призвал всех алчных раздирать Россию как пирог и *проглотить суверенитету*... (подставляя сюда и нефть и газ, и власть и деньги) кто сколько проглотить сможет!..

Итак, я не могу похвастаться ни многими знаниями, ни способностями, ни помощью Высших сил. На помощь **тёмных сил**, которые, как я предполагаю (и так думают многие историки и метаисторики) помогают самозванцам, от Наполеона до Гитлера и Ельцина, я и не рассчитывал и ее не призывал – а светлые силы помогли ли хоть кому либо? Или верховный правитель мира – это Князь тьмы, и светлые силы НЕ вмешиваются в земные дела?

Но тогда почему ничего не удалось мне хотя бы на литературной стезе, и я не стал столь значительным поэтом, как, хотя бы, Тютчев (не так уж и велика его значительность в сравнении с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем)? Не стал и художественным писателем... как Толстой, Достоевский, Тургенев... Ну, в художественно-литературном творчестве я вижу и сам свою слабость, но не стал ведь я и музыкантом и композитором и актером!

Не стал почти никем, особенного во мне мало...

Во мне нет необычных способностей, способностей творить чудеса, как у Христа, нет магических, способностей убеждать и вести за собою, как у апостола Павла, у Лютера, у Козьмы Минина, протопопа Аввакума.

Но почему же, если все же верить, что я хотя бы в какой-то степени принадлежу к *избранникам*?

Наконец, я узнал, почему я такой ничтожный избранник и мне ничего не удается...

2.

Мои способности и моя судьба определились при рождении... или даже немного раньше. Дело в том, что наша **душа** (или ее носитель – **монада**) **вечна**, и время от времени *воплощается* в человека или в каких-то других существ – то есть *облекается плотью* и обретает земную жизнь (но всё это я знаю, увы, пока смутно, поэтому и пишу несколько неопределенно, человек, как правило, не осведомлен в подробностях странствования своей монады).

Перед *рождением* счастливики, которым открывается их будущее, например, **избранники** или будущие **святые** или **страстотерпы** получают возможность кое что самим избрать из своей будущей судьбы, например, Христос воплотился в человека, но ему сверх того было дано не иметь грехов и слабостей, совершать чудеса и воскреснуть на небо, взамен он многим пожертвовал, в частности, любовью к женщине и полноценной семейной жизнью. Вероятно, было предопределено ему посеять семена будущей веры и основать церковь для ее утверждения, но при этом умереть ему пришлось мученически (ибо трансцендентные учения утверждаются через кровь – не знаю, кто ввел этот обычай, и к кому привязывается человек через кровь, я этому обычаю всегда возражал).

Был ли Христос Сыном Божиим? Все мы в некотором смысле Божии дети, но что он Бог и равносильен Демургу, я не только сомневаюсь, но этому НЕ верю. Точнее сказать, мои трансцендентные Знания об устройстве нашего мира (о других мирах говорить не могу) исключают такое предположение. Можно только сказать, что я *знаю*, что и он один из нас, возможно, лучше всех нас, ибо и в самом деле *он без грехов* – что и поставило его в положение судьи грешному человеческому миру – но все же он **не** Бог. Так не боги и иные основатели всемирных религий, например, Конфуций, Будда, Зороастра, Магомет – и на божественность они не претендуют. Если посчитать марксизм религией – а для его последователей это была в значительной степени религия, и сколько людей было сожжено в топках ее всемирного Костра (*мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови – Господи, благослови!*) – то не исключено, что и Марксу была определена роль создателя религии до его рождения.

Возможно, в пику Христу я отказался почти от всех привилегий. Но скорее всего, это случилось потому, что я не хотел противопоставлять себя человеку, я хотел не только сыграть роль человека, как актер во всемирном театре бытия, а хотел стать человеком полностью, со всеми его болезнями, немощами и слабостями, даже со всем тем, что, по непонятным причинам, порицается мировыми религиями, то есть и с честолюбием, и с тщеславием, с гордостью и честью, любовью к семье, роду и народу, любовью к женщинам и детям. Я даже рискнул **вочеловечиться до конца**, испытать страх смерти и смерть, малодушие, боль и болезнь, одиночество, тяжелый труд, бедность, несправедливость, унижение и оскорбление... во всем вочеловечиться, даже пасть почти до самого дна и лишь потом постепенно подняться, собственными усилиями, преодолевая искушения мира (но не те, что словно в театре: исключительное богатство, абсолютная власть и головокружительная слава) – а кусок хлеба умирающему от голода, место для сна в углу под крышей, одно

теплое слово среди всеобщей ненависти... – но когда за это самое ничтожное для жизни надо будет встать на колени... Нет, умереть – но не встать! – а не отговориться красивыми словами, мол, *не хлебом единым жив человек*. Я читал у Солженицына и Шаламова, каково приходилось человеку в концлагере, особенно женщине – как ничтожны в сравнении с этим искушения Христа сатаной!

Но Христос в конце концов принес в жертву собственную жизнь во имя спасения человека! – возражают мне христиане. Но когда в 1921 году участники Антоновского восстания на тамбовщине были загнаны в дикие леса, войска Тухачевского окружали села, хватали малолетних, даже грудных детей вместе с матерями и посылали гонцов – если партизаны до утра не вернутся в села, их жены и дети будут расстреляны! И расстреливали всех даже после того, как повстанцы сдавались. Ставили ли Христа перед выбором: если он не откажется от своего учения, то распнут его мать, его братьев и сестер (к которым он даже не вышел на встречу, когда они пришли его навестить?) Но кого и в чем я убеждаю? Я уже говорил это, и не раз, говорил это христианам, говорил и сторонникам «самого гуманного в мире учения» – ответом мне было или молчание или раздражение. В норме человек негодует, когда сталкивается с злом и жестокостью, страдает, когда сталкивается с обидой, чинимой беззащитному, например, читает у Достоевского, как басурманы на пики бросали славянских детей (в романе «Братья Карамазовы»). Плакал ли читатель, когда читал Достоевского? (Известно, что Александр Второй плакал, читая «Записки из "Мертвого дома"»).

Моя жена на лекции рассказала студентам, что в 1922 году на Смоленском кладбище закопали в землю сотни священников – никто не охнул при этих словах. Или человечество уже притерпелось к тому валу жестокости, который прокатывается по земле и в последние двадцать столетий, несмотря на то, что священник в храме поет, обращаясь к прихожанам: *Радуйся! Ты уже спасён! Ты получил благодать бесplatно!*

Итак, я захотел вочеловечиться полностью, отказался от способностей исцелять болезни и воскрешать умерших (впрочем, в последнее я не верю, хотя и читал в древних мифах, что "Бог мог и из камней создать детей Авраама" – но бог ли Христос?

Но я чувствую, что захожу в тупик. Я несчастлив, потому что очень много несчастных, но еще более несчастлив от того, что их никому не жалко, что люди равнодушны, что их не трогают чужие горести, что они пройдут мимо по берегу, когда в реке тонет ребенок, пройдут мимо умирающего с голоду и не подадут ему куска хлеба – даже не потому, что им жалко хлеба – но потому, что им не жалко умирающего, им на него наплевать.

В 2004 году я сидел в камере размером в 12 квадратных метров, в ней стояли нары в три этажа, всего в камере помещалось 16 человек. Был очень жаркий август, в тюрьме несколько человек умерло, я полагаю, что они таким образом были незаконно расстреляны. Кто их расстрелял? Их расстреляли депутаты Государственной Думы, которые в это время обсуждали закон о гуманном отношении к кошкам, но не обсуждали или отклонили **Закон о гуманном отношении к заключенным**. Сто сорок миллионов русского

народа, которые ни разу в жизни не задумались об участии заключенных, о том что в тюрьмах и концлагерях должны быть не совсем скотские условия существования, что для них должны быть разработаны и выполняться государственные нормы содержания, что заключенных **нельзя** морить голодом, кормить тухлым мясом и прелым хлебом и содержать по 16 человек на 12 квадратных метров! — а если заключенных слишком много, то надо строить новые тюрьмы – или пусть лучше этот народ пересаждает весь сам себя.

В 20-м году Землячка приказала затопить на Одесском рейде 20 тысяч пленных русских офицеров. Но разве только евреи во всем виноваты? А разве не русские заседают в Государственной думе, работают следователями, начальниками тюрем, министрами Внутренних дел? И с тех пор на рейдах не топят миллионы невинных людей?

В газетах пишут – в обычных газетах, которые мы все читаем – что Суд оправдывают не более одного из ста обвиняемых – вы думаете, что так хорошо работает следствие? Нет, система работает бездарно, но обвиняемых слишком много, следователи просто не успевают работать тщательно, и чтобы не упустить преступников, на всякий случай сажают всех.

В Отечественную войну Советский Союз потерял 27 миллионов человек, англичане потеряли триста тысяч. Разве русским не обидно, что они потеряли так мало? Поэтому мы их ненавидим. Погиб и мой отец, один из 27-ми миллионов. Немцев погибло девять миллионов, в три раза меньше. Или мы так плохо воюем, или мы в три раза глупее и бездарнее немцев? Нет. Значит, двое из трех погибли напрасно, и кто-то в этом виновен.

Смотрю английский фильм о Тьюринге, гениальном математике, расшифровавшем *военный код немцев*. Для этого в 40-м году он построил первую вычислительную машину, прообраз компьютера. Но оказывается, еще раньше такая машина была построена в 1934 году в СССР, в Ленинградском университете, но всех создателей этой машины расстреляли. Расстреляли и гениального ученого Николая Ивановича Вавилова, в 1942 году. Расстреляли гениального поэта и офицера Николая Степановича Гумилева, в 1921 году. Умер в лагере поэт Мандельштам, просто с голоду. Четыре с половиной миллиона солдат попало в плен в 41-м году, большинство их умерло в концлагерях. Два миллиона умерло во время блокады – никто не подумал, что их нечем будет кормить в осажденном городе... Сторонники большевизма не хотят слышать о десятках миллионов, уничтоженных рабоче-крестьянской властью – но даже если бы их были только миллионы, это не оправдывает Машину истребления – расстреливали как правило лучших! Это было не простое уничтожение народа, проводилась селекция по созданию нового человека, наиболее усредненного, гении были под запретом. Но, может быть, уничтожали дворянских детей, на смену которым должны были придти новые гении, из крестьян и рабочих? Нет, и у крестьян нашлось, кого уничтожить, на всяком поле есть колосья повыше и погуще. Долой их с поля всеобщего уравнения способностей! Началось раскулачивание, одних расстреляли, другие поумирали сами по дороге в Гулаг и на Лену (о них пишет и Владимир Тендряков в рассказах о Вологде, читать без слез невозможно – но это мне их

жаль, другие, быть может, читают со смехом? Но история, правда, злопамятна, отдаются иногда чужие слезы в потомках даже на седьмом киселе, так, возможно, поплачут и эти на своих дорогих могилах...

Следовательно, я ошибся, когда перед воплощением решил отказаться от привилегий, захотел родиться всеобщим, без чрезмерных способностей, чтобы не противостоять народу. **Я только попросил сохранить во мне особенное чувство сострадания ко всем безвинно униженным, страдающим, гонимым, погибшим, расстрелянным, умершим от голода!** Видимо, я хотел придти к жертвам, как Христос пожелал придти к грешникам, я захотел придти к гонимым, как он – к гонителям. Правда, он постоянно пугается, и иногда возглашает: (в Евангелии от Матфея): *"Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим..."* – вот так: возьмите иго мое, если вам невмоготу!

А я хотел помочь несчастным – но для этого я должен был родиться гением, а я подумал, что должен быть одинаков со всеми, терпеть их унижения, страдать от их усилий непонимания, мучиться от бесплодной работы, от недостатка образования, от слабой памяти, от редкости озарений. Мне было жаль всех тех, кому в школе тяжело давалось учение, и я не хотел над ними возвыситься. Но как же мне было спасти мой народ, если я не мог его повести за собою, не смог стать для них убедительным? И они пошли за фальшивомонетчиками, за наперсточниками, мошенниками, бандитами, взяточниками и злодеями, за лжецами и обманщиками.

3.

История – это не только память о сумме происшествий, не только слепок с прошлого, воспоминание о нем, словно фотография на стене, но она – **иное бытие бытия**, даже более подлинное, чем исходное бытие: словно есть сырой материал для романа, некая первичная не продуманная для него основа – и есть сам подлинный роман, рассказ о том, что было, высказанный видящим, в то время как те, кто подлинно жил – прошел через эту жизнь в тумане, не видя ее. Такое сравнение первоисточника и его более позднего (как правило) переосмысления чревато, конечно, злоупотреблениями, сегодня как раз расцвет мифологий вместо истории, расцвет еще и придуманных историй, *альтернативных*, не только того, что, быть может, кому-то в бреду или во сне показалось, но и того, что дурные сказочники насочиняли. Человек, видящий прошлое и настоящее «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (как о том говорит апостол Павел), не должен удовлетворяться этим приблизительным смутным очертанием бывшего, но должен стремиться к тому, чтобы оно предстало пред ним **истинно**, «лицём к лицу; [и если] теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.» Разумеется, надо и жить и видеть одновременно, так мы идем по дороге, обходя лужи и выбоины и корни деревьев, мы живем сообразно тому, что видим, но шаг наш размерен, мы не скользим и не падаем, значит видим мы истинно. Но видим мы прошлое не всё, поэтому история нужна и зрячему человеку.

22 декабря 2019г. Самый короткий день в году, спал я и этой ночью плохо, но и ужинал поздно и спать лег поздно, так что отчасти в немощах своих сам виноват. Но стараюсь настроиться на предвкушение спектакля в Концертном зале Мариинки и не сокрушаться. Жена захватила с пианино тоненькую книжку журнала «Посев», и из нее я выписал: «Александр Рудольфович Трушнович (похищен в Западном Берлине сотрудниками КГБ в апреле 1954 года): *"Покорность перед властью приводит к отождествлению себя с властью, к принятию на себя всей ответственности за ее поступки, за все ее злодеяния. Смирение перед злом, непротivление злу есть признание зла, человек, мирящийся со злом – сам творит зло."*»

Вот почему я киплю негодованием на наш покорный народ! К тому же, он не только покорился жестокой и растлительной власти, но и отождествился с системой, которую эта власть насадила в России, а потому *соучаствует в ее преступлениях.*»

И все же мой голос неслышим, и слова мои непонятны. О таких, не слышащих чужих страданий, говорят: «человек с каменным сердцем». Неужели я живу в эпоху, в которой такой человек преобладает? Но ведь даже в лютую пору страданий, когда город умирал от голода и холода, люди находили в себе силы для сострадания, об этом говорят блокадные дневники, воспоминания тех, кто остался жить.

Но я уже устал от безмолвия обвиняемых, а тем более от их нападков на историков и мемуаристов, от их обвинений не большевизма и Сталина, а Солженицына, Шаламова, Олега Волкова, Надежды Мандельштам, Виктора Астафьева, и тысяч тех, кто имел наглость выжить и теперь еще «выкать»!

Возможно, это защитная реакция тех, кто чувствует свою вину?

Вот, например, В. Л..в пишет о «нетрадиционных историках», что они ни в чем не виноваты, они просто шизофреники, и мир им предстает либо раздвоенным, либо таким, что истинное затмевается искусственно созданным, как луна затмевает иногда солнце; либо мы впадаем временами в сон, и исторические события – это наши сновидения – о какой и чьей вине мы можем говорить? И подлинная (потаённая) действительность совсем не такова, как нам кажется, Иисус был чудесным образом спасен, детки Магдалины царствовали во многих странах, потомки их до сих пор живы, а Анастасия, дочь последнего императора, встретила свою бабушку уже после революции – и я сам сие видел в фильме «Анастасия». Что же до сталинских репрессий, то мой собственный закадычный товарищ, с которым было выпито немало, мне не раз говорил, что слишком Сталин был мягкотелым, мало он эту Пятую колонну пострелял, далеко не всех, вот они до сих пор и мутят воду! Думаете, я его обличал? Нет, мне его было так же жалко, как и расстрелянных, он не меньшая жертва большевистского эксперимента с Россией, как и весь наш народ. Тем более, что так же отчасти объяснял наши народные несчастья мой дедушка в пятидесятых годах, а в сумасшедшем доме мой врач-надзиратель мне неопровержимо доказал, что все поэты душевно нездоровы, само занятие поэзией – следствие шизофрении, и Достоевский был болен, и Толстой, и Пушкин, и Лермонтов, и

даже Маяковский. Человечество больно уже в своих гениях, какой правды вы хотите добиться, дорогой мой В.И.? Вы ее не добьетесь, как это ни парадоксально, только потому, что еще недостаточно больны, поэтому недостаточно гениальны. От того и мучаетесь...

И поэтому я оставляю эту вечную тему воинствующего зла, поговорим о чем-нибудь более легком. Я ведь не только страдаю, не только обвиняю, не только разочарываюсь во взрослых, особенно среди собственного поколения, но смотрю и на более юных и на самых маленьких, и вижу в них свет и тепло. Они вырастут и пожалеют своих дедушек и бабушек, своих безвинно страдавших пращуров, даже если сегодня они только радуются жизни. Приведу отрывки из моей переписки с авторами и авторессами, поэтами и поэтессами... Одна из них мгновенно исправила опечатку в строке и я ей пишу:

«Вот что значит женщина-умница, за что я вас и люблю! Мужики чаще всего упрется, приходится их тайно объезжать... Спасибо!

А вчера было какое-то наводнение детей с мамами, а я развезжал по городу, встречаясь с авторами Русских страниц, одну юную компанию поймал на эскалаторе, старшая девочка повторяла виденный спектакль, слов я не слышал, наблюдал за движениями, она это видела и играла для меня! Ее братишки вместе со мною очарованно ей внимали. Игра детского лица – это больше чем балет, очарование в порхании по нему улыбки, которая носится туда-сюда как солнечный луч, улыбаются ресницы, уголки рта, ноздри, ямочки на щеках. ...

Мы вышли на улицу и я их остановил. Вы сделали меня счастливым, я побывал в раю. Давайте, говорю, будем махать друг другу руками, пока расстаемся?! – и мы начали друг другу махать и поздравлять с Новым годом. А вы кто? – спрашивают они. А я, говорю, ангел, только уже на пенсии, и поэтому не могу совершать чудеса, но что-нибудь хорошее случится тайно...

Еще одна женщина двигалась с двумя детьми – девочка пяти лет впала в буйство (называется *перевозбуждением*), я предложил маме мне ее продать за миллион, говорю дитю: продашься, мама станет богатой и счастливой, нет, говорит, я не продаюсь – но ведь так мама не доживет до дома! Начал маму успокаивать, мол, потерпи немного, она вот-вот заснет, это только перед засыпанием такое помешательство, а ты, мол, скоро сама светиться начнешь! Все засмеялись и пошли по домам. А я начал себе умиляться – приставание к детям – это тончайшее искусство, и все же оно мне удастся, а вот со взрослыми я не могу совладать, народ обезумевает под темной аурой совсем других предводителей, и эту тайну я пока открыть не умею – но она ЕСТЬ, все не случайно в нашем мире.» Моя корреспондентка мне ответила:

«Как здорово и правильно Вы написали про *искусство приставать к детям!* Я на том стою... – но это такое прекрасное искусство.. и о взрослых – вы правы тоже. Прямо в точку... дети бывают трудными, но *непробиваемых среди них нет*, со взрослыми все иначе... печально. Поздравляю с тем, что мы перевалили через самую длинную ночь в году!»

4.

Итак, дети примирили меня с миром, и хотя до будущего лета и до поездки в деревню осталось еще четыре месяца, но я буду теперь терпеливее, не все в жизни плохо, и она еще не кончилась. Сегодня слушал в Концертном зале Баха, Бетховена, Шопена, Франка и Метнера, пианист играл замечательно... не хватало лишь вдохновения...

По дороге домой в метро сначала ко мне приставала девушка, предлагая мне сесть, я ей рассказал, что в Японии есть прекрасный обычай оттаскивать стариков на вершину снежной горы, где они и улетают на небо – чтобы не мешали жить молодым... Но потом около нее освободилось местечко и я к ней немного «приставал», рассказывая, что никак не удается возвыситься на должную высоту, и что в детстве я был умнее, просмотрела она мой журнал, обещала его прочитать на сайте, когда сайт мой заработает. Рассказал я ей, как приезжала женщина, которая видела меня пятьдесят лет назад, и мечтала увидеть снова, и о том, что в меня верила моя деревня, и я все пытаюсь стать достойным их ожиданий. К счастью, мне еще сопутствует легкость попутных разговоров, подобная улыбке ребенка...

Но я ведь пишу и о критике, и в этой статье попытаюсь защитить несправедливо оскорбленную Англию. Замысел статьи возник, когда я смотрел английские фильмы, во-первых, «Игра разума», о безумце, внесшем существенный вклад в создание Оксфордского словаря – это трагическая история человека, заблудившегося в царстве теней, но сохранившего нравственную чистоту; затем фильм о индийском математике-самоучке, которому его открытия нашептывала богиня Кали (как мне нашептывали некоторые идеи волхвы, когда я писал «Любовь как всемирное притяжение»), и об английских Литлвуде, Харди и Бертроне Расселе – я их увидел во плоти, хотя они мне были знакомы как символы.

Еще я смотрел фильм о Черчилле, а вчера начал смотреть историю Тьюринга, английского создателя первого компьютера.

Народам часто свойственно желание обвинить в своих грехах и неудачах чужих, и чем народ более виновен перед самим собою и своими детьми, тем сильнее это желание.

Чаще всего в кознях обвиняли евреев, они, де, и Христа распяли – но меня это менее трогает, чем то, что французы сожгли Жанну Д*Арк, а русские истребили безжалостно и почти тотально лучшую часть своего народа. Конечно, участвовали в бойне и евреи (жиды) – а не самый ли главный среди них наш собственный кумир, красноглазый Ильич, и инородцы (например, латыши), и второй наш кумир, имени которого даже не хочу лишний раз называть. Если бы он только пришел на нашу землю, как завоеватель, как Атилла, Чингиз, Батый (батя-хан для наших новых историков-шизофреников), и мы бы просто покорились его силе – но нет, мы пошли под его знаменами рушить наши храмы (и наши нынешние сумасшедшие его почитатели не хотят знать, что по большей части все потери в русской культуре, в численности народа, в памятниках зодчества – приходится на его правление, с 23-го по 53-й год, и лавины голодоморов, и пики террора, и двухлетнее отступление в трагической отечественной войне. И главное не хотят признать,

что террор был направлен против наиболее образованной части народа, уничтожена была интеллигенция и частично изгнана – и только поэтому рабоче-крестьянская армия не в состоянии была противостоять Вермахту, как индейцы, вооруженные луками, против испанских завоевателей).

Сегодня жида уже не модно, латыши и вовсе забыты, чеченцы и черкесы, татары и поляки отошли на второй план, новая присказка у всех на устах, словно вприснули в дурацкие русские мозги новую сыворотку: *"англичанка гадит!"* Порывшись в интернете, я раскопал подноготную этой новой формы шизофрении (подобной присказке о *"гнилом западе"*, каковая присказка тоже появилась в девятнадцатом веке). Итак, цитирую интернет:

«... этот фразеологизм возник под влиянием цитаты из пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор», в начале которой почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин, узнав, что из столицы в город направляется чиновник, «глубокомысленно» объясняет это событие с геополитической точки зрения: *«...война с турками будет. <...> Право, война с турками. Это всё француз гадит»*. В 1886 году публицист Н. В. Шелгунов про французов в этом контексте уже не вспоминает: «Неприменно нам кто-нибудь да гадит, то немец, то поляк, то жид. Право уж пора бы кончить с подобным младенчеством и школьничеством, авось дела наши пошли бы лучше». По воспоминаниям писателя Б. А. Лазаревского, когда он обсуждал с А. П. Чеховым дело Дрейфуса, тот заметил ему, сославшись на слова из «Ревизора» Гоголя: *«Так вот и «евреи» гадят в деле Дрейфуса.* (Но евреи здесь ни при чём. Если бы дело это было неправое, то такой человек, как Золя, не вступился бы».

По мнению Долинина, в начале XX века ситуация резко меняется, и данная фраза начинает прочно ассоциироваться именно с англичанами, применяясь в значении «англичанка», что придаёт этой формуле не литературный, а простонародный оттенок, поскольку в просторечии англичанкой называли британскую королеву Викторию, а метонимически – Великобританию.

Генерал П. Н. Краснов вспоминал, что в этот период (1918 год) простые люди Англии не доверяли: «Крепко сидело в простом русском народе убеждение, что в решительные минуты успехов русских всегда „англичанка гадит“. Но интеллигенция вся была на стороне союзников и ожидала их с восторженным нетерпением».

В романе Александра Солженицына «Красное колесо» оратор В.С.Войтинский обвиняет большевика Г. Е. Зиновьева в том, что тот пытается убедить людей, что коалиционное правительство создаётся под контролем союзников, и таким образом «он становится в известное положение обывателя: „не иначе как англичанка гадит“».

По мнению Долинина, полузабытая в советский период, «заезженная формула», к сожалению, оказалась принятой в современной России, где её активно применяют «патриоты-мракобесы»:

Утешает одно: как и их предшественники предреволюционных лет, они не понимают, что для тех, кто читал „Ревизора“, они сами – персонажи комические, ибо над ними незримо витает тень почтмейстера Шпекина. .»

4.

Не могу сказать, чтобы какой-нибудь народ, кроме девушек и детей, мне нравился в целом: в каждом одни нравятся, другие – нет, но даже в красивом лесу не все деревья хороши, а уж в посредственном по крайней мере половина деревьев лучше середины, половина – хуже, а многие совсем плохи. Даже и девушки не все хороши, даже и дети. Поэтому и о русском народе я не могу сказать, что это хороший народ, и так же и о евреях. Не могу сказать ничего абсолютно хорошего (то есть, относящегося ко всем) ни об одном народе.

Но...

Почему-то так получилось, что я приятельствовал со всеми, и с немцами, и с поляками, и с армянами, и с евреями, даже и с русскими. Русские многих ругали, но нельзя сказать, чтобы они мне на других как-нибудь ожесточенно жаловались – ну, недолюбливали то тех, то других, у каждого были свои неприятели – но не кровные враги... а инородцы на русских катили бочку как правило ожесточенно, один латышский парень, которого я в сумасшедшей тюрьме утешал и защищал, все мне пенял за зверства Ивана Грозного – но больше ли было этих зверств на них, чем на русских от этого безумного и жестокого царя? А тот геноцид русского народа, который учинили инородцы в результате свержения самодержавия, они, конечно, никогда не признавали и никогда на чашу весов не поставляли. Евреи все жаловались на сталинский 37-й год, вот большевистские главари пострадали – сколько их было? Горстка в сравнении с теми миллионами крестьян, которых перебила коммунистическая власть при раскулачивании и при войне с немцами: если советская власть истребила сначала всех образованных, всё офицерье, всю инженерию (Промпартия), всех математиков ... – а коих не успела истребить, тех заставила бежать, да и то еще там продолжала отлавливать даже после Отечественной войны, мстила за дворянское или священническое происхождение (вот хотя бы Шульгина в Югославии *отловили* – за что?!) – так кому же было возглавить рабоче-крестьянских солдат?!

Но жаловались мне дети бывших революционеров только на русских!

Похоже было на то, как если бы на моего беспутного «Вовочку» шли жаловаться соседи: Вовочка замучил соседскую кошку, Вовочка в парадной стекло разбил, Вовочка... И я за шестьдесят лет столько наслушался обвинений по русскому адресу, что в них тону с головой. А мы не во всём плохи, мы и не всё плохи! Но так как нечистой силы у нас хватает, и среди нас Швондеры и Смердяковы, Чичиковы и Собакевичи, придурки, лжецы и мошенники, и именно их мне и тычут в морду – то я не могу бросаться на их защиту, отбеливать **черненьких**, не могу их ни защитить ни полюбить, я их – ненавижу! И чем более мне ими тычут, тем более я распалюсь на весь русский народ – да и не большинство ли у нас таково? Есть ли статистика, сколько было написано доносов за пятьдесят лет посадок? Сколько лжесвидетельств? Сколько найденных чужих кошельков – хоть один возвратили владельцам? Сколько велосипедов, отвинченных от чугунных решеток, а то угнанных вместе с решетками? Сколько ментов-вымогателей, чиновников-взятчиков?

У нас в Сибири дома деревенские не запирались, и никто чужой в них не заходил, когда я в 1958 году попал в европейскую Россию, я был потрясен бесчестностью здешних русских – так надо ли мне считать себя русским и терпеть из-за вас поощрения? У нас в Сибири и верноподанных не бывало, и царям сапоги не лизали отродясь, а уж тем более временщикам – нет, надо нам от вас откреститься, чтобы не позорить своих детей!

Но... К чему я это «но» написал? Ах, да – все народы «*хороши*» (в известном кривом смысле), и если мне не верите, то послушайте главного апостола христиан, из «*Послания к Римлянам*»: «нет праведного ни одного; ... все ... до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. ... Гортань их – открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови... они не знают пути мира»

И вот, какой бы народ мы ни начали обличать, все будут достойны обличений, ибо праведных нет нигде. Разве один народ помогает другому? Нет, каждый ищет, где бы обмануть и украсть, добить изнемогающего, повергнуть слабого, ограбить даже бедного. Стоит клич бросить: Айда, братцы, Царьград грабить! – так хоть в стены его не войти, так окрестные села пограбить и щит прибить на воротах его – и разве не гордимся мы этим славным подвигом пращуров наших уже тысячу лет?

Зачем пошли на турок в 1877 году? Константинополь мерещился в качестве награды. Зачем пошли на басурман снова, да заодно на немцев и на австрийцев? Тот же Константинополь посулили нам снова. Зачем пошли на поляков в 1920? Разве не Ильич приказал: Глотайте «суверенитету» (то есть русского пирога), кто сколько проглотит! Или это Ельцин? Ну, Ильич почти то же самое возглашал.

Но уже не только не увидеть нам Константинополя, но даже Бахчисарай чуть не навсегда отобрали...

Итак, все хороши. Может быть, загребущие руки у правителей, у кайзера, у царя, у императора, у короля, и народы не виноваты в их кознях, но приказы предводителей осуществляют именно народы, наши сыновья, которых предводители забирают в солдаты, и льется кровь армян, евреев, курдов, турок и сербов, русских и немцев...

В первую Мировую войну мы воевали с немцами (то есть против них, как и они против нас), а в союзниках у нас были французы и англичане, и хотя основную тяжесть войны вынесли русские, но и те воевали, и были даже кровопролитные сражения, а после «Октября», когда мы из войны вышли, они даже вдвоем, без нас довоевали и немцев победили. Во вторую Мировую войну мы воевали опять против немцев, а в союзниках у нас были французы и англичане, и хотя основную тяжесть войны вынесли русские, но и те воевали, и нам помогали оружием и продовольствием,

Итак, на протяжении более ста лет основной геополитический враг русского народа – это немцы. Не знаю, за что они так воспылали против нас ненавистью, но даже вознамерились свести нас под корень, и даже революция была у нас спровоцирована по большей части на немецкие деньги, и в их заплombированном вагоне ввезли к нам их Ильича...

В эту войну погибло у нас не менее 27 миллионов человек, в одном Питере два миллиона умерло с голоду.

Но сегодня на дворе технотронное время, человек – это *не мыслящее существо*, а приёмник всякой заразы, которая день и ночь изливается из СМИ и заливают нам гортань и глаза и уши. Может быть, мне все же вернуться к православному? Все же некоторые из них даже детям своим запретили смотреть этот зловещий телевизионный ящик, а некоторые его и совсем выбросили! Если его слушать, то все представления о противостоянии народов меняются напрочь. Воевали мы с немцами, это немецкий сапог топтал нашу землю и немецкие бомбы разрушили три четверти наших городов, и немецкие солдаты насильовали наших девушек и сжигали живьем наши села – посмотрите хотя бы фильм «Иди и смотри!» – но в газетах, на радио, на телевидении, в рекламе метро и даже в курительных комнатах один только вопль: *Спасайтесь! Англичанка ...* (я не могу повторять полностью инвективы этой мерзкой пропаганды, меня тошнит).

Вы думаете, что англичан я люблю больше французов? Нет, в Столетнюю войну я был на стороне Жанны Д*Арк против английских войск, осаждавших Орлеан, а в Севастополе был против тех и других, в 1812 году против французов, но они были достойным противником, и не расстреливали наших пленных и не морили их голодом, как немцы, хотя самим было нечего есть – впрочем, и мы в плен не сдавались... Но – «о времена, о нравы!» – если сегодня наш главный противник – это англичанка, и она так отвратительна, то не достойны ли и мы ее низости?

Во всяком случае, наш странный русский народ, так легко поддающийся под гипнотическую власть всяческого внушения, и бездумно и самоотверженно бросающий в Днепр сначала своих Перунов, потом свои кресты золотые с маковок церковей, потом и красные знамена (еще вчера украшавшие улицы наших городов), а завтра побросает не детей ли своих? (уже их начали отправлять по этапу?) – этот народ стал вызывать во мне чувство жалости – не болен ли он слабоумием? Настало время вспомнить и еще одну присказку апостола Павла: *«Братия! Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни!»* Нежели русские – это злые дети, так легко отзывающиеся на злое?

Правда, я еще пока не знаю точно, что такое народ, может быть прав Людовик 14-й, говоривший: «Государство – это я!» – и чувствуют, думают, действуют не народы, а только их предводители, а народы просто бессознательно уподобляются им?

Русские (большевики) расстреляли создателя нашего отечественного компьютера еще в 1934 году, англичане погубили своего подобного гения Тьюринга (как ранее Оскара Уайльда): он их спас от немцев, они его за это (формально обвинив в «нетрадиционной ориентации») посадили в тюрьму, потом начали пичкать таблетками, изменяющими личность (то же пытались сделать со мною в 70-м году, но по промыслу небесных сил от одной даже таблетки я пожелтел и начал умирать: но смерть "инакомыслящего" тогда не входила в их планы и они пока от меня отстали – да я и сам обещал им измениться в какую угодно им сторону, но снова высшие силы меня зачем-то поберегли....»

5.

На вопрос врача, где болит, многие истрадавшиеся больные отвечают: *Везде болит, доктор!* – на что следует безапелляционный ответ: «Значит, у вас нигде не болит и вы здоровы как бык!» – Значит, у этого врача ничто никогда не болело и больного ему (ей) не понять. А иногда ведь бывает и так, что болит одно, а отдает другое? – особенно у тех, которые стали как дети?

Вот почему, защищая «англичанку» от несправедливых наветов, защищая Оскара Уайльда, Свифта, Даниэля Дефо, Честертона, Кэрролла, Байрона, Шекспира, Диккенса, Беркли (от нападок Ленина) и Бертрана Рассела от нападок Советской Энциклопедии, Адама Смита, Юма и Бэкона, я вспоминаю и другие болезненные места и в теле и в душе. При советской власти иногда не хватало хлеба, и мы умирали от голода, в Блокаду не было даже плохого хлеба, пополам с опилками, но были и при советской власти благополучные годы, когда хлеб в столовой лежал на столе бесплатно, и выпекали его из твердых сортов пшеницы, а творог и сыр делали из молока. Но ныне технология шагнула далеко вперед, и часто хлеб пекут из фуражного зерна, сметану и творог производят из опилок (то есть из пальмового масла, которое производят из пальмовых опилок), из опилок же производят и водку – вы не заметили, что даже пьяницы начали морщиться, отпивая глоток из бутылки? Что делать? Интересный вопрос – А что может сделать обыватель, чтобы изменить к лучшему хотя бы самую маленькую гаечку в государственной машине, конечно, не отменить гильотину, но хотя бы сделать так, чтобы она меньше натирала шею, когда ее перерезает?

Увы, ничего. Мы приходим в этот несовершенный мир (христиане все уши прожужжали нам о том, что он падший) – но за несколько уже тысячелетий НИЧЕГО не сделано, чтобы гражданин, видящий несправедливость в мире (где-то кран непрочно завернут, надо бы привернуть) – мог хоть что-нибудь мельчайшее сделать в пользу улучшения. Раз и навсегда постановлено: **Частная инициатива по улучшению мира запрещена!!!**

А я бы еще в детском саду учил детей, что если вмешательство гражданина в работу Общественной машины не предусмотрено – или даже запрещено – то такую машину надо немедленно ломать всенародными средствами!!!! Ибо это машина антинародная.

Но вернемся все же к «англичанке» – не к реальной чьей-то невесте, подруге, жене, дочери или матери, а к некой символической, занятой мыслями о том, чтобы нам навредить, России в целом, русскому народу и каждому русскому по отдельности. Я уже тезисы своего выступления на отдельных гражданах проверял, все меню обругали и ни один не усомнился в том, что хотя в окопах в Первую Мировую сидели напротив нас немцы, но немцев напустила на нас именно «англичанка», она этого немца завела, науськала, вдохновила, а сама сидела в кустах и радовалась нашей междуусобной бойне; и советские войска то на Кубу то в Конго то в Афганистан посылала тоже она, и чекистов науськала на русских дворян, и Тухачевского на тамбовских крестьян, заводила между всеми ссоры и свары, сидела на своем острове за частоколом и радовалась чужим бедам.

Что это не так, доказать невозможно, так же невозможно доказать, что это не мой дедушка обращался лунной ночью в рогатого и пугал детей – где и у кого я теперь раздобуду справки, что в нашей деревне дети были не из пугливых, а до соседней семь верст?

Точно так же хотя нелегко доказать, что это мasons виноваты во всех европейских заговорах и революциях, но еще труднее доказать, что их участие в этих заговорах мало заметно. Двадцатый век отличался суровостью, в России людям жилось хуже, чем в девятнадцатом столетии – и бедность, и нравы – все объяснялось проклятым наследием царизма и многовековым влиянием христианства; дети и внуки тех, кто сегодня берется объяснять причины этой жестокости, ссылаются на то, что люди отступились от Бога, вот и осатанели. Мои современники были наивнее и проще, отвечая на вопрос, зачем они писали доносы на соседей, говорили ясно и просто: "Время было такое!" Закричу ли я в негодовании, что это неправда, что *не время формирует людей, а люди формируют время?* Но ведь летом бывает жара, бывают грозы, а зимою то снег идет, то метет метель – и ведь несомненно, что это потому так, что время такое, обычно летом гроза, и обычно, что зимою метель, и ни рабочие ни крестьяне ни даже большевики и чекисты ни даже англичанка в этом не виноваты! Хотя, с другой стороны, отчего нынче уже третий месяц идет дождь, а по времени давно бы пора пойти снегу? Так что не на всякий простой вопрос есть простые ответы – но все же в век психотропных технологий народные симпатии и антипатии, страхи и предпочтения, волны гнева и ненависти в значительной степени управляемы, да и с погодой не все так просто.

Только что может сделать для вразумления обывателей человек, надевшийся на то, что он *послан на землю как Спаситель для просвещения и спасения своего народа*, но еще до рождения пожелавший вочеловечиться почти до конца, чтобы *разделить* с человеком его тяготы и его слабости, и потому не умеющий делать чудеса, противостоять усталости и болезни и увлекать за собою народы, если и Христос на кресте усомнился в своем небесном Отце, ибо воскликнул: "*Боже мой, Боже, почему ты меня оставил?*"

Что побуждало меня думать так, что мне предстоит спасти русский народ?

Так думать меня побуждало **Видение**, которое я пережил ночью в состоянии, которое было и сном и бодрствованием вместе, я его отчетливо чувствовал и сознавал и запомнил так, что и за семьдесят лет память о нем не стала смутной; ибо я не был болен тогда, Иногда я говорил, что мне это снилось – но много раз и позже я испытывал нечто, что подобно сну, и так же многим известно как состояние между сном и бодрствованием.

Кто-то ко мне пришел, я видел образ пришедшего смутно, но знал уже в то самое мгновение, что это словно бы Ангел или Дух или Образ Бога. Вот эти образы надчеловеческих существ (в последние годы я представлял их как волхвов и муза), и в виде муз они являлись и Пушкину – эти образы разговаривали со мною беззвучно, словно бы мысленно, но эти мысли исходили от них и являлись затем во мне.

Заканчиваю свою статью одной только присказкой: если кто-нибудь и делает вред другим, то это не народ, а гадит правительство своему народу!

6.

Итак, каковы же выводы?

1. Есть люди, словно бы отмеченные *роком*, им сопутствует некая аура звуков, они подобны тихо звучащей на небе натянутой струне, и они посланы сюда, чтобы напоминать нам, что жизнь в истине – это не прозаический рассказ о путешествии по скучным дорогам среди скучных людей, а Трагедия, что они сами воплощают собою некую симфонию, и должны погибнуть, чтобы подтвердить трагедию земного бытия. Переживая трагическую смерть в воображении, я словно бы примиряюсь с тщетой и тяготой бесплодной жизни – не всё потеряно, если тягота и бесплодность станут невыносимы, я могу подняться над жизнью, осудив ее как разочарованность. Так иногда я вижу себя на скале над морем перед расстрелом, не умоляющим о жизни, а приветствующим смерть как последнее осуждение своих гонителей.

Вот таковы и Ромео и Джульетта, и Тристан с Изольдой, таков Аввакум и боярыня Анастасия... Как понимала свою смерть Жанна (я не говорю о физических муках) – я не знаю...

В последний месяц, увлекшись фильмами о математиках, я посмотрел несколько таких фильмов о гениях, и все они закончили жизнь трагически (возможно, трагедия и является удостоверением гениальности, и Пушкин мог бы вложить в уста Сальери слова: "*но гений и довольная жизнь – имея в виду жизнь Сальери – две вещи несовместные...*")

2. Но есть и другие, которых словно бы ангелы берегут для свидетельства о том, что они видели, таковы, например, Шульгин, Олег Волков, Варлам Шаламов (хотя не справедливее ли сказать, что его жизнь все же закончилась трагически?), Солженицын и Шафаревич. Берегут и меня – но я, увы, вижу, что мои книги и мои свидетельства слишком скудны в сравнении с тем, чего от меня ждали и мои друзья и сочувствующие мне духи.

3. Кто же оставляет след в нашем существовании, в его устройстве, в его формах? Надо ли и возможно ли книги считать за *след*? Не более ли верно считать следом кровопролитную войну, разрушенные города, Беломор-Канал, вымерший Ленинград, ГУЛАГ, миллионы преждевременных могил, печи крематориев? О, ирония жизни и истории! Тираны и злодеи оставляют след более зримый, вещественный, след гениев часто пропадает невидимым. Тот гений, который в СССР построил первый компьютер и был за это расстрелян – что от него осталось кроме одной только фразы в моих записках? Знает ли и Англия, что ее спас от нацизма гениальный «игрок в имитацию», некто Тьюринг, профессор Кембриджа? Но не английские солдаты, не Черчилль и не английский народ, который мы так ненавидим – потому что англичан так мало погибло в ту войну! Какая-то зависть и ненависть канныбалов... Я часто думал, что я пришел для того, чтобы изменить это чудовищное сознание обывателей, радующихся тому, что другие страдают, и ненавидящих тех, кто страдает мало (*как мало англичан погибло! Именно это наполняет нас яростью. Как много русских погибло! Именно это наполняет нас гордостью...*) Розанов исследовал *особенное отношение евреев к крови*, что в христианстве отразилось *причастием* (то есть пояданием) тела и крови Христовых – а не задумывался он об особенном отношении русских к крови?

4. Но если подлинный след в истории оставляют злодеи и завоеватели, тираны и мучители, пренебрегающие жизнью народа (не только чужого, но и своего) – то все же не с тайного ли, бессознательного разрешения на все свои мерзости именно народных масс (помимо самой близкой ему банды приспешников, как опричники у Ивана Грозного, как чекисты у Сталина?)

С чего бы иначе стало так много почитателей у Сталина, появляются почитатели и у Гитлера (на их презренном Западе, который мы так ненавидим, почитание Гитлера карается тюремным заключением). Если мы доживем до того, что публичное восхваление руководителей государства будет наказываться (не только жестоких, но и самых мягких), то только тогда мы выздоровеем от шизофрении, которая заставляет нас искать самые бредовые основания для возвеличивания русского народа, и выводить его родословную то от этрусков, то от варягов, а теперь уже даже от монгольских завоевателей. Но во всяком случае, и мне и подобным мне надо успокоиться и не претендовать на народную любовь, и о Пушкине народ давно бы уже забыл, если бы учительницы литературы постоянно о нем не напоминали, а до этого его друзья, царская семья, восхищенная его стихами, дипломатический корпус, желающий понять и полюбить эту дикую страну – через Пушкина, как ни странно, удается Россию даже полюбить.

Нас не полюбят, друзья мои, писатели, поэты и даже философы, я не сумел достигнуть признания и вам, поэтому, помогаю мало. Может быть, удастся чуть-чуть восхвалить певиц и пианисток... ну, утешусь хоть этим.

5. В. Л. воюет с нетрадиционной историей, Г. Г. М. обличает масонов, А. В. О. – революционеров и подстрекателей, всяческих прогрессистов, кроме консервативных, Н.И.К. обличает язычников, но одновременно и неумеренных клерикалов, слишком пещерно воюющих против культуры, А.В.М. – хотел бы сказать, что он воюет со мной, но ему кажется, что я пока еще не сформулировал, за что я сам воюю, и как противник поэтому не интересен, В.А.О. воевать вообще не хочет, словно бы уже навоевался; В.М. воюет с ветряными мельницами... Так, может быть, мы все не нужны народу? И не понятны? И зачем нам топор? Если только не для того, что отсекают наши головы? Впрочем, я попробую взять вину на себя, и все таки сознаюсь, что воюю ... но с кем воюю, вдруг забыл, что за чертовщина?!

6. И все же, надо успокоиться. Бог с ним, с народом, не думал и Пушкин о нем, лишь для красного словца написал, что «долго будет тем ему либезен, что восславил свободу» – какую свободу он восславил, если на Сенатскую площадь не пошел, и из крепостных никого не отпустил на волю? И все же он восславил **духовную свободу**, во-первых, и создал точные поэтические формы, что не меньше освобождения крестьян. Я бы тоже мог прославиться разработкою формы «критики как искусства» – но я опрометчиво отказался от превосходства над «чернью», хотя и согласился взойти среди огородного сора и дебрей сибирского края, освещая чтение книг лучиной.

7. Успокоимся, друзья мои, на *сострадании и любви*. «Англичанин – мудрец» – простим его за это. Что до «англичанки», то русские девушки красивее, так что простим и ее, тем паче что не евреи Христа распяли, а римские солдаты...

7.

Писать или совсем не надо, счастливы те, кого к этому не тянет – или *«писать надо для себя, а печатать для денег»*, как Пушкин.

Еще счастливее те, кои и живут для себя, или живут для денег.

Еще лучше и вовсе не жить, или жить для Бога.

И в подтверждение этому читал два года назад Нилуса, писал он и о том, как правильно жить. На Пасху из соседней деревни две девушки хотели попасть в Церковь, которая стояла на этом берегу реки, а деревня была на той, они бросились вплавь и утонули. **Какая счастливая смерть!**, говорил народ и крестился. И Нилус подтвердил, что эта смерть счастливая. Народ я уже решил не ругать, он часто темный, во всех странах, но писатель, тем более церковный, почти богослов, не должен писать так опрометчиво, ибо смерть двух жизнерадостных девушек – это *несчастье*, а все, что сулит и несет гибель, еще по античной традиции – *трагедия*.

Кому же принадлежит жизнь человека? Я стал спрашивать окрест, некоторые говорили, что самому человеку, другие – Богу, некоторые – царю или государству (но этих было меньше всего).

Я еще не знаю, что такое личность и что народ, и об этом пишу новую книгу – не для читателей и даже не для народа, но и не из тщеславия и гордыни и не ради денег, денег мне за нее не заплатят – я хочу эти взаимоотношения понять (семья, друзья, народ, государство... просто разные люди, которые мне часто бывают дороги, европейская культура (включая русскую), и даже Бог, сущность которого я представляю все еще смутно. *Возможно, Бог – это тот предел, к которому устремлены во времени усилия, имеющие в виду любовь, добро (благо), свободу, справедливость, красоту, совершенство, милость и сострадание*. Не знаю, надо ли включать в этот перечень истину? Хотя мне казалось, что во всем мы ищем истину, но не является ли она единством всего того, что я перечислил? Притом, во время войн и народных бедствий государство заявляет свои самые главные права даже на жизнь человека, не говоря об его имуществе и его близких, Иван Грозный изрекал, что все холопы и все принадлежат ему со всеми своими домочадцами, и уничтожал часто своих врагов **всеродне**, то есть со всеми родными, как патриарха Филиппа Колычёва: род Колычевых на сем прервался. В армию берут всех лиц мужского (а то и женского) пола и отправляют во врем военных действий часто на смерть. Гражданская война показала, что и народ и государство могут делиться на две и более частей, и одни служили Колчаку и Деникину, другие Ленину и Троцкому, а третьи находили себе и иных начальствующих; так и война между папой и Лютером доказала, что и Бог не един... НО все сие доказывает, что человек все же принадлежит себе НЕ ДО КОНЦА, и может быть еще и поэтому я продолжу писать и напишу об отношениях **народа и личности**. И как бы я ни ругал русский народ, и как бы ни сокрушался из-за поведения моих близких, но я не тождествен себе, я больше себя, во мне и народ и пол, Европа и Азия, **русские** и англичане, немцы и французы, мужчины и женщины, культура и математика, и еллины и иудеи (и даже Павел, отрицающий нелепо и тех и других, но еще и женщин, и искусство, и математику). Но поэтому я и не могу быть *оскорбительным для мира*, частью которого я являюсь (отказавшись быть выше его, за что и терплю).

Увы, все насущное не вместить даже в Александрийскую библиотеку, все существенное не вместить не только в статью, но даже в самую великую книгу. Я и не пытаюсь. Но бросить общий взгляд на мир необходимо, тем более что мир предоставляет и готовит узилища для многих. Гадкое отношение к Англии, которое нашему послушному народу так легко навязано, явилось для меня лишь поводом для разговора об отношениях личности и общества, о вопиющей несамостоятельности личности, словно она тот паяц, который исполняет любой бессмысленный танец, когда общество или вышколенные пропагандисты дергают за нужные веревочки. Раньше я искал оригинальных, потом искал хотя бы просто умных, теперь ищу независимых – но лучше уже ничего не искать, чтобы не разочаровываться в надеждах. Если есть хотя бы два три сочувствующих человека, с которыми можно выпить вина или чаю и поговорить о жизни, о женщинах, о литературе, то это уже счастье, многие – и не хуже меня – совсем одиноки, мне еще везет, я общителен и чаще нахожу тех, с кем могу отвести душу.

Большинство мировых религий создано обычными людьми, из плоти и крови, и это о них писал Пушкин: «Пока не требует поэта к высокой жертве Аполлон, спокоен он во мнении света и малодушно погружен», и даже Пророк, пока не воззовет к нему Божий глас, лишь горестно скитается в пустыне, томимый духовной жаждой, и мы знаем их жизнь так же, как и жизнь выдающихся ученых и писателей, и можем о них писать не шопотом и не стоя на коленях. В России в последнее столетие тоже появлялись небожители, за недостаточно подобострастное и восторженное о которых слово можно было попасть на Голгофу, но так же трудно писать с позиции культуры и истории и о христианстве и о Христе (Иисусе из Назарета, родившегося у Марии, жены плотника Иосифа). Государственный закон ныне разрешает НЕ быть марксистом и говорить о Марксе спокойно, не благоговейно, без придыхания, в спокойном тоне можно говорить о Сакья Муни, ставшем Буддой (по крайней мере о том периоде его жизни, пока еще он Буддой не стал), о Магомете, написавшем Коран, священную книгу мусульман, о Зороастре, пророке огнепоклонников Персии, о Лютере, религиозном деятеле (создателе лютеранства), аналогичном Магомету – но почти невозможно в России говорить словами историка и философа о Христе. До революции было запрещено публично отказываться от посещения церкви и совершения таинств, в частности причастия – хотя христианское богословие знакомо с резкой критикой «причастия плоти и крови Христовых», и многие протестантские церкви от этого сомнительного обычая отказались. После революции опасно было рассуждать о христианстве, признавая какие либо его достоинства, и находя трансцендентные основания для религии, не менее обоснованные, чем для культуры. В современном обществе обсуждение религиозных проблем без оголтелого восхваления христианских святых опасно в силу ответственности за оскорбление чувств верующих. Вот я сомневаюсь, что Бог троичен по христиански, что Иисус сын Божий, притом от века ему предопределено спасти мир, принеся себя в жертву, чтобы искупить грехопадение Евы, а с нею и человечества (ибо в ней мы все согрешили). Но Ева согрешила уже после сотворения мира, и предопределенная роль Христа до ее согрешения была абсурдна.

Воскрес ли Христос и доказывает ли это надчеловеческую его природу?

Я смотрю на него в соответствии с Писанием, которое говорит, что Бог-Сын **вочеловечился**, то есть родился непорочно ДЛЯ спасения человека, то есть для того, чтобы лично в образе человека проповедовать, показывать пример святости и затем совершить искупительную жертву. Вочеловечение его означает, что он родился подобно человеку и во всем был человеком, кроме грехов (о слабостях не говорится). Естественно, что он и ел и пил, и спал, и жаждал – но не знал женщин, отказывался к ним прикасаться (как и Мария, мать его, не прикасалась к мужчинам, и названа за это *безгрешной*) – значит ли это, что христианство объявляет брак грехом? Зачем тогда брак (грех) освящается церковью? И что тогда значит, что Иисус пришел к своему народу, как он неоднократно заявлял? Народ создается только через рождение детей, которое совершается только через соитие, которое является грехом – но при этом принадлежность к народу не соучастие ли во грехе (и апостол Павел был последователен, заявляя, что *отныне несть ни еллина ни иудея*..)

Многое указывает на то, что во время земной жизни до самого момента распятия и смерти Иисус пребывал в одной человеческой природе, ибо как Бог он не мог умереть, и историк может о нем рассуждать как о человеке, рассматривая его отношения с семьей и матерью, отношения его с евреями и их религией (которая была его), отношения с властями (вполне человеческие). Но я не сомневаюсь, что многие наши православные **оскорбятся** на меня уже за одно то, что я рассуждаю об Иисусе из Назарета как о человеке, особенно если выпьют перед тем наркомовские сто грамм, а так как они оскорбятся, то я должен буду сесть в тюрьму за оскорбление их чувств (более того, я оскорбляю и государство в лице законодателей, ибо утверждаю, что более абсурдного закона не придумать – если я неверую, то уже отрицаю божественность Иисуса Христа, что и является оскорблением верующих.

Кстати, государство и государственную власть я оскорбляю и тогда, когда соглашаюсь с словами Христа, что князь мира сего – это Дьявол – а государство возглавляется Кесарем в различных обличьях, который не может быть поставлен на свою должность Управителя никем, кроме Дьявола.

Даниил Андреев в согласии с этой идеей говорит о **Демоне государственности**, именно отрицающая божественную природу государственной власти.

Впрочем, поклоняюсь ли я иным богам, если я не христианин?

Я могу вкратце сказать, что я **народник**, то есть основания своей жизни и личности я нахожу в собственном народе по преимуществу и его благо для меня первостепенно, да и Христос говорил, что пришел спасти свой народ; и что «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», – но не надо забывать, что когда женщина Хананейка сказала: «так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их», то он ответил: «о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему!» – поэтому я с сочувствием отношусь и к народничеству других, и не забываю о многолетней войне афганцев против и британских и советских оккупантов и о борьбе балканских славян за независимость от Турции и Австро-Венгрии, да и о борьбе русских против татаро-монгольского ига. Я сочувствую собственным детям, но справедливо ли отказывать в сочувствии детям чужим? (Впрочем, я не могу уподобить псам ни англичан ни собственных русских, на сем и закончу).

Но еще несколько строк – о Тьюринге, который спас Англию от поражения во Второй мировой войне, расшифровав немецкий военный код, и несомненно способствовал и Российской победе. Но у него и громадные научные заслуги.

В 1950 году Тьюринг опубликовал одно из самых важных исследований в истории Вычислительных машин – «*Вычислительные машины и разум*», где рассмотрел идею искусственного интеллекта. Его «Перу» принадлежит первая компьютерная шахматная программа, его можно считать и создателем компьютерной музыки. Он также построил первый (?) компьютер.

Чем же человечество отплатило великому ученому? Его посадили в тюрьму и начали травить гормонами, чтобы переделать личность. Утром 8 июня 1954 года в возрасте 42 лет он был найден мертвым в своей квартире. Через полвека, в 2009 году, премьер-министр Великобритании принес публичные извинения за преследования Алана Тьюринга, а в 2013 году королева Елизавета II даровала ему посмертное помилование.

В России было уничтожено неизмеримо больше выдающихся ученых (не считая поэтов, писателей, философов и работающих крестьян). Но кто-нибудь из государственных мужей перед ними извинялся?

Вчера я был на концерте, посвященном 260-летию со дня смерти великого немецкого композитора Георга Фридриха **Генделя** (родился в 1685 году, в один год с Бахом), творчество которого, наряду с творчеством И.С.Баха, явилось кульминацией в развитии музыкальной культуры Европы и *Германии* первой половины XVIII века. Оба они опирались на традиции немецкой музыки (полифония как ведущий принцип мышления). Кроме того, **Георг Гендель** написал около 40 опер и по праву занимает в оперном искусстве одно из ведущих мест как **мастер итальянской оперы**.

«"Великий сын *английского народа*" Гендель для англичан не просто композитор, но объект культа. Когда во время исполнения «Мессии» хор начинает петь «Аллилуйю», все встают, как в церкви». Похоронен он в Вестминстерском аббатстве, в Лондоне ему при жизни поставили памятник. В противоречие с тем, что мы знаем об англичанах, выступает судьба великого немецкого (музыка барокко), итальянского (опера), английского (оратории) композитора. В Германии на пирушке в кафе он «набил морду» неизвестному принцу, через сорок лет в Лондоне в саду Георг V, услышав звуки музыки, воскликнул, что наконец-то слышит приличную музыку и с удивлением узнал в авторе своего старого обидчика. «Не будем вспоминать грехи молодости!» – заметил он и предложил музыканту дружбу. *И это тоже Англия*. Сегодня наше общество развращено **дурной политикой**, дурной историей, дурной мифологией, вульгарной теологией и пошлой жизнью, единственным лекарством от чего являются музыка и пение, которые еще звучат на оперных сценах и в концертных залах славного города Петербурга. Мы имеем счастье слушать Анну Нетребку, Этери Гвазаву, Ольгу Пудову, Оксану Шилову, наслаждаться игрой Полины Осетинской, а вместо этого принимаем к телеящику или к бутылке. (А, возможно, М.В. вчера была не в духе, устала от моего восхищения, потому и была – временно! – так холодна... И вот почему я бросаюсь на защиту несправедливо обиженных, будь то англичане, евреи, влюбленные поэты и легкомысленные девушки... *Простим и их. Аминь!*)

27 декабря, 19, пятница, 8-51. Вчера смотрел английский фильм «Два папы», и лег спать около двух, ночью мне снилось, что я словно бы бродячий монах, и вокруг меня богословы и проповедники.

Мой покойный друг Казимир в юности был комсомольцем, как почти все (кроме меня), потом стал католиком, и хотя не был сильно изменчив, но по большей части мы были подобны. Проснулся сегодня рано, хотел еще поспать, но стучал в душе вопрос об *изменчивости*, из фильма: Аргентинский кардинал говорил немецкому папе, что *мир меняется и человек меняется тоже*. Менялся и я, в десять лет прочитал десять красных томиков Сталина, в 12 – "Развитие капитализма в России" Ленина, потом читал Пришвина и Толстого, после 20-го съезда сжег в школе портрет Сталина, но поставил на педестал Ленина, в 20 лет, возможно, сошел с ума, и собирался взять крест и пойти за Христом (но слишком много читал, и к церкви подошел лишь *отчасти*, остановившись "*перед мутным стеклом*", потом от нее отходил все дальше, пока она не стала видна только на пригорке близ деревни. Но от христианства отошел совсем, как и от социализма.

Проснулся я с вопросом, почему меня окружают такой толпой консерваторы, чего я от них хочу, так усиленно пытаюсь их **вразумить**, объяснить им их заблуждения, почему они меня все же не покидают, несмотря на мои усилия и даже почти грубости по поводу их нежелания вместить весь мир, и их упрямое погружение в **миф**? И я решил, что они *безумны*, а мои попытки диалога с ними подобны попыткам объяснить больному, что он живет во власти химер. Но как ему доказать, что на него **не** воздействуют духи зла, что русские **не** произошли от этрусков и не строили пирамид и наша история насчитывает всего тысячу лет, а эллины и римляне были раньше и это *им* Европа обязана культурой и цивилизацией? Нельзя больному объяснить, что даже благие идеи не оправдывают преступлений и столь безумных жертв, какие мы понесли, обещая осчастливить человечество (кроме нас), что Ева ни в чем не виновата и никакой онтологический грех не лежит в природе человека... Но уже и социальное христианство признало, что догматическое христианство против изменения мира с помощью усилий человека и народа, и человечество как страдало до пришествия Христа, так и продолжает страдать. Но возможно ли изменить у человека его способ видеть мир и историю, не изменяя его жизнь?. Державин однажды попросил двух поэтов подготовить к изданию его поэтическое наследие, они отделили от всего множества стихов половину лучших, и придя к ним, он воскликнул Вы что же, хотите, чтобы я прожил *другую жизнь*? – и смешал все стихи воедино. *Человек совпадает с своей жизнью* и создает миф для ее оправдания (своего рода впадает в безумие, это его защитная реакция для сохранения **тождества личности**, говорит моя жена). А я заставляю своих несчастных друзей прожить со мной еще одну жизнь... Всё в мире консервативно, это **инстинкт самооправдания**, изменчивые люди редкость, Но, однако, когда меня посадили, даже моя теща перешла в оппозицию к «глетворному олигархическому режиму» (как и многие меняют свое отношение к миру только при бряцаньи гильотины). Так что, мои читатели, не пylaйте ненавистью к англичанам, а я перестану так рьяно передельвать «инакомыслящих», *«обнимусь с миллионaми»* и на этом закончу свою статью!!! **Прячу «топор» и поздравлю всех вас с Новым годом!**

И все же добавлю несколько слов в качестве комментария к своей статье и к самому себе. Меня надо тоже прокомментировать, чтобы я стал понятнее, хотя некоторые считают, что меня не надо не только излишне объяснять, но даже наспех читать. Было время, и я завораживал и оболщал по крайней мере нескольких человек, это же удавалось и каждому из вас, одни становились любимчиками учителей (и меня любили учительницы), другие шли в ученики к солидным ученым и писателям (например, академик Крачковский весьма выделял своих прилежных студентов Льва Гумилева и Тадеуша Шумовского, астроном Александр Васильевич Ширяев, увидевший меня впервые в коридоре университета в кирзовых сапогах и портянках, надеялся воспитать из меня своего ученика (но я оказался нерадивым звездочетом, роль девичьего пастуха мне удавалась лучше), Бальмонт дружил с Миррой Лохвицкой, Максимилиан Волошин создал из юной начинающей поэтессы Лизы Дмитриевой загадочную Черубину де Габриак, стихи которой появились на страницах нового журнала «Аполлон», что оказалось не только самой громкой мистификацией Серебряного века, но и привело к его дуэли (в 1909 году), с Николаем Гумилёвым, в это время завершающем ученичество у Валерия Брюсова, чтобы сыграть важную поэтическую роль в судьбе Анны Ахматовой... позже престарелая поэтесса сыграла роль наставницы в судьбе Иосифа Бродского...

Но это все так, к слову, чтобы разрядить назидательную атмосферу моей статьи. Я пишу не назидания для своих читателей и не поучения. Несмотря на то, что мой собственный путь поэта, быть может, уже подходит к концу, я все же *«не поэт и не для песен я призван, мой удел иной. Моих стихов язык хмельной лишь юным девам интересен!»* – и это не поэтический каламбур, а и в самом деле две начинающие поэтки влюблялись в мои стихи.

Но и это все так, к слову. Подлинное содержание моих поисков: «зачем люди живут», в чем смысл существования человечества, «что есть истина», совместима ли истина и свобода и, следовательно, справедливы ли слова Иисуса Христа «Азъ есмь истина и путь», «Познайте истину и истина сделает вас свободными»? Именно судьбе христианства, судьбе социализма и судьбе России посвящена моя творческая жизнь. Вредит ли России Англия, Франция, Германия, Польша, Ватикан и Католическая церковь, помогает ли Иегова (еврейский Бог), католический Бог, протестантский, православный, помогает ли Бог России, любит ли Бог человека, действительно ли всякое добро надо делать не для человека, а для Бога (по словам Константина Леонтьева)? Во вчерашнем фильме драматически показано столкновение двух пап (но не столкновение личностей, а столкновение двух Исторических сил), один из которых защищает догматическое христианство, безжалостное к человеку, а другой – «социальное христианство», не существующее ни в Священном Писании, ни в личности Христа, ни в учении апостолов, отчасти проявившееся в учении **катаров**, которые были почти все до единого уничтожены в ходе Крестового похода папского войска в Прованс. Столкновение с Англией было в 1855 году, с тех пор она наша союзница, Германия же дважды опустошала Россию – но как много свободного времени у моих оппонентов, которое они тратят на химеры, обличающие Англию, или на двухтысячелетнее оплакивание Иисуса из Назарета, или на доказательства, что Татаро-монгольское иго придумано иезуитами, и разгром Грозным Новгорода придуман ими же, и ими придуманы Солженицын, падение коммунизма, возрождение клерикализма в России, козни Дьявола и козни английских чекистов... Какую литературу мы создадим, если не только *сквозь мутное стекло* видим действительность, но *сквозь бетонную стену*? Жизнь – это трагедия, а не веселый водевиль, и только переживание ее как трагедии позволит нам **пожалеть человека, а не Бога**

В. Чернышев. НОВОГОДНИЕ ЗАПИСКИ

19 декабря 19. Жизнь как Роман в рамках идеологической системы.

Во-первых, надо иметь в виду, что всякая идеологическая система – это система только *тоталитарная*, монотеистическая, «однопартийная», не разрешающая ни говорить ни мыслить иначе, чем в рамках правящей системы взглядов (и уж тем более проповедовать **инаковость**).

И *неразрешение* это настолько всеобщее и настолько абсолютно, что всякое отклонение от него государство преследует. Более того, в обществе и не существует уже никаких отклонений от единой системы взглядов, всякие отклонения существуют только внутри нее, это оттенки, незначительные отличия, часто не замечаемые большинством, посему часто высказываемые без должного осмысления и понимания, это так называемые **ереси** (а инакомыслящие называются **еретиками**, и их чаще всего сожигают в кострах или морят голодом, – как протопопа Аввакума и боярыню Анастасию).

Ну, например, Христос вочеловечился, *стал человеком*. Но, однако, он не совсем уподобился человеку, не во всем им стал, – только *кроме грехов*. Ибо обычный человек, нормальный, хотя бы и хороший, **даже святой** – может согрешить (и такие примеры приводят сами христиане... грешником стал и Ангел Люцифер, обуянный гордыней *сотворчества* мира, дошедший до противостояния Богу... ибо вполне возможно, что сотворение мира являлось сотворчеством многих сил, и ангелы были подмастерьями – мир был создан НЕ совершенным, все это увидели, но свалили изъяны мира на человека, на Еву, дескать, она, негодная, не во время яблоко съела.

Сократ говорит, что сначала надо познать самого себя. Оглядываясь на СОБСТВЕННУЮ жизнь (уроки Сократа не прошли даром), я вижу, что человек ничего не делает в предвзятой последовательности, он приобретает опыт, одновременно многое узнает и о мире и о себе, ничто не бывает **сначала**, но все **вместе**. Учась в школе, я изменялся, получал знания и жизненный опыт; изменяясь, я изменял и свои пристрастия, **у меня менялся вкус к книгам**. Однако, несомненно, что в своих попытках понять то или другое я часто обращаюсь к себе, сравниваю предмет исследования и умозрения с самим собою. Что такое любовь? Чтобы в некоторой степени ее понять, я вспоминал и перечитывал Толстого, Достоевского, Владимира Соловьева, Стендаля, Бальзака... Но одновременно вспоминал собственные привязанности и размышлял над ними.

Христиане требуют **начинать с себя!** При всякой попытке что-либо *осудить* или (не дай боже! – восклицают они) **изменить**, они велят начать с себя – имея в виду, что кроме самого себя ничего лучше и не менять, это учение о застывшем мире, статичном, не изменяющемся, о мире как о застывшей вечности (вроде застывшего в сильный мороз водопада). *Спаси самого себя!* – восклицают они, – *и тысячи вокруг тебя спасутся*.

Я не следую этому совету по нескольким причинам, прежде всего по тому, что понятие **спасения** НЕ определено. По учению апостола Павла спасает

вера – и значит, мои собственные усилия второстепенны, надо уверовать, а после этого все само собой, по воле и благодати божией, и совершится... По общему же учению (и Павла и Петра и Иоанна) мир лежит во грехе, он поврежден, никаким усилиям человека и не может поддаваться, почему и явился **Спаситель**, который и объяснил, что ТОЛЬКО Бог (Сын Божий... что одно...) в состоянии спасти и мир и человека через свою кровавую жертву, которую он и принес на Голгофе. В мире, правда, ничего не изменилось, как лежал он во зле, так и лежит, но появились надежда и вера, что при Втором пришествии дело спасения закончится (Страшным судом), и малая горстка праведников попадет в рай, иные, счастливики, все же попадут в чистилище, а большинство будет мучиться ... о них надо молиться и просить о милосердии Божиим....

Ну а пока надо жить согласно заповедям, то есть отдавать кесарю кесарево и либо спастись в монастыре, либо оставаться в обществе и хотя разрешена семейная жизнь, но нельзя предаваться **любовной похоти**. Плотская любовь к женщине хуже безбрачия!, культура порицается, участие в политической и в исторической жизни отвергается... и так далее... То, что я пишу, относится к христианскому учению, как оно было сформулировано Христом, апостолами, отцами церкви и исходным богословием – но в мировоззрении современного христианина многие запреты отсутствуют, в каноническом смысле этого слова он НЕ христианин. Но и марксист – это не марксист... Даже подвергая критике учение о коммунизме, я стреляю в пустоту, есть множество людей, которые верят в коммунизм и жаждут его и считают его благом, и даже коммунизм Платона и Кампанеллы, с их казармой и регламентированным обществом считают благом... потому что они не читали ни того ни другого... не читали ни Маркса ни Ленина... Не читали Игнатия Брянчанинова и Августина Блаженного... Я им говорю, что мне не нравится в христианстве его ненависть к **любви** – да ведь христианство и состоит из любви, и Христос – это Бог любви! – восклицают они. Но какое чувство христианство называет любовью, и как оно относится к той **действительной любви**, которую каждый из нас испытывает, вы увидите, прочитав которогонибудь из общедоступных христианских писателей, то есть Игнатия (а он еще объясняет, какая мерзость человеческая **ЧЕСТЬ**, о которой наши предки велели, пока не окрестились, **беречь ее смолodu**), прочитайте Иеронима Блаженного («Письма о девстве») и Августина. Даже о любви к своим семейным, к детям, матери и братьям вы узнаете, читая в Евангелии, что **враги человеку домашние его**. Но можете прочесть комментарии к сему на христианских сайтах в интернете, там проповедники такие же сумасшедшие, как и ранние христиане, обрекшие на смерть богобоязненную смиренную чету за то, что они сыну своему оставили часть из имущества, которое надлежало принести в первую христианскую общину (принимал в нее апостол Петр). ...

Христианство поставляет вместо *плотской омерзительной любви* новую любовь – **любовь к ближнему**. Может быть, вы знаете, что это такое и испытывали ее **вместо** «шопот, робкое дыханье, трели соловья»... Но подробнее о ней в «Братях Карамазовых», Иван Карамазов любил о ней говорить... Или прочитайте у Страхова в его «Путешествии на Афон». Или у

Константина Леонтьева в его учении, что в основе любви должен лежать «**страх божий**», и без страха божия» любовь – это мерзость (кстати, и *русский без православия – мерзость*, подробнее у славянофилов...)

Вот теперь уместно поговорить о самой главной особенности моноистических учений.

Если математик полагает, что существуют две геометрии, Евклидова и Лобачевского (или Гауссова), и "*какая кому нравится*", тот ту и выбирает, то верующий выбирает какую-то одну веру или одно учение и бетонирует все другие точки зрения вместе с теми, кто на них осмеливается стоять. Вот Лютер, например, воскликнул 18 апреля 1521 г.) на Вормсском съезде церковных иерархов в ответ на предложение отказаться от борьбы с папским престолом: **На том стою и не могу иначе!** – и это его стояние (противостояние) всей остальной христианской Европе стоило **половины населения** тогдашней Германии, потому что христианство забетонировало всякую возможность иной точки зрения кроме той, которая утверждена главою империи или церкви, да и сам Спаситель сказал: **Кто не со мною, тот против меня** (одних ведьм в Европе сожгли за двести лет два миллиона!

Но точно то же самое и с коммунизмом, вы забыли, что даже написать в матмеховской стенгазете в 63 году, что вы не согласны с Марксом, а согласны с Христом, было чревато исключением из комсомола, ну а так как я не был комсомольцем, то меня надлежало изгнать из университета, чтоб другим неповадно было... А что было бы, если бы я осмелился такое написать в 27 году? Или в 51-м? Вот Варлам Шаламов высказался на собрании в защиту Троицкого, и двадцать лет волочил по Колыме каторжные цепи! А Достоевский хотя жил и в более гуманное время, чем вами любимая советская власть, но все же его вместе с другими только ЗА социалистические взгляды сначала повесили в назидание инакомыслящим, потом все же вытащили из петли и проволочили через «Записки из Мертвого дома» и службу в солдатах в течение восьми лет. Но всякое Учение из тех, что претендуют на непоколебимую истину, запрещает мыслить **иначе** и бетонирует все пространство мысли (не говорю уж об общественной деятельности).

Запуганные горьким опытом, многие склоняются к тому, чтобы вести себя подобно овцам в овечьем стаде, которое «должно резать или стричь». *К чему стадам дары свободы?* – горестно спрашивает поэт. Спрашивает он несправедливо (да и сам знает об этом). Как будто у нас спрашивают, нужна ли нам свобода. Его друг Кюхля робко поднял руку в ответ на этот вопрос, по руке его цепью и огрели.

Да! Чаша житейская желчи полна;
Но выпил же я эту чашу до дна,-
И вот опьянелой, больной головою
Клонюсь и клонюсь к гробовому покою.
Узнал я изгнание, узнал я тюрьму,
Узнал слепоты нерассветную тьму
И совести грозной узнал укоризны,
И жаль мне невольницы - милой отчизны.
(В.К. Ст. «Усталость»).

Итак, в поисках ответов на вопросы, которые ставит передо мною жизнь, я оглядываюсь на самого себя, заглядываю себе в душу и в свои воспоминания. Ни марксизм ни христианство не дают мне ответа ни на один из житейских вопросов. Да и тем более не дают, что разговор с самим собою в абсолютной тишине внешней совершенно бессмыслен, нужны хоть какие-то отзвуки из окружающей жизни, иначе я уже не слышу и сам себя.

Издан я 14 номеров НРЖ и с удивлением вижу, что никто его даже из авторов не читает, каждый из участников нашей дискуссии если что и прочитывает в очередном номере, то только собственное. Ну а коль не читают, то ничего и ответить не могут, и я не могу узнать, как на меня отзываются другие. Если взять обыденных собеседников (моих друзей), то они вот каковы: один из них выслушивает два моих слова и начинает возражать или просто меня прерывает. Другой говорит, что книги мои не читает, потому что и так меня знает, что нового я могу ему сообщить о себе? А ведь 60 лет тому назад меня выслушивали по крайней мере девушки! И прав я был в том, что хотя бы перед ними спешил высказаться. Люди были другие, более живые, многие из тех еще живы, и сегодня я вижу, что и сегодня они интересуются проблемами общей жизни более, нежели "новые русские", сосредоточенные по сократовски и по христиански лишь на себе!

В семидесятые и восьмидесятые годы у меня собирались друзья на музыкальные и литературные вечера, и эти вечера были гораздо живее, чем разнообразные встречи сегодня. Мы не во всем были единодушны, часто ожесточенно спорили, сидели за столом в большей из наших комнат (хотя и она была махонькой), и нас умещалось по 25 человек, кто-то пил водку, кто-то вино, кто-то только чай с пирогами (а каждый что-то приносил с собой, хотя и хозяйка старалась порадовать гостей).

Вот как хорошо было при советской власти! – воскликнет кто-нибудь из нынешних моих оппонентов. Нет, советская власть не при чем, она стремилась отнять у человека его духовную и культурную свободу, а мы, вопреки ей, стремились доставать книги, изданные за рубежом, обменивались слухами из запрещенных "голосов" Америки и Европы, перепечатывали на пишущих машинках сочинения Солженицына, Амальрика, Янова, Варлама Шаламова, Шафаревича, читали друг другу стихи Заболоцкого, слушали магнитофонные записи Галича и Высоцкого, «собственные цыганы» играли романсы на семиструнных гитарах (а через 10 лет я случайно попал с женой и сыном в кафе в Новой деревне, и вдруг в нашу честь грянул импровизированный концерт, и юные цыганки начали меня обнимать, шепча сладострастные речи (это оказалось театрализованным представлением в мою честь – но многие ли похвалятся такой частью и честью?!)) Это было представление моего старого товарища, наконец-то ставшего полноценным внуком своей знаменитой бабушки (Вари Паниной)!

А советская власть на мне «оттянулась» сполна, вы не забыли, что я прошел переплавку в сумасшедшем тюремном доме, таком же Мертвом, как и Мертвый дом Достоевского, сидел в двух тюрьмах, а потом в другом сумасшедшем доме на психиатрической экспертизе? Надо было тише жить, возразит кто-то? Как будто не тихо жили десятки миллионов русских крестьян

и обывателей, много ли они бунтовали при режиме, который расстреливал за каждый шорох в углу, когда на каждый район спускались списки, сколько надо расстрелять «врагов народа»? Но этот народ – народ без памяти, над ним возможны любые эксперименты, ему уже внушают, что не только не было советских расстрелов, но не было даже татаро-монгольского ига...

21 декабря, суббота, 10-59. Не все плохо было и у коммунистов, они провозглашали «Слава труду», и как и всё, что они громко провозглашали, было и это у них фальшивым, кроме ненависти – ненависть и злоба у них были искренними, сильными, непроходящими – и к своим и к чужим!!! – но все же труд не порицался и отчасти вознаграждался. Христианство труд презирало, религиозно истинным в отношении к труду было *«не заботьтесь о завтрашнем дне!»* – да и ни о чем не заботьтесь кроме бога, царя и помещика – и у буржуа отношение к труду было двойственное (кроме протестантов) – но все же сегодня в России к труду отношение совсем плевое! – и у крестьян, и у рабочих, и у обывателей, у христиан и феодалов-чиновников.

Необходимо вернуть уважение к труду! 31 декабря надо сделать рабочим днем, школьником и ребенком в детском саду успеют поздравить искренне всех в преддверии мистического праздника – но для этого надо рабочий день ограничить, работа должна закончиться не позже четырех-пяти часов дня (должны, конечно, оставаться дежурные маршруты на транспорте, часть полицейских, врачей, должны работать кафе-рестораны и увеселительные заведения и театры – например, от шести до девяти часов вечера).

Именно труд создал из природного человека (которого сотворил Бог – сразу или через эволюцию) того общественного и разумного человека, которого мы знаем (о, как уже мне противна оскомина *о человеке падем, тлетворном, мерзком!* – он и воистину бывает и злым, и тупым и ничтожным, потому именно Труд и Культура (то есть творчество) и продолжают над ним трудиться, являясь главной религией человека (а с чем же еще соединяться творчеству, кроме вдохновения и труда?!)

3 января 2020, пятница, 12-57. Общество **исторгает** из своих рядов и воров, и разбойников, казнокрадов – и возмутителей общественного **покоя**: Лермонтова, Кюхельбекера, Пушкина, Рыльева, Радищева, Герцена, Гоголя, Сухова-Кобылина, Тургенева, Достоевского... из этой плеяды, деятелей золотого 19-го столетия, оно, в конце концов, исторгло и Пушкина, исторгло и Толстого, в конце этого собственного своеобразного процесса расслоения и исторжения. И тут и начался закономерный финал, было исторгнуто само это общество, притом закономерно так же, как закономерна и абсолютно верна математика, сколько бы против нее ни выкаляли попы и плохо учившиеся семинаристы вроде Оригена, Иоанна Златоуста, Блаженного Августина и Игнатия Брянчанинова. Вернемся к давнему началу процесса «исторжения» – в нем все не только неоднозначно, но и ... Началось с того, что исторгло оно из своих рядов не худшего императора, Юлия Цезаря (противозаконно), затем исторгло бродячего проповедника Иисуса из Назарета, позже названного в Риме Христом (этого уже согласно закону), затем исторгло почти всех математиков, которые существовали в пределах Римской империи, начиная с

Гипатии и кончая Коперником и Галилеем... – но редко исторгало оно своих казнокрадов, обезумевших королей, разбойников, чиновников и заплечных дел мастеров. В двадцатом столетии в России казнили Николая Второго, Колчака, Троцкого, Берию – но худшим разбойником и тиранам выстроили храмы и начали им поклоняться: Ленину, Сталину, банде пламенных революционеров, самой системе, которую они построили, даже после того как она рухнула в силу своей несостоятельности; поклоняется общество сегодня русскому самодержавному феодализму и его крепостному праву, превратившему *крестьян* (моих прадедов и прабабок) в рабов, поклоняется оно одновременно и советскому социалистическому строю, разучившему русских работать и быть честными, а самое главное, уничтожившему *всеродне* (вместе с младенцами) всех образованных и истребившему всех честных и умеющих работать, и если считать с теми, кому не дали родиться, то уничтожена была ровно половина русского народа – лучшая половина. Но, может быть, исторгали и воров и разбойников? Я был в тюрьме, видел, кого кроме меня исторгали: старичок-пенсиянер украл батон, пьяница схватил из корзины бутылку водки, подростков пристрастила система к наркотикам, их же она и заперла в клетки. Сидят сегодня и те матери, которые покупают лекарства для своих умирающих детей, и те жены, которые пытаются остановить бьющую руку своих жестоких мужей, занесенную часто над их же детьми. Когда-то Марина Мнишек (баба обыкновенная, не святая, родившая от Самозванца дитя), прокляла русский народ за то, что тогдашняя московская власть, вступившая на смену власти Самозванца, *дитя это удавила* – ну, на небесах о сем рассуждали, проклятие ее велено было исполнить! – ибо дитя ни в чем не виновно, сколько бы о нашей всеобщей вине ни рассуждали христианские богословы, а за свои грехи надо платить.

Народы и все почти устраиваются в истории **не по уму, а как получится**, а русские тем более, по уму жизнь в основе своей изначально отвергают, и вообще хоть как-то устраивать жизнь в стране не хотят, а призывают иностранцев. Сначала русскими володели варяжские князья, построили путь из варягов в греки, прибили щит на врата Цареграда, и растворились в русско-угорской гуще. Тогда призвали Чингиза, Батюга и Мамаю, эти обложили нас данью, вводили время от времени на рынки рабов в Багдад и в Бахчисарай, и правили триста лет, но и они в конце концов растворились в бескрайних степях (а те *татары*, которые словно бы остались от них, жили еще и до них на Волге, в Крыму и в Прикаспии, и с теми монгольскими ханами-завоевателями совсем не в родстве). Семнадцатый и восемнадцатый век ознаменованы были смутами, и призвали в конце концов мы *немцев*, которые, конечно, и «сами с усами», и перебили при Лютере собственного народу почти половину, но правили Россией добротню, построили университеты и лютеранские храмы, развели ученых... Не угодили все же нам немцы, сильно и они обрусели в конце концов, и призвали тогда мы евреев. Эти, как видно, в Европе своей натерпелись всяких христианских гонений, поэтому и начали с искоренения христианства, ну а заодно искоренили всяческое многобожие, оставили в конце концов абсолютную простоту «большевизма» (*шаг влево, шаг вправо – стреляем без предупреждения!*)), но не выдержали такой системы, сами первые от нее побежали – на проклятый Запад.

Вот краткий курс русской истории, по А.К. Толстому.

Но оценка нашего прошлого – это не единственная коллизия, разделяющая сегодня общество на две части: на большую часть, *довлеющую к охранению того что есть* (ибо всегда, говорят они, при переменах становится хуже) и на меньшую часть, иногда состоящую из одного меня, которая советует, что если нельзя перестроить дом, то хотя бы надо открыть окна и дверь для проветривания, иначе мы просто все задохнемся, ибо воистину, по свидетельству Н. Некрасова (процитировавшему Н. Хвощинскую) – *«Бывали хуже времена, Но не было подлей»*.

Итак, основная коллизия жизни – это разделение общества на *охранителей* и *ниспровергателей*, почти то же, что разделяло католическую церковь (как в **фильме «Два папы»**) на тех, кто пытался и пытается сохранить догматическую неизменность ее, и на тех, кто требует от церкви обернуться лицом к подлинному миру и жизни. В русских условиях это можно описать на примере почти анекдота: семья живет в доме, в котором проваливается потолок, в этом доме еще половину занимают и посторонние жильцы. Но все боятся обрушения, связывают хозяина дома и начинают дом перестраивать, он рушится и половина народу гибнет. *Вот видите, чем закончилось ваше реформаторство*, восклицают охранители...

Но спор бессмыслен и бессодержателен, жизнь изменяется вместе с внутренними и внешними условиями, мы переезжаем и в другие дома и в другие города, женимся, получаем образование, вопреки нашей воле даже воюем и погибаем... но иногда живем и по заветам Обломова, то есть ничего не делаем и ничего не меняем...

В деревне я сломал старую полусгнившую баню *«до основания, и затем»* построил из ее обломков меньшую баню *по черному* (денег у меня на покупку новых материалов не было).

Моя литературно-философская деятельность состоит в критике существующего порядка вещей и образа жизни и в спорах с консерваторами. Высказать необходимость изменения общества в виде **теоремы**, которую затем доказать логически, невозможно, переубедить консерваторов в их правоте тоже невозможно. Я вижу и чувствую страдания окружающих меня людей, меня возмущает несправедливость общества по отношению к большей своей части, и я пытаюсь в частных случаях помогать униженным и обиженным, но я с отчаянием понимаю, что привилегированные, те, которым лучше и легче часто за счет бесправных, свои привилегии легко не отдадут и будут создавать какие угодно философии, оправдывающие их эксплуатацию бесправных людей. Но так или иначе, жизнь меняется, и происходят социальные взрывы, рухнуло и рабовладение (правда, увы, оно существует подпольно, как и воровство и торговля женщинами), рухнул феодализм, рушатся диктатуры и тирании... Но никуда не исчезнут те, кто поклоняется жестоким богам, кто поклоняется жестоким царям, возможно, этот механизм порочности присущ обществу так же, как присущи человечеству болезни и временность жизни. Но я принадлежу к тем людям, которые знают и понимают, что **болезнь, увядание тела и смерть присущи человеку как его способ плотского и духовного существования в единстве души и плоти**,

но мы сознаём, что необходимо человеку бороться с голодом, болезнью, страданием и смертью. Ибо и мать знает, что когда-нибудь умрет и она, и родные, и дети – но ее долг человека состоит в том, чтобы заботиться о своих детях и кормить их, пока они не вырастут, и продолжать и свою и их кратковременную жизнь, противостоять смерти, пока не иссякнут последние капельки дыхания и крови. Ничего не делать для улучшения жизни, ссылаясь на то, что иногда, несмотря на наши благие усилия, нам не удастся ее улучшить – это ложь и лицемерие. *Существующее становится хуже не благодаря НАШИМ благим намерениям и усилиям, но благодаря чужим тлетворным усилиям, противостоящим нам.* Я терплю поражение не потому, что сопротивляюсь врагу, но потому, что враг одолевает. Такие банальности приходится повторять, словно убеждать ребенка поесть, когда он тоскливо говорит: зачем есть, ведь мы все равно проголодаемся?

Общество устроено несправедливо, человек часто несправедлив, лицемерен, лжив и малодушен. Но чаще всего догматизм и консерватизм в общественном споре объясняются сословной принадлежностью: помещик ищет доказательства справедливости и божественности крепостного права, крестьянин ищет доказательства обратного. Но из этой дилеммы, в которой интересы господствующих и подчиненных (покоренных) не примиримы, существует выход, «декабристское движение» в России в 1815 – 1825 годах – это политическая теория и практика дворян, имеющая целью свержение *Самодержавия* и отмену *Крепостного права*. Аналогично, Французская революция, основной силой в которой было Третье сословие (буржуазия), выдвигало лозунги свободы, *равенства* и братства, хотя само оно было результатом и выразителем интересов экономического *неравенства*.

Таким образом, если две стороны в споре разделены жизненными интересами (например, они спорят за одну и ту же вертихвостку), то спор их не принесет каких либо приемлемых философских результатов, они будут лишь стараться обмануть и любым способом переиграть друг друга.

Следовательно, стороны должны сходиться в самых важных вещах, например, иметь сходные представления *о красоте, свободе, справедливости, истине, любви и великодушии, сострадании и заботе.*

Правда, есть неуверенность и в основополагающих вещах, так, в России плохо представляют себе, что **справедливость и равенство** – это не одно и то же, они представляют собою разные категории нравственных, философских и социальных отношений, то же в отношении свободы: нет свободы вообще, есть свобода совести (то есть право иметь собственные политические, религиозные и философские взгляды), есть гражданские права, свобода выбора места жительства, брака, право на образование, (и **право и свобода** связаны). С правом и свободой связаны государственное духовное подавление и *духовное рабство* (в тоталитарных государствах).

Что до *братства*, то это почти то же, что христианская «любовь к ближнему», своего рода междометие, вроде "вот черт!" или "с богом"...

Итак, спор и беседа, проповедь, поучение – имеют смысл только в разговорах с людьми, имеющими близкие взгляды, общие интересы, близкие житейские цели.

И все же... Это только одна сторона того, что может соединять или разделять людей. В девятнадцатом столетии в России основным классом – производителем «предметов потребления», к которым прежде всего относились продовольствие и одежда, были крестьяне, в том числе свободные и крепостные. Основную массу непродизводительного класса составляли *дворяне* (владельцы крепостных), затем *духовенство* (при этом церкви также принадлежала значительная часть крепостных крестьян) и купечество. Существовали еще чиновники, военные, аристократы, императорский двор, работники в сфере культуры (театра и учебных заведений)...

Имущественное положение дворянства было высоким, тогда как крестьяне часто прозябали в нищете. И тем не менее, оценивая Российскую общественную жизнь в конце девятнадцатого и начале двадцатого столетия с точки зрения теории «цветущей сложности», выдвинутой Константином Леонтьевым, или понятия глубины и возвышенности культурной жизни, сложности театральной жизни, мы не можем не восторгаться, заглядывая на вечеринки поэтов и писателей, на «Музыкальные среды» профессора Попова, в которых принимал участие и Шаляпин, на заседания товарищества писателей, где страстно спорили Горький, Леонид Андреев, Скиталец, ..., где также бывал Шаляпин; в блистающие светом мраморные залы ресторанов, за столиками которых сидели дамы в вуалях и «шляпах с страусовыми перьями», и Блоковская незнакомка сидела у окна, даже обходя мимо дворцы вельмож и пирушки с Юсуповым и Распутиным, мы слушаем Варю Панину у цыган и тень Аполлона Григорьева видим на одной из стен, пьем пиво в Бродячей собаке, на сцене поэты читают стихи и в наряде Арлекина Вертинский поет свои песенки, в Александринском театре в спектакле по пьесе Ибсена видим несравненную Елизавету Тиме (в ободранную советскую эпоху я перевел ее однажды чрез Невский, и она мне рассказывала о сватовстве Керенского, поражаясь тому, что я ее "еще помню", а для Андреевой-Дельмас я нанимал такси, и генеральскую дочь, вдову известного адвоката, катавшуюся на коньках в 1912 году в саду на Литейном, дружившую с красавицей-певицей Липковской, кормил Христа ради в 1966 году около Екатерининского храма в столовой на Кадетской линии)... Проверяю в Интернете строки, цитируемые Некрасовым *«Бывали хуже времена, но не было подлей!»*, они из рассказа Надежды Хвощинской, подписывавшейся как В. Крестовский (случайное совпадение имен...)... Но я продолжил расследование, у знаменитого писателя было пятеро детей, старшая тоже была известной писательницей и актрисой, сын художник, погиб во Франции в первую мировую в 24 года, жена написала о нем книгу. Другие дети оставили так же значительный след в русской истории – а мы сегодня при встречах пьем поддельную водку или размазываем слезы о счастливом советском детстве, в котором счастливым было лишь то, что мы тогда были детьми. Я слышу прошлое как величественную Симфонию, написанную Скрябиным, Стравинским, Прокофьевым, Рахманиновым – и ту жизнь я вспоминаю и переживаю так, словно это и была моя подлинная юность (хотя и моя юность, наполненная преодолением духовного рабства, от колючей проволоки, сквозь которую на

полотнище в Зоне смотрел я кино, до Диамата и Истмата, не понимаемого даже мышами, грызущими марксистские фолианты), была не убогой: я пробивал стены тюремной камеры, в которую был заключен наш дух. ...На днях был я на Большой Морской в мастерской пожилого художника, поднимались на лифте, спускались пешком, ободранные стены, почти до скелета, ободранный до железа лифт – а еще до войны сохранялись остатки мрамора, которым были выложены стены, в кадках на подоконниках росли пальмы, лестница была устлана коврами, а лифт был украшен бронзой с позолотой. Если вы бывали в квартирах на Большой и Малой Морской, то помните, что они были шикарнее даже квартир на Невском, в которых жили чиновники. Великолепие императорского Петербурга (в которое было вложено *мастерство ручного труда*) человек уже никогда не увидит, а потому даже историки не узнают, что помимо войн и революций, бесправия и угнетения существовала *цветущая сложность жизни*, не объяснимая не только историей, но даже церковной службой...

Благоуханный и ядовитый букет исторической жизни включает в себя и истину, и красоту, и справедливость, и великодушие, и заботу, и взлет гения, ... и жертву и милосердие... но никогда не входило в него ни равенство прав, ни равенство возможностей, ни распределенный ровным слоем на всех талант, ни красота, растерзанная по грязным улицам и мостовым.

Я все еще мечтаю о справедливости, которая не равна равенству, мечтаю о свободе, не требующей тюрем и эшафотов для гениев, мечтаю о вдохновении, отвергая верноподданное раболепие перед царем и перед Богом – но даже найти понимание мне пока не удастся. Вот это и есть моя последняя забота: ПОНЯТЬ. Отчасти простить. Изменить хоть что-нибудь в нищей и пошлой жизни. *И если Бог есть то он поможет мне, изменить всё к лучшему!*

И все же – я ищу и найду аксиомы, и из них выведу свою самую великую **Теорему**, в основание которой будет положен **ДОЛГ человека** перед историей и культурой и страдающими людьми, который повелевает нам искать и трудиться, изменять в мире то, что ведет его к тлену и ухудшает нравственные и эстетические основания жизни. (Для этого я и издаю наш Журнал).

А каким я хочу увидеть мир, я еще напишу.

Но во всяком случае не таким, с которого ободраны дерево, бронза, мрамор и позолота... Не только с зданий, но и с человеческих душ...

Мир, каким я хочу его увидеть, или тот, о котором мечтают дети, поэты и влюбленные, не создается богами, по крайней мере прекрасные дворцы и скульптуры, театры и парки, возвышенная и трагическая музыка, даже прославляющая бога, создается людьми, они же построили дороги, плотины, фабричные здания, развесили гирлянды на новогодние елки, построили храмы и возжгли в них свечи, а что именно сделал бог, я не знаю, так как *«человек не может видеть бога, и только если мы любим человека, то можем иногда услышать и голос с небес»* (апостол Петр).

САМИЗДАТ

В позднее советское время существовали писатели, притом весьма выдающиеся, и их тоже печатали, и о многом они писали справедливо, и не всегда восхваляя земных богов, партию и правительство. Например, был даже фильм в защиту Байкала, «У озера», играли в нем замечательные актеры, и была напечатана повесть, рассказывающая о невинном простом человеке, сидевшем в лагере. Но рассказы Шаламова никто не печатал, и когда они без его ведома вышли за границу, ему пришлось писать оправдательное письмо партии и правительству, что он их туда не посылал (но все же кому-то показывал или их у него выкрали?)

Я свою статью о "Духовной свободе" напечатал на машинке в одном экземпляре, а рукопись сжег, этот напечатанный экземпляр и был вместо рукописи, но все же всякий печатный текст, кроме разрешенных заявлений в гс.организации и диссертаций, назывался тогда *самиздатом*.

Против Личности в СССР шла ожесточенная, хотя и непоследовательная война. За анекдоты, в которых задевалось что-то *священное* (а священным было все, что касалось коммунистической теории и практики, вождей, учителей, революции, предшественников, сторонников, ... но хватит, всего я не перечислю...) отправляли на переплавку. Собственная точка зрения, даже не супротив, не поощрялась, говорилось так: «**Я** – последняя буква в алфавите!» О самой этой точке зрения говорилось: «Ты чего это *отсебятину* порешь?» Правила нашей жизнью какая-то мистическая диалектика, демократией была *диктатура пролетариата*, правили нами от имени этого пролетариата партия и вожди, свободой была *осознанная необходимость*, но когда начинался голод, на границе голодных губерний ставили пулеметы и расстреливали всех, кто через границу эту пытался перейти. Правда, никто не повторял евангельских слов, что не хлебом единым жив человек, я об этом узнал в четыре или в пять лет, когда мы с мамой из мерзлой картошки, собранной мною на поле, напекли драников.

Я словно бы уже сразу родился врагом советской власти и еретиком, хотя вел себя почти лояльно, нигде не выступал против власти и против церкви.

В 15 лет, осенью, учась в девятом классе, я был на копке колхозной картошки, влюбился в девчонку, и чтобы ее поразить, написал рассказ и отвез его в районную газету. Рассказ напечатали, я прославился, девчонка в меня влюбилась, но меня *исключили из школы* (хотя ничего антисоветского в рассказе не было). Через полгода, в Тайшете, начали печатать другие мои рассказы, тоже НЕ антисоветские, но обошлось...

Но больше потом меня никто не печатал, никакая газета, никакой журнал, никакое издательство. Все, что с тех пор было напечатано под моим именем, является *самиздатом*. Именно об этом на днях мне и напомнили, сказали, что так как наш журнал не зарегистрирован, то он сам и все что в нем – не более чем *самиздат*. Я сначала расстроился, порывался писать прошение о регистрации, но вот, поразмыслив, думаю: А нет ли в этом божественного намерения? *Так ли уж это просто так?* Ведь я писать как-будто умею, человек образованный, грамотный, даже учу других, как надо писать (как и

ЖИТЬ, то есть НЕ ПО ЛЖИ – тут я повторяю известные слова) – но ведь и тот, кого я повторяю, все годы советской власти был гоним, и печатали его ТОЛЬКО в «Самиздате», потом в «Тамиздате», и из числа *советских писателей* он был изгнан (а я и никогда в них не был) – но не повторяются ли и ныне советские времена, и поэтому может ли советская власть меня печатать (даже если я напишу в ее защиту – а я и такое пишу иногда тоже, но и это у меня не печатают!). Тут какая-то мистика, и мне с ней бороться не надо, а надо ее принимать как должное. Конечно, возможно, что я еще не научился писать хорошо, я допускаю и это, так что тем более не ропщу – ибо, скорее всего, дело не в каком-нибудь заговоре, а в том, что *народу моя литература непонятна или излишня*. К тому же и Пушкин, хотя и высказал предположение, что *будет любезен народу* (обязывала форма стихотворения, написанного на тему оды Горация «К Мельпомене», откуда взят и эпиграф *Exegi monumentum (aere perennius)...* который чаще всего опускается советскими издателями, хотя в подлиннике стихотворения Пушкиным он приводится) – в другой раз написал, что пишет стихи ДЛЯ СЕБЯ ... (а о народах выразился: *паситесь, мирные народы, вам недоступен чести клич!..*)

Итак, я пока печатаюсь только в самиздате, а потому и тиражи моих статей менее пяти экземпляров, и что имеют в виду на мой счет высшие силы, я пока не знаю – но хоть живу и пишу, и то слава богу, зачем-то я нужен...

4 января 1920 года, суббота.

Обращение мыслью и к Античности, и к Ренессансу (Возрождению), и к нашему 19-му столетию вызывает у многих раздражение и подозрение в том, что автор пытается таким образом или возвысить себя над другими, или поднять свою значительность. Если речь обо мне, то я оправдаюсь сразу и грубо – во-первых, я поставлен в определенные условия, когда темы и содержание разговора требуют у меня тщательности в выборе используемого матерьяла: для шитья подвенечного платья требуется нечто получше того полотна, который годится для рабочей одежды. Хотя двадцатое столетие и преуспело в изговлении атомных бомб и ракет, но, как видно, на них не требуется большого ума, а тем менее ума требуется на телевизионные шоу и концерты на стадионах. Подлинной литературе трудно *опуститься до современного читателя*, поэтому она и не пытается этого делать – но, увы, не способна внимать *грохотанию неба и гад морских подводному ходу*. «*Высоких зрелищ зритель*» еще есть, хотя и вымирает, но читатель вымер совсем, вымирают писатели и поэты. Я не хочу себя незаслуженно возвышать и обижать тех немногочисленных читателей, которые, кажется, еще есть и у меня, но все же – чтобы **унизить современное общество** (хотя, боюсь, и последних читателей оттолкну, и вновь вскричит Т., швыряя в меня мою книгу – *Да ты уже не только на Толстого руку поднял!*) – я принужден кое о чем напомнить, а кое что, быть может, и впервые сказать. Я мало образованный человек – но невежество общества даже меня изумляет. Тема, о которой я хочу сегодня сказать: «**Поэт и чернь, поэт и толпа, поэт и царь**» – кого я призову в свидетели, на кого я буду ссылаться, какие из *современных* поэтов дают мне пищу уму и доводы в защиту или в опровержение того, что важно

сказать? Может быть, буду ссылаться на Никиту Сергеевича, провозглашающего: *Искусство принадлежит народу!*, а на то, что мы этому народу предъявляем, осуждающе: *Народу это не понятно!?* Сегодня в зал, в котором я развесил свои книги, уже не входит секретарь КПСС по идеологии и "два искусствоведа в штатском", не входит пока и цензор, но кроме двух-трех знакомых писателей не входит уже никто больше – *народу моя литература не только непонятна, но уже не нужна!* Только кто же его довел до такого животного состояния? Довели большевики вместе с прислуживающей им раболопной интеллигенцией, включая «инженеров человеческих душ», и самого лживого Алексея Максимовича. (Да вы не хотели слушать того, кто призывал вас «жить не по лжи!» – ну что же, теперь кроме телеглашатаев этот народ не будет слушать уже никого, даже вас!)

Но неужели наше время не взрастило никого, кто мог бы участвовать в разговоре о поэзии и искусстве, о философии, о смысле жизни, о бытии божьем и содержании христианского откровения? Увы, никого!

В отличие от *«обычного стирального порошка...»* тьфу, черт! ... – «в отличие от *«обычного человека»*, который до сих пор любит советскую власть и социализм и переживает, что они куда-то исчезли, хотя и недоумевает, куда они делись и кто их туда дел, но не читал «классиков рабоче-крестьянской власти» (настолько же *крестьянской*, насколько Толстой, вспахивающий поле – есть такая дореволюционная открытка с Толстым-пахарем – крестьянин), а я этих классиков читал, и чуть ли не до корок. Уже я хвастался, но полезно напомнить, что еще на первом курсе университета, где я изучал математику, я создал «подпольный кружок по изучению "Капитала"», по ночам мы впятером запирались в фотокомнате в студенческом общежитии, читали его и ожесточенно спорили); и также немаловажно, что наш Новый Русский Журнал не такой уж и новый, в девятом-десятом классах я был редактором школьной стенгазеты, отдельные стихи и заметки из которой перепечатывались даже в «Красноярском рабочем» – ну, времена были! – а на втором курсе на Матмехе был редактором нашей матмеховской Стенгазеты... и это был **самиздат** (о котором я уже рассказал) и потом тюрьма и психушка... Странная жизнь в России: вдруг наступает весна, бегут ручьи, поют соловьи – и трах-тарарах! – так же вдруг наступают тюрьма и психушка, и народ начинает ликовать: *слав те Господи, опять подморозило, ужко больше не распоятся!* **Какая-то всеобщая ненависть к духовной свободе и свободному слову!!!**

Предреволюционный Серебряный век с его разнуданностью и такой невиданною свободой, что даже православный Розанов со страхом на ухо Мережковскому шептал: *«А Иисус, прости Господи, не Денница ли?»*, и написал невиданную книгу «Люди лунного света», участвуя в заседаниях «Философско-религиозного общества» (надзирающим от Синода с ними был будущий местоблюститель Сергей, отец советской *Сергианской церкви*, которая и доньше) – и вдруг грянул семнадцатый год, пришел Навуходоносор, казни и пытки, всеобщее одичание, культура и фидософия *сдулись* – кого я могу цитировать? Троцкого? (в нашем журнале его уже процитировал Г.Г.Муриков). Сталина? Я его всего прочитал и однажды уже цитировал, когда на вопрос английского корреспондента о продаже сахара в Англию по

демпинговым ценам (в то время как наш народ умирал с голоду) вождь ответил, что сахар он продает английским рабочим, а не капиталистам... Впрочем, цитировал я и Солоневича, и Солженицына, и Шаламова, и Клюева, и Есенина – но и они сформированы Пушкиным, Достоевским, Толстым. Я, быть может, единственный среди современников, ищущий **НОВЫЙ** взгляд на историю, и из прошлых классиков мне ни с кем не по пути, кроме (отчасти) Пушкина, Данилевского, Иванова-Разумника... Недавно я познакомился с идеей «Государства как произведения искусства» (по книге **Якоба Буркхардта** "История итальянского ренессанса", в которой он писал «существуют первичные политические и религиозные эпохи и завершающие эпохи, которые живут для великих целей культуры», при этом древние Египет, Мексика и Перу представляли примеры "культуры, определяемой государством", исламские страны – "культуры, определяемой религией", а городские полисы Древней Греции представляли "государство, определяемое культурой". Ренессанс был после государств античной Греции ещё одной из эпох, которая жила «для великих целей культуры». "Государство как произведение искусства – это государство, определяемое культурой"»).

Но вернусь к началу сегодняшних заметок, несколько мимолетных мыслей после пробуждения, я рассказал о них жене за утренним чаем, но никак не удается вновь связать эти мысли словами.

Итак, я неожиданно понял, почему Пушкин пишет «**служенье муз** не терпит суеты...», он имеет в виду **служение искусству**, в котором участвуют все те, кто соединен с искусством музами, в том числе и *муз служение*, но не нашу службу музам, подобную службе царю. Ибо я пытаюсь понять те связи, которые соединяют элементы общества в целое, и основные из них: "Бог, поэт, священник, монах и царь". Кто из них выше на лестнице рангов?

И тут мне снова придется отвлечься словно бы в сторону.

Был ли гоним Пушкин, был ли он обласкан царем и отечеством, любим женщинами и народом, высшим обществом? Я уж не буду говорить о заговоре против него, который якобы был подготовлен жандармским управлением по приказу царя.

Обратимся к другому поэту, написавшему Бородину: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?» Лермонтов отвечает на этот вопрос, и мы верим больше ему, чем историку (так мы верим и невинной любви более, чем искушенной). О Пушкине Лермонтов пишет тоже, и исключительно грубо по отношению к обществу: " Свободы, гения и славы палачи!.. Не вы ль сперва так злобно гнали чуть затаившийся пожар?..."

Речь, конечно, не о заговоре государства, а о ненависти общества к гению.

Но действительно ли Пушкин был *гоним*, противостоял ли он сам царю, государству, обществу, общественному мнению?

И как всегда, в том, что я скажу о гонениях на Пушкина, будет заключено противоречие, как и в моих словах о *самодержавии, православии и народности*, о славянофилах, царе, революционерах и ретроградах.

Пушкин не был гоним, временами он даже был обласкан – но **гонима была его поэзия**. Так и меня сегодня никто не гонит (не считая судебных приставов, работодателей, чиновников и равнодушных читателей) – но...

Был ли он счастлив, мог ли быть счастлив, когда даже невиннейшее его стихотворение «Памятник» не могло быть напечатано при жизни, через четыре только года после смерти Жуковский его напечатал в изуродованном виде, а через двести почти лет, когда даже неприличные его письма все напечатаны, *стихи гонимы почти по-прежнему*, и общество все так же спорит, с какой его (общества) частью близок Пушкин: с *народом* (то есть с чернью), с *государством* (то есть с царем и насилием), с *Богом* (то есть с попами и отсутствием духовной свободы), с *обществом* (вечно меняющим свои убеждения)?

Пушкинское стихотворение «Памятник» (с эпитафией, но без названия),

Exegi monumentum [aere perennius ...]

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрейского столпа.

подводящее итог его творчеству, является обработкой оды Горация «Exegi monumentum», опирающейся на текст, созданный неизвестным античным автором как «Памятник нерукотворный» [притом в русской литературе уже сформировалась традиция стихотворных «памятников», поочередно созданных в XVIII столетии М.В.Ломоносовым, Г.Р.Державиным, В.В.Капнистом, А.Х.Востоковым и С.А.Тучковым.]

Но если сопоставить хотя бы с этим эпизодом Пушкинского творчества его творческую жизнь по крайней мере последнего десятилетия, то ясно, что творчество его было **гонимо**, что был он великим *русским* поэтом (перечитайте Собрание его сочинений, его письма, кое что из того, что писали о нем глубокие исследователи, и мы печатали и в НРЖ); что в значительной степени был он поэтом и *европейским* (на которого большое влияние оказала французская литература); был и *всемирным* (что согласуется с словами Достоевского о всемирности русского характера).

Кои читали стихи Пушкина (и русских поэтов, близких его времени), тем очевидно, что не влиянию французской поэзии обязаны русские поэты, а литературе **античной**, ее драме, поэзии, истории и математике. Та лавина мифов, бреда и выдумок, которая обрушилась на нас под видом «новой истории», это и впрямь масонский заговор, призванный нашу культуру похоронить под вулканическим пеплом. Науки у нас сформировались к 19-му столетию, но мы уже располагаем великими историческими творениями Николая Карамзина (1766-1826), «*История государства Российского*» [Пушкин не удержался, чтобы не съязвить: *На плаху истину влача, Он доказал нам без пристрастья Необходимость палача И прелесть самовластья.*], Николая Костомарова (1817-1885). «*Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей*», Сергея Соловьева (1820-1879), «*История России*», Василия Ключевского (1841-1911). «*Курс русской истории*», не считая еще Василия Татищева (1686-1750) и Михаила Погодина (1800-1875) В 20-м столетии выдающимися историками был академики Веселовский «История опричнины» и Рыбаков «Киевская Русь». Но советское преподавание истории и литературы

в школе и ВУЗе было подменено *идеологическим воспитанием*, что сформировало за 75 лет несколько поколений *советских людей* без России, без русской культуры и народности. Воистину чудом является то, что моя жизнь прошла среди таких людей, как поэт и переводчик Корана, выдающийся арабист Шумовский, астроном Горбачский, историк Кенигсбергского университета и астроном Казимир Лавринович, собиратель грамзаписей и пропагандист русской вокальной школы Перепелкин, коллекционер русской живописи 20-го столетия Гневушев... и множества других замечательных людей...

Русская интеллигенция 19-го столетия выросла на ниве *античной культуры* – кого же можно назвать воспитанником христианского *богословия* (ибо о *христианской культуре* лучше не говорить – христианству ли обязана история, драма, музыка, поэзия, право, литература и математика? И потому надо остановить словопроения о том, был ли Пушкин *христианским поэтом* и умер ли он *христианином* (потому что исповедовался перед смертью). (Сознаюсь, у меня был роман с христианкой, по ее просьбе я тоже ходил на исповедь – чтобы утешить несчастную девушку, думающую, что даже невинная любовь – это грех. Не *сострадание* приближает нас к богу, ибо чаще человек, ушедший от человека к богу, теряет и милосердие и сострадание к человеку!)

Пушкин, во-первых, был *поэтом*, и это несомненно, был дворянином, мужем и отцом семейства... а далее я не уверен, так ли важно, был ли он кроме того *отчасти* и христианином. Вяземский был также поэтом, но ни христианином ни верующим он не был, возможно, по-прежнему имело значение, что он был масоном, этого я не знаю. Я и сам был когда-то марксистом, затем христианином, в моем нынешнем донельзя запутанном и противоречивом отношении к миру и к богу по-прежнему ли это имеет значение, я тоже не знаю. Может быть, я еще не совсем понимаю, что такое человек, Бог, мир, как они связаны между собою, не знаю я и того, значу ли я что-либо для России и русской культуры, но что они для меня первостепенны, в этом я не сомневаюсь.

Вот Тютчев, кажется, точно христианин, притом и поэт – но *христианский ли он поэт*? Об этом я еще буду писать, но позже... И о его затасканных до дыр нескольких псевдорелигиозных стихах несомненно я еще напишу.

Был ли Пушкин монархистом, и думал ли Пушкин, что на духовной лестнице мистического (или духовного, или религиозного) бытия поэт занимает 14-е место, а царь – первое? Об этом тоже чуть позже...

Но уже и так несомненно: русская культура 19 века НЕ христианская!

Попытаюсь завершить свои критические заметки, призвав на помощь вместо истории обиходный русский язык и то духовное пространство, которое им порождается, независимо от времени, в котором мы существуем, независимо от наших мировоззренческих пристрастий.

Те люди, среди которых прошла моя жизнь, были выдающимися, оглядываясь на прошлое, я их вспоминаю. Те стихи и те поэты, среди которых я вырос, также были выдающимися, **поэтому** и их я вспоминаю тоже. Те проблемы, которые передо мною стояли вчера и пятьдесят лет назад, в существенном те же самые, но это не значит, что я не забываюсь. Я не узнал, что такое истина, и я не думаю, что истина – это я, но изменяется мой вкус, я

лучше чувствую музыку, восхищаюсь интеллектуальными красотами, лучше понимаю детей и легче нахожу с ними общий язык, хотя одновременно мне интересны и обычные взрослые люди, я не утерял способность **родства** с ними. К сожалению, я не научился «писать для денег» (как Пушкин), но «умные» книги я отличаю от подделок лучше, чем в юности. И вот почему я не ссылаюсь на то, что пишу сегодня – мои вечные темы плохо представляют современный ум, отвыкший за столетие от метафизики Гегеля, Шеллинга, Вагнера и Ницше. *Подлинных вечных проблем современный ум не вмещает, вот почему не нуждается в Пушкине, Гете, Толстом и их не помнит.*

Но пора завершать, "караул устал". Возможно, наша историческая жизнь так и закончится в пространстве невежества и одичания, в чаще литературы ментов и чекистов. Или *все же русский народ – великий народ?*, – несмотря на то, что его историческая и культурная жизнь началась только в конце десятого века (на пять тысяч лет позже Египта и на две тысячи позже еллинов, как и у немцев и у французов и даже у англичан – и мой внук Паша родился на 70 лет позже меня и не впадает в истерику от того, что он такой **юный**) и продолжалась с перерывами до века нынешнего – *или наша история уже безвозвратно закончилась* (вот чем питается мое отчаяние и моя ненависть к русской черни, хотя я знаю и помню, что и я родился в хлеву на соломе и читать научился при свете лучины и никогда не ненавидел моих деревенских) – но, видимо, незнание и даже неумение читать – большее благо и даже только благо в сравнении с воинствующим мракобесием городской полуинтеллигенции, потомков революционных матросов и красных Путиловцев. (Мне, конечно, не достигнуть той странной противоречивости, которая сосредоточена в Новом Завете, когда Иисус из Назарета возглашает, что пришел спасти «только свой народ», а апостол Павел, отказавшийся от веры отцов, доказывает, что пришел Иисус спасать только язычников! – но я пытаюсь не уступать отцам Церкви, не зря же я читал Гегеля и Маркса, и не смею только обругать вселенский народ Российской империи за его кровавую революцию, но и воздать ей историческое должное. Французская революция тоже не сахар, и после нее надолго увяла та «цветущая сложность», которую воспел Константин Леонтьев – но Европе и миру она была онтологически необходима, в отличие от христианства, и мы живем в обновленном мире, который иначе грозил увянуть еще больше; вот так же и с *Русской революцией*, она отвечала на запросы истории, ответила на все вопиюще бездарно, всё переломала в Российской империи, что только можно, дожинает плоды, доламывает, допродает, **добивает народ**, довела его до той степени бес-сознательности, когда даже и одного человека, ясно понимающего происшедшее, не осталось, не осталось ни одного, кто хотя бы из приличия пожалел хоть одного безвинно убитого, все всё только оправдывают, оправдываются, если и жалеют кого, то только царя, нелепее чего невозможно представить, не жалеют Гумилёва, не жалеют Павла Васильева, Корнилова, Ольгу Берггольц, Клюева, Есенина, с голоду умершего Велемира Хлебникова, несчастную Марину Цветаеву, ее маленького ангела Ирину, трех лет, умершую также от голода и заброшенности... а сколько миллионов еще!!! – и эта бесчувственность народа по отношению к своему негероическому прошлому ему еще отзовется!!!! – и всё же и эта безумная революция, которую

оправдать невозможно, которая осуществлена такими же монстрами как и Гитлер – но вы же не читаете даже телеграммы вождя, требующего в горячке паранойи **«расстрелянный, расстрелянный и только расстрелянный!»** - а они все опубликованы в его красном пятидесятипятиотомнике! – но и эта революция была необходима! (Должно придти ЗЛЮ в мир! – но горе тем, через кого оно приходит!) – это сказал Христос.) Должны были потом победить **Белые** (по большей части и совершившие первый Акт этой революции), но Бог за что-то возненавидел Россию и победили **Красные**. Бог продолжал ее ненавидеть, и красные продержались семьдесят лет вместо 25-ти, которые продержались французские якобинцы-жирондисты-термидорианцы (кроме роялистов).

Белые проиграли, потерпел поражение их дворянский эгоизм.

Народ заплатил чрезмерно много за свою победу, и продолжал бесконечно платить и поражением Кронштадтского мятежа (есть прекрасный об этом роман, но вы же перестали читать), и Тамбовским восстанием (прокляли и забыли, по словам Виктора Астафьева, обращенным правда к солдатам Отечественной войны), исходом беженцев из России (есть стихи поэтов русской Эмиграции), голодом в Поволжье на территории в 40 миллионов человек (есть фотографии Миссии Нансена... Из Интернета: «В Миссию вошло около 32 благотворительных организаций, готовых оказывать помощь, и к лету 1922 г. они кормили 1,5 млн. детей и взрослых, поставив 860.000 пудов продовольствия. *Для каждого норвежца имя Нансена – святое*». Но на долю миссии Нансена пришлось около 7% всей международной помощи голодающим, еще большая часть помощи пришлась на долю АРА во главе с министром торговли, будущим президентом США Гербергом Гувером.) (Хотя мы США ненавидим, недавнего нашего союзника.)

Надо добавить: Не советское правительство и не Ленин воззвали к миру о помощи, телеграммы своим знакомым писателям и общественным деятелям разослал Горький, первым откликнулся Фридьоф Нансен.

Но ирония судьбы: памятник Нансену открыт в городе Маркс...

О дальнейшем говорить я не буду, ни о Войне, ни о Блокаде, ни о Беломорканале, ни о «Деле врачей». Но как у народа достает силы на продолжение ненависти?: ненавидели империалистов, евреев и поляков, ненавидят Хрущева, Солженицына, вот начали ненавидеть еще англичан...

Я не останавливал себя в выкриках, тем неожиданнее вывод: *Русская Революция была чудовищна и бездарна, но она была и неотвратима и необходима*. Старую стерню надо было сжечь, чтобы подготовить поле к новому посеву и урожаю, только Бог забыл, что пожар он зажигает в им нелюбимой России. Вот так же мой товарищ в прошлом году на даче зажег сухую траву, сгорело, правда, немного, его сарай с дачным скарбом и еще четыре соседских дома... Однако, когда Лютер прибил свой манифест к воротам церкви в Вюртемберге, он не ожидал, что в войнах, развязанных папским престолом за сохранение господства своей человеколюбивой церкви, **погибнет половина населения Германии**. Но как откликнулся Ленин (казалось бы мой соратник по нелюбви к христианству) на Голод в Поволжье?

Из статьи в 1917г.: *«Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов самым могучим средством учета и контроля. Это*

средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины» Из письма в Политбюро в 1922 году: *«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам **по этому поводу расстрелять**, тем лучше».*

Еще надо заметить, что на преодоление голода было направлено менее четверти тех ценностей, которые отняли у церкви, и уже в 22-м году возобновился экспорт зерна за границу.

Говорят, что у народов есть тяга к жестокости и насилию и затаенная любовь к злодеям и тиранам. Мой товарищ мне как-то сказал, когда мы праздновали годовщину полета Гагарина: «Нельзя рассказывать о том, что Королев сидел в лагере. Эти демократы отнимают у нас последние святыни. Не зря их расстреливал Сталин.» Вот почему наша интеллигенция ненавидит Хрущева и Солженицына, соединяя их в один образ «врага народа» (при этом и Ленин и Сталин – «друзья народа». Вот почему Франция сожгла свою спасительницу Жанну Д*Арк, вот почему Франция не только казнила красавицу Шарлотту Корде за убийство палача Марата, но и в ярости ее пыталась растерзать. Не так ли растерзали русские красновардейцы тело убитого генерала Корнилова, не так ли крестьяне Камбоджи друг друга истребляли мотыгами (и перебили половину своего народа), не так ли Европа сожгла в Инквизицию двести тысяч ведьм (вероятно, самых красивых девушек), не так ли... Да, именно так. И как же относиться к народу? И хотя я понимаю, что люди неодинаковы, но как ни странно, **в «минуты роковые мира» наибольшее число людей соединяется в порыве жестокости, злости и мести для общей жестокой цели...** Что же удивительного, что вождями народа в эти минуты становятся злодеи и палачи? И ничем не отличается русский народ, поклонившийся жаждущим власти Ленину и Сталину, от немецкого, поклонившегося Гитлеру, и французского, поклонившегося Марату (да и мы не поклоняемся ли его тени, увековечивая его память в монументах и в названиях улиц?) В ряду узурпаторов власти Наполеон, пожалуй, самый невинный, почти невинным предстает и Николай Палкин, повесивший за неудачную революцию всего пятерых (боюсь предполагать, сколько бы повесили эти несчастные, если бы их революция оказалась удачной)...

Однако... – не все цари жестоки, не все, обуреваемые манией насильственного изменения человека и мира, или только жаждой убийств, как Иван Грозный в России, Генрих 7 и Генрих 8 в Англии, дон Карлос в Испании, опустошают свои страны, и, к счастью, не все и маньяки (как Ленин и Сталин, Марат и Робеспьер, Чингис-хан и Тамерлан) становятся царями...

Не все честолюбцы идут в поэты, и не все поэты честолюбивы – но когда и честолюбивы, это редко оборачивается несчастьем для народа. Нерон был жестоким и развратным императором, точнее сказать, он был дьяволом в тоге императора, изображал он из себя одновременно и поэта, но не было худшего

чем он и среди поэтов. Те же, кто был поэтом талантливым, не запятнали репутацию своего цеха скольконибудь заметно – вот этот вывод я и положу в основание рассуждения о том, поэты или императоры должны занимать высшее место на иерархической лестнице бытия (словом *император* я называю всякого *властителя*, консула, регента, первого министра, председателя Мао, генерального секретаря, папу Римского и даже патриарха или кардинала при французском дворе). Разумеется, не все властители злодеи (как и не все злодеи достигают власти в обществе, некоторые становятся заурядными разбойниками или доносчиками) – но выдающиеся поэты или композиторы, согласно Пушкину, злодеями не бывают, ибо «гений и злодейство не совместны» – и в этом сравнении не в пользу властителей мы видим первое серьезное преимущество поэтов перед императорами.

Второе и самое важнейшее мы найдем, отталкиваясь от нескольких важных, притом по существу родственных понятий, характеризующих почти каждого человека, занимающего хоть какое либо положение в обществе и государстве. Человек, имеющий положение в государстве, работающий на него, называется *служащим*, он служит государству, даже и в высоком офицерском чине, как у Лермонтова в Бородино «Полковник наш рожден был хватом, Слуга царю, отец солдатам»... И так же и солдат *отбывает службу* в армии, и министр состоит на службе у государства. В наше время при республиканском режиме даже диктатор формально на службе у государства.

Ну а **монарх**? Согласно представлениям о монархии, писаным и неписаным, государство является его **владением**, как деревня с крестьянами отдана помещику в собственность, так что и помещик может продать крестьян или проиграть в карты, и монарх может убить или в крайнем случае изгнать своего подданного? Монарх и помещик не являются служащими, но – пока не найдется подушка, удавка, кинжал или хотя бы бескровный переворот (это та *точка разрыва*, которая отнимает у "функции владения, правления или царствования" ее **непрерывность**).

А о поэте Пушкин говорит: «Ты царь: живи один. Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум, Усовершенствуя плоды любимых дум, Не требуя наград за подвиг благородный.»

И тогда оказывается, что поэт и равен царю, *ибо он царь*, по крайней мере в своем пространстве поэтического бытия, но даже менее зависим от трона, с него его уже не свергнуть, даже смерть не делает поэта непэтом, кроме того, он остается в памяти народной таким, что к нему *не зарастет народная тропа*, в то время как даже по поводу властителей, сумевших внушить по себе такой мистический ужас, что подданные перед ним трепещут и после его смерти и принимают этот трепет за любовь, нельзя быть уверенными в вечности такого трепета и любви. Это та самая любовь, о которой писал Константин Леонтьев как о «*страхе божьем*», будто именно этот страх и является любовью. Но с подобными толкованиями любви может согласиться только раб и христианин, а значит в «Толковый (всеобщий) словарь» такое толкование не попадет.

Но разве поэт ничему не служит? Служит. Но эта служба особого рода и она называется **служением**. Как мы видим, с Пушкина я начал, им и закончу.

«**Служенье муз** не терпит суеты...» Это нечто иное, чем **служба**. Служенье связывает (привязывает) (к чему-то?) монаха и отшельника. Когда Татьяна Ларина говорит, «*но я другому отдана и буду век ему верна*» – плохо, что она так безропотно соглашается быть *отданной* – но как видно, она избирает стезю **служения** – это *стезя* (или *поприще*) всякой верной жены и любящей матери, в основе такого служения лежит **долг**, связывающий человека и ограничивающий его свободу. Но тогда «*Познайте истину, и истина сделает вас свободными!*» – не верно? Да. Но тогда и никто не может приравнять себя к истине, которая всеобъемлюща, и преобладает и над **свободой** и **долгом** – ибо иначе они не смогут повелевать человеку как инстинкт и любовь? Да.

Итак, что же мы видим? В обществе – *служба*, сверх общества – *служение*, обычно в семейных отношениях, особенно в предельной ситуации, когда человеку приходится ужасивать за больными детьми или родителями или же за мужем (сколько я таких историй встречал, до слёз!) Монах (а особенно монашенка) в монастыре – их *служение* почти то же, что детей по отношению к родителям – но слышали ли они встречное движение свыше, подменяя природных родителей Божеством?

Природа моих отношений с авторами журнала и с самим журналом и с литературой и (шире) с культурой мне становится более понятна в свете таких рассуждений о *службе* и *служении*. Ранее я все надеялся стать проповедником или пророком, и обличал я (косвенно) читателей, имея в виду народ, – как своего рода Мессия, думая, что обладаю *сакральным знанием*, хотя и лишенный силы, производящей чудеса, но от этого более достоверным и более человеческим (ибо о чудесах справедливо рассуждали фарисеи, говоря о Христе, *не силою ли Веельзевула он их производит* – но в конце концов я понял, что если я даже обладал преимуществами в сравнении с другими людьми, то очевидно, что я от них отказался, вочеловечившись до конца и намереваясь пройти именно путь человеческий, а не «привилегированного лица», не имея даже никаких преимуществ социальных, по происхождению, и экономических (в Ленинграде не имел я 15 лет квартиры, временами – работы, иногда и свободы, а сколько раз бывал между жизнью и смертью!!) Следовательно, поэт находится на верхней ступеньке лестницы, прислоненной к небу, царь – на последней, поэт если и владеет чем, то душами; царь повелевает телами...

Но так как царь реально помазывается Богом на свое царствование и повеление телами людей, и так как тела не существуют отдельно от душ, то через тела он повелевает и душами, то есть **царь реально царствует, правя миром**, а поэт... к нему зовет Божий глас: *Восстань пророк, и виждь, и внемли! Исполнись волею моей! И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей!* – но никакой власти над людьми Бог ему не дает. Или Пушкин закликает: «Ты царь! Живи один! Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный дух!» – но царь может поэта посадить в тюрьму или казнить, и не очень-то тогда пойдет дороною свободной...

То есть царь на последней ступеньке, но мир ему подвластен (а что он не в моем формальном выводе только на последней ступеньке, показывает история, например дон Карлос убивает своего отца Филиппа Второго, убивает

его сановников, развязывает затем всеобщую бойню, *убивая всех подряд*, Россия... то есть Испания РУШИТСЯ, безумный маньяк стоит по колено в крови – где ИСТИНА христианства и Христа, где ИСТИНА народа, истории? Ужас моей литературной деятельности состоит в том, что я вопию то одно то другое, потому что живу в истории и в литературе, живу в их ужасе, выкрикиваю иногда, задаю вопросы, касающиеся то марксизма и русского социализма и советской власти, то христианской истории, а читатели как-то отвлеченно от этой исторической реальности живут в реальности частной, личной, где ни Малюты, ни Берии, ни отступления русских в 41-м году, ни инквизиции, ни дон-Карлоса, ни даже опер Верди... ну ничего!!!! – только сиюминутная частная жизнь – и мне никто ничего не отвечает, с улыбкой на меня глядя... Да ведь я решаю основную теорему мировой истории, ведь я не имею права умереть, пока ее не решу, и каждый из нас тоже *не имеет права* ее не решать и не решить... а иначе зачем мы сюда являлись, в этот ареопаг?

Вот Л.Л. вопрошает – ну зачем опять Пушкин, опять Толстой, Маркс, Христос, они уже давно отошли, забыты, сколько можно про них?... словно мы уже сварили ту похлебку, которую каждый из нас явился варить, из всего перечисленного, а ни печку не зажигали, ни воды не наливали, не кипело, не солили, Маркс как был не опровергнут, не опровергнут и Христос, не дочитан Пушкин и Толстой, не определили отношения к Октябрьской революции, к добру и злу, ну хотя бы каждый из нас должен ведь в самом начале еще ответить на вопрос, готов ли он расстреливать невинных людей!? А кто же тогда расстреливал? Кто же тогда истребил в Европе миллионы и десятки миллионов невинных людей? Вот я, например, мучаюсь вопросами, хотя у меня есть несомненная шкала, скала отсчета, *что такое хорошо*... Мой отец остался на Безымянной высоте, чтобы прикрыть отход своих бойцов, и погиб, и знал, что погибнет, но сказал им: у меня уже родился сын, а у вас еще не родился. Он в декабре 43-го, получая офицерское звание, вступил в «партию», бездарную и жестокую, ничего не принесшую России, кроме горя, но это было такое же формальное вступление, как крещение, все крестились, но все ли христиане? Думаю, мой отец не верил в загробную жизнь, но в то, что **Россия должна существовать**, он верил, и спасал своих бойцов, чтобы существовала Россия, у тех должны были родиться дети, ибо без Христа Россия продолжала существовать, а без детей она сегодня (хотя и с Христом) погибает.

Но что мучает лично меня, имеющего перед собою шкалу (скалу) отсчета подлинной жизни, которой является мой отец? Мучает то, что я несомненно знаю, что если я даже и смогу остаться на этой высоте (а смогу ли?), то несомненно знаю, что буду обливаться липким страхом, потому что я живу для себя, и именно поэтому слишком дорожу своей жизнью. А имею ли я право умереть прежде, нежели достигну такого простого и ясного знания, что я поступлю как должно, и поступлю так более или менее спокойно, по крайней мере без слишком унылого страха?

Так, видите ли, есть ли загробная жизнь, мне не только не важно, но я знаю, как математик, что о ней абсолютно ничего никто из тех, кто уверяет в ее существовании, не сказал, ни Христос, ни апостол Павел, ни Иоанн, ни Петр, а мое представление ее как гипотезы натывается на такую нелепость

этого представления, что я махнул рукой – оно толко мешает жить достойно. Римляне и еллины не боялись смерти (по крайней мере войны и философы, и их с детства так воспитывали), а мы спустились в сравнении с ними до дрожащего под кустами зайца.

Что мне вера в Бога, что мне существование или несуществование Христа? Будда и Мохаммед несомненно существовали, и Заратустра существовал, и Лютер, и Маркс, мы же не бежим вступать в их партии?!

Далее, прежде чем я спрошу о том, на какой ступени Лестницы, приставленной к небу, «Лестницы безусловного бытия» (или условного?), на которой мы сравниваемся, кто из нас выше и ниже (и не сомневаюсь, что и самый отъявленный христианин не поставит сверху ни Калигулу, ни Нерона, ни Агриппину, ни Лукрецию Борджиа, родившую от своего брата и спавшую с отцом и с другими братьями и со всеми подряд; ни Малюту, задушившего патриарха Филиппа, ни Грозного, повелевшего ему того задушить, ни Гилера, ни Сталина (а чтобы перестать наконец об этом царе спорить, напомню, что на Левашовской пустоши расстреляно с 38 по 41 год 150 тысяч человек против пяти повешенных декабристов и 5 сентября я там бываю и сотни детей тех расстрелянных поминают своих отцов на холмиках у берез – дети то эти подлинны! С некоторыми я был знаком, и в их семьях хранятся извещения об их отцах! Не отрицаете ведь вы пять миллионов человек, умерших от голода с 21 по 22 год, охватившего территорию в сорок миллионов человек? И не отрицаете по крайней мере Блокаду Ленинграда? И взятие Рейхстага?... Ну, ладно, бог с вами... даже если отрицаете... – итак, на какой ступеньке этой лестницы находится Бог? Или он вне Лестницы? (Или мы о царе речь вели?)

Но чтобы меня не обвинили в богохульстве, сначала объясню, о чем мы с вами разговариваем.

Существует следственное дознание и Заключение, которое является в некотором смысле Истиной – но еще подвергается сомнению в Суде а потом часто опровергается даже через несколько столетий (ведь **оправдала католическая церковь Жанну Д*Арк через пятьсот лет!** Ведь извинился премьер-министр и королева Англии через пятьдесят лет перед Тьюрингом!)

Существуют результаты научных экспериментов, но эксперименты генетиков высокий синклит из неученых и чекистов опроверг и тех генетиков расстреляли, а потом были отвергнуты и результаты академика Лысенко тоже.

Существуют исторические свидетельства – о них споров еще больше, иные из нас восхваляют Малюту, Распутина, порицают сожженного Аввакума, уморённую голодом Анастасию Морозову, идут споры о Николае Втором, Ильиче, Троцком, Берии, Абакумове... Боюсь, скоро заспорят о Веельзевуле и Келькацеатле и даже о Нероне.

Существуют литературные герои и литературные мифы. О них спорят тоже. Не все полагают, что надо «жизнь делать» с товарища Дзержинского, с Павки Морозова (а видим ли мы в их образах исторические персонажи или мифы, бог весть), с леди Макбет или с Яго...

Герои религиозных сочинений товарищей Петра, Павла и Иоанна... Главный вопрос апостола Павла к нам, читателям его посланий – по существу и единственный: *верим ли мы, что Христос (сын Божий) – воскрес?*

Сегодня и законодательство и общественная мораль и правила литературной критики разрешают читателям романов и мифов верить или не верить в реальное существование Одиссея, Марии Магдалины и Христа. 70 лет назад тех, кто верил, что Христос **действительно был**, часто расстреливали. Сегодня тех, кто верит, что его **не было**, не расстреливают, но не исключено, что будут расстреливать или сжигать завтра. Но апостол Павел говорит, что Бога никто никогда не видел, и есть ли он и воскрес ли, это вопрос личной веры – так за что же расстреливать? А за неверие в Маркса, Ленина, Сталина только вчера такие реки крови лились! Так не Вельзеевула ли всё это дети, хотя бы они и говорили, что дети Авраама или трудового народа? Итак, термин «Бог» обозначает собою нечто такое, о чем говорится в литературе, притом в разной литературе по разному, но **всё, что мы о Боге знаем**, мы читаем или слышим **только от людей**. Итак, некоторые люди сообщают, что существует высшая личность, стоящая над миром. Какова она, эта личность, несомненно никто не знает. Точно ли она существует или точно ли не существует, не известно. Мои рассуждения о том, на какой ступеньке лестницы может помещаться персонаж мифов, созданных иудеями в первом веке до нашей эры и в первом веке нашей эры, святотатством являться НЕ могут, Бертран Рассел отрицал реальное существование этого персонажа, Вольтер сомневался, Цицерон отрицал, но говорят, что черти точно знают, что он был, и *трепещут*, но его не любят (черти мне не указ), распяли ли евреи Мессию, я частично сомневаюсь, но преимущественно в это *не верю*, да притом у них свой Мессия, который еще не приходил, да и, самое главное, евреи отрицают Троицу, как и мусульмане и буддисты – а это две трети всего человечества, и не признают, что бог христиан – это Бог, да и мусульмане тоже, а в России разрешено жить мусульманам – и атеистам!

Предположим, что я атеист и литературный критик. Я читаю романтические произведения... Игнатия Брянчанинова я отвергну, эти сочинения чудовищны, и образ бога, который в них дается, чудовищен. Читаю Ветхий Завет. Бог в войне евреев с филистимлянами кидал сверху камень на филистимлян а затем сжег Содом и Гоморру – положим, за дело, там преобладал блуд. Но ведь сжег вместе с невинными детьми, с их матерями и с престарелыми, которые уже не грешили! Нерон сжег Рим, который хотя и грешил, но ведь и в Риме было полно детей! Если Нерон, сжегший Рим, на нижней ступеньке лестницы, то куда же поместить Повелителя мира, сжигающего города? А так как и *всё, якобы, делается только по воле его*, то сколько уже городов разрушено, помимо Пальмиры в Сирии?

Шекспир, создавший Яго, леди Макбет и Ричарда Третьего, создал менее кровавых существ, чем воображение религиозных мифтворцев.

Но и помимо жестоких уже свершившихся наказаний, не нравится мне и обещание наказать нас *«в конце пути»*, когда нам *придется* за всё *рассчитаться* (а вы уверены, что и авторам страшного АДА не придется рассчитываться?), не нравится и то, что будучи создателем и строителем мира, в котором мы существуем, и который Он Сам признал неудачным, вину за все неудачи он возложил на беззащитную Еву и взбунтовавшегося прораба стройки, светоносного ангела Люцифера ... (А Пушкин за Гавриилиаду...)

Тот БОГ, которого сочинили религиозные авторы коллективно (но коорого никто из них воочию никогда не видел), мне не нравится, мне он напоминает большинство самодержцев, и так как самодержцы в большинстве таковы же, то пусть они все вместе и помещаются на нижней ступеньке лестницы, ведущей к небу.

Итак, вот наконец с лестницею мы и разобрались.

Деятельность человека выражается в его **службе** и в его **служении**, или в их сочетании, как у женщин: они в служении своему материнскому и женскому долгу, и в службе на разных работах в государстве и в частной жизни. Моим служением является издание двух журналов и редактирование мира, пока только теоретическое.

Служение привязано к **ДОЛГУ**, следовательно *долг – врожденная потребность заботы о ... том, что не входит в состав человека или входит только частично.*

Служение – это работа, деятельность, забота, вытекающие из сознания и ощущения долга. работа – это природная или социальная житейская потребность или необходимость.

Творчество часто порождает служение, но упростим философию, будем считать **творчество, любовь** и **справедливость** основными **аксиоматическими** понятиями, определяющими **отношение** человека к миру, а **долг** и **служение** – иррациональными (или даже трансцендентными) **основаниями души**. Служение Богу я считаю ошибкой, вместо Бога я поставляю **народ**. **Личность, Род, Народ** – триединство, через которое существует личность и народ как природное и надприродное вместе.

Итак: **Личность, (Род), Народ, творчество, любовь, справедливость, Долг** и **Служение** – вот мистическая седмица, определяющая и нашу жизнь и нашу историю. А существует ли Бог? Он существует **пока** как **Миф**, как явление культуры и как личное **откровение** (неотделимое от Бога), Ах, забыл я **свободу**... *Духовная свобода* – необходимое основание *творчества*, социальная и личная свобода (в исторически обусловленных границах) – необходимое условие общественной жизни. Ну а о *государстве* если я и буду говорить, то если еще буду писать философию народности...

Итак, *моя жизнь ограничена* самой жизнью, *служением*, творчеством и его источниками (увы, я их считаю весьма недостаточными). О любви я написал в своей недавней книге, а любовь, питающая мое служение... друзья мои, я вас не только ругаю... я и привязан к вам, и куда же мне от вас деться? Но, может быть, снизойдете и вы когда-нибудь до **диалога** со мной?!

Возможно, кое в чем я могу измениться, что-нибудь по другому поймете и вы. Нельзя любить по принуждению или по страху божьему, как думал Леонтьев. Нельзя по принуждению верить, как думали апостолы и Торквемада. Нельзя плодотворно работать в трудовых армиях, как думали Троцкий и Сталин (да и все социалисты, начиная с Платона). Нельзя стать нравственным только со страху. ... Ну а всё остальное содержится в русском языке убедительнее, чем в Священном Писании.

VII. ПОКА БЬЮТ КУРАНТЫ

(В гостях у журнала)

Наталья Ефремова

СТИХИ О ЛЮБВИ



Дорогие читатели!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю вам и вашим близким благополучия, здоровья, вдохновения
и полета души!
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

Свет – на тебе

Как резко свет сошёлся на тебе –
Единым махом схлопнулся до точки.
И вместо многомерности теперь
Меня поит единственный источник.

Как остро свет сошёлся на тебе!
Занозно – не извлечь без лишней муки,
Которую бессмысленно терпеть,
Обманываясь прелестью разлуки.

Как крепко свет сошёлся на тебе –
Тем клином, что не вышибить иными,
Надёжной осью в ветреной судьбе,
Развеянной соблазнами земными.

Как точно свет сошёлся на тебе –
Во всех возможных философских смыслах,
Заполнив тот болезненный пробел,
Который был в дыхании и мыслях.

Как ясно свет сошёлся на тебе –
Моём предназначении и сути,
Сменив определённой разбег.
Ведь прежнего меня уже не будет.

Свет – на тебе...

Остаться никем

Я хотела остаться для вас никем,
Ведь однажды из памяти имена
Смоет, словно следы на сыром песке,
Новых дней набегающая волна,

Новых лиц, чьи черты затуманит жизнь
В череде бесконечных случайных встреч.
Так зачем отрекаться от сладкой лжи
И словесную пыль горячо беречь?

Что вам имя моё? Перепевы птиц,
Талый снег на извершии февраля.
Неужели среди круговерти лиц
Вы не сможете просто узнать мой взгляд?

В карнавале без масок сердечный сбой
На ладони раскрытой – не спрятать боль.
Только ради того, чтобы быть собой,
Я готова примерить любую роль.

Буду плеском волны на седой реке,
Безымянной звездой на исходе дня.
Я мечтаю остаться для вас никем,
...чтобы вы не смогли позабыть меня.

Пора бы

Мне пора бы привыкнуть с тобой прощаться,
Уходить, не оглядываясь на двери,
Только я не умею не возвращаться,
Оттого и себе до конца не верю.

Не по силам мне тонкая лженаука
Расставаний простых, без витков к началу.
Я стараюсь, да видишь, какая штука:
C'est la vie, что бы это ни означало.

Знаю: проще спалить все мосты однажды
И поверить, что время залечит раны.
С тем, что в реку одну не заходят дважды,
Мне пора бы смириться. Но я не стану.

Подсолнух

Я – твой подсолнух. По бледному небу скользя,
Ты улыбаешься мне, как и сотням других.
И от того, что к тебе прикоснуться нельзя,
Туго на горле сжимаются ада круги.

Давит упрямой петлёй невозможность принять
Тщетность попыток достать до горячих лучей.
Что же тебя заставляет касаться меня,
Падая в омут надрывных осенних ночей?

Я не соломинка, мне ли дано удержать
Света источник природе самой вопреки.
Всё, что могу, – зыбкой тенью тебя провожать,
Вслед за тобой обращая свои лепестки.

Время придёт – и осыпятся хриплым дождём
Чёрные слёзы печали в чужую ладонь.
Сетовать глупо: я не был для неба рождён.
Солнце моё – приговор мой: «Смотри, но не тронь!»

Р. С. «Как жаль, что тем, чем стало для меня
твоё существование, не стало
моё существование для тебя».
Иосиф Бродский

Разочарована

Я в тебе, мой друг, разочарована.
Ни обиды нет, ни слёзной горести,
Словно были переадресованы
До меня кому-то эти новости.

Словно бы не мне предназначается
Соль проступка твоего беспечного
И на тонкой ниточке качается,
Заставляя вывернуть на встречную.

И теперь мне кажется немислимым,
Что в тебя я безусловно верила,
Значит, зря твою пустую искренность
Я своей наивной меркой мерила.

Только ни тепло внутри, ни холодно,
Пеплом равнодушия подёрнуто
То, что я считала жарким золотом,
Небом на ладонях перевёрнутым.

Странно, как под новую действительность
Стала вмиг душа откалибрована.
Неужели вера относительна?
Как же я в себе разочарована...

Сколько тебя...

Сколько тебя в моей жизни, ответь?
Ты ошибёшься, я в этом уверена.
Может ли быть безупречно измерено
То, что нельзя ни вернуть, ни стереть,

Ни прикоснуться, ни взглядом обнять...
Гиблое дело. А всё-таки хочется,
Чтобы в раю своего одиночества
Ты постарался хотя бы понять.

Чем измерять то, что было – и нет?
Воспоминания – вещь эфемерная,
И доверять им не стоит, наверное,
Вызвать пытаюсь из тени на свет.

Вздохами – можно, но сбиться легко,
Мыслями – слишком неточно получится...
Стоит ли пристально думать и мучиться,
В поисках меры копать глубоко?

Вот же подсказка к ответу лежит
Перед тобою на самой поверхности.
Просто спроси, уточняя для верности:
– Сколько меня в твоей жизни?
– Вся жизнь.

Мне нравится

Мне нравится, как ты лжёшь –
Холодным фарфором фраз,
В душе вызывая дрожь
Изящно, в который раз...

А дальше – по кольцевой,
Избитым маршрутом лжи,
С изнаночной к лицевой –
Узорные виражи.

Но в точку сошлись пути,
Ведь мир безнадёжно мал.
Красиво, как ни крути,
Ты мне всю дорогу лгал.

И снова неправды флёр
Манит миражом в ночи.
Былинкой сухой – в костёр!
Я слушаю. Не молчи.

Обмана струится вязь,
Елеем стекая с уст.
За блёстками пряча грязь,
Внутри ты бездонно пуст.

И всё-таки, как хорош!
Какая благая речь!
Твоя белой ниткой ложь –
Причина всех наших встреч.

Я выйду под зимний дождь.
Не нужно, не провожай.
Мне нравится, как ты лжёшь.
Пожалуйста, продолжай.

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики

(для всех, кто любит отечество)

на правах рукописи

№ 15

Подписано в печать 31 декабря 19
(старого стиля)

Формат 60x90 1/ 16 23,25 п.л = **372**

Печать по требованию

Редакция не несет ответственности за мнения авторов

Почта редакции
Email: mvnch@mail.ru

СПб
2019

ДЛЯ ЗАМЕТОК

